С. ВАСИЛЬЧЕНКО

НЕ ТОЙ СТОРОНОЮ

РОМАН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1928 ☆ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий". Москва,
Пименовская улица, д. 16
в количестве 5.000 экз.,
Главлит № А — 11414.
Х—20/Гиз № 25340.

Льола была вне себя, чувствуя, что делает последнее усилие для спасения себя и ребенка.

Помещение при школе открыла, но старьевщика в комнату не впустила.

Ох, от гневного стыдючего горя она на белый свет не хотела бы смотреть!

Сунула маклаку-казанцу, с мешком остановившемуся возле дверей, свою последнюю роскошь—дорогой соболий палантин, трепетно уставилась на торгаша, вцепившегося шакальими глазками в мех, и замерла на пороге.

Предстояло торговаться.

Татарин, развернув палантин, чмокнул:

— Э-э, барынь, только одна штука? Хабур-чебур всякий—юпка, кофта, башмаки, штаны—нету?..

А шакальи глазки стрельнули противно по копеечным шпилькам, что скрепляли вороньи крылья прически хозяйки, и юркнули через плечо Льолы в комнату, оценивая степень нищеты, толкнувшей женщину на продажу дорогой вещи.

— Такой шубка, такой царский епанча!—вертел палантин татарин.—Большевик увидит и мине отнимет и тибе в тюрьма посадит. Зачем тебе, барынь, продавать это, когды нам юпка надо?

У Льолы и без того в душе все падало от мысли о том, что она станет делать, когда единственная оставшаяся у нее ценная вещь будет продана. А здесь еще

эта бесцеремонная пытливость поневоле позванного с улицы шурум-бурумщика...

— Нету юбок, нету!—истерически, почти со слезами, дернула она к себе конец палантина, видя, что татарин медлит покупать вещь.

— Постой, барынь. Зачем шебуршишь шибко? Скажи, какая цена на твой епанча?

Льола нервно тянула к себе палантин, который не хотел выпускать татарин, и с отчаянием назвала нищенскую цифру доживавших последний год своего существования совзнаков:

— Пятьдесят тысяч...

Этих денег в переводе на дрова, молоко, бензин для примуса, хлеб и другие необходимейшие предметы молодой женщине должно было хватить на несколько недель. У нее билась надежда, что тем временем она получит свой паек из наробраза, причитавшийся ей за учительствование в школе. Но исчезни и эта надежда—все равно ребенку необходимо было немедленно же купить молока, комнату надо было чем-нибудь отопить, да и самой Льоле, не удайся ей сделка со старьевщиком, нечего будет глотать кроме собственных слюнок.

И все-таки она выдернула из рук казанца дорогой мех.

— Ой, барынь,—отчаялся татарин,—я же куплю у тебя, только принесем денег! Зачем отнимаешь? На задатку! Сейчас приду с деньгами... Вот задаток!

Перед Льолой разверзся кисет, из которого вкрючливо дергающиеся руки торгаша извлекли бумажную ветошь; татарин сунул Льоле несколько бумажек.

— Вот задаток, обожди, сейчас приду, барынь, не прячь епанча...

Татарин, сунув молодой женщине бумажки и тряхнув мешком, отступил, спеша куда-то, чтобы достать еще денег.

Коридор, где находилась комната Льолы, пересекала площадка с поднимавшейся наверх теремной лестницей.

Какой-то посторонний, с барской порядочностью выбритый и выкроенный гражданин, намеревавшийся подняться по этой лестнице, остановился на одной из ее ступенек с самого начала процедуры торга между татарином и Льолой и долго-долго смотрел, оставаясь сам незамеченным, на бившуюся из-за продажи вещи молодую женщину. Потом он что-то решил, сошел с лестницы на площадку, здесь за колонной остановился и вдруг очутился перед оставившим Льолу татарином.

Увидев загородившего ему дорогу человека, татарин хотел юркнуть, но щеголявший внешней порядочностью гражданин повел повелительно глазами и резко остановил его:

— Князь!

Казанец остановился.

Гражданин смерил его злым взглядом и медлительно пожевал губами.

Старьевщик перепугался беспричинной злобы незнакомого человека и подался назад.

— Мы купцам, хозяин!—заспешил он оправдаться, все еще пытаясь отступать, чтобы уйти.—Мы сейчас придем, купим у барынь одна копта и уйдем...

Незнакомец с тупым ожиданием и прежней злобой смотрел на него еще с полминуты, потом шевельнулся и предупредил угрожающе:

— Ты что?.. Покупаешь то, что барыни припрятали от большевиков? А если я теперь позову из чеки комиссаров?.. а?..

И в подтверждение своих слов незнакомец сделал вид, что готов итти к выходу.

Татарин съежился и скомкал свой мешок. Тулясь к стенке, он шмыгнул бы прочь, если бы дорога ему не была отрезана стоявшим перед ним человеком.

Незнакомец подержал еще мгновение старьевщика под испытанием мутных пугающих глаз, потом извлек

из кармана бумажник, вынул оттуда несколько бумажек и сунул их опешившему от неожиданности казанцу.

— На̀, это тебе на водку—и чтобы ты больше не лез сюда! Не смей ничего покупать у этой барыни! Я зайду к ней. А ты, немного погодя, придешь тоже. Потребуй назад свой задаток. Скажи, что большевики не позволяют продавать такой роскоши... Понял? Иначе—в чека к большевикам.

— Мой ничего не понял,—заспешил в радостном всполохе татарин.—Моя деньги возьмет и епанча не купит... Барин за это мало-мало на водку купцам давал. Теперь моя все понял...

Незнакомец сдвинулся с места и вступил в коридор школы.

Между тем Льола, примирясь с тем, что старьевщика придется увидеть еще раз, вернулась в комнату и стала составлять список того, что ей необходимо будет купить, лишь только она получит остальные деньги. Еще не кончила она своих вычислений, как в дверь постучали.

«Уже с деньгами?»—подумала она про торговца.

Она открыла дверь.

Мужчина с широкой нижней частью лица, в охватистой куртке на двенадцать пуговиц и дорогой меховой шапке стоял на площадке, собственнически вглядываясь в нее, и, когда она удивленно замерла, прожевал вопрос:

— Мадам Луговая?

Он спросил, очевидно, не сомневаясь, с кем и в какой обстановке говорит.

Льола с тревожным удивлением метнулась памятью в прошлое, связывая узловатое лицо прожевывающего слова человека с событиями своей прежней жизни. Сразу же вспомнила без какого бы то ни было энтузиазма:

— Ах, Придоров...

— Да, Придоров. Узнали? Увидел здесь, когда старьевщик крутил вас. Понял, что у вас дошло до распродажи, и решил поговорить. Разрешите войти...

Льола закрыла с тоской глаза, досадливо отступила, и они очутились в комнате.

Вошедший бросил взгляд на стол, подоконник и стоящие на них примус, кухонную миску и пустую банку из-под консервов. Окна завешивала приколотая булавками к раме газета. Так же был покрыт газетой с высохшими пятнами и стол.

Гость с кислым небрежением отвел взгляд от нищенской утвари и мелькнул глазами по стоявшей возле холодной печки детской коляске, нарядно красовавшейся окружевленным бельем и голубеньким одеяльцем, из-под которого чернела первым нежненьким ошерстением головка ребенка.

Он вцепился на мгновение в эти, красящие всю комнату младенческие ясли, но, мигнув раз-другой в сторону постельки, подернул скулами и быстро отвернулся, не давая заметить молодой женщине, что вид покоившегося в гнездышке ребенка заставил его скривиться.

Льола кивнула ему головой на стул, и гость,—как будто еще ничего не заметил,—заявил, с удобством располагаясь на стуле:

— Увижу теперь, как вы живете...

— Нечего смотреть!—с болью уничижения коротко возразила Льола, отражая любопытствующую недоброту гостя. И, чтобы избегнуть необходимости вступать в объяснения, она занялась коляской, перекладывая и взбивая под обнажившимся ребенком подушечку; когда же дитя шевельнулось—поцеловала его и поколыхала коляску, пока ребенок не успокоился.

— Я знаю...—ответил на замечание Льолы человек, носивший фамилию Придорова.

Это был субъект, несмотря на тридцативосьмилетний возраст, уже утучненный, но той, взятой в бандажи

подтяжек и ремней портативной тучностью, при которой чемодан живота не расползается в стороны, а скрипит от движения, придавая фигуре лишь барскую солидность. Живым портативным чемоданом по виду был и сам Придоров. Какие-либо приятности в его внешности отсутствовали, лицо же даже портило впечатление. Глаза обволакивала свинцовая ржавчина. Без всяких усилий эти глаза подолгу могли стеклянеть на любом предмете по желанию их владельца. Усы постоянно брились до посинения кожи, а подбородок поражал своей крепостью. Во рту Придорова, казалось, была вставлена нижняя челюсть, сделанная по особому заказу. Обладатель этой челюсти сел грубо, не сняв ни куртки, ни шапки, пожевал губами, когда Льола занялась ребенком, закурил и, пока молодая женщина не повернулась к нему, с досадой клубил дымом то направо, то налево, то вверх, то вниз. В то же время он обсасывал в уме особый злой расчет, заставивший его вторгнуться к молодой женщине.

Льола между тем то краснела, то бледнела, предугадывая причину появления непрошенного гостя. Она не могла сомневаться в том, что этот визит повлечет за собой грубейшее посягательство на нее. Об этом говорило все то, что она могла вспомнить о личности явившегося человека.

Придоров познакомился с ней вскоре после того как она вышла замуж за Лугового. Он был начальником ее мужа в правлении Всеобщей электрической компании, одним из главных инженеров этой компании.

Увидав однажды жену своего товарища, влиятельный инженер бесцеремонно стал искать случаев ухаживать за Льолой.

В это время большевики национализировали крупные предприятия. Инженерский состав предприятий Всеобщей электрической компании служить большевикам не захотел; Луговой, Придоров и двое-трое бывших служак компании вместе покинули Москву, вместе

помогали друг другу устраиваться в Одессе. Луговой нашел было работу в частной технической конторе. Придоров терся возле врангелевского штаба в качестве эксперта при каких-то поставках. Случаев для того, чтобы он мог встретиться с Льолой без Лугового, не было. И вдруг по чьей-то рекомендации, равнявшейся наговору, Луговой получил из штаба самого Врангеля предложение итти в качестве офицера в особый отряд внутренней службы. Трудно было отказываться, тем более, что Луговой считал войну против большевиков необходимой; скрепя сердце он расстался с Льолой. Придоров, лишь только Луговой отправился в отряд, стал виться возле Льолы.

Молодой женщине удалось временно отгородиться от низменных ухаживаний. Она была беременна.

У белых тем временем начались неудачи, а затем произошел и полный их разгром; все перепуталось в стане белых, как лапша.

Льола родила. Лугового не было. Начались ее испытания, побудившие ее броситься в Москву, чтобы прожить у родственников и вернуться затем обратно в Одессу на место учительницы. Придорова необычайная встряска заставила вылинять и забиться куда-то в щель, так что Льола забыла о существовании этого человека. И вдруг в самый безысходный момент ее жизни он снова вторгся к ней.

Перед его появлением Льолу еще не парализовало отчаяние. Она знала, что ей и ребенку нечего есть, что необходимо купить молока, дров, хлеба, но ей казалось, что стоило только продать мех—и все после этого пойдет, временно хотя бы, хорошо. Появление же несомненно и теперь, как всегда, денежного Придорова обдало ее заморозившим в жилах кровь страхом, заставив почувствовать, что у нее действительно больше нет никакой надежды на будущее. Она не находила мужества взглянуть на начавшего властвовать

над нею, прежде даже чем она сказала что-нибудь, мужчину.

Льола оттянула, насколько могла, момент разговора, помедлив возле ребенка, и, наконец, бросила на инженера вопросительный взгляд.

Тот вместо ответа выразительно повел вокруг головой и упрекнул женщину:

— Долго думаете так прожить?

Он думал, что Льоле принадлежат нищенская кровать и примус с мисками. Но и это было ошибкой. Разбитная компаньонка Льолы, вторая учительница, Аня, предоставила Льоле вместе с пристанищем свое хозяйство и даже помогала ей пропитанием. Имея связи среди полувоенных, полуштатских советских деятелей, она от одного знакомого получала в преизбыточном количестве пайки, пока не стряслась и с нею беда. Недели три назад в городе началась чистка партийцев. Комиссар, снабжавший Аню пайками, оказался уличенным в растратах. Подруга Льолы принесла паническое сообщение о событии, грозившем оставить и Льолу без жалких получек сахару, консервов и других продуктов.

— Какой-то партийный хунхуз Стебун узнал, что я получала паек, и подкапывается, чтобы меня прогнали из школы. Пока не стряслось чего-нибудь—уйду сама...

— Послал бог каких-то Стебунов на нашу голову!— перепугалась Льола и чувством ненависти обволокла это имя.

Аня уехала, забрав свои постельные пожитки, но оставив Льоле обстановку, в которую ткнул теперь взглядом Придоров.

Льола, потемнев слегка, возразила на замечание Придорова:

— Не со мной одной жизнь перемудрила. Тысячам других пришлось хуже...

Она угнетенно села.

— Долго думаете так прожить?—повторил вопрос Придоров тоном повелителя.

Льола попыталась все же улыбнуться, сдерживая волнение гнетущего страха, сосавшего ее не первый уже день.

— Что ж, ведь вы знаете... Лавр Семенович, кажется?.. вы знаете,—выговорила она, когда Придоров подтвердил вопрос кивком головы,—живут не так, как хотят. Если хотите за это ткнуть в меня пальцем,—можете. Некому помочь, никто не подумает, что какая-то Льола вот-вот сойдет с ума... А удивляться тому, что она стала нищей Церерой, да еще нарочно прийти изза этого... У меня и без того в глазах все вертится...

Льола кусала губы и прятала глаза, еле находя силы, чтобы не брызнуть слезами.

Придоров сощурился.

— Я именно по этому поводу к вам и пришел. От вас зависит начать жить иначе.

Он пробежал блеснувшими глазами по фигуре молодой женщины, формы которой были настолько соразмерны, что не только не терялись от перекроенной из чехлов кремовой холстины, облекавшей их, а будто украшали ее самоделковое платье.

Он вопросительно впился в Льолу и весь вспух от значительности своего замечания, жадно потянувшись вперед.

Льола взглянула на него, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, и в то же мгновение, охваченная жутью стыда и собственного бессилия, отшатнулась и отвела в сторону глаза, еще не зная, что она вынуждена будет сделать.

— Вы понимаете, о чем я говорю?—повелительно спросил Придоров, косясь на шевельнувшегося ребенка.

Он говорил—это ясно было по всему—о том, чтобы Льола стала его сожительницей. Он имел средства обеспечить ее барской жизнью.

Льола потерянно провела рукой по голове. Беспомощно отвернулась.

— У меня ребенок!—подавленно опустила она голову, чуть не падая, ссылаясь на единственное препятствие, мешавшее ей распорядиться собою так, как этого хотел Придоров.

— Елена Дмитриевна,—в первый раз назвал ее по имени гость,—вы думаете, вы не погубите его, если будете кормиться пайком? Вам уже давно его нужно было отдать в приют. Еще так-сяк, пока приходилось его кормить... Да и то люди отдают, в детских домах их выкармливают. А вы держите на руках ребенка, которому грудь матери уже не нужна. Мечтаете сделать себе и ему карьеру, получая пару каких-то ковриг в месяц, банку консервов и пуд картошки?.. Сдохнете и вы и он!

— У меня нет знакомых, которые помогли бы устроить его.

— Я устрою это.

Придоров, очевидно, не сомневался в ее согласии. Льола всем существом воспринимала, что должна перейти и переходит какую-то грань, которая межует жизнь на половинки и кусочки. Но еще одна обязанность связывала ей руки. Ей трудно было сказать об этом.

Придоров видел, что она колеблется, и ждал.

Наконец Льола подняла чугунную тяжесть головы.

— Мы считаем, Лавр Семенович, что мой муж погиб. Но он, может быть, и не убит... может быть, он сидит у большевиков или скрылся после разгрома за границу. В Одессе я ничего не могла узнать, в Москву же с письмами обращалась,—там боятся даже сунуться куда-нибудь за справкой.

Придоров досадливо мигнул, но, ерзнув на стуле, сделал новую, большую для него уступку:

— Хорошо... Съездимте тогда вместе в Москву, мне туда кстати на-днях надо по делам. Впредь до того

устроимся с квартирой. Наведете в Москве справки. Если что-нибудь узнаете, вы свободны. Я всем жертвую для такого альянса. Венчаться нам, я думаю, не нужно будет. Большевики насчет женского вопроса— мастера хоть куда, ввели хороший порядок. Зарегистрируемся. Я вас спасу, Елена Дмитриевна. Ведь я не босяк в паршах, чтобы вы во мне не признали мужчину одного с вами круга. Остальное будет зависеть от Придорова...

Льола не знала, куда девать глаза от взора уставившегося на нее с выжидательной уверенностью Придорова. Что-то и готово было толкнуть ее на резкую отповедь самоуверенно покусившемуся распорядиться ею женолюбу и заставляло цепляться за его предложение, как за единственный способ спастись от голода. Поднимая опустошенные глаза, она вдруг встретилась взглядом с проснувшимся и глядевшим на нее ребенком. Будто двенадцатимесячный Ленька угадывал, на что решается мать.

Льола изменилась в лице на мгновение.

Терзаясь сознанием того, что готова принять позорное предложение инженера, она придумывала новые доводы, чтобы понудить Придорова не сразу требовать от нее ответа.

Она встала, спеша взять на руки ребенка, как защиту против опрометчивого согласия на сделку с мужчиной.

Стук снаружи заставил ее вспомнить, что пора притти старьевщику, и она почти с радостью быстро открыла дверь. Это был, действительно, татарин, представший перед порогом комнаты с расстроенным видом.

Он сразу залопотал, подсекая неясную надежду Льолы:

— Не надо, барынь, епанча! Давай деньга назад!— и, крутнувшись на пороге, с азартом излил объяснение:—Мая все покупаем: юпка, копта, хабур-чебур вся-

кий. А царский епанча и золотой штука большевики отнимают на базары. На ясак берут! Ерлык дают! Зачем ерлык казанским купцам? Давай деньга назад! Мая земляк Мустафа-Гирей-Оглы в вастрог повели за епанча с богатый барынь. Давай деньга назад!

Верно или не верно было, что большевики отнимали предметы роскоши, перекупаемые старьевщиками у поставленной вне закона буржуазии,—Льола поняла только одно—что она должна возвратить татарину деньги, что рушатся все ее расчеты, связанные с немедленной продажей палантина. Конечно, если не этому, то другому старьевщику продать вещь удастся, но сколько за нее заплатят и когда это будет? А она сегодня же должна купить продуктов,—ожидавшаяся выручка от продажи была единственной ее надеждой, если она не хотела оставить ребенка без молока и в нетопленной комнате.

Будто во сне, отдала она обратно татарину деньги. Татарин обрадованно вцепился в них, продолжая твердить о том, что он покупает юбки, и, не дав заметить, что особо переглянулся с Придоровым, нырнул бесследно в коридор. Льола убито взяла на руки ребенка, не смея поднять глаз на сидевшего с видимым бесстрастием Придорова. Стон вырвался у нее сквозь стиснутые зубы, и она, чтобы не показывать слез гостю, стала ходить с ребенком по комнате.

Придоров крякнул.

— Елена Дмитриевна, решайтесь!—напомнил настойчиво он, вставая.—Не губите себя. Вы пожить можете. Даже хорошо, что этого торгаша кто-то перепугал. Палантин вам пригодится еще. А денег не откажитесь взять у меня—я кладу на стол двадцать тысяч пока. Больше так жить вам нельзя... Решайте!

Он стал среди комнаты.

— Я согласна...—сказала, шевельнув глыбой слов, Льола.—Только... лучше зайдите вечером или завтра, переговорим об этом.

— Вот. Э-эх! Ха...

Придорова потянуло немедленно к телу Льолы, но чувствуя, что несчастная женщина должна пересилить еще себя, чтобы примириться с собственным решением, он удержался и, закурив, собрался уходить.

— О малыше не беспокойтесь,—я немедленно устрою все. А в Москве справимся о Луговом...

— Хорошо,—согласилась Льола.

— До свидания!

Большевистский хунхуз Стебун—это один из не сработавшихся в Харькове с товарищами наркомов Украинской республики, перешедший на партийную работу.

У него драма. Две драмы одновременно.

Первая драма—по работе. Он проводил в ряде городов предпринятую в это время чистку партийных рядов. К оценке состава партии подошел с меркой подпольщика-идеалиста, не признающего в соратнике-коммунисте никаких отступлений от подвижничества на партийном посту. Попытался свирепо громить приблудничество нестойких элементов, просочившихся в ряды партии. И срезался. Партийный центр поставил вопрос о перегибах в линии Стебуна при сортировке партийцев. Его вызвали для объяснений.

Вторая драма тяжелее.

Ребенок заболел у Стебуна. Заболел сын у него, единственный трехлетний Котька. Это было первое, что узнал Стебун, возвратившись из центра в Одессу, где жила его семья.

Стебун—скоба из железа. Тут не выдержал—заскрипел.

Стебун жил в одном из советских домов. Две комнаты, общая кухня, жена, Котька и телефонный аппарат.

Поселился здесь явочным порядком, вскоре после того, как ликвидирован был врангелевский фронт.

Жена перед замужеством была начинавшей артисткой. Гражданская война прервала ее сценическую карьеру, посадила на паек, столкнула с крупной личностью Стебуна—и вот брак.

Стебун заставил ее читать. Она пробовала работать в учреждениях в качестве помощницы секретаря и иностранной корреспондентки.

Работу оставила, когда родился ребенок; после родов тяжело болела. Стебун отправил ее на время в Крым.

Выздоровела, возвратилась в Одессу. Ссылаясь на расходы, связанные с заботой о ребенке, стала нажимать на Стебуна, требуя усиленного внимания к вопросу о заработке..

Стебун, мотался ли он в разъездах, выполнял ли обязанности инструктора или оседал ненадолго в центре в качестве наркома,—всегда одинаково был занят днем и ночью.

Но, уезжая теперь для объяснений в центр, после чистки организации в Одессе, партийный ломовик поразился случайно открытому, новому для него обстоятельству: жена усердно писала какие-то полубеллетристические бессодержательные статейки. Стал расспрашивать ее и вырвал признание, что это—для товарища Диссмана, который ее «материалы» печатает в каком-то приложении к газете.

— И редакция не выпроваживает тебя с этой галиматьей?—возмутился Стебун.

— «Выпроваживает»?! Я за свои заметки уже три раза получала деньги!—фыркнула жена, беспокойно стараясь отвязаться от щекотливого разговора.

Это была весьма молодая сравнительно с Стебуном особа, стократ румянившаяся и пудрившаяся на день. От колен и до локтей, от кудряшек головы и до пяток—модель салонной киногероини.

Она боялась, что муж догадается по сделанному им

открытию о многом другом, что она скрывала от него.

И почти вырвав из рук Стебуна два писчих полулиста, на которых было изложено назидательное поучение об отсутствии чинности в рабочих клубах, она нервно стала искать место, куда сунуть заметку от глаз мужа.

Но Стебуну было не до догадок. Надо было получить путевку, добыть билет, договориться с двумя-тремя сторонниками, поддерживавшими его линию. И он уехал, не установив ничего окончательно о доподлинных помыслах жены. Потребовал коротко, чтобы она не только сочинительствовала, но и смотрела за мальчиком, который откуда-то научался сквернословить и дичился всякого нового человека.

Возвратившись с достаточно издерганными нервами, главковерх семьи застал мальчика уже втечение нескольких дней лежащим в постели в жару. Жена, не ожидавшая его приезда, подозрительно забеспокоилась и странно повела себя. Несмотря на то, что денег Стебун мог давать ей лишь столько, что их еле-еле должно было хватать на существование, на руке у нее он увидел золотые часики в камешках. Не успел, однако, он спросить ее относительно их происхождения, как, выпорхнув куда-то, она возвратилась уже без часов: спрятала, рассчитывая, что он их не заметил.

Стебун о своих открытиях промолчал, но наблюдения продолжал.

— Доктора звала ты?—спросил он, только успев раздеться и сейчас же направляясь к постели больного ребенка, чтобы приласкать его.

— Звала. Вчера вечером был, прописал питье. Я хотела сейчас давать. Вот это...

У постельки Стебун вытянулся и отдернул протянутую к стонущему мальчику руку.

— Что это?!

Лицо больного было в гноящихся волдырях. Клей

сукровицы, вытекавший из язвочек, образовал на личике корку и продолжал сочиться, склеивая ресницы.

Котька измученно стонал, силясь расщепить веки.

— Это сегодня утром у него сыпь какая-то показалась,—оправдывалась мать.—Вчера еще не было.

Мальчишка, открыв, наконец, глаза и узнав отца, на мгновение смолк, забывчиво потянулся было к нему, но только взвизгнул, сваливаясь обратно, и стал метаться, вонзая пальцы в лицо.

От лица нехорошо пахло.

У Стебуна внутри все сжалось. Одной рукой он схватил ручонки сына, чтобы не дать ему раздирать себе щеки, другую положил на горячий лобик. Потом взял со стола лекарство.

Скрипнув зубами от отчаяния, он постарался придать своему голосу ободряющий, беззаботный тон.

— Что, брат Котька, прижгло! Даже поговорить с отцом не хочешь. Вертишься? Ничего... Не умрешь, брат. Не задавайся будто мужчина: тебе все одно только два месяца. Выпей-ка лекарства, а ну...

Малыш-отсосок уже имел свои претензии. Он очень гордился своим возрастом и кровно обижался, когда его возраст преуменьшали. И раньше, когда Стебун при заездах домой, дразня мальчика, насмешливо повторял: «Тебе только два месяца, тебе два месяца! Не задавайся, шкет!»—мальчик неизменно выходил из себя, неистовствовал и, доходя до истерики, топал ногами, сжимал кулачишки.—«Тебе самому всего три года! Тебе самому всего три года! Вруша-Илюша! Вруша-Илюша!»

Но теперь возмущавшая мальчика шутка возымела только то действие, что больной с беспомощным равнодушием вытянулся под рукой отца, закрывая глаза.

На мгновение ему как будто стало легче. Но, учуяв лекарство, он испуганно съежился и со стенающим лепетом выговорил схваченную кое-как Стебуном жалобу протестующего мученика:

— Родной отец мучает! О-о! О-о! О-о!.. Родной отец мучает!

От этого жгучего упрека внутри неподатливого на жалобы Стебуна все перевернулось. Рука с лекарством беспомощно отстранилась от больного. Но ребенок снова закрыл глаза и, слабея от болей, продолжал стонать.

Кроме ласки никакого средства облегчить мучения сына у Стебуна не было. Ласка же до ребенка не доходила. Как сделать, чтобы болезнь для мальчика не была по крайней мере пыткой? Стебун не знал. Оставалось уйти прочь от постельки.

— Доктор когда придет?—повернулся он к женщине, ждавшей распоряжений мужа.

— Через два часа... Если хочешь, Иля, я позову его, чтобы он сейчас приехал. Или позовем какого-нибудь другого доктора, потому что этот такой чурбан! Ворочал-ворочал его, ни слова не сказал, сунул рецепт и ушел.

Зина—так звали испуганно поддабривавшуюся к Стебуну жену—была сама не своя. Она чувствовала, что Стебун о чем-то выжидательно не договаривает, и от его недомолвок с методическими сухими вопросами и движениями каждую минуту готова была провалиться сквозь землю.

«Все знает! Заметил часы!»—чувствовала она и ждала катастрофы.

Но Стебун был слишком потрясен тем, что происходило с сыном. Отчаявшись перенести то, что он видел, он оставил ребенка. Не зная, что с собой делать, вышел из дома, чтобы прошагать несколько улиц и хоть за думами, в бесцельном хождении освоиться с несчастьем. Но, возвратившись, он нашел то же, что оставил: пугливо оглядывающую его жену, заставляющее хвататься за голову стенание мучающегося ребенка. И Стебун заметался. То потерянно выходил из комнаты, не глядя на жену, то снова входил, про-

бовал положить руку на головку мальчика, скрипел зубами от его стонов и снова выходил, чтобы покружиться несколько минут в соседней комнате.

Когда пришел доктор, Стебун угрожающе остановился у постельки, сбоку от него.

Зина, надевшая простенький домашний пеньюар вместо нарядно расшитой блузки и короткой юбочки, в которых она была, когда приехал Стебун, уже не силилась даже обманывать мужа. Как приговоренная стала возле окна и с нервическим напряжением следила за движениями мужа.

Доктор, взглянув на ребенка, нехотя подошел к постельке.

— Вот что... Виноваты сами! Все ясно!

Он выпрямился и махнул безнадежно рукой.

Стебун сунулся плечами вперед, вырвал из кармана руки.

— Ничего не ясно. Что у него?

— Видите язвы?

— Вижу... А что это—язвы?

— Стыдно же не знать этого! Натуральная черная оспа... Не позаботились о том, чтобы сделать мальчишке прививку. Культурные люди! А еще ахаете... Эх, народец!

У Стебуна в голове зазвенело. На мгновение он тяжело схватился за стул, ожидая, пока прояснится сознание, механически тяжело поднял судорожно сжатую в кулак руку. Тихо повернулся к жене.

Молодая женщина, также со сжатыми кулаками и стиснутыми зубами, подалась несколько от мужа и вызывающе ждала всего, что могло разразиться.

— Ты же меня заверила, что оспа привита... а?..

— Попробовал бы ты походить по этим амбулаториям сам, а то жена изволь таскаться... «Заверила»!

Стебун грузно переступил с ноги на ногу, придвигаясь к жене и не сводя с нее глаз.

— Ах!—женщина начала пятиться к дверям.

Доктор бросился к хозяевам и сурово взял оглушенного негодованием Стебуна за руку.

— Успокойтесь, товарищ Стебун! Не видели вы разве встрясок хуже этой? А? А ну, выпейте-ка вот воды...

И он, живо оглянувшись, с необычно быстрой предусмотрительностью подступил к нему, подавая воду.

Стебун, проведя руками по лицу, так что на висках и на скулах выступили багровые пятна, отстранил его.

— Спасибо, доктор! Не беспокойтесь, я удержу себя в руках... Может ребенок все-таки выдержать болезнь?

Доктор пробежал взглядом по постельке и отрицательно мотнул головой.

— Сколько он еще может мучиться?

— Дня два... Облегчения теперь не будет.

— А-а!..—простонал Стебун.—Хорошо, доктор!—махнул он рукой.—Простите за беспокойство и спасибо за посещение. До свидания...

Стебун оглянулся.

Женского существа, которое, будто по надутому бумажному кульку, хлопнуло рукой по его счастью и разбило его,—не было. Зина вышла, как только предостерегающее вмешательство доктора остановило занесенную над ней руку мужа.

Он посмотрел с полминуты на ребенка, вздрагивая от его стонов. Шатаясь, порылся в ящике письменного стола, разыскал среди склянок, старых ручек и принадлежностей для бритья порошок морфия, сел с этим порошком возле постельки, положил снова руку на головку ребенка и опустил сам голову...

Жена притаилась в другой комнате.

Теперь попавший в переплет событий ломовик-партиец стал сопоставлять свои наблюдения над поведением жены и делать выводы. И были так тяжелы эти выводы, что он несколько раз то разгибал спину,

то со скрипящим стоном снова сгибал ее, опуская голову.

Он пришел к заключению, что жена имела любовника. Этим любовником был более молодой и более, чем Стебун, занятый своей карьерой редактор журнала Диссман. Недаром Диссману понадобилось поощрять легкомысленную женщину на сочинительство невежественных заметок в газету...

И другое заключение напрашивалось. В женщине, несомненно, были остатки любви и к мужу. Но частые отлучки Стебуна разобщали его и ее, и она поскользнулась, сама ужасаясь тому, что после этого должно было произойти.

И, наконец, последнее заключение—заключение о том, что, несмотря на остатки любви этой женщины к нему, он уже любить ее и жить с ней не сможет. Делить жизнь с женщиной, которая, меняя постель на постель, допустила, чтобы ее ребенок живьем сгнил? Это была бы не жизнь мужа и жены, а полная фальши связь людей, ненавидящих друг друга.

С этой связью надо было кончать.

Он решил это, и еще больней его пронизал повторившийся стон сына, переворачивая в нем душу.

Облегчить мучения ребенка было невозможно. Но зачем заставлять его еще два дня мучиться, если от пытки его не облегчит даже сон? Мальчик метался в забытьи, ничего не видел, ни на что не отзывался, не поворачивался даже—ни тогда, когда его звал отец, ни тогда, когда Стебун прижимал к его головке руку. Ребенок только пытался хвататься руками за изъязвленное лицо.

Стебун мог избавить его от страдания, только погасив язычок пламени его жизни. Пускай это будет убийство. Ребенку меньше пытки. А для него, Стебуна, это единственный способ проявить человеческое чувство к умирающему сыну. По крайней мере это

дорогое существо не будет еще столько времени гореть и терзаться, сколько предсказывает доктор.

— Точка! Другого выхода нет!

Но и решившись на это, Стебун не в силах был сразу вылить ребенку в ротик яд. Он вспомнил,—как прежде, при его возвращении домой, радовался мальчик, научившись узнавать его приближение еще по шагам в коридоре, как он лепетал те газетные и митинговые слова, которые чаще всего употреблял в разговоре сам Стебун. Теперь ребенок будто никогда ни этих слов, ни ласки отца, ни самого Стебуна не знал.

Стебуна от нервного потрясения начало лихорадить.

Надо было решаться.

В винном стаканчике Стебун разболтал с водой порошок, оторвавшись на минуту от ребенка. Теперь он сидел с этим стаканчиком, закрыв глаза и слушая стукотню своего сердца.

Он знал себя. Знал, что никогда угрозы смерти, ни его собственной, ни чужой, не загораживали пути перед его прямолинейным поведением. И на этот раз свою нервную систему он удержит в подчинении, хотя и оторвет от своего тела этот кусок мяса—Котьку, сына, Котьку, единственное существо, отсосок его крови, его мозга, его кипучей мысли. Больше ведь не будет ни сына, ни дочери, воплощающих живой послед его крови, потому что вообще до семьи ли Стебуну теперь, когда что-то происходит вокруг и линяет все: тут—Диссманы, там—осечка в самой, казалось бы, правильной линии партийного поведения...

Надо решать.

Стебун раскрыл затуманившиеся глаза, скрипнул зубами, поцеловал сына. Приподнял его за голову, разжал ротик и влил морфий.

Ребенок заметался.

Стебун бросил в угол комнаты стопку, звякнувшую с жалобным дребезжанием о пол, и бурно заходил по комнате.

— А-а!..

Он стонал и хватал себя рукой за горло, чтобы не хрипеть от боли, от зверской злобы на жизнь, от стыда. Он не сразу воспринял, как вошла в комнату, боязливо посмотрела на него и наклонилась к больному жена. Она ахнула, оглянулась, снова ахнула и вдруг зарыдала. Но только через какой-то промежуток времени,—Стебун сам не знал, сколько времени спустя,— звуки рыдания дошли и до его сознания.

Почти одновременно с тем, как он воспринял ее плач, она воскликнула:

— Иля, он уже умер!

— Да, умер... Я дал ему морфий,—обернулся и с безразличным спокойствием бросил он.

— Ты его отравил?!—исказилось лицо у женщины, когда она осознала значение его слов.

— Да... И на это если не жизнь, то какая-нибудь обвешанная тряпками индюшка без души и сердца толкнет!.. Собирайся хоронить его да перестань плакать...

— Иля!—вырвалось вдруг у женщины.—У меня самой теперь ведь все разрывается... Прости же!

И она порывисто поднялась, повернулась в его сторону.

Стебун устало махнул рукой.

— Все ясно... Если любовник завелся, то не до ребенка... Плохо только, что и свое женское и свое материнское чувство ваш брат ради блудни превращает в мыльные пузыри... Ни прощения, ни непрощения! Положим в гроб ребенка, отнесем его на кладбище— и тогда поступай как хочешь. Женой моей больше ты не будешь.

— А-а, так!..

— Да, так... Я пойду куплю гроб и закажу могилу.

— Обедать будешь?

— Нет.

Стебун очутился у вешалки, воткнулся в пальто. Пощупал, в кармане ли кошелек. Пошел.

Теперь переезд в поезде уже не представлял собою таких мытарств, какими сопровождалась бы всего год назад поездка из одного города в другой.

Придоров жениховски прифрантился. Впервые после долгого времени хорошо оделась Льола. Это вполне отвечало намерению ехать не без комфорта, в мягком вагоне.

Возле вагона пришлось остановиться. Проводник пропускал успевших нахлынуть ранее пассажиров,— образовалась небольшая очередь. Ничтожное обстоятельство в ряду всей массы других безразличных впечатлений в момент этой посадки дошло до сознания Льолы, заставило ее вздрогнуть и вспомнить еще тяготевшие над ней дни голода и нужды.

— Уезжаете? Напрасно, товарищ Стебун, не остаетесь в Одессе. Попросили бы мы Москву... Всех первосортных практиков центр отзывает.

Выражал сожаление молодой пухленький телеграфист, очевидно растроганный непредвиденным отъездом товарища. Тот, кого он провожал,—мужчина в пенснэ, с ранцевидной сумкой в руке и с постелью в чехле под мышкой,—пока входили пассажиры, два раза переступил возле телеграфиста, четко поворачиваясь и останавливаясь, будто он только что вышел из боевой, хорошо военизированной шеренги.

Льола схватила с одного взгляда фигуру этого человека, бесстрастно взиравшего на общую спешку. Услышав ненавистное имя «Стебун», она вдруг почувствовала странное смятение.

Занося ногу на ступеньку, бессознательно запечатлела в голове четкий ответ полузнакомого человека телеграфисту:

— Первосортные практики и в Москве нужны, товарищ Виктор...

Льола так ушла в себя, что не помнила, как были ею и Придоровым заняты места и как она очутилась на диване, в углу вагонной кабинки.

Она уже раскаивалась в своей необоснованной неприязни к тому человеку, по милости которого была покинута Аней и осталась на голод в четырех стенах школьной комнаты.

В ее памяти всплыла частичка жуткой действительности, кошмары которой она еще недавно испытывала.

Это произошло четыре месяца назад.

Льола с ребенком, которого в то время еще кормила грудью, возвращалась из Москвы в Одессу. Московский поезд шел только до Харькова, а там надо было хлопотать о том, чтобы заручиться возможностью дальнейшей поездки.

Одну случайную знакомку Льола попросила подержать дитя, а сама пошла рыскать по канцеляриям станционных начальников. Того, что ей нужно было, она добилась, но на это потребовалось много времени. И она замирала, зная, что ребенок давно не кормлен.

Но едва только она освободилась и, придя в зал, взяла у женщины малютку, как проезжающих стали выгонять с вокзала наружу, для того чтобы облегчить милиции возможность облавы на мешочников.

Льола до открытия зала очутилась среди нищего и беспризорного вокзального людняка на торговых задворках вокзала.

Это было, однако, не самое худшее.

Еще одно несчастье шло вместе со всеми другими. Среди привокзального толчка негде было приткнуться, чтобы покормить ребенка. Льола же как раз была в особом, чуть ли не единственном ее нелепом платье, с ошейником воротника и пуговицами на спине. Хоть рви его, когда надо открыть грудь. А ребенок полдня не получал молока, терзая мать жалобным писком.

Льола пометалась взглядом из стороны в сторону, ища уголок, где ее никто не видел бы.

Но везде громоздились экипажи, терлись от самого выхода вокзала и до ближайших домов группы и одиночки подозрительных завсегдатаев вокзальных про-

улков, кочевали и кричали возле лотков продавцы папирос, пирожков и вареной требухи.

Ребенок мог докричаться до родимчика. Сама Льола готова была сойти с ума от горя.

И тогда она решилась.

Тут же, на глазах толкущихся из стороны в сторону прохожих и проезжих она повернулась к стене, расстегнула пальто, подняла перед платья, открывая таким образом все исподнее, и сунула к груди ребенка.

Чувство жесточайшей обиды за свои несчастья и материнского страха за то, что ей не дадут покормить дитя, заволокло ей глаза туманом. И, заткнув рот ребенку, она с мучительной, смертной тоской ждала, что вот-вот кто-нибудь гикнет на нее. И она, интеллигентная, холеная даже, юная женщина, дойдя до состояния, которым обрекала себя на надругательство, почувствовала, что к ней обернулись раклы, курившие на корточках у края панели; подталкивая друг друга, приближались к ней двое гигикающих оборванцев в обмызганных пивнушками отрепьях.

Она повела безумным взглядом—и не успела отдернуть ребенка, чтобы повернуться и плюнуть в глаза зубоскалящим хулиганам, как все переменилось.

Ее беспомощность заметили двое мужчин, подъехавших к вокзалу и ожидавших возле крытого большого автомобиля, пока откроется вокзал.

Один из этих мужчин, в расстегнутой шинели, с пенснэ на крупном носу, имевший вид баррикадного бойца, не пропустил ни одной подробности из поведения Льолы и повернулся протестующе в ее сторону, лишь только она приложила к груди ребенка. Затем он было остановился.

Но увидев, что двое бродяг хотят затронуть женщину, он дал знак своему товарищу и очутился возле хулиганов. Тотчас же его руки цапками тисков впились в плечи одного оборванца. Он, рывком, повернул парня словно мешок с кладью и отодвинул его на шаг от

себя. Внезапно сделал то же самое и с другим. Потом, не сжав даже кулаков, указал вперед пальцем, выразительно хлестнул по проходимцам взглядом и коротко скомандовал:

— Него-дяи!.. Вон!

Сказано было так, что раклы немедленно улетучились.

А незнакомец, проводив их взглядом, поднял глаза на Льолу и, мгновение помедлив, решительно подошел к юной матери.

— Покормите, товарищ, младенца, пусть не плачет. Идите с ним в автомобиль. На этой машине я приехал, и она без дела будет стоять здесь часа два... Я тоже жду поезда...

Теперь у Льолы брызнули слезы.

Она едва не падала с ног и не имела сил ни сопротивляться, ни отвечать что бы то ни было заступившемуся за нее человеку. Только гнулась к ребенку и вместе с ним дрожала от судорог истерики, не двигаясь с места.

— Спасибо, спасибо!—не благодарила, а оправдывалась она за свое состояние, сгорая со стыда.

Незнакомец, увидев, что она сопротивляется, запнулся. Сжал сухие губы и жестко обрезал ее:

— Церемоний хотите? Не нюньте и идите, пока ребенок не закатился. Дурного об этом никто не подумает. Пойдемте!

Льола заспешила к автомобилю, и командовавший ею человек подвел ее к машине, от которой увел покорно последовавших за ним товарища и шофера.

Льола покормила Леньку. Товарищ человека, заступившегося за нее, оказал ей помощь при посадке. В одесском составе шел особый вагон «Центропечати», и этот товарищ убедил агентов пустить Льолу в их теплушку с литературой. Это уже было для Льолы настоящим счастьем, потому что агенты ехали на просторе и литературная теплушка имела перегородки. Льола радовалась удаче.

Доехав затем до Одессы, она вскоре забыла об этом случае. И лишь теперь вспомнила все, узнав в ненавистном ей Стебуне человека, избавившего ее от издевательства вокзальных хулиганов.

При первой встрече он производил впечатление особой властностью. Теперь же в нем была какая-то перемена.

Льола, пока Придоров размещал вещи, уткнулась взглядом в окно вагона. В купэ почти одновременно с ними вошла и, разместив при помощи носильщика свой багаж, взволнованно затолклась перезрелая девица в подсолнечнике помытых перекисью водорода кудряшек. Девица то садилась, то выглядывала в коридор, то совалась к окну, не находя себе места от вызванного отъездом избытка чувств.

А с Льолой творилось непонятное. Она была уверена, что сейчас же в купэ войдет и будет ехать в одной кабинке с Придоровым и с нею также и этот чужеродный и порывучий Стебун.

И она не ошиблась.

Сперва кто-то остановился возле полуоткрытой дверцы, уступая место другим, разбирающимся в номерах купэ пассажирам. Затем кто-то перед кем-то извинился. Одновременно в дверь купэ, где уже было трое пассажиров, просунулся чей-то серый бок, и Стебун, заставив всех оглянуться на себя, оказался в проходике между двумя диванами.

Он дернул кверху суховялым желвачным лицом, блеснув по промежутку купэ зайчиками отражений от стекол своего пенснэ, жестко подержал одно мгновение на уровне с верхней полкой остьецо полинялой и пересохшей, как крошка турецкого табаку, бородки и, найдя для вещей место, ткнул на свободную сетку свой багаж.

Опускаясь с нижнего дивана, на который он привстал, чтобы дотянуться до сетки, он полувыжидательно скользнул испытующим взглядом по попутчикам.

Льола затаила дыхание и отвела на мгновение в сторону глаза, ожидая, узнает ли ее вошедший и захочет ли он вспомнить свою встречу с ней.

Но Стебун, чуть задержав с легким изумлением на ней глаза, перевел взгляд на Придорова, а через секунду уже снимал пальто и, вынув из кармана газету, с особой необщительностью, так недружелюбно загородился ею, что Придорову, собравшемуся с ним поговорить, пришлось только крякнуть.

Лимонноволосая девица воскликнула, лишь тронулся поезд:

— Слава тебе, господи!

— Далеко едете?—сочувственно поинтересовался Придоров.

— До Москвы. Боже, двое суток!

— Да, двое суток. А вы спешите-с?.. Служите там?

— Да. Поскорей бы эти станции... Была здесь в командировке для инструктирования Профессионального союза печатников. Объясняла правила ведения отчетности... Не моя даже специальность. Я училась товароведению. Но товароведение никому не нужно теперь. А если нигде не служить, то бог знает за кого и считать все будут. Спасибо, знакомые порекомендовали заведующему одному. А в союзе и жалованье, и хоть никто не понимает в деле, зато меня по бухгалтерии считают ответственным работником. Уже второй раз командируют в провинцию. Пошлют, а тем временем без меня натворят такого, что мне потом и по праздникам приходится сидеть на работе. Вот и надо спешить для своей же пользы...

Девица с ужимкой, претендующей на выражение скромного достоинства, убедительно тряхнула головой. Не могло, однако, быть сомнения в том, что говорилось все это с целью прихвастнуть перед другой женщиной, ехавшей не по делам государственного значения.

Льола так и поняла ее речь, не двинувшись от окна,

возле которого сидела, и будто не слушая самоаттестацию попутчицы.

Придоров в неопределенном мычании выразил участие к положению девицы:

— Да... Значит вы у товарищей печатников министр финансов, можно сказать? Хе-хе!

Он с деланным смешком призакрыл глаза, и желая продлить разговор и боясь на каком-нибудь замечании попасть впросак.

Стебун связывал его. Девицу можно было настроить на любой лад и заставить ее изливаться в душеспасительных сплетнях насчет большевиков. Но подозрительно таящий что-то в непогодных желваках лица и непрошенно вторгшийся к воспитанным людям пассажир с газетой мог придраться к первому же критическому замечанию, связанному с политикой большевиков, и тогда вся поездка была бы испорчена.

Придоров поэтому, пересиливая себя, заискивающе приспосабливался и к девице и к шуршавшему листами «Известий» незнакомцу.

Девица же, увидев, что Льола оторвалась от окна, чтобы заглянуть в зеркальце и скрепить черный абажур волос дорогими красными гребенками, попросила разрешения взглянуть на них; взяла одну заколку в руки и похвалила:

— Очень миленькие... Но я не люблю. Все считают, что брюнеткам лучше зеленое или красное, а вот у меня вкус: не выношу ярких цветов.

И она критически поджала губы.

Льола рокотно рассмеялась.

— Ха-ха-ха! Как забавно! Есть катехизис и на это, оказывается. Нужна теория причесок и философия о цвете шпилек и блузок...

— Что же у вас... скажете, вкуса нет?—обиженно возразила девица.

Льола знала, что ее слушают не только девица и

Придоров. Хотелось под видом разговора с пассажиркою сказать что-нибудь не дамски пустое ее недоступному заступнику, Стебуну, и она с значительной краткостью кстати навернувшимся ответом оборвала разговор:

— У меня вкус к людям.

Стебун, не отставляя газеты, оторвался от чтения. Его будто шевельнуло, и он с интересом поглядел на молодую женщину. Желваки его лица мягко разгладились, и он на мгновение весь засветился. Когда Льола поймала его взгляд, это почти осчастливило ее.

Но Стебун снова уже читал или делал вид, что читает.

Он чувствовал, что происходит вокруг него. Личность каждого из пассажиров говорила сама за себя. Невольно сложились в душе приблизительные характеристики каждого.

Этот зверозубый одессит, спутник молодой и странно-бывалой уже женщины—акула. Поддакивает чванящейся профсоюзной казначейше что-то о горячке работы в союзе и сам давится каждым собственным междометием. Печонка советского бытия не переваривает. Но хищник боится выказать себя.

Девица—хвастливая дура. И до Москвы не выдохнется. Сто раз расхвалит порядки, от которых зависят ее шкурные дела, и тут же наговорит тысячи пустопорожних жалоб—ради того только, чтобы подладиться к тону собеседников.

Существо, внешне наиболее человеческое, приблизительно двадцатидвухлетняя красивая женщина—менее всех в то же время самостоятельна. В ее манере молчаливо замыкаться в самое себя и приниженно садиться к сторонке—какой-то надрыв. Не жену этого сухобродого моржа напоминает она, а его принадлежность какую-то. Но ведь еще недавно эта гражданка в качестве беспризорно ехавшей матери не имела места, где приткнуться, чтобы покормить ребенка. Что

же случилось после того? Душок протеста в ее ответе инструкторше свежо пахнул на разборчивого Стебуна. Но это животное... Муж?..

Стебун стал ненавидеть без всякой видимой причины, как самого кровного своего врага, барски сочного, подобно рождественскому балыку, Придорова.

В свою очередь и Придоров перехватил в прозрении того, кем была личность недоступного пассажира, отгородившегося от спутников газетой.

Придоров, пока не поделился с ним хотя бы несколькими замечаниями, не мог чувствовать себя спокойно в купэ. Шомпольная стегучесть семижильного и заведенного на рабочий лад Стебуна не оставляла сомнения что он не из стана случайно проезжающих по своим делам обывателей. Это, очевидно, был большевик. Но и с большевиками Придорову было не в первый раз встречаться. Надо было, чтобы только заговорил он хоть о чем-нибудь.

И Придоров наконец улучил момент.

Стебун оторвался для передышки от газеты и оглянулся на присутствующих.

Тотчас же Придоров стянул губы в фальшивую сочувственную улыбку и с почти непосильным для него интересом к вопросам коммунистической политики поделился догадкой о газетных новостях, намекая на разительную перемену отношений со стороны правительств буржуазной Европы к советской власти. Это было время, когда одно за другим несколько капиталистических государств объявили об установлении дипломатических сношений с правительством рабоче-крестьянского государства. Придоров, давясь улыбкой, сладко спросил Стебуна об этих приятных для большевиков событиях:

— Всё признают и признают нас?

Стебун беспокойно шевельнул газетой и с недоброй сухостью поиграл глазами на спрашивавшем.

— Кого «нас»?—прищурился он с рассчитанным презрением.—Компанию одесской черной биржи?

Придоров дернул беспокойно губами, испуганно оглянулся вокруг, прижимаясь к спинке вагона, и, спрятав глаза, отважился объяснить:

— Я—советский гражданин, гражданин пассажир! Может быть, и мне интересно, чтобы нас уважала Лига наций.

— А... Это именно не всякому советскому гражданину интересно.

И Стебун, бросив газету, вышел.

Льола пренебрежительно покосилась на Придорова.

«Не заговаривал бы уж лучше, если отступать некуда»,—шевельнулись в ней и досада и удовольствие оттого, что Придоров нарвался на отпор.

Придоров же перетрусил на-смерть, хотя и силился скрыть это. Наклонился к уху Льолы, чтобы не слышала спутница, и предостерегающе шепнул:

— Из Чека или поездной шпион... Смотри, не задень чем-нибудь! Еще придерется, и в подвал через такого попасть недолго...

Льола остановила остолбенелый взгляд на Придорове. У нее было свое мнение по поводу закулисной стороны некоторых его дел, но что он способен галлюцинировать чекистами, она не могла ожидать.

Она с горькой досадой отвернулась:

— Пусть шпионит... Глупость!

Стебун прильнул к окну в коридоре и думал о том, что найдет он в Москве, что заполнило бы его после потери семьи.

Всякий знает, что такое центр Москвы. Это стадион движений революционных масс и средоточие прославленных на весь мир театров и площадей. Это место, где даже водосточные трубы парадно выступающих дворцов гудят маршами коммунизма, а

очереди трамваев и автобусов вздваивают ряды, равняясь по башням Кремля.

Но у самого выхода к этому центру, в тылу одного из театров, примостилась промозглшая до самого нутра двухэтажная руина, которая, несмотря ни на что, хранит название «Централь».

Дом этот некогда был третьеразрядной гостиницей. Во время революции его муниципализировали, и в него явочным порядком вселялся всякий, кто не имел лучшего пристанища. Те, кому деваться было некуда, не брезговали ни изодранными обоями, ни полумраком коридоров.

Дом долго был бесхозяйственным. Это представляло ряд удобств для особых жителей столицы, играющих в жмурки с жизнью. Поэтому дом видел в своих стенах и дезертиров, и мешечников, и спекулянтов с Сухаревки.

Но соседство с особняками и дворцами учреждений столичного центра обязывает.

Домом попробовал овладеть губком. В «Централе» появился комендант дома Русаков, который побывал в губкоме, получил мандат и начал орудовать жилищными делами и райжилотдела и партийных работников.

Это был человек фронтового покроя. Лицо и глаза скрытые и осмотрительные, а все обращение с людьми такое, будто привык гражданин Русаков к командным ухваткам, но должен был подавлять характер. На разговоры он почти никогда не давался, но удивил «Централь» тем, что вошел в положение жильцов.

Ему было менее тридцати лет, а небольшой рост, худощавая фигура и полувоенная одежда—галифе, сапоги, серая рубашка с черкесским поясом под курткой-гусаркой, шапка-кубанка—молодили его еще более. Но эта же одежда придавала ему и некоторую комендантски-службистскую корявость, в то время как лицо с особой какой-то, замкнутой от посторонних

выразительностью свидетельствовало о несомненной интеллигентности жилотдельского квартирьера.

Назначение Русакова комендантом «Централя» почти совпало с тем временем, когда Коммунхоз вследствие новой экономической политики начал восстанавливать гостиницы, выселяя из них жильцов. Жильцам «Централя» также предстояло убираться из своих углов. А деваться им было некуда. Русаков, предвидя это, взялся отстаивать «Централь».

В тот день, когда решалась судьба дома, он по разным делам толкался в райжилотделе в кабинете заведующего. Повернув посвоему решение относительно «Централя», он вышел в коридор и вдруг столкнулся здесь с осторожно загородившим ему дорогу мужчиной, инженерская фуражка которого обнаруживала специалиста, работающего на советской службе.

Этот инженер, увидев Русакова еще в кабинете заведующего, с безграничным удивлением отступил в угол. Затем украдкой вышел, побродил по коридору и теперь вдруг выступил, останавливая коменданта взглядом, исполненным сенсационного всполоха.

Встретив этот взгляд и узнав человека, смотревшего на него, Русаков на мгновение растерялся и отступил. С катастрофической беспомощностью мгновение помедлил, но, потемнев от безвыходности, пересилил себя, бросил осторожно проплывший вокруг неспокойный взгляд и с деланой беспечностью выговорил:

— Узунов! Как вы попали сюда?

Узунов с испытующей медлительностью пожал плечами. Тихо возразил:

— Я же не спрашиваю—как вы «попали» или пробрались сюда... Это щекотливый вопрос. Это вас здесь Русаковым зовут?

Русаков вздрогнул.

Что-то хлестнуло его в вопросе Узунова о той фамилии, которой он назывался. Несколько мгновений

он не шевелился, тяжело дыша, а затем потер виски, поднял тяжело голову и с покорной краткостью признал:

— Благодаря этому я спасся... Хотите—не узнавайте меня, и разойдемся...

Узунов мягко взял его за руку, заставляя следовать с собой по коридору, и, оглянувшись, деликатно предостерег:

— Это меня не касается, Всеволод Сергеевич! Вы ошиблись—ничего не поделаешь. Не мне судить вас. Но раз уж вы тут, то мне нужно, чтобы вы мне помогли. Давайте, выйдемте на улицу...

Русаков сник головой, вопросительно оглянув инженера, и они вышли.

Узунову не нужно было знать ничего другого о знакомом, которого он встретил. Достаточно было одной столь неожиданной встречи,—об остальном, что его могло интересовать, легко было угадать. Он и не спрашивал ничего, а только, держа за локоть потрясенного, как и он, встречей человека, несколько мгновений успокаивался. Пока они вышли на улицу, он уже решил, что судьбы Русакова ему в разговоре больше касаться не следует. Они остановились, и он, осторожно подбирая слова, объяснил:

— То, что вы здесь свой человек, скорей всего поможет мне устроить дело, за которым я пришел. А я отчаялся чего-нибудь здесь добиться. Ваши дела вы можете устраивать, как хотите, и можете быть уверены, что я ни в обморок от того, что вы вынуждены делать, не упаду, ни тыкать пальцем в собственную добродетель не буду. У вас с жизнью плохая игра вышла. Но не от нас это зависит. Вы хватили всего, наверно...

В голосе Узунова звучали нотки сочувствия. Но он испытывал неловкость, ведя уличный разговор, и спешил.

Русакова тронула его деликатность. Почти помимо воли он ответил надрывистым признанием:

— Ах, Яков Карпович, я лучше чем кто другой вижу, что одна моя ошибка будет давать себя знать мне всю жизнь... Я не каюсь, но разве я не мог бы жить лучше других? Перевернулась жизнь!

— Да, она все-таки перевернулась, как мы ни отмахивались от этого... Но это—тема большая. Давайте говорить о том, из-за чего я вас остановил. Я обещал и волею-неволею обязан устроить недели на две квартиру одному нашему бывшему коллеге...

Русаков вопросительно поднял глаза.

— Придорову,—ответил на взгляд Узунов.—Он надняx привозит сюда за покупками какую-то свою сожительницу. Я обещал устроить его. Но у меня, у жены бывают студентки, комсомолки, да и дети у нас... А от Придорова, вы и сами знаете, пошлятиной разить будет на всю Москву. Какая там у него сожительница— еще неизвестно. Чтобы не заводить в доме кабака, я решил отыскать ему сто квартир, только пусть не показывается ко мне. Но хожу уже два дня—без толку. В жилотделах одно: «Подайте заявление—запишем в очередь». А я, если комнаты не отыщу, мужества отказать ему, когда он приедет, не наберусь. Вы, если человек здесь свой, можете мне устроить. Выручайте...

Русаков подумал мгновение.

— Хорошо,—согласился он.—Это как раз я могу сделать без всякого труда. У меня комната и комендантская канцелярия. Поселюсь в канцелярии, а им освобожу пока комнату. Направите его, когда приедет, ко мне. Я вам дам адрес «Централя». Это тот дом, в котором я живу. Но только пусть он спросит там Калашникова. Есть такая семья, которую я предупрежу. Я хочу, чтобы Придоров и не подозревал о моем существовании в Москве. Дверь в свою комнату я замкну и заставлю шкафом. Приму меры к тому, чтобы он не увидел меня ни в доме, ни где-

нибудь на улице. Хотя растительность меня и изменила, но вы, например, узнали меня сразу, Придоров же способен на все, если узнает меня...

— Это и я имею в виду...

— Ну вот, это делаю для вас, Яков Карпович. Можете по жилотделам не путешествовать.

— Спасибо! Искренне пожелаю вам всего хорошего.

Полминуты с интимностью недосказанного уважения и сочувствия друг к другу инженер и комендант, прощаясь, жали друг другу руки и как-то оборванно расстались.

Положение их было неравно. Узунов не только был специалистом и занимал ответственную должность на электрической станции, но и приобрел репутацию советского общественника, предложившего ряд проектов государственного электростроения. Русаков же был человек, с которым Узунов мог вести разговор, только не договаривая чего-то и сдерживаясь, будто было что-то темное в личности коменданта.

Да это так и было в действительности.

Комендатура в «Централе» для Русакова была результатом его изворотливой и вынужденной обстоятельствами предприимчивости. Раньше он никогда комендантом не был и не помышлял им быть. Не помышлял еще недавно и работать при советах.

Его прежняя профессия—практикант техник. Всего два года назад он был совсем счастливым человеком. Сейчас же после Октябрьского переворота женившись на красавице-наследнице одного фабриканта, он, пришпориваемый счастьем этой женитьбы и любви, считал устроенной всю свою жизнь. Но последовала гражданская война, национализация и перетряска всего того, что служило основанием для жизни людей того круга, с которым он был связан. Он с женою переселился в Одессу. В Одессе увлекся противобольшевистской кампанией своих знакомых. Присоединился к белому офицерству. Воевал в Крыму, участвовал в расстреле

одной деревушки. Пережил разгром белых и в одном из последних боев на фронте, будучи ранен при отступлении в плечо, остался на месте сражения. А к этому времени уже начал кое в чем каяться. Сообразив, пока продолжался бой, что поражение белых—поражение окончательное и что его могут расстрелять, когда красноармейцы будут подбирать раненых, решил принять меры. С убитого красноармейца снял шинель и шлем, переоделся, посмотрел документы и явившимся санитарам назвался Александром Русаковым.

Пока лечился в госпитале, присматривался к нравам и манерам советской среды. Понял, что советская власть крепнет. И твердое решение принял—имя Русакова оставить за собой не на прокат, а навсегда. Настоящая его фамилия—обещать хорошего ему не могла. Особенно если бы установили, что он был в карательной экспедиции. И вот он вылечился, попал в Москву с санитарным поездом. Случай помог ему здесь сделаться комендантом, и он в этом положении закрепился. Но под гнетом сознания лживости своего положения с трепетом теперь ждал, что кто-нибудь откроет в нем бывшего белогвардейца. А открыть его могли знакомые по Одессе и Киеву, знавшие, что он пошел к Врангелю. У него была жена. Но и ей самое лучшее было—не давать ничего знать о себе. Ибо жить вместе и даже встречаться было невозможно,—по поведению жены чекисты сразу почуют его существование, а тогда не перестанут дергать и ее.

И Русаков затаился, умертвил в себе все, что могло обнаружить в нем прошлое, усвоил в своем поведении все, что могло аттестовать его как одного из отслуживших бойцов Красной армии.

Таковым его и считали все, кто знал в Москве.

Он устроился, но это было как раз наиболее голодное время. Русакову пришлось изворачиваться. Пайки были ничтожны. Пришлось первое время за-

имствовать продукты у жильцов «Централя» и снабжаться за счет мешечников. Некоторых из них, занимавшихся наиболее откровенно спекуляцией, он выселил, освободив часть комнат, и вселил в них партийцев. Для остальной массы жильцов отстоял «Централь». Считал, что от его заступничества никто не пострадает. Нужно было только изворачиваться, вглядываться в происходящее; коммунистам в их деле— касалось ли это поисков жилплощади для них или выхода с ними на совместное политическое празднество в день какой-либо годовщины—помогать.

Встреча с Узуновым, знавшим его настоящее имя, предостерегла его об опасности его самозванства. Узунов, конечно, не выдаст, а если узнает кто-нибудь другой?..

Оставалось надеяться только на то, что от таких опасных встреч спасут его удача и собственная осторожность.

Он возвратился в «Централь». Вертушка советской жизни снова захватывала его в свои колесики. Сегодня же ему надо было и заглянуть в хозчасть губкома на всякий случай и произвести по поручению райжилотдела разведку в нескольких домах, где предстояли уплотнения и выселения. Но прежде всего надо было предупредить помогавшего ему хозяйствовать в «Централе» Калашникова о предстоящем приезде гостей, которых он не мог принять сам.

В доме сторожили его приход. Лишь только он открыл парадное и вдохнул в себя остро пахнущий кошками и крысами спертый воздух коридорного лабиринта, как перед ним оказался жилец Файн. Это был высокий, меланхолически унылый, будто вырвавшаяся после пожара из леса и получившая способность двигаться по Москве обгорелая стволина, еврей валютчик. Просунув в дверь всклокоченную голову и плечо, он сперва посмотрел, не расстроен ли комендант так, что к нему нельзя и подступить, а потом тихонько вы-

скользнул из дверей и с жалостливой беспомощностью осведомился:

— Узнали вы, товарищ, теперь насчет нас? Будет нам покой или ждать, пока придет милиция да устроит на всех погром?

Только затронул Файн Русакова, как возле коменданта оказалось и еще несколько неспокойных жильцов.

Выскочила вдруг с кухни пылающая раздражением жиличка, жена театрального плотника, будто ждавшая, чтобы кто-нибудь только заикнулся об общей болячке:

— Так я и дамся, чтобы они громили меня! Кровопийцы! Душегубство! Расчертобесило их на нашу голову! Хоть бы уж клоповников бедных людей не трогали, так и то им не дают покоя, не дают спокойно жить в домах... Аманаты!

Проходивший в уборную губкомовский рисовальщик плакатов, не знавший, что жильцам грозило бедствие выселения, с недоумением замер около объяснявшихся, думая, что начинается ссора. Новые жильцы спешили на разговор, чтобы узнать новости о своей судьбе.

Русаков, не успев объяснить положение дел Файну, повернулся к смешно рассвирепевшей плотничихе и с сочувствием ценителя крепких слов выслушал весь залп ее изречений. Улыбнулся неопределенно заключительному аккорду и объяснил всем:

— Успокойтесь сами, граждане, и успокойте других жильцов. Выселения из «Централя» не будет. Жарьте картошку, Васильевна.

Он успокаивающе повернулся к Файну.

— «Централь» решили не трогать. Вероятно, жилотдел обойдется без него. Но во всех соседних домах завтра начинается уплотнение, чтобы было куда поселить жильцов из других гостиниц. Нас ради губкома не будут беспокоить.

— Так и лучше!—сразу удовлетворилась плотни-

чиха.—А то гостиница! Выйдет из этой вонючей пропасти какая-нибудь гостиница! Строители!

Она ушла. Стали расходиться и другие. Рядом с комендантом остались только Файн и задержанный Русаковым бело-розовый, как обсыпанный мукой румяненький батон, парень, который вместе с матерью и старшим братом занимался в нижнем этаже «Централя» печением пирожков для продажи в разнос. Это и был Николай Калашников.

Файна сообщение Русакова о предстоящем уплотнении соседних домов повергло в беспокойство. Он, прежде чем уйти, хотел узнать об услышанной новости больше.

— Значит уплотнят и Файмана, товарищ комендант? Или этого нельзя вам говорить мне?

Русаков рассмеялся.

Файман, старожил еврей, проживавший в одном из соседних домов, негласно промышлял, как и Файн, рыночными делами. Два хитреца действовали компанией, но Файман был богаче. С началом новой экономической политики они стали промышлять товарами и валютой, не подавая вида, что торгуют. Кое-кто лишь из соседей, и в частности Русаков, знали об этом, но торговля преступлением теперь уже не была, а остальное никого не касалось. Трогательное беспокойство Файна хорошо настроило Русакова, и он с полушуткой предостерег:

— У Файмана-то я непременно посмотрю квартиру. Но если у него просторно, то он уступит нам пососедски без войны кусочек жилплощади, когда нужно будет. Со мной он скорей сговорится, чем с милицией. Ха-ха! Так и скажите вашему компаниону.

Файн тоже озабоченно хмыкнул, считая это за конец разговора.

Русаков с улыбкой, как к приятелю, повернулся к пирожнику, на что тот ответил такой же, исполненной влюбленности улыбкой.

— Товарищ Калашников, я поговорить с вами хочу...

— К вам итти? С удовольствием, товарищ Русаков.

Младший Калашников, как и его брат, бывший солдат—Федор, почитали Русакова как своего спасителя. Комендант позволил им наладить в «Централе» пирожное производство. В благодарность за это парень сделался чем-то вроде добровольного помощника Русакову.

Эта добровольная преданность Николая и понадобилась Русакову для того, чтобы тот заменил его, когда явится, по уговору с Узуновым, в «Централь» Придоров. Русаков намеревался поступиться своей комнатой для гостей, переселившись сам в комнату рядом, где была его канцелярия. Соседство гостей не могло ему угрожать встречей, так как в их комнату был особый ход.

Русаков дал парню ключ от этого входа.

— Вот, Николаище,—дружески объяснил он,—тут приедет один барин-одессит с женщиной, приятель моего старого знакомого. Я обещал дать для них комнату, на неделю или две... Но я у этого одессита прежде работал, и он мне делал столько пакостей, что я ему и показаться не хочу. Жалко, большевики его не отправили к Духонину... Когда они приедут и скажут, что Узунов тут о комнате договорился, то вы их пустите и поухаживайте за ними...

Николай засмеялся.

— Поухаживать так, чтобы он переночевал раза два в комиссариате?.. В два счета с Федором и Поляковым устроим.

Поляков—электрослесарь, коммунист, жил тоже с матерью в «Централе».

Русаков, зная, что компании парней действительно ничего не стоит сыграть какую-нибудь злую шутку над кем им вздумается, погрозил:

— Нет, нет, Николай! Смотри, не наделай чего-нибудь.

— Хорошо... А у вас тут просторно, Александр Павлович,—осмотрелся Николай.

— Да... Вот для вашей семьи как раз хорошо здесь. Перешли бы?..

— Перешли бы—а вы-то?..

— Я-то—дело десятое. Вам же надо будет переселяться, потому что магазины теперь открывают, и на ваше помещение уже есть охотники. Один старый галантерейщик через маклеров тут уже раза два ко мне подъезжал, чтобы впустить его.

— Не Файман бывает?

— Файман.

— Ого! Пускай... Только вместо этого пусть уступит свою квартиру.

— Еще посмотрим... Ладно. Значит, Николай, вы похозяйничаете с гостями, когда приедут? Удружите мне?

— Пусть жалуют. Ради вас сам самовары буду им кипятить.

— Хорошо.

Ряд следующих дней Русаков был занят делами райжилотдела. Подходило время, когда должен был явиться Придоров.

А затем наступили события.

Из Допра освободили подозревавшуюся в снабжении заграничных эмигрантов какими-то материалами жилицу «Централя», преподавательницу языков, Резцову.

Пока эта женщина находилась в заключении, на дверях ее комнаты в коридоре «Централя» торчал висячий замок и зловеще краснели на шпагате квадратики картона с сургучной печатью. Будто висели запекшиеся и продетые на нитку сгустки крови, связавшие дверной косяк и обочину дверей.

В таком виде комнату принял Русаков, когда его назначили комендантом, а теперь перед ним предстала

явившаяся со справкой о разрешении распечатать комнату истерическая, только что освободившаяся арестантка.

Русаков с острым любопытством и особой чуткостью к вырвавшейся из тюрьмы женщине сопровождал ее при вселении в комнату.

Держа в руках бумажку с разрешением и не глядя на явившуюся, он представлял ее себе по тому впечатлению, которое она произвела на него, прежде чем сказала, что ей нужно.

Еще молодая, злая, в белых чистеньких рукавчиках,—она почти дрожала от боязни, что какую-нибудь неожиданность горше ареста ей преподнесут еще и здесь, в доме.

Для Русакова эта женщина была необычным явлением.

Он, правда, не только видел яростнейших врагов большевистской власти, но и сам лично воевал против советов. Он знал разведчиков, офицерскую среду, охвостье белых штабов и тылов, деляческую прорву спекулянтов и заводчиков. Вспоминая их теперь, Русаков считал, что у этой прорвы только и было, что остервенелая алчба по отнятому у нее большевиками собственническому царству. Только животный инстинкт собственников и хозяев разжигал у них ненависть против красных... Такой же вот экземпляр врага большевиков, как эта женщина, которая и при старом режиме жила на скудном пропитании человеколюбучего идеализма и при советах с явным отсутствием корыстных интересов подгрызалась под господство коммунистов, ему попался впервые.

Пока женщина сошла к извозчику, Русаков сорвал с дверей печать, открыл замки. Оглянувшись, он увидел, что она с кашлем надрывает хрупкий запас своих сил, не справляясь с корзиной и чемоданчиком, которые принес на лестницу извозчик; мгновение поколебался—и решил помочь ей.

Резцова допустила коменданта внести ее корзину в комнату.

Здесь стояла голая кровать с полосатым тиковым матрацом, голый серый столик, два стула, скамеечка с кастрюлькой и парой мисок. Серые окна были заляпаны высохшими следами дождевых потеков.

Веяло холодной пустотой.

Резцова, не взглянув вокруг себя, раздраженно бросила в сторону чемодан и так же сердито отодвинула от ног Русакова корзину, пряча взгляд от помогавшего ей человека.

— Долго пробыли вы в заключении?—с долей некоторого участия спросил Русаков.

— Все равно,—с резким негодованием отмахнулась от вопроса Резцова,—долго или недолго, выпустили или не выпустили—деваться некуда!.. Попробуй, поживи еще на воле, когда некуда носа ткнуть, чтобы на хлеб заработать... Называется социализм! Идиотский сухаревский социализм! Какое-то письмишко перехватили—и в тюрьму. Жандармы, хоть и большевики!

— А сознательно вы разве не действовали против большевиков, гражданка Резцова? Извините, что я так прямо спрашиваю, но я не партийный, и в большевиках хочу разобраться сам. Со стороны не кажется разве, что партия старается изо всех сил наладить лучшую жизнь? Только об этом они и говорят. Да и революция вся не из-за этого разве?.. Если бы вы делали то, что они делают, а вам стал бы мешать кто-нибудь, то вы не устроили бы расправы над противником?

Резцова с стиснутыми зубами стала вышвыривать из корзины постельные вещи.

— Я не мешала,—с злой настойчивостью отвергла она подозрение против себя.—Они в этом сами убедились. Всю их мудрость я вижу насквозь, сама была социал-демократкой, не им меня учить. Но я, видите ли, сношусь с меньшевиками, а к ним не втерлась в

доверие и не кричала на всю Москву при появлении каждого большевика на Тверской «ура». Моя собственная мать—меньшевичка, и если бы я не рыскала из-за крох хлеба по урокам, то сдохла бы и я, как она. Помочь некому!

Русаков шевельнулся при этом упреке, но поколебался спрашивать еще что бы то ни было и, опустив глаза, тихо повернулся, чтобы уходить. На пороге задержался для последнего сочувственного вопроса:

— Вы значит будете искать теперь работу, а сегодня и завтра-то... на пропитание есть у вас что-нибудь?

— Есть!—с сердцем оттолкнула что-то от себя резко женщина.—Не беспокойтесь!

Русаков с сомнением повел головой и оставил квартирантку устраиваться.

Вероятно, этим разговором для него и исчерпалось бы знакомство с жилицей, не произойди нового обстоятельства. На следующий день его вызвали в губком. Ударное поручение. Управление делами губкома, уже узнавшее о занятии комнаты освобожденной из тюрьмы женщиной, объявило Русакову, что для прибывшего из провинции работника нужна комната. Завхоз намекнул на то, что можно выселить Резцову, лишь бы не заставить приезжего ждать себе приюта.

Русаков, безропотно выслушав это предложение, шел домой растерянно, с каким-то засосавшим вдруг совесть протестом.

«Ну куда же,—думал он,—денется та?.. Взять милиционера и вынести за порог ее вещи? А с ней что будет?»

Опускались руки, и не хотелось ничего делать. Можно было бы попробовать возражать управляющему делами, но дело шло о предоставлении комнаты какому-то прибывшему из партийной командировки активному большевику. А в таких случаях ссылаться на отсутствие помещения было дико,—ведь «Централь» принадлежал губкому. Надо было Резцову временно по-

селить хоть у себя, а тем временем искать для нее комнату в соседних домах.

Но в коридоре «Централя» его ждал Калашников с новостью:

— Был ваш гость,—сообщил парень.—Остановились в какой-то гостинице, завтра утром приедут сюда.

Русаков не знал, что ему делать. Решил, наконец:

— Ну, ладно. Устройте их и смотрите, чтобы я им не понадобился. Если спросят меня, скажите, что я дома редко бываю.

— Отважу!—пообещал Николай.

Большевика так или иначе надо было устраивать, но и объявлять что бы то ни было запершейся и безмолвствовавшей у себя жилице у Русакова тоже мужества не находилось.

В противоречивой борьбе с самим собой Русаков, так и не решив вопроса, убил несколько часов на мелочные дела домоуправления. Только что управился он и устроился читать газеты, к нему кто-то постучал.

Русаков открыл дверь и увидел незнакомого мужчину, который уверенно остановился перед дверью и быстро оглянул коменданта. На хрустящей суставами четкой фигуре незнакомца была расстегнутая шинель, под полами которой чувствовалась установка ног ровная и прямая, как штатив.

Прежде чем явившийся переступил порог, Русаков угадал в нем кандидата на комнату Резцовой.

— Вы комендант Русаков?

— Да.

— Разрешите войти.

— Пожалуйста.

Человек вошел в комнату, служившую для Русакова преимущественно канцелярией. Русаков сел за стол и указал на стул посетителю. Тот, прежде чем сесть, снял и протер пенснэ, одновременно разглядывая Русакова сощурившимися до появления морщи-

нок на висках глазами, потом, водрузив на переносицу пенснэ, сообщил:

— Тут комнату я должен получить у вас... Говорил с вами управдел комитета?

— Как ваша фамилия, товарищ?

— Стебун.

— Садитесь. Комнату освободить можно. Но вы не обошлись бы без нас еще несколько дней?

— Нет. Я приезжий, ночевать и жить могу только у товарищей, если комнаты немедленно не получу.

— Плохо! Ну, тогда делать нечего... придется из этой комнаты выселить жилицу...

Стебун крякнул в ответ на нотку сухой беспомощности в голосе Русакова и провел по нем взглядом.

— А кого выселять? Разве нет свободной комнаты? Нельзя без выселения?

Русаков встал, собираясь надеть фуражку на голову, и осторожно осведомил посетителя:

— Выселить я должен, потому что получил распоряжение, но дело касается женщины, которая только вчера освобождена из тюрьмы. За сношение с заграничными эмигрантами сидела три месяца в ГПУ. Понятно, что обрадует ее это едва ли. Она и за арест-то не благодарна коммунистам...

Стебун перекосился на стуле и дернул ногой.

— Вы ее что же—из-за меня выбрасываете на улицу?

Русаков не подтвердил прямо резкого приговора полученному им распоряжению. Подчеркивая свою готовность немедленно же пойти и освободить комнату, он поставил ногу на стул и, выжидательно опершись на колено, объяснил:

— Я хотя с ней не говорил об этом, но когда распечатывал ей комнату и разговаривал о причинах ареста, то понял так, что знакомых у нее в Москве нет никого. Приткнуться некуда. Думается, как бы она еще не покончила с собой...

— Фу ты, чорт!—опустился Стебун на стул. Полминуты он зло кусал губы. Решительно встал.

— А ну-ка, будьте добры, укажите мне, где комната этой освобожденной. Как ее фамилия?

— Резцова.

— Резцова? Знакомое что-то...

Русаков пожал плечами, открыл дверь, и оба вышли. Русаков провел Стебуна через коридор к дверушке со следами снятых с нее недавно печатей.

— Здесь,—сказал он коротко.

— Хорошо. Я сейчас зайду к вам, товарищ Русаков, обождите меня.

— Хорошо.

Русаков с исполнительной готовностью повернулся, в то время как Стебун постучал в дверь. Немедленно же дверь чуть приоткрылась, в просвете показалось выглянувшее с настороженною враждебностью лицо женщины, лихорадочно колючими глазами уставившееся недоуменно на Стебуна.

— Войти можно?—резко спросил Стебун, угадывая, что форма сочувственной речи будет не к месту в разговоре с жестоко издерганной женщиной.

— Что вам?—раздраженно подалась женщина назад, распахивая по необходимости дверь и отступая.

Стебун вошел, и она, закрыв дверь, с обидчивой нервозностью полуотвела от него голову, угадывая в явившемся одного из тех, кого привыкла относить к своим политическим врагам, и не ожидая от такого появления ничего доброго.

— Скажите, с вами говорил кто-нибудь о том, что вы должны будете освободить комнату?

Резцова вдруг съежилась и повернулась, будто приготовившись отбиваться от нападающей змеи; попробовала сделать шаг к Стебуну, но, отраженная его испытующим спокойствием, нервически сжала губы и, пересиливая истерическую вспышку, излилась:

— Таких, как я, не предупреждают, очевидно, а приходят да выбрасывают. Выбрасывайте!.. Зовите милиционеров. Сама я не пойду. Что вы от меня хотите?

Стебун помедлил, успокаивающе кольнув глазами готовую к истерике женщину, и с холодноватым расчетливым бесстрастием немного отвернулся.

— Ничего не хочу! Я должен был занять эту комнату, но если вы вообще что-нибудь без шипения сказать способны, то я хотел узнать—сговорились с вами уже о том, что вас хотят выселить, и есть ли куда итти вам?

Женщина остервенело дернула рукой.

— На панель, если вы приведете взвод солдат да вынесете меня отсюда...

Стебун удовлетворенно пробежал взглядом по обиженной и, словно обдавши ее холодной водой, возразил:

— Этим не прокормитесь, мадам.

— Но и попрошайничать у дорогих товарищей большевиков меня не заставите. Повешусь наконец с пачкой ваших блаженненьких коммунистических декретов в руке... Радуйтесь, что на одну такую, как я, станет меньше! Коммунисты с обжорных рядов Сухаревки!

Женщина, жаля лихорадочными глазами явившегося, хотела, казалось, втоптать в грязь ту властность, которую чувствовала в уверенной непоколебимости претендовавшего на комнату человека.

Стебун, скользнув взглядом по комнате, увидел в эмалированном горшке намоченные чулки, которые, очевидно, Резцова мыла перед его приходом. Обстановка почти отсутствовала. Только постель да стол, а на столе в стакане сиротливая грудка сахару и покрытые измятой газетой остатки хлеба.

Нищета зияла в бивуачной обстановке жилья вчерашней арестантки.

Стебун еще раз вспомнил, что фамилию Резцовой он где-то слышал. Упоминалась такая в случайных разговорах о дореволюционной эмигрантской среде.

«Не та ли?»

Он, скупо отзываясь на залп негодования женщины, испытующе повел в ее сторону глазами, вместо того чтобы отвечать.

— Ваша фамилия Резцова? Не вы это составляли и переводили в Женеве протоколы совещания интернационалистов против войны?

— Я, если вам угодно...

— Гм...

Стебун крякнул и, не давая заметить колебания в голосе, отвернулся.

— А после этого что вы делали?—спросил он с черствым интересом.

Резцова угрожающе стиснула зубы.

— Хоронила мать, спасала от голода мужа, моталась потом сама, чтобы не сдохнуть без хлеба...

— Так?

Померкнув, будто возбудивший в нем чувство гнева на жизнь разговор вызвал терпкое сознание собственного одиночества, Стебун круто повернулся и, ничего больше не сказав, вышел.

Он постучал и вошел к коменданту.

Русаков, сидевший за столом, встал и настороженно оглянул его.

Стебун сел, устало о чем-то раздумывая.

— Как вы решили?—подсказал Русаков, когда тот поднял голову.

Стебун не спеша покачался на стуле и повел медленно рукой.

— Ее больше не трогайте и объясните намерение выселить ее недоразумением. Канцелярия, мол, что-то напутала. Успокойте ее и относительно работы... Не говорите, что я это обещал, но на этих днях что-ни-

будь ей подыщется, я сговорюсь с одним моим приятелем...

Русаков, с трепетным напряжением ждавший, какое чутье обнаружит большевик, переступил на месте и помедлил задавать новый вопрос. Его тронула прозорливая отзывчивость Стебуна, повернувшего человеческое лицо к озлобленной женщине; с чуть закружившейся от тихого волнения головой он на мгновение надорванно отвернулся. По сердцу прошелся скребок горьких мыслей о самом себе. Остро вспомнился фронт.

Сдерживая голос и подчеркивая свою непричастность к тому, что решил Стебун, он спросил с осторожным возражением:

— Почему вы передумали? Выселить ее не так уж трудно.

— Дело не в выселении...

Стебун оглядел Русакова, остановившись на секунду, потом продолжал:

— Она теперь в таком положении, что от других зависит, озвереет она окончательно и станет на всех бросаться или сделается способной для общего дела ворочать горами... Огонь высекают из камня.

— Пускай бросается. Кому какое дело, что она будет беситься?

— Товарищ Русаков,—окидывая взглядом собеседника и будто проверяя себя, спросил Стебун,—вы беспартийный?

— Да.

— Это-то и плохо. В таком случае и дела будто ни до кого нет. Вы просмотрели много... Революция так перекрутила жизнь, что «никак» ни к одному человеку относиться нельзя стало. Теперь не то, что в старое время, когда люди жили вмолчанку и на-особицу. Война заставила надеть друг против друга намордники. Революция заставила разделиться на врагов и

друзей. И если захотите увидеть, то увидите: можно жить теперь, только не убегая от людей, а клубясь вместе с ними. Если к кому-нибудь не имеете сегодня дела, то завтра будете иметь сто дел. Равняйтесь на это и соответственно ведите себя. Не фыркайте, как жеманная барышня, на случайных встречных, а старайтесь раскусить их, и если человек ни то, ни се, ни друг, ни враг, то из полудруга сделайте его или другом или врагом. Ангела, если он ваш враг, уничтожьте. С самим волком, если он может быть вашим другом, вступите в союз. Вместе грызитесь за жизнь. Огонь высекают из камня...

Стебун посмотрел куда-то вбок. Кончил:

— Эта особа чуть не кусается сейчас, но она еще поработает с нами...

Встал снова, чтобы уйти, и подал руку.

— Скажите,—окончательно заинтересовался Русаков.—Ведь все равно с партией работают теперь все. Вот, скажем, я, непартийный, может быть, в душе только и жду гибели большевиков, но делаю же то, что мне скажут... Будет работать и Резцова за кусок хлеба, а вы до последнего дыхания и самой скрытой мысли нутро хотите и у нее и у всех обязательно перевернуть на свой лад, чтобы не только делали, но думали повашему. Не все равно разве, как в душе считают вас, допустим, спецы хотя бы или—карьеристов теперь много есть—шкурники?.. Работают, не поднимают голоса—и достаточно...

Стебун с усмешкой повел взглядом на собеседника и, держась за ручку дверей, остановился на мгновение.

— Скажите, товарищ Русаков, вы музыку иногда слушаете?

— Ну, как же!—согласился Русаков.

— Вот тут тоже «музыка»! Каждый солист-скрипач в оркестре делает два дела: вопервых—водит конским волосом по бараньей кишке, вовторых—разыгрывает музыкальную вещь. Получается толк. Хорошо... А что

если каждый музыкант будет только водить смычком по струнам, не думая о большем?

Стебун оставил ручку дверей и, возвратившись, присел.

Русаков даже отступил назад,—до того неожиданен был оборот разговора.

— Какофония хорошая получится!

— Ну вот... Те, которые работают вместе с советской властью, не веря в ее цели и отмахиваясь от коммунизма,—не играют... Они водят конским волосом по бараньей кишке...

У Русакова замер пульс на мгновение от жгучей ясности безоговорочного стебуновского ответа. Непримиримая формула острым клином вгрузла в душу. Колыхнулось чувство зависти к тому, что он, Русаков, не может относиться ко всему с такой зубастой прямолинейностью.

Благодарно потянувшись за рукой человека, разбередившего его затаенные думы, он вдруг задержал Стебуна.

— Знаете, товарищ Стебун, если бы вы положились на меня, комнату я добуду самое большее дня через три. Иначе меня будет совесть мучить, что из-за чужого человека вам придется еще куда-нибудь обращаться...

— А у вас что же, что-нибудь тут освобождается?

— Тут нет... Но я работаю в жилотделе и все жилплощади домов в районе знаю. Завтра же этим займусь.

— Я обожду,—сказал Стебун.

— Хорошо, хорошо... Я буду рад, что именно я вас устрою.

— Тогда я зайду... Когда вы рассчитываете выкроить мне?

— После завтра.

— Хорошо. До свидания.

Стебун ушел, а Русаков остановился, машинально водя себя по щеке пальцами правой руки и глядя на

дверь. Его лицо, давно уже так не прояснявшееся, на минуту посветлело. Но червяк глубокого и застарелого беспокойства тронул что-то больное на дне души, и комендант даже оглянулся, будто убеждаясь, что никто не видел проблеска честности в его глазах. Сжав сухо губы, он вышел из комнаты.

На следующий день Русаков с утра метался между райжилотделом и уплотняемыми домами. Перед обедом решил, не показываясь другим жильцам, проведать Калашникова.

Николай хозяйствовал в нижнем коридоре, дежуря возле своей квартиры. Метнулся в глубину ниши под лестницей, где приткнулся окликнувший его Русаков.

— Переехали!—оповестил он таинственно об ожидавшихся гостях.—Уже были в городе.

— А сейчас здесь?

— Здесь... Такая пара! Она только показалась—так жильцы, кому и не нужно, с коридора не уходят. Красавица—во всей Москве другой не сыщешь!

— Ну, ладно... Пусть хозяйствуют. Сказали вы им, что комнаты даются временно?

— Да, они говорят, что им и самим только неделю надо пробыть здесь.

И Русаков и Николай вдруг подняли головы. Сверху спускались постояльцы комендантской квартиры. Русаков подался дальше, в глубь ниши.

— Они!—шепнул Николай.

Русаков с жгучим любопытством воззрился на шедших к выходу приезжих.

Гости сошли с лестницы, направляясь к двери, и повернулись приэтом к окну.

Русаков вдруг сделал шаг вперед, но лишь качнулся и, опять отступив, сразмаха прихлопнулся спиной внезапно к стене, чувствуя, как бурно у него заколотилось сердце.

— А-а!..—чуть не вскрикнул он на весь дом, вперяя глаза в молодую, вышедшую с Придоровым женщину;

кровь бешено заколотилась у него в висках, в то время как он силился сдержать себя, чтобы ничем не выдать в себе безумного всполоха.

В спутнице человека, бывшего когда-то его начальником, Русаков узнал свою жену, Елену Дмитриевну Краль, которую он же, переживая первые месяцы любви, назвал нежно звучащим именем Льолы. И теперь, будучи уже не мастером в предприятии Электрической компании, а скрываясь под личиной советского коменданта и нося чужое имя, он не допускал мысли, что Льола для него может быть потеряна. Дни и ночи он комбинировал в уме, как избежать ответственности перед советской властью за былую принадлежность к ее врагам, найти забвение своим ошибкам, получить такое же право на жизнь, какое имеют все другие люди, и тогда явиться к жене.

Русаков несколько месяцев назад узнал, что Льола поехала в Одессу на должность учительницы, чтобы работать вместе с большевиками. И ребенок—сын—и она были здоровы. Казалось, что Льола стоит на том пути, который больше всего обеспечивает ожидание ею возвращения мужа. И вместо этого Льола оказывалась сожительницей Придорова.

И всякий другой человек на месте Русакова замер бы в оцепенении от неожиданного открытия. Однако, нельзя было выдать своих чувств даже в жалобном стоне.

Русаков собрал достаточно силы, чтобы с видимым спокойствием повернуться к Николаю, махнул рукой пирожнику и коротко сказал:

— Ладно. Управляйся тут с ними, Николай!

Но он почувствовал у себя на лбу холодный пот. Ему нужно было притворяться не знающим этих людей большевистским служакой, и он, с посильной выдержкой кивнув парню головой, оставил его, чтобы у себя в комнате отдаться своим мыслям.

Он заперся.

Мучительная тоска овладела им. Он вправе был считать себя жертвою всего того, что произошло. Но почему именно на него, более честного, чем многие другие, менее всех думавшего о своих шкурных интересах, обрушивалась так беспощадно судьба? Этот Узунов, например, редкий человек, но ведь, по существу, он избежал несчастий разве не потому только, что во-время всегда умел менять фронт? И не ругал разве он большевиков вместе с другими? Но он не лез на стену, не отважился открыто вступить в белые войска. И вот он счастлив и в почете. Сошелся с большевиками, работает с ними, пользуется у них как знающий специалист уважением... Ему, Русакову, это недоступно только потому, что он вместо пассивного брюзжания на революцию отдался борьбе с большевизмом. Или этот Придоров? Инженер без дарований и призвания, но втира, устраивающийся всегда на первоклассные должности, хапуга и рвач—он и теперь едва ли мог мирно относиться к большевикам, вероятно, срывал желчное злопыхательство в каждом упоминании о них, но жил же и он открыто, не только не прятался под чужим именем, но воскрес во всем своем великолепии более наглый, чем когда-либо прежде. Чем он мог подчинить себе Льолу, если не тем, что той некуда было больше деваться? «Но ведь у Льолы ребенок... Где он? Где Ленька? Неужели брошен? Или мать оставила его дома? Или умер он уже?»

Русаков не находил себе места, то бросаясь на диванчик и закрывая глаза, чтобы ни о чем не думать, то вскакивая и начиная тяжело мотаться из угла в угол по скрипящим и гнущимся под его сапогами половицам.

...А Льола? За тонкой перегородкой от него должна была находиться целую неделю эта дорогая для него женщина, когда-то любившая его, да и теперь, несомненно, попрежнему любящая, но скрученная лапами женолюба-хищника. И он, Русаков, чтобы не подвер-

гать ее из-за себя преследованиям власти, не может даже показаться ей... Да и зачем? Спасти ее от роковой запродажи своей личности Придорову? Предупредить о том, что жизнь с таким существом будет полна смрада? Поздно предупреждать, да и кроме того... «Хорошо!—скажет Льола.—С тобой мне лучше. Ты мой муж. Но дай мне место в жизни, сделай так, чтобы я была если и не счастливейшей женой пронырливого дельца, то и не несчастной попрошайкой, бьющейся по комиссариатам из-за права на свидание с тобой, когда тебя уличат, что ты не Русаков...»

— А-ах!..—простонал Русаков от ужала мыслей, которые, как горячий ветер, жгли голову.

Он мог, наконец, или отдаться ГПУ или, продолжая хранить ото всех тайну своего превращения из Лугового в Русакова, посвятить в нее только Льолу. Но в первом случае он немедленно же будет арестован. Льола, жена белогвардейца, без средств должна будет погибнуть или отдаться опять-таки тому же Придорову. А если открыться только ей, то долго ли эта тайна просуществует? Не кончится ли тогда дерзость совместной жизни с женой тем, что его разоблачение оттянется на месяц-другой, а затем его схватят? И обое станут в положение ответчиков перед властью?

«Нет, не давай воли своей горячности и не показывайся никаким, самым дорогим хотя бы для тебя глазам, Луговой! Ты не его высокоблагородие, врангелевский подпоручик... Ты большевистский комендант Русаков. Ты и в мыслях—не интеллигент, некогда студент Технологического института, а панибратский, разухабистый, с жиганскими ухватками бывший красный пехотинец-фронтовик. Может быть, даже махновец. Значит шапку набок, галифе пузырями—и баста! А что дергаются губы и звенит в голове—так это бабьи нервы! Жалко самого себя... Выпьем холодной воды!»

Русаков выпил воды, но губы дергались и дергались, а в голове звенело.

В соседней комнате было тихо, но Русакову казалось, что вот-вот там заходят, заговорят, и он услышит струнные звуки родного ему голоса.

Он внимательно осмотрел перегородку. Ведь можно не только слушать из этой комнаты, но и увидеть дорогую женщину.

И умиленная тоска надрывно, до жгучих слез, защемила в сердце мятущегося человека. Ненадолго ему будто стало легче.

Только ненадолго...

Ночь. Запятнанный потеками воды и забронированный в бурую штукатурку «Централь» занавесился где шторами, где газетами, выпятил под газокалильный фонарь нищенскую внешность своего фасада с рваным железом труб и карнизов.

Дежурит Николай до двенадцати часов, когда можно запереть подъезд. Шумит в квартире Файна что-то не поделившая детвора. Вышла гулять парочка из одной квартиры. Пройдет то один, то другой в уборную.

В комендантской квартире не спят тоже. Льола возвратилась из города со знакомой. Придоров в городе.

Женщины с полчаса разговаривают, и подруга уходит. На несколько минут стихает, а затем Русаков слышит, что женщина переставляет что-то на столике.

Русаков повернулся на койке и, приподняв голову к выломленной под листом обоев драночке, сквозь щель нашел горячечным взглядом молодую женщину.

Льола задумчиво остановилась возле постели, оглянулась на окно и потолок, встряхнула головой и начала стелить постель.

Постлав, посмотрела на часы.

Опустилась на стул, обняв колени руками, и снова задумалась, терпеливо чего-то ожидая.

Русаков сдержал дыхание в готовой разорваться со стоном груди.

Его жена была так трогательно одинока в эту минуту, ей он был обязан в недавнем прошлом таким счастьём, что казалось величайшим святотатством не рвануться неожиданно к ней и не унести ее за тысячи верст от этого полупритона.

...Или решиться на это? Или махнуть рукой на все, что бы потом ни сталось и с ним и с ней?

В коридоре застучали. Льола торопливо поднялась и сделала шаг к двери.

До сих пор еще Русаков ничем не выдал того, что в его комнате слышно происходящее у Придоровых. Когда явился мужчина, он решил сделать соседям предупреждение. Звякнул замком, делая вид, что входит в номер, заскрипел дверью, передвинул стул и стукнул книгой. Начал ходить по комнате. Оставалось только взять себя в руки и ждать, пока кончится мука ощущения близости этих людей.

Русаков провел ночь в горячечных думах. Осунулся, еще глубже ушел в себя. Утром пошел добывать для Стебуна комнату. После этого направился в райжилотдел, и здесь его нашел Узунов.

Осоветившийся инженер чувствовал себя не очень спокойно, вникая в дела подозрительного «Централя»; он узнал также, с кем приехал Придоров, и теперь спешил оправдаться перед Русаковым. Пришел в жилотдел, узнал, что комендант «Централя» должен притти сюда, и с утра ждал его.

Увидев, взволнованно потянул Русакова в угол коридора.

— Слушайте, вы видели?.. Знаете уже?

Русаков безмолвно кивнул головой.

— Хоть верьте, хоть не верьте—мне и в голову не

приходило, что так получится!—совсем растерялся Узунов, останавливаясь и хватая Русакова за руку.

Русаков молча согнулся и, не находя слов, с тяжелым чувством пристукнул несколько раз носком сапога по половице.

Узунов продолжал растерянно держать его руку.

— Зачем они приехали?—тихо спросил Русаков.

— Она вышла за него. Но, видно, думает о вас и наводила справки о взятых в плен и раненых врангелевцах в Реэвакуационной комиссии и в Красном кресте. У него—свое. В Одессе организуется хлебоэкспорт, и он в качестве какого-то посредника.

— Так... Справка?.. Что же ей сказали там о Луговом?

— Погиб, считают. Нет ни в списках пленных, ни среди убитых.

— Погиб?.. Пусть так и будет.

Русаков собрался с силами, чтобы по кусочкам оторвать от сердца еще один вопрос.

— О ребенке... Льола ничего не говорила?

Узунов потрясенно отвернулся. Решил, однако, не скрывать и, предупреждающе угрюмо сдвинув брови, придвинулся, чтобы бросить в упор короткие слова:

— С ребенком разделался Придоров. Сдал в детский дом. Льоле только горничная сказала, в какой именно. Конечно, Придоров считает, что с мальчиком все будет кончено.

— А-а...

Он болезненно сжал губы и попросил:

— Узнайте у Льолы адрес дома, Яков Карпович.

— Льола говорила: в Одессе, третий дом Охматмлада.

— Пусть и это так будет...—мог только принять на себя последний удар изничтоженный Русаков.—Эх, жизнь!

Он отбросил от себя носком сапога валявшийся на

полу окурок, еще раз нагнулся, а затем, сдерживая в горле какой-то комок, попросил надрывисто:

— Ничего, ни звука пожалуйста не пророните ни ему, ни ей. Спасибо, что беспокоились. Хотел бы я счастья и себе и Льоле, но вышло иначе... Всего хорошего, Яков Карпович. Боюсь, чтобы Придоров не кончил какой-нибудь гадостью с Еленой Дмитриевной.

— Ах, это же животное! Это же животное! Что понудило Елену Дмитриевну?..

Узунов негодующе тряхнул рукой, снова взялся за локоть Русакова.

Русаков махнул рукой и тяжело отвернулся, оставляя сочувственно застывшего на нем взглядом Узунова.

Филипп Кердода—секретарь ЦК Союза горняков, член Комиссии по социальному законодательству при Малом совнаркоме и член Агитпропколлегии Главполитпросвета. Юношей он был шахтером в Донбассе, но потянулся к революционной деятельности, и тогда же партия послала его за границу слушателем в партийную школу на Капри. Самодержавие отличило его в свою очередь и погоняло когда-то по Нарыму.

Теперь и то и другое—дела давно минувших дней. Кердода свое прошлое помнит, но кайлит уже не по забоям рудников, а по пластам государственных дел.

Стебун выдвигал Кердоду в свое время для посылки в школу. Во время войны они встретились и вместе организовывали большевистскую группу в Иркутске.

Бывший горняк попался первым Стебуну, когда он, оставив свои вещи на вокзале, заявился в ЦК. Оба встретились в орготделе, куда Стебун зашел сообщить о своем приезде, а Кердода пришел хлопотать о предоставлении союзу нескольких работников для отправки на места.

— А Стебун!

— Кердода!

Шахтер—губастый парень с большими ноздрями и отекшими глазами. Ворочается, словно отодвигает постоянно от себя наседающую на него толпу. Резко бросается тяжелыми словами: задаст вопрос, словно дернет кочергой, и вызывающе ждет ответа.

— Ты в Москву совсем?

— Не знаю...

— Пойдем, вместе пройдем до угла.

— Да мне комнату еще надо добыть.

— Ты без квартиры? Не добудешь сейчас, все равно. Иди в губком, там это дело устроишь скорей. Везде теперь делегаты Коминтерна.

— А если в губкоме то же?

— В губкоме просторней. День-другой обождешь и получишь...

— Это наверно?

— Наверно.

Стебун обернулся к секретарю орготдела, белолицему парню в матроске и флотской фуражке:

— Ночовку хоть на сегодня не устроите мне?

— Нет, товарищ. Все общежития распределены, и койки розданы.

Стебун пожал плечами и притулился к Кердоде, чтобы итти с шахтером на улицу. Взял горняка за руку.

— Ну, Филипп, ночую у тебя.

Кердода и сам видел, что у Стебуна остается только этот выход, но, выразив кивком головы согласие, он озабоченно раздул ноздри. У него в доме ералаш тесноты, как и у большинства партийцев, независимо от того, какие бы они посты ни занимали. Стебун и сам знал, что пустить при теперешнем жилищном кризисе кого-либо на ночовку—это все равно, что дать заглянуть постороннему человеку под свою семейную кровать. Но Кердоде гость был кстати.

— Ладно... Я дома напущу туману, будто ты приехал из заграничного подполья. Моя шатия любит всякие геройства. Наплету, они за тебя ухватятся и не

будут приставать ко мне. А то, знаешь, у меня неустойка. Завтра у ребят в комсомольском клубе собрание, и они хотят заставить меня делать им доклад. А я и так каждый день к вечеру балда балдой делаюсь. Уважишь, пока не замотали тебя здесь?

Стебун понял, что перегруженный Кердода рад счастливому случаю отделаться от лишнего выступления и не стал возражать против немедленного митингования перед ребятами.

— Ладно. Когда приду, сговоримся. Ты в каком доме живешь?

— В первом. Если придешь рано да никого не застанешь, возьми ключ у швейцара. Я дам тебе записку...

Стебун побывал еще в двух-трех местах, но ночовки такой, где мог бы переночевать никого не стесняя, не нашел и перед вечером направился к Кердоде.

У Кердоды—квартира. В одной комнате спальня, в другой—заведение для явки знакомых с диваном, сейчас же отданным на прокат Стебуну, наконец в третьей—штабквартира для своих и чужих комсомольцев.

Кердода показался только для того, чтобы напиться чаю, а затем ушел куда-то заседать. Он, однако, своему домашнему молодняку успел изобразить, как обещал, Стебуна в качестве конспиратора-профессионала, по заданиям Коминтерна работающего где-то чуть ли не в Индии.

Стебун и не подозревал, что этой версии было придано серьезное значение, но о своем выступлении на комсомольском собрании сговорился.

Следующий день он начал опять с поисков комнаты. В губкоме его решили устроить в «Централе». Вечером Стебун разыскал коменданта «Централя», но после того, что узнал здесь о предоставлявшейся ему комнате, сам отказался от нее.

Непосредственно после разговора с Резцовой и Русаковым Стебун пошел в комсомольский клуб.

В клубе единственный вопрос собрания—международное положение и задачи Коминтерна. Стебун сделал доклад, а потом комсомольцы окружили его, и на несколько минут он оказался за столом с ребятами.

— Товарищ докладчик, вы приехали на конгресс Коминтерна?

— После конгресса поедете опять за границу?

— Скоро там рабочие устроят что-нибудь?

Десятка полтора клубных активистов-комсомольцев наседали на стол, подступали к Стебуну. Между ними были ребята Кердоды—Гаврик и Люба. Стебун понял, что небылой наговор о его появлении из заграничного подполья заинтриговал ребят и, подстегивая их на откровенность, решил с своей стороны испытать комсомольцев и немного помистифицировать их.

— Что ж заграница...—критически стал он «откровенничать»,—я приехал не столько из-за конгресса, сколько за подкреплением... На подпольную деятельность там отваживается мало кто. А нелегальные ячейки необходимы везде. Сколько уже побегов нашим товарищам можно было бы устроить, будь хоть небольшие наши группы в подполье. Русские добровольцы работают, но их везде мало. Я приехал с намерением обязательно набрать туда побольше дельных товарищей. Вот если есть у кого охота под носо́м у буржуазии натворить делов побольшевистски, заходите ко мне, поговорим...

Русапетый юноша вхутемасовец, сдавленный с одной стороны Гавриком, а с другой—комсомольским районщиком в пенснэ и с папкой—Чуниным, почти влез на стол, порываясь высказаться, и увлеченно сблажил:

— Вот бы мне поехать!

Лобастой головой закрыл от глаз Стебуна половину помещения.

— Что ж, поедемте, если надеетесь на себя!—предложил Стебун.

— Поедет—кто? Яшка Зверев? Не трепись, бузило!

Сразу несколько друзей вцепились в большеголового вхутемасовца, и он оказался на полу.

Как-то остолбенело застыл взглядом и на вскипевших товарищах и на Стебуне растрепанный, в большом, почти до пяток, расстегнутом пальто типографский фальцовщик Ковалев.

Ковалев полуиронически оглядывал шумевших товарищей, а про-себя что-то зверски соображал и только ворочал из стороны в сторону выжидательно головой.

С обоих боков Стебуна на стол сразу выдвинулись серьезно-строгая, доверчивая простушка Люба и проказливая, с чортиками насмешки в глазах, телефонистка из райкома, подруга Любы, Рита Кольцова.

— Вася Чунин поедет! Вася Чунин поедет!—взвизгнули они одновременно, подстрекая того, кто, по их мнению, должен был проявить первенство в героизме.

— Езжайте, если вам не терпится! Что вы посылаете других!—рассердился районщик.—Это делается не с бухты-барахты, а мобилизации на то существуют.

— То мобилизация, а это добровольно: идет, кто хочет!

— Ну, и пойдет, кто хочет. Я в райкоме скажу об этом прежде...

Комсомольцы разгорелись.

Кое-кто из них, несомненно, про себя решил поговорить со Стебуном всерьез о своем согласии, но каждому хотелось прежде пощипать в словесной схватке своих внешне более малодушных товарищей и похвастать собственной скороспелой отвагой.

Достаточно Стебуну было бы только упрекнуть ребят за колебание, и большинство их, бросив споры, пошли бы, куда он им предложил.

Стебун посветлел. Разболтавшиеся внутри, как в барабане, булыжники душевных встрясок отлегли от сердца. Он не стал вмешиваться в спор, с сочувственной усмешкой поднялся, сказал: «Пока до свидания!»—и вышел.

Он решил итти в комендатуру ЦК добыть себе там ордер на ночовку в любом общежитии или переночевать в самой комендантской дежурке. Еще раз мешать Кердоде отдыхать дома он не хотел. Сговориться с кем-нибудь из других московских товарищей за день ему не удалось.

Он вышел на улицу и, тулясь к стенам домов, зашагал к Воздвиженке. Тотчас же он услышал, что его сзади кто-то догоняет и кличет:

— Товарищ! Товарищ!

Стебун стал и оглянулся. К нему спешил сигавший в болтающемся пальто фальцовщик Ковалев.

— Я хочу поговорить с вами.

— Пожалуйста! Пойдемте.

Ковалев сунулся козырьком кепи в плечо Стебуну. Черный лохмот его тени, фантастически трепыхаясь, прыгнул из-под ног на дома, захлестнув на окнах световые блики фонарей.

Он заспешил объясняться:

— Я хочу сказать вам, что я согласен ехать куда хотите. Хожу на парах от горячки к настоящему делу. Кто другой поедет или нет, а я готов! Те, что задавались в клубе, большей частью все уже женаты и деятели... Один—районщик, другой—активист, без третьего никакая вода не сварится. Один я ни в райкоме секретарь, ни в войске барабанщик. Одна мать, да и та спекулянтка. Торгует чулками исподтиха, и никак не отучу ее, чтобы не возилась с краденым. Все ломовики и грузчики таскают ей добычу. Засыплется, так и я не отговорюсь перед райкомом потом. Говорите сразу, что мне делать, чтобы вы взяли меня с

собой. У нас везде работа теперь есть только деятелям...

Стебун невольно обернулся. Заявление парня заставило его сделаться серьезным. Он всмотрелся в комсомольца и, минуту помедлив, остановился с сочувственным беспокойством.

— Ваша фамилия Ковалев? Где вы работаете, товарищ? Где живете?

— В типографии, фальцовщик... А живу на Калужской, у заставы.

— Давно в Комсомоле?

— В Комсомоле недавно. Но живу в одном доме с коммунистом, фельдшером из больницы, и у него напрактиковался политике. Субботники вместе устраивали когда-то. Клуб я помог ему организовать...

— Значит вы готовы ехать?.. Знаете, товарищ Ковалев, насчет поездки—это я сочинил. Хотел посмотреть, как ребята к этому отнесутся. Я и не был за границей. Я приехал с Украины, моя фамилия Стебун.

— Вы сочинили?

— Да.

— Так... И ни вы, ни кто иной не набирает для заграницы подпольщиков?

— Нет.

— Тогда так... Извините! Я думал—это серьезно. Жалко!

Комсомолец опешил.

Стебун взял его крепко за руку.

— Вы не сердитесь, товарищ Ковалев, наше знакомство еще нам пригодится. Ничего, что не поедете. Пока живите попрежнему и не отставайте от Комсомола. Что ваша мать отличается—это к вам не пристанет. Может быть, как-нибудь прижмете. А затем зайдите, если вам что нужно будет, ко мне, поговорим еще об этом. Может быть, в Москве придумаем работу еще благодарней всяких заграничных похожде-

ний. Я теперь буду работать в Москве... Постарайтесь меня разыскать потом.

— Хорошо, до свидания!

— До свидания, товарищ Ковалев!

Стебун и комсомолец дружески расстались. Стебун зашагал быстрее. Через двадцать минут он был у здания ЦК.

Ни где-либо в общежитии, ни в комендатуре ЦК Стебуну ночевать не пришлось. У самого порога комендатуры он встретил сопроцессника по одному из своих дел перед царским судом и соратника по боям в гражданской войне—рабочего Александра Шаповала, только что приехавшего в Москву по хозяйственным делам с Северного Кавказа и подобно Стебуну пришедшего безрезультатно в комендатуру, чтобы получить ночовку.

Товарищи поздоровались, посмеялись над своим положением, а потом Шаповал предложил:

— Завтра устроимся где сможем днем, а сегодня делать нечего... Идем, переночуем на вокзале в теплушке у Кровенюка.

— А это кто такой?

— Га! Чудородная халява одна. Считает, что, не будь он командиром где-то на Дону, Деникин взял бы Москву. Приехал доказать здесь всем, что если его не ввести в Реввоенсовет республики, то при первой же вспышке контрреволюции нашему брату обязательно капут.

— Чудак! А откуда теплушка у него?

— Теплушка, брат, у него, говорит—своя! Забронировал себе еще с фронта для путешествий и расставаться не хочет. Главковерх прямо! Если ему не понравится, что пришли, выставим его под его собственный вагон и будем спать.

Делать было нечего. Стебун решил основаться пока в теплушке.

Кровенюк оказался безобидным, но надутым от воображения о собственных военных заслугах лоботрясом, в новеньком обмундировании.

Стебун завел теплушечное знакомство и критически насторожился. Кроме собственной теплушки у Кровенюка пулемет. Эту угрозную цацку скороспелый командир, оказалось, везде, как цепного пса, возил с собой тоже как собственность. И обслуживал Кровенюка вестовой, хитрый парнюга, видно, отлично обделывавший свои дела.

Стебун ограничился в первом разговоре с Кровенюком одною, двумя фразами официальных перемолвок, но услышал из отдельных сообщений бычковатого юноши об Одессе и о каком-то его сродстве с Диссманом. Тогда у него в уме мелькнуло что-то уже более определенное о личности нового знакомца. Стебун замкнулся. Кровенюку в этот день не повезло. Он был в Реввоенсовете, и там его кто-то окатил. Шаповалу Кровенюк излился:

— Я ехал в Военную академию... Узнал, что хотят поставить учение здесь. Явился в штаб, думаю, коммунисты—знатоки фронта нужны, а мне предлагают учиться у специалистов. Да еще, если не захочу,—говорят, что назначат завхозом на склад... Знаете, товарищ Шаповал, я это все переделаю посвоему.

Шаповал сделал вид, что придает этому обещанию значение не шуточное.

— Как же?

— Так. Я после конгресса поеду отсюда в Ростов, и меня там назначат куда-нибудь военкомом. Побуду здесь только, пока кончится конгресс.

Шаповал не думал, что с Кровенюком, как военкомом, ему придется тоже иметь дело, и снисходительно пожелал:

— Катайте!

Стебун скептически молчал. Он дождался, пока Кровенюк вышел из теплушки ненадолго.

— Ты что, на Кавказе теперь? Женился?—спросил он приятеля.

— Почти на Кавказе. Хотел отдохнуть да попал из огня в полымя. Подымаю завод. Перетряхиваю организацию.

— Лечишься?

— Какое лечение!—возмутился Шаповал.—Ты лечишься? На жену слазить нашему брату некогда, а мы будем полоскать себе живот всяким пойлом, гулять по курортам, да дело бросим. Скажи лучше о себе. Ты только что приехал. Москву уже видел?

— Да что в ней? Воробятня, если не считать пролетариата. Много полевой птицы на крышах, а на улицах—ухабов.

— Нет, не говори! Я сразу увидел: она, старенькая, того... обновляется! Нэп, знаешь, в ней, и красная столица она. Ты не той стороной смотришь. Посмотри-ка на нее без кандибобера...

— Посмотрю!—усмехнулся Стебун.

У него на душе было свое. Он и Шаповал были единомышленниками-протестантами в вопросе о заключении Брестского договора. Вместе бунтили против решения, восторжествовавшего тогда в партии, сговоренно выступали. Теперь Стебун не знал, какой дух у Шаповала, и решил проверить.

— Что, Александр, а не считаешь ты, что боком пойдет у нас дело после того, как заболел Ильич?

Шаповал встрепенулся настороженно. Что-то учуял в вопросе и, не двигаясь с шубы, на которой лежал, медленно предостерег:

— Ты что, насчет централизма и дисциплины?

— Неровно, помоему, прыгаем мы как-то...

Шаповал решил:

— Пустяк! Станешь опять центровиком, начнешь орудовать и об этом думать перестанешь. Годика через три мы, брат, сами себя не узнаем...

Оба смолкли, каждый со своими думами. Потом улеглись прочнее и заснули.

Прошла ночь.

Стебун видел и сам, что Москва обновляется.

Еще пару дней он был без пристанища и ночевал у Кровенюка, в то время как Шаповал нашел себе приют в городе у товарища.

Эти дни были днями подготовки и открытия заседаний конгресса. Деятелей партии встретить для того чтобы говорить о всяких случайных делах было безнадежно, и поневоле приходилось мотаться из одного места в другое. Тут и примечалось обновление Москвы.

Человек—существо скоропортящееся. Давно ли улицы столицы, в домах которой каждый торговец подделывался под «трудовой элемент» и не высовывался наружу месяцами, поражали своей пустынностью? Теперь все это как рукой сняло, потому—нэп, свободная торговля, нетрудовой элемент почувствовал право на дерзостное овладение улицей.

Стебун покрякивает, глядя на них. У него в душе еще саднит тяжесть разразившейся в личной жизни трагедии. К ней тянутся колкие жала его отцовской памяти, парализующие активность.

Холодным булатцем скрещивается с ними острая воля.

Магнето ума бесперебойно пульсирует.

Надо все забыть, начинать сначала—жить еще полжизни.

Уже приобретение комнаты оказалось сложным делом, а затем предстояло несколько обязательных явок. В райкоме предложили ему прикрепиться к ячейке. Надо было добыть билет, чтоб побывать на конгрессе, сговориться о работе для Резцовой, чтобы спасти для

советской власти недурную работницу. Вырешить вопрос о себе.

В один день—одно, в другой—другое, и концы с концами сводятся.

Меж делом Стебун наблюдает пестрый людняк Москвы. Смотрит, как из мелкой крупки грошевых страстишек и пятачковых интересов людей складывается такая большая и упрямая суета, что у каждого от нее начинает течь сок.

Первое время это было так странно, что ему казалось, будто все люди зацепились в Москве только проездом, а он один обосновался здесь понастоящему.

Стебун не знал, обновление ли это, но видел, что Москва на взводе, будто хлебнула крепкого меда.

Проходил по излоскутенной площадями Моховой и замечал: каждый рабфаковец так профессорски разговаривает с товарищами и так учено морщит лоб, словно под его кепкой не ребячий чердак, а мудрость архимедовского глубокомыслия. А среди самоуверенных вхутемасовцев и толкотливых вузовцев потухающим огарком жмется скромная фигура всероссийски известного естественника; с вынужденными остановками делает перебежку к университету прославленный академик, маневрирует через людской поток и Стебун, которому толпа обталкивает бока, как тротуарной тумбе.

Стены домов еще позаляпаны везде пластырями клейстера и обрывками плакатов, бросавшими недавно жгучие зовы массам. Но уже на Петровке показался нэпман и только оперяется еще после передряг революции, но уже свои позиции предугадывает. Здесь кафе проектируется, там Мосторг, там пассажи, казино...

На улице и разговор:

— Будет ли казино настоящее?.. А в кафе и певицы будут?

И священнодейственно настраивающиеся дельцы прощупывают углы будущих магазинов, считают в помещениях окна для предполагаемых витрин.

Иная картина по Тверской, от Охотного Ряда до Страстного монастыря. Здесь—несколько известных далеко за пределами Москвы литераторских клубов. Магазины книжные и канцелярские, частью еще закрытые и пустынные, частью уже разворачивающие торговлю. Много общежитий для местных и приезжих ответственных работников, гостиница для иностранцев. Театральные студии.

Поэтому здесь крупное, общероссийское, даже мировое, господствует.

У Стебуна больше всего дел на Тверской.

На следующий день после встречи с Шаповалом он сговаривался в Главполитпросвете по поводу Резцовой. Оттуда зашагал в столовую пообедать и, выйдя с угла Большой Дмитровки, увидел: Дом союзов опутан веревками, обставлен лестницами; несколько группок рабочих разворачивают и пристраивают к фасаду дома батареи ламп и полотнища приветствующих открытие конгресса плакатов, а в подвижной досчатой зыбке, подвешенной для подъема рабочих, торчит жестикулирующая фигура облезлого начальственного юноши в коричневом подбитом «ветром» пальто и в шляпе.

Стебун с веселым чувством остановился, узнавая в этом юноше товарища Нехайчика.

Нехайчика,—южанина, щетинщика, поражавшего своей способностью проделывать изумительное насилие над русским языком, который он отчаянно коверкал,—по партмобилизации прислали на южный фронт для политической работы. Стебун, тогда член Реввоенсовета, командировал юношу в один из перебрасывавшихся с участка на участок отрядов политпросветчиком.

Нехайчик ужасно пересиливал себя, принимая фронтовую командировку, и не скрывал, что боится быть убитым. Но для уклонения от работы в отряде не только не воспользовался никаким предлогом, а наоборот, поразил политкомов и своей собственной отвагой и неотступным подвинчиванием мужества красноармейцев. Во всех боях, обнаруживая непроизвольно боязнь, лишь только начиналась стрельба, Нехайчик поднимал воротник дырявенькой партизанской куртки, защищая им на всякий случай от пуль затылок. Но чем живее шла перестрелка, тем больше он входил в азарт, возбуждался, а потом, улучив момент, вдруг вскакивал, вопил на всю цепь: «Вперед! Вперед!»—и наудачу, без прицела стреляя перед собой, заставлял бежать на неприятеля и цепь, что бы там впереди ни происходило.

Полупартизаны отряда после одной человекоубойной переделки с белыми стали щеголять Нехайчиком.

Этот боязливый, облезлый, прикрывавший воротником от пуль затылок ремесленный подмастерье понравил всем своей буйной запальчивостью.

Однажды, в разгаре боя, когда в цепях белых обнаружилось какое-то сомнительное колебание и командир советского отряда приостановил стрельбу, разбираясь в том, что затевает неприятель, Нехайчик вдруг решил, что сейчас-то и время бить белых. Вскочил и, крикнув: «Отступают, отступают! Ребята, вперед! На белых, братцы!»—он поднял на ноги всю цепь и ринулся вперед с красноармейцами, заставив последовать за отрядом и командира.

Наэлектризованные красноармейцы, не чувствуя встречного огня, неслись с пальбой и победным воплем туда, куда бежал Нехайчик. Пять минут—и они были на растерянно оставленных белыми позициях. Но бой еще был не кончен. Может быть, надо было бы остановиться и осмотреться, но Нехайчик, увидев впереди цепь, закричал опять: «Вперед! Вперед!» Он гнал

перед собой какого-то детину, подталкивая его сзади штыком, и то выглядывал из-за него, чтобы выпалить в вражескую цепь, то снова подгонял колючкой штыка попавшего в его руки несчастного. Так и бежали они, пока детина не бухнулся, скошенный пулей, после чего растянулся, прячась за его труп, и Нехайчик.

Оказалось, что он подцепил обалдевшего от натиска красных и притаившегося среди убитых казака и решил использовать его, как щит, от неприятельских пуль.

Красные выиграли этот бой окончательно, и Нехайчик прославился по всему фронту.

Теперь этот бывший фронтовой дебошир азартно колебал под собой зыбку и вкладывал душу в планировку развешивания плакатов.

Нехайчик, увидев Стебуна, запрыгал в зыбке, загорелся нетерпячкой желания броситься к товарищу, крикнул, чтобы его спустили, и выскочил на тротуар.

— Товарищ Стебун!—подбросил он руки вверх и схватился радостно за Стебуна.—С Украины? Для конгрессу приехали или совсем у Москва будете работать?

— Буду в Москве... А вы тут?

— Тут, и хочем делегации Интернационала показывать, что в Москва не такая постоялка, куда не ткнется никаково коммуниста, а отечество всякому представителю угнетенных. Понастоящему встретим!

Встреча, действительно, должна была быть парадной. Надписи приветствий на всех языках мира реяли на флагах и переплетали лентами дома центральных учреждений. Вечером эти дома должны были быть иллюминованы.

Стебун знал, что если бы он встретил Нехайчика прежде, то ему не пришлось бы мудрить над вопросом о ночовке. Нехайчик пустил бы к себе и не почувствовал бы никакого стеснения. Жена Нехайчика тоже

где-то работает, двое предоставленных самим себе детей щетинщика общительно липнут ко всякому человеку, если это товарищ. Говорится у него в доме только о предстоящей мировой революции и об окончательном свержении буржуазии. Впрочем, Нехайчик заражал все вокруг себя своей верой в конечную победу пролетариата так, что у него и кошки в коридоре привыкали мурлыкать «Интернационал». Непосредственность щетинщика всякого трогала и заставляла прощать ему его нелады с русской речью.

Стебуну нужно было только поздороваться с Нехайчиком. Он узнал, что щетинщик заведует Культпросветом союзов. Поговорили. Нехайчик сообщил в заключение:

— Знаете, здесь работает и товарищ Статеев.

Стебун заинтересовался. Статеев—петроградский комитетчик, рабочий, был членом реввоенсовета одной из армий Южфронта. Не в пример бесхитростному и постоянно энергичному вояке Шаповалу, Статеев отличался неровностью своей надломной и дергающейся от одного дела к другому силы. Однако уважал Стебуна и в критические минуты действовал с ним заодно.

Стебун неопределенно повел плечом.

— Где он?

— У Губрабкрине, заведующий.

— Увижусь с ним...

У Стебуна раньше не было твердого намерения относительно того, чтобы оставаться именно в Москве. Но большая часть его друзей и знакомых оказывалась здесь. Здесь же работали и все наиболее видные представители установившегося курса в партии. Лучшей обстановки нельзя было найти ни в каком другом месте, чтобы выяснить, понастоящему ли складывается партийная жизнь.

Стебун решил еще раз из Москвы не двигаться.

Русаков принудил самоуплотниться торговца Файмана в доме, соседящем с «Централем», и предоставил Стебуну комнату в его квартире. Стебун вселился в нее, и следующий после переезда день решил посвятить сговору с руководителями партии о своей работе.

Собрался в один из советских домов. Но по дороге увидел несколько переполненных делегатами Коминтерна грузовиков и автомобилей, катививших к Кремлю, и сообразил, что начались заседания конгресса Коминтерна; решил и сам отправиться в Кремль.

В парадном зале одного из кремлевских дворцов— встреча представителей революционного пролетариата от шести десятков стран, государств и народностей. Стены дворца гудят сговором о маневрах революционного движения по всему миру. Кремль салютует штабу пролетарского Интернационала лозунгами красных знамен. Большевики, из которых многие могли покинуть свои страны, лишь прикрывшись чужим именем, небрежно топчут дворцовые ковры и размещаются в креслах, употреблявшихся лишь в особых случаях царских приемов. И гудит предтечный говор мировой революции в рокотных. речах делегатов. На цыпочках прислуживает выпускающий за дверь прошлое и впускающий будущее старый швейцар жизни— время. Блестят на столах машинки, приготовленные для записей исторических решений штаба Коммунистического интернационала.

Стебун вошел во дворец и очутился в зале.

Группа лиц, руководящих Российской секцией Коминтерна, заняв перед открытием заседания позицию поблизости от стола президиума конгресса, обменивалась приветствиями с цепляющимися за них на ходу иностранными товарищами.

Ладо, ученик и соратник Ленина, прячет в щетках усов и косяках кавказского лица невыцветающую загадочную усмешку. Он знает, что кое-каким делега-

циям, намеревающимся заразить Коминтерн горячечным путчизмом и заранее храбрящимся, уготован бесславный провал. Дружелюбными поворотами глаз и головы он встречает и провожает здоровающихся и проходящих мимо соратников, обменивается замечаниями с Тарасом и Лысым о кулуарной схватке между французско-итальянскими экстремистами и германской делегацией, стоит в крепко застегнутом френче и впитывает в себя рывки впечатлений от того, что происходит в расположившихся уже за столиками, в проходах и у окон группках делегатов.

Тарас отдельными замечаниями характеризует настроение этих групп.

— Дуются наши левые!—обличает он насмешливо двух прошедших вожаков французских экстремистов.

— Нэхай... Выдуются!—отвечает Ладо, не затрудняя себя перед близкими товарищами обязанностью говорить без характерного кавказского акцента.

Тарас—моложавый мужчина с большой обритой и оструганной головой и с вывернутой немного наружу губой и крутым носом. Он—бывший провинциальный работник, но с начала революции бессменно работает при секретариате ЦК.

Лысой руководит правительственной работой верховных органов советской власти. Богатырского роста тяжеловоз с багажом многолетнего образования и россыпью знаний, но со столь популярной всюду, редкою для большевиков склонностью к некоторым сортам напитков, что любители веселых компаний и пирушек в Советской стране в его честь и по его имени называют везде шкафы с выпивкой и буфетные лари—уголками имени Лысого.

На конгрессе Лысой должен был делать доклад как единомышленник Ладо и Тараса. Кроме того он, Тарас и Ладо были друзьями по личным отношениям. Разговор перед заседанием свел эту тройку вместе.

Тарас, оглядывая зал, увидел вдруг среди вошедших Стебуна и живо указал на него Ладо и Лысому.

— Стебун. Вероятно к нам направится.

— А, Стебун приехал!—узнал и Лысой.

Ладо успокаивающе кивнул головой.

— Он здесь уже несколько дней, хочет остаться в Москве. Что ему сказать?—настаивал на том, чтобы сговориться с Ладо, Тарас.

Ладо терпеливо повел плечом.

— Пускай остается!

— А склоки не разведем мы с ним тут? Он ведь на Украине загибал...

Лысого не беспокоило появление нового лица. Он рассудил с благодушной ленцой:

— Крученая и перекрученная левая оппозиция! Давайте оставим его, если Ладо не боится, что будет хуже... Слон!

Тарас беспокойно намекнул Ладо:

— Тогда ему ведь Ильич провел откомандирование из Москвы.

Ладо утвердительно кивнул.

— Знаю. В Москве не ладил, на Украине гнул свое, на фронте допустил грызню. Но работник. Чем гонять куда-нибудь—оставим. Под рукой лучше его рассмотрим. А потом видно будет...

Тарас перестал возражать.

— А где мы его используем?

— Скажем Захару, чтобы поговорил. Нэ районщик. Можно дать выбрать ему, чего он хочет. Захар поговорит—и решим.

Стебун, действительно, намеревался пройти к разговаривавшим. Но, увидев среди центровиков Тараса, он на мгновение остановился. У него не возникало никакого сомнения в том, что Ладо не только не поколеблется оставить его в Москве, но сейчас же поставит его на равную ногу с собой и со всеми своими ближайшими соратниками для участия в верхов-

ном руководстве партией. Неприятная мысль о том, что Тарас попытается расстроить эту желанную перспективу, несколько поколебала уверенность Стебуна.

Между Тарасом и им установились неискренние отношения еще со времени, когда оба они оспаривали первенство на руководство партийной организацией в одном из областных центров.

Стебун тем пристрастней относился к своему сопернику, что Тараса в центре скоро оценили, и тот взят был для работы в Москву.

Чувство этой старой личной неприязни необходимо, однако, было заглушить в себе, только бы не упустить случая договориться с Ладо о своем положении. Поэтому Стебун, помедлив мгновение, направился прямо к группе партийных вожаков.

Внезапно очутившись перед товарищами, он почувствовал, что они говорили о нем, и это как будто подтвердило его подозрения о том, что Тарас настроил против него Ладо и Лысого.

Он поздоровался почти недружелюбно.

Все шевельнулись навстречу подошедшему.

— Я к вам,—кивнул головой Стебун.—В ЦК я был и оставил там записку. Вы говорили обо мне? Хочу остаться в Москве. Прикиньте так, чтобы не пришлось куда-нибудь опять мне ехать...

— Говорили, кацо!—подтвердил с дружеской улыбкой Ладо.—Надумали про Москву? Что ж, оставайтесь, нашего полку прибудет.

— Это решено?

— Да.

— Зачисляем тебя в нашу общую столовку на казенные хлеба с завтрашнего дня, и начинай орудовать!—поощрил прибывшего Лысой.

Стебун знал, что открытие заседания помешает вести разговор, и спешил узнать главное.

— Как мне оформить мое оставление здесь и с кем сговориться о работе?

Стебун остановил вопросительный взгляд на рассматривавшем его с дружественной улыбкой Ладо, который вместо ответа перевел в свою очередь вопросительный взгляд на Тараса.

Тарас с улыбкой объяснил:

— Вам нужно к Захару в губком. Там договоритесь с этим московским мухомором.

— В губком?—переспросил вдруг вспыхнувший Стебун.

— Да... Вы кстати приехали. У Захара во всем губкоме нет порядочной подмоги.

— В губком надо,—веско подтвердил Лысой.—Захар нас заставляет чуть ли не по кружкам пропагандой заниматься от того, что у него нет людей.

Ладо, к которому снова повернулся Стебун, сделал безнадежное движение и с сочувственной твердостью решил:

— Идите, подымайте организацию, кацо. На это другого не найдешь...

Стебун резко выпрямился.

— Хорошо.

Он почувствовал себя так, будто его отодвигали куда-то на задворки. Заподозрев намеренное желание не допустить его к участию в более ответственной работе, он объяснил себе это тем, что Тарас восстановил против него влиятельных вожаков партии. Но если в такое ответственное дело, как распределение сил преданнейших работников партии, вносились элементы личных отношений и общее дело приносилось в жертву личным счетам, то не было ли это угрожающим признаком?

Тут же что-то глубоко враждебное против Тараса и остальных руководителей партии отлегло в душе Стебуна. Направление его в губком он принял, как удар по себе. Но, силясь не давать воли личным чувствам, он подавил в себе вспышку обиды и обратился ко всем сразу с сдержанным раздражением:

— Значит, мне говорить с Захаром?

— С Захаром,—подтвердили Ладо и Лысой.

— Зайдите завтра за путевкой. Тарас скажет, чтобы приготовили, а в губкоме вас знают и без того.

— А ваши столовки—это серьезно?—спросил Стебун, цепляясь за посул Лысого.—Поближе к каким-нибудь обедам я бы не прочь, иначе на колбасе придется жить.

— Зайдите в канцелярию управления делами, а я распоряжусь.

— Спасибо.

На следующий день Стебун был в губкоме у Захара.

Захар—церемониймейстер в политике. Другие задают тон, а он творит волю пославших его. Поэтому, как ни богата и его собственная личность, живет не своими данными, а духом чужих заданий.

Держится, как старший приказчик, который не прочь послужить хозяину, но уже имеет в виду урваться на самостоятельное дело. Похож и внешне на приказчика. Маленький. Часто, не желая говорить того, что у него на уме, в самых больших делах ограничивает свои признания и обещания многозначащими, но не обязывающими жестами.

Захару доложили о Стебуне. Стебун вошел в секретарский кабинет и увидел моложавого рыженького юношу в пенснэ, стоявшего вместе с женщиной-секретарем у стола и карандашом перечеркивающего машинные записи на листах бумаги.

Захар обернулся, отстраняя от себя дальнейший просмотр бумаг, кивнул секретарше, чтобы она вышла, и быстрым взглядом встретил Стебуна, прежде чем оставил карандаш.

Затем он ступил приветливо навстречу вошедшему и дружески подал Стебуну руку, подводя его к столу.

Подсунул Стебуну кресло поближе к себе, прежде чем сел сам. И тогда с лестной осведомленностью приятно напомнил:

— Вы Стебун с Украины? Раньше вы были членом Реввоенсовета и одним из руководителей левой оппозиции? О вас в Москве слышали. Бросаете якорь у нас?

Стебун кивком головы подтвердил вышколенную осведомленность Захара.

— Да, хочу осесть, передышку сделать. Стал отрываться от центра и обанкротился с семьей. Сам себе хочу сделать проверку и посмотреть на все позиции сверху.

Захар с сочувствием человека, быстро вошедшего в положение Стебуна и довольного своею отзывчивостью, подхватил:

— Теперь это можно... Такое буйство восстановления начинается, что никакой большевистской силы не хватит для работы, если не вернется из провинции половина командированной туда нашей братии... У вас путевка? Что тут предлагают?

Он не подал вида, что о визите Стебуна был уже предупрежден.

— Вы не прочь переменить работу или от партийного воза не хотите отказаться?

Стебун решительно отвел предложение.

— Нет, делать переключку на какую-нибудь канцелярщину я не хотел бы... Как у вас Агитпроп?

С прежним дружеским участием Захар вдумчиво помедлил, поправил пенснэ, чтобы глядеть прямо в глаза Стебуну.

— В Агитпроп хотите? Так...—прикинул что-то в уме и решил:—Ну, с вами сработаемся в любом месте. Давайте Агитпроп... На бюро во вторник поставим вопрос, и тогда заходите к нам.

Он сделал легонькую неуверенную паузу после официальной части беседы и коснулся недавних неудач Стебуна.

— Что у вас получилось с чисткой на Украине—швах? Всех, кого надо, все-таки вычесать не удалось?

Голова Захара приподнялась, локоть уперся в стол, чуть придвинувшись к Стебуну.

У Стебуна было особое мнение о чистке. Он махнул рукой и, подымаясь, чтобы уйти, ответил:

— Это творит все ваше московское паникерство. Стоило только тронуть какого-нибудь, даже не сановника, а просто вкрючливого бюрократа, как сейчас же штурм в центре. Москва этим штурмам шла навстречу. Я думаю, что отсутствие решительности в этой кампании будет иметь еще свои последствия.

— Да, шпаны много. Но она безвредна!—утешил Захар.—Пустяк!

И, поднявшись провожать Стебуна, он осведомился:

— А как с жильем у вас, товарищ Стебун? И одежа у вас как будто требует смены.

— Комнату получил. А одежа—что же вы можете сделать?

— Сделаем. Знаете же, мы теперь развиваем госторговлю. Зайдите к управделу, я ему звякну, чтобы он устроил вам кредит, или со склада чтобы отпустил.

— Спасибо.

По дороге от Захара Стебун хотел зайти в находившуюся наверху столовую сотрудников комитета, чтобы что-нибудь перекусить. Но на лестнице его заинтересовала происходившая здесь лихорадка перетаскивания в помещение комитета книг.

Два парня—один с латышской флегмой, высокий и тощий, как слега, другой—грубовато-коренастый порывучий фронтовик, а в компании с ними—черноглазая большеносая еврейка, запальчиво бегая, таскали по лестнице от парадного на площадку вестибюля перевязанные шпагатом тючки и разбитые стопки неразрезанных книг. Бросив тючок в образовавшуюся здесь пирамиду, каждый из них торопился вниз и оттуда опять волочил такие же тючки и стопки.

Стебун взглянул издали на заголовки книг и заинтересованно подошел ближе.

— На другую квартиру, что ли, Маркса переселяете?—спросил он тощего латыша, заметив разрозненные томы «Капитала».

— Хек! Семибабов распродает и Маркса и всякую литературу в комитете,—поведал латыш, разгружаясь от ноши.

— Семибабов тут?—удивился Стебун.—Что же это он, по коммерческой линии пошел? Где он?

— А вот там, в десятой комнате, в этот коридор...

Стебун пошел в десятую комнату.

Это была одна из тыловых комнат в здании губкома, неуклюже длинная и узкая, застрявшая между помещениями уборных и каким-то чердачным ходом.

Но в коридоре возле этой неказистой комнаты, и в самой комнате кипели страсти. Несколько групп учащихся партийцев возле дверей изливались в обсуждении результатов посещения комнаты.

— Мне эта книга нужна не для себя, а для всего отделения губсовпартшколы!—убеждал лохматый, взъерошенный, в расстегнувшейся куртке, со взбившимся поясом уездник-партиец.

— А я из ячейки деньги внес еще на прошлой неделе товарищу Семибабову, только чтобы обеспечиться обоими томами!—возражал ему курсант-техник.

Группа других низовиков-партийцев рассматривала редкое приобретение техника—два тома «Капитала», не переиздававшегося за время революции.

Библиотекарша одного района и ее помощник-курьер хлопотливо перевязывали несколько тючков закупленных ими оптом книжек политграмоты. В группке студентов университета народов Востока темнокожие курсанты-восточники подсчитывали совзнаки и никак не могли разобраться, кому из них сколько их нужно, чтобы совершить закупку.

В комнатушке у стен стояли стойки с разложенными книгами, и эти стойки, как мухи сахар, облепили покупатели.

То медлительный и спокойный, то вспыхивающий и порывистый, низкорослый дядя в расстегнутой куртке—Клим Семибабов—взывал к дергавшим его покупателям о спокойствии, сдерживал напор своих клиентов и, получая за книги деньги, без счета ссыпал их в хранилище—ящик из-под винограда—на стойке.

Он, видимо, не управлялся с обслуживанием покупателей.

— Пожалуйста, заворачивайте сам, товарищ!—разрешил он кому-то. И сейчас же продолжал:—«Коммунистический манифест» в рекордном новом виде печатается с примечаниями, объяснениями и иллюстрациями. Мемуары Бебеля продаются только комплектами. Изложение «Капитала» печатается старое—Каутского и новое, посолиднее—Борхарда.

На книги был, очевидно, животный голод, потому что не только расхватывалась каждая серьезная книжка, какими-то судьбами уцелевшая от времени разверсток и попавшая на прилавок к Семибабову, а делались заказы на те книги, которые еще были в печати.

— Товарищ Семибабов! На Каутского запишите пожалуйста в очередь.

— Разве запись принимается?—подхватывали другие важное для них открытие.

— Принимается.

— Деньги сейчас? Запишите и меня: Шорин из Комакадемии...

— Есть. Будет записано, товарищ Шорин. Напомните мне потом.

Позже Стебун узнал, как открылась эта книжная торговля в самом губкоме.

Месяца два назад Семибабов, назначенный для заведывания Литературно-издательским отделом губкома, обратил внимание на какое-то опечатанное помещение в здании, примыкавшем к губкому.

Справившись у коменданта, Семибабов узнал, что помещение раньше занято было книжным магазином,

теперь принадлежит губкому, и лежат в нем книги, ждущие, пока ими кто-нибудь заинтересуется.

— А хозяин их кто?

— Никого нет. Губкому не нужны были, а спекулянтикам-хозяевам показываться нет расчету. Видно, пропали.

— Откройте помещение.

Когда помещение было открыто, Семибабов среди всякой книжной халтуры нашел некоторый запас и тех изданий, которые до чрезвычайности были необходимы партийцам.

Он распорядился перетащить их в губком, и увидевшие белый свет книги сейчас же привлекли к себе внимание вузовцев.

— Товарищ Семибабов! Товарищ Семибабов! Как бы поживиться? Мы от агитпропа с бумажкой придем. Нас в разверстку включите?

Семибабов живо сообразил.

— Ничего не выйдет, товарищи! Теперь нэп, и никаких разверсток не будет. Книги поступают в продажу, на бесплатную выдачу не надейтесь. Хотите иметь книги,—тащите деньгов.

— Еще лучше... Какая цена?

Пришлось Семибабову тут же изобразить расценку. На-ура расписал по книгам их стоимость и заторговал. Его эксперимент выявил неожиданный успех. Торговля загудела. И выяснилось, что учащиеся готовы лезть на стену от того, что нет никаких пособий для их занятий.

Семибабов ткнулся к Захару, выпросил субсидию для выпуска одной-двух брошюр, сконструировал издательство, установил связь с типографиями, нашел готовых поощрить его предприятие авторитетных покровителей и сейчас же заказал переиздание нескольких давно уже известных марксистских популярных книжек.

Книжки по выходе из печати пошли, как и извлеченная из опечатанного магазина рухлядь, нарасхват.

Семибабов выручку употребил на увеличение издательской работы и теперь ожидал выхода из печати нескольких новых работ, появление которых обещало сразу создать организационно еще не оформившемуся издательству громкую и почетную репутацию.

Семибабов как будто родился купцом. Отговаривается, подговаривает, орудует. Ячейковый инструктор требует от него, чтобы он заставил своих помощников складывать книги не на лестнице, а нести их прямо к прилавку и пускать в продажу.

— Вы!.. Мы!..—запальчиво захлебывается словоизвержением инструктор.—Я буду жаловаться! Чтобы исключали из партии таких бюрократов! Чтобы гнали их!..

Семибабов выпрыгнул из-за стойки, заставляя расступиться толкущихся перед книгами партийных низовиков, и взял инструктора за плечо.

— Уходите, товарищ! Не могу я дергать работников, с утра еще не передохнувших. Им записывать книги нужно. Жалуйтесь! Съешьте меня! На брошюры меня самого перешпарьте! Только дайте вздохнуть хоть!

— Поймите, что я с утра не евши и с пустыми руками мне в ячейке делать нечего,—упирается инструктор при общем сочувствии ждущих, как и он, других покупателей.—Не пойду я! В теплой комнате вы будете два дня их записывать...

— А!..

Семибабов запальчиво хлопнул какой-то книгой о стол и вдруг уперся в наседавших.

— Тащите сами книги с лестницы!

Покупатели всполохнулись.

— О! товарищи! За книгами!

Моментально комната опустела. Семибабов облегченно выпрямился, в зверском исступлении остановился взглядом на переступившем порог и усмехающемся

Стебуне. Вдруг почувствовав, какой дикий вид имеет в этот момент и узнав товарища, он весело прыснул:

— Стебун?! Ха-ха! Наблюдаете? Вот-то! Здравствуйте!

— Давно в спекулянты записался?

— Ха! Нэп, дядя, писанет и не таких, как я. Видите?

В комнату началось вторжение нагруженных тюками книг добровольцев-переносчиков, готовившихся завалить помещение узлами.

— Куда, хозяин?

— В угол, товарищи,—отодвинул Семибабов одну стойку.—Все перетащите, тогда распродажа...

— Согласны! Давайте цепью, товарищи, скорей дело пойдет. Один становись складывать...

И в помещение через коридор по конвейеру рук покупатели стали вбрасывать тюк за тюком книжный товар.

Одновременно в комнату вошли работавшие на лестнице латыш, еврейка и фронтовик.

— Распаковывайте тюки и скоренько записывайте по названиям,—распорядился Семибабов, кивнув им головой.—Сейчас будем продавать. Товарищ Ратнер, посмотрите за кассой.

И, взяв Стебуна за руку, потянул его за стойку, а оттуда—в дверь перегородки, за которой оказалась комнатушка, служившая Семибабову чем-то вроде канцелярии.

— Значит не одобряете?—выжидательно кивнул головой Семибабов на оставленное за дверью помещение.—Этакая крутня!

Стебун продержался с секунду взглядом на товарище, гадая про себя, что оттерло Семибабова от партийно-политической работы, о которой Семибабов только и мечтал, перебрасываясь в центр. Вместо того чтобы организовывать при штабах партии передовых рабочих, он зверствовал за книжным прилавком.

Не ответив на вопрос приятеля, Стебун ткнул взглядом на стойки и с интересом осведомился:

— На партийную работу сам не захотел?

— Партийная работа?—не давая уловить за повторением скрытую горечь, возразил Семибабов.—С партийной работой теперь, товарищ Стебун, не то, что было в трудные времена. Вы—воробей стреляный и знаете, что это не так просто. И без нашего брата кандидатами в партийные деятели хоть пруд пруди.

— Ехали бы вы на Урал или на юго-восток, где вас знают. Все равно отсюда отправляются туда и секретари и краевые руководители.

— Э, дяденька, отстали вы! Знаете вы, что это теперь делается по связям? Вы этого, выходит, не знаете. Так примите во внимание, что на Урале товарищ Герман и те, которые на золотом пере его ручки поклялись сообща выдвигать его в группу вождей. Зато он оттуда своих соперников выживет. На юго-востоке—товарищ Зарембо, который блокируется спокон веков с Тарасом. Тарас не пустит на юго-восток ни одного человека, который бы прекословил Зарембо. А в самой верхушке—то же. Один опирается в Москве на сговор с Захаром, у другого опора в Петрограде. Кто заручки на местах не имеет, тому надо ее себе обеспечить. А такие тоже есть. Вот и попробуй поехать, если в какую-нибудь группу не влез да не подкрасился под цвет своего покровителя. А отправишься без сговора да захочешь без сделки работать—готовься с первого же шага получить ярлык со званием склочника. Увольте от такого удовольствия... Лучше я сделаюсь спекулянтом или чиновником!

— Да, так!.. Меланхоликом ты стал.

Стебуна жалобы Семибабова заставили потемнеть.

Если бы оказалось верно то, что говорил приятель, то надо было немедленно же искать средств борьбы с образованием личных карьеристских группировок. Но Семибабов был разочарован отрывом от партийной работы и мог толковать происходящее без

объективной строгости. Почему-то об этом нигде еще разговора не поднималось.

Стебун попробовал поймать приятеля:

— Почему же ты не говоришь об этом везде?

— Где?—спросил тот с вызовом.

— Ну где... В ячейке, на районных собраниях, в частном порядке, наконец, со всяким товарищем.

— Попробуй, когда это все знают... Говорить же на собраниях не принято, а только заслушивать доклады. И прения никогда не открываются. Ячейки собираются только по повинности.

Это было тягостной правдой. Стебун сам знал, что собрания партийных низовых организаций превратились во многих случаях в пустую формальность.

Он задумчиво отвернулся, а Семибабов вовлекся в объяснение того, как он пришел к книжной торговле.

— Да, знаешь—раскорячки!—угрожающе повел он головой.—А тут увидел я книжную нищету и голодище грамотной публики на литературу. Бухнулся тогда было в Орготдел: «Пошлите, мол, в Госиздат!» Но это оказалось так сложно, что мыкался я, мыкался по знакомым и попал в конце концов вот сюда. Все равно, мол, какой-то подотделик и в губкоме имеет отношение к издательским делам. Тут вот пробую найти это отношение...

Семибабов снова кивнул на книжные запасы.

— Ну, а Захар как?—осведомился Стебун.

— Захар что... Ему меня навязали с намеком на то, что, мол, Семибабова вы сами знаете... Поэтому дал волю мне—и считается. Против того, что я покушаюсь закрутить книжную шлепальню, не возражает, делай что хочешь, лишь бы я только с кем-нибудь не сговорился да не мутил... Ну,—перескочил вдруг Семибабов на другое,—а вы как? Тоже в губком?

— Да, буду в Агитпропе.

— О, это значит—я буду под вашим началом. Знаете, дядя, насчет борьбы с порядочками личных

кружковщин надо поговорить. Иначе партия схватится, да поздно будет.

— Поговорим, не спешите... я подумаю... Надо вообше от молчанки отделаться.

— Ну, смотрите. Надумаете что—скажете...

— Ладно.

Однако назначение Стебуна в Агитпроп отсрочивалось. На бюро губкома был решен вопрос о созыве очередной губернской партконференции, а накануне перевыборов всего губкома, в который должен был войти теперь и Стебун, производить смены в руководящей верхушке губкомовского аппарата было не резонно.

Об этом и сообщил Захар Стебуну, когда тот, поболтавшись недельку без деда, пришел в губком.

Стебун с досадой на непредвиденное промедление передвинулся на стуле.

— Когда конференция?

— Три недели,—прикинул вслух Захар,—месяц...

— Топтаться по Москве без дела до этого... гм!..

Он встал и, что-то решая, пока Захар с выжидательным беспокойством следил за ним, сделал несколько шагов возле стола. Подсел снова.

— Что же придумать, чтобы я до конференции не шатался?—нетерпеливо спросил он у Захара совета.

Захар нерешительно поскреб подбородок и что-то отряхнул движением головы.

— Да что... один ведь месяц. Зачислим пока вас в резерв для выступлений. Они у нас ежедневно. Познакомитесь тем временем с районами, будете митинговать. Не хватит работы разве?

Захар вопросительно следил за несговорчивым работником, замечая, что его предложения товарища не радуют.

Стебун, действительно, взвешивал обстановку. Он чувствовал, что Захар чует в нем что-то от другого мира. Очевидно, для секретаря крупнейшей организа-

ции не были тайной невысказанное беспокойство и разочарование, которые начали разъединять партийцев и толкали отдельных известных вожаков организаций разбиваться на личные группки. Как же сможет руководить и Захар другими, если не позаботиться о том, чтобы тяжелым думам и невысказанным мыслям партийцев вроде Семибабова найти отдушину? В молчанку? Отмалчиваться дано не каждому, и страусовой тактике надо положить конец.

— Знаете,—уперся он вдруг в Захара,—ваш резерв—это одна словесность. Разрешите тогда мне при губкоме организовать дискуссионный клуб.

— Дискуссионный клуб?

Захар беспокойно передвинулся на стуле и с выжидательным интересом вгляделся в Стебуна.

— Да,—не удивляясь недоумению, сдержанно, но урезонивающе подтвердил Стебун.—Дискуссионный клуб, в котором мог бы встретиться наиболее подобранный актив губкома, центра и провинциальных работников, для того чтобы не копить по разным углам сомнения в правильности линии партии, а в авторитетной среде фактических руководителей партии и своих товарищей провентилировать всякую щелку... Знаете ведь, что это водится теперь... Десятки таких, как Стебун, толкутся по домам советов, чувствуя себя в отставке за несогласие с курсом на нэп. Нет аппетита на то, чтобы засучить рукава да усесться за счеты, и придумывают всякий свою программу спасения революции. Без руководства Ильича, думаете, не начудесим чего-нибудь, если так продолжится? Почему не говорить вслух о том, что партия болеет? Или сдирайте болячки, или они вас съедят...

Захар живо прикинул в уме сообщения Стебуна, мысленно определяя целый ряд лиц, которые не вошли в работу или ходили возле нее вокруг да около. Почувствовал, что Стебун нащупал что-то нужное. Спроектированный Стебуном клуб, если его устроить

тут же, в одном помещении с губкомом, помимо всего прочего, и оживит губком и даст возможность прощупать все наиболее ценное, что есть в организации. Замысел жизненный. Но, с другой стороны, не затевает ли все это Стебун ради каких-нибудь своих целей?

Надо было об этом поговорить, во всяком случае, с Ладо и в секретариате, чтобы потом его же, Захара, не взгрели.

Своей озабоченности Захар ничем, однако, не выдал. Он с отзывчивым интересом, как только Стебун кончил, придвинулся и довольно поводил возле себя карандашом.

— Знаете, на бюро об этом можно поговорить... Мне идея нравится. Действительно, у нас активу по душам поговорить негде.

— Бюро не знаю как, главное—согласие секретариата.

— Берусь сговориться с Ладо.

— Ну, тогда отлично! Я обожду, пока вы это обделаете, и тем временем набросаю проект устава.

— Катайте.

Стебун поднялся. Первый раз он и Захар пожали друг другу руки с взаимным удовлетворением.

Русаков метался.

Придоровы собирались уезжать. Стала работать устроенная Стебуном в Главполитпросвете и оказавшаяся самозабвенной работницей Резцова. Удалось Русакову разрешить вопрос о комнате для Стебуна. Каждый устраивался так или иначе, примащивался к круговому движению вертушки толкотливого человечника. У одного Русакова хрустнуло что-то от этого движения. Рвалось все в душе от мысли о Льоле и об отданном в чужие руки ребенке.

Придорова Льола не вынесет. Для Русакова она поэтому не потеряна и не будет потеряна, если он найдет

какой бы то ни было ценой у советской власти прощение своей ошибки. А Ленька, мальчишка, которому ведь и Льола мать? Его нужно было спасать. Надо было на что-нибудь решаться и что-нибудь придумывать.

Не пропало зря установленное через Файна знакомство с Файманом.

Файн—фигура так себе. Уже нэп. Кое-кто из соседей знали, что этот жилец «Централя» чем-то спекулирует, а он все еще выдавал себя за трудовой элемент. Поддерживал версию, будто выполняет поручения какого-то южнокрымского снабженческого органа.

Файман—покрупнее жила. Что он делец и торговец—не скрывал. Но мало ли что будет каждый думать, если никакой торговли у него не видно. Поэтому Файман и сообразил: надо открыть лавку.

Оба друга действовали компанией. Пустяшное обстоятельство связало их. Файман боялся советских порядков, а дела стали складываться таким образом, что связь с государственными органами только и могла подчас обеспечить выгоду в какой-нибудь сделке. Файман тогда надумал.

— Ты, Соломон, умеешь обращаться с товарищами и говоришь так политично, что тебя все слушают. А я же, только войду куда надо, так мне уже отказывают, чего бы я ни просил. И надумаю что-нибудь сделать в советских фирмах и выгоду знаю, но начну разговаривать—у меня все пропадает. Так давай—я буду надумывать, ты будешь с ними говорить, вместе будем ходить куда надо и вкладывать деньги, и ты увидишь, каким небоскребом подымется у нас свой собственный трест.

Это было голодное время, когда кое-какие остатки товаров могли увидеть свет лишь по нарядам не успевших еще осмотреться советских хозяйственников.

Файн согласился. Несколько придуманных Файма-

ном и совместно с ним проведенных комбинаций с выклянчиванием очередной полузаконной сделки помогли им действительно округлиться, и с той поры компания укрепилась.

Оба спекулянта с трогательной наивностью думали, что они ничего общего не имеют с буржуазией, которую разгромили и которой не дают воскреснуть большевики. Капиталисты—это прежние финансовые тузы, которые открыто, при помощи закона и правительства, собирали на фабрики тысячи людей и грубо выжимали барыши. Нет, пусть-ка из них кто-нибудь попробовал бы приложить ум и изобретательность к тому, чтобы ниоткуда и из ничего доставать все, что нужно. На это способен не всякий, и теперешнему дельцу—не барыш, а награда за его ум тот доход, который он умеет извлекать не без таланта и риска при советских порядках. Оба торговца на свой лад поэтому сочувствовали всяким новым мерам советов, ущемлявшим прежнюю буржуазию. Чтили авторитет Ленина.

— А как вы думаете, Давид,—спрашивал коллегу Файн,—не напустят большевики опять этих Морозовых да Мерилизов, если умрет Ленин?

— Что ты, Соломон, городишь!.. Программа же у большевиков останется.

— Программа-то программа... а «всерьез и надолго» разве не говорят они?

— Ну, так это же про нас говорят, чтобы к нам не привязывались махновцы какие-нибудь и сумасшедшие... Коммунисты тоже всякие есть. Вот им и распорядился Ильич, чтоб они дисциплину понимали.

— Знаете, Давид: коммунист Ильич, а настоящий Моисей для рабочих.

— Коммунист...—жалел со вздохом Файмана.—А ему бы в Америке президентом... Ой, какие бы дела были! Сколько бы новых делов открылось!

У обоих торговцев делалось сладко во рту.

— А может быть, он и не коммунист? Привлекает простолюдье партией, а на уме мозгует такое, что другим царям не снилось?

— Ой, коммунист!—колебался Файман.

И каждый про-себя думал:

«Все равно кто! Но если бы поговорить с ним, разве не обратил бы на их политичность внимания такой умный главарь рабочих?»

И у каждого делалось приятно на душе.

Оба компаньона после вселения к Файману Стебуна пришли в канцелярию к Русакову, выбрав вечером время, когда комендант был дома.

Русаков мастерил в углу комнаты полку для книг, которыми начал обзаводиться. Когда постучали, бросил кусок добытого откуда-то старого плиса, предназначавшегося им для декоративной заделки досок, и с горстью гвоздиков в одной руке, с молотком—в другой открыл дверь.

— Здравствуйте, товарищ Русаков!—чуть высунулся вперед Файман.—Мы хотели поговорить...

— Можно зайти побеспокоить разговором?—перегнулся половиной туловища над головой маленького компаниона Файн и в подтверждение серьезности просьбы замер на Русакове глазами.

Русакова тронул забавный визит.

— Не кусаюсь, граждане, пожалуйста!

Он дал дорогу посетителям, придвинул стулья и выжидательно сел перед ними.

— Чем могу служить?

— Вы притесняли меня, товарищ Русаков,—начал, волнуясь, боязливо Файман.

Он волновался перед всяким официальным представителем власти и не мог скрыть перед ними своего страха после того, как у него чекисты реквизировали торговлю и пригрозили ему подвалом за сопротивление.

— Я комнату сейчас же вам для гражданина Сте-

буна дал. Ну, надо вам—так надо. Для Стебуна—так для Стебуна. Ничего не поделаешь!

— Товарищу Русакову хоть не для себя, а всегда надо!—закивал уступчиво головой Файн.

— Я знаю: для других!—согласился сейчас же Файман, повернувшись скоропалительно со стороны в сторону.—Но и вы, товарищ Русаков... и вам, товарищ Русаков... у вас, гражданин комендант, есть тоже дом и помещения...

Русаков с испытующим, насторожившимся интересом вкололся в подговаривавшегося глазами. Файман даже вспотел, подойдя к сути визита, но, не решаясь сказать главного, только ерзнул к своему компаниону:

— Скажите вы, Соломон, как это приличней. Вы же можете лучше меня...

Файн откашлялся.

— Давид Абрамович, должны вы знать, товарищ Русаков,—стал объяснять жилец «Централя»,—желает открыть прежнее дело. Он торговал немножко галантереей, и в «Централе», где теперь пекарня и где живет Калашников, был магазин Давида Абрамовича Файмана. Всем же объявлено теперь, что уже нэп... И вот Давид Абрамович очень старается опять открыть магазинчик на прежнем месте.

— Я вам комнату дал!—обрадованно еще раз отметил свое самопожертвование Файман.—А в «Централе» же все от вас зависит. И вы мне тоже можете помочь... не зря, конечно... Я же не буду стоять из-за расходов.

Русаков понял. По соседству реставрировалось уже несколько магазинов. Обдерганные и ошарпанные фасады домов начали постепенно украшаться вывесками. Не мог и находящийся в бойких кварталах «Централь» долго зиять сквозь зеркальные стекла нутром нищенского заведения и жилья пирожников. Но и Калашниковых выселять на произвол судьбы Русакову

хотелось меньше всего. Надо было сообразить, как быть, и тогда сговариваться с торговцами.

Русаков поднялся и, поставив на стул ногу, придвинулся к компанионам.

— Это хорошо... Помещение придется сдать под магазин, но я пирожников не выгоню, не устроив их, и кроме того ведь магазины спокон веков принято сдавать с торгов... Может быть, организующийся кооператив захочет взять помещение.

— Ох, товарищ Русаков!—испугался и заволновался Файман.—Кооператив вам что даст? Кооператив расписку даст, а я деньги принесу. Все деньги отдам. Вы же жалованья не получаете, а от доходов можете вычитать, что вам полагается. Мы уже с вами знакомы. Я вам помог. Помогите мне... Нужно контракт насчет аренды—напишем контракт! Заплатим жилотделу! А вам—за труды. Мне и жилотделу не в счет, а вам надо! Товарищ Русаков, как будто вы банкир, что вам деньги не нужны?

Файн укоризненно соглашался и кивал головой, будто другого выхода ни у Русакова, ни у торговцев не было.

Русаков был не в таком положении, чтобы за предложение взятки указать компанионам на дверь. Коменданты бесхозяйственных и нищенских домов вроде «Централя» часто только и жили устройством доходных комбинаций с жилплощадью. Он же вдобавок должен был всегда чувствовать себя под угрозой преследования. А главное, в голове билась мысль о необходимости спасти из детского дома сына.

И Русаков несколько мгновений стоял в мучительном смятении, не сразу решаясь еще на одно преступление.

Торговцы переглянулись между собой и ждали.

«Э, не до жеманства, когда существование основано на подлоге!»—вывел против воли Русаков.

Он повернулся к торговцам.

— Я согласен, но должен сговориться с Калашни-

ковым. Их нужно перевести, а комнаты, которые я могу им дать,—заняты. Имейте только в виду, что вам мне придется заплатить как следует. Подачкой не отделаетесь.

— Вам магарыч по совести, товарищ Русаков!—воскликнул Файман.

— Комиссионные же проценты это!—политично поддакнул Файн.—Кто может иметь против?

— Комиссионные?—покосился зло Русаков.—Я не маленький. Как буду называть это,—дело мое!

— Да... Извините, мы же посвоему все говорим, товарищ Русаков,—сейчас же политично согласился Файн.—Значит тогда вы скажете Давиду Абрамовичу...

— Скажу вам или самому Давиду Абрамовичу.

— До свидания.

— До свидания.

Визитеры вышли, а Русаков взял снова в руки гвозди и молоток и, задумавшись, остановился возле стола. Можно было получить денег, броситься в Одессу, выручить Леньку, вернуться с ним—а дальше что?..

Механически подняв молоток, он начал им безотчетно пристукивать по столу, тяжело качая головой.

Что делать, чтобы—если не теперь, то хоть когда-нибудь—обеспечить себе счастье жизни с Льолой, с сыном, при возможности открыто смотреть людям в глаза и не бояться встречи со знакомыми?..

Русаков бросил молоток и безнадежным взглядом надолго уткнулся в окно.

Будущее представлялось в самом черном свете. Думая о сыне, жене и все чаще исходя тоской от отсутствия всякой надежды на перемену в своем положении, Русаков вгонял в пустую дыру души все, что могло обещать ему со временем хоть крупицу счастья. Будто в темное дно холодного ледника бухнул глыбу отравных грез о Льоле, толкнул туда же и вспых-

нувший было безудержный порыв к спасению Леньки. Нельзя было решаться на риск хлопот о мальчике, зная, что первое же проявление им в глазах других людей какого бы то ни было интереса к сыну могло кончиться плохо для него самого.

Может быть, он так и не нашел бы никакого выхода, если бы не вертелась в заведенном ритме жизнь.

Но она вертелась.

В один из первых дней пребывания у него Придоровых шел он в губком к заведующему складом Бухбиндеру отговориться от выставления его кандидатуры в члены правления организовавшегося из сотрудников губкома кооператива. Еще издали он увидел жильца «Централя», коммуниста монтера Полякова, а рядом с ним—человека, одетого в кожаный одежный полняк, который, начиная с блескучей куртки и кончая скособоченно избитыми сапогами и помятой шоферской фуражкой, делал всю фигуру спутника Полякова похожей на увальня, вырезанного из антрацита и резко выделял его от всех других не столь прочно костюмированных горожан. Скособоченность походки этого человека обдала вдруг Русакова напоминанием об одном из его не столь давних знакомств, и комендант «Централя» узнал в забронированном кожей человеке лечившегося вместе с ним в госпитале командира отряда черноморских рабочих товарища Шаповала.

Увидели оба коммуниста и Русакова. Поляков толкнул своего спутника, Шаповал взгудел:

— Русаков! Ополченец, можно сказать! Ты у нас в партии?

Шаповал—это машинная тяга. Русаков, почитая его деловитую буйность и простоту, радостно ожил и отмахнулся.

— Куда мне, товарищ Шаповал! Управляю тут одним губкомовским домом. Служу вроде старшего дворника...

Поляков протестующе подтолкнул Шаповала.

— Что городит—дворником!.. Комендантом у нас в «Централе», Александр Павлович.

— А, вы начальство над квартирой Полякова!— подхватил Шаповал.—Так смотрите, это значит вас касается; я у него проживу дня три...

— Вы не совсем значит в Москву?

— Да ну ее, богодулую хрычевку, к ляду! Что тут делать? Орудую опять на Кавказе и пускаю в ход один заводик. После драки теперь ни того ни сего ни в одном доме, а на заводике, где я работал прежде, хороших кастрюль, сковородок и всякой чертовщины можно наштукатурить. Приехал вот в Электросельстрой—пусть-ка они меня не соединят на электричество с городской станцией и не пустят туда для работ Полякова, еще какого-нибудь монтера да инженера! Всю Москву подниму на ноги. Поедемте к нам, если вы тут, говорите, в дворниках... Ха-ха!

Русаков встрепенулся.

— Обождите, товарищ Шаповал, а взяли бы вы меня? Ведь я был тоже мастером на заводе, имейте в виду.

— Чего же лучше. Если сумеете работать, сделаем вас помощником директора—и готово. Поедемте, если из-за каких-нибудь тенти-бренти не раздумаете...

— Я еще не думал... давайте поговорим. Я к вам вечерком зайду, вы будете у Полякова?

— Заходите, товарищ Русаков, я вам распишу все так, что куда наши госпитальные живые газеты!

Шаповал намекал на то балагурство, которым занималась когда-то палата, в которой лечился он вместе с Русаковым.

Оба засмеялись, вспоминая это время.

— Ну, я приду, товарищ Шаповал. Пока схожу еще в губком.

— А я с этим москвичом в электробазар ваш... Катайте!

В голове Русакова все пошло на новый лад после этой встречи.

Если сговориться с Шаповалом и поехать к нему работать в качестве хотя бы специалиста техника, а не то что помощника директора, то он в провинциальном городке сможет и похоронить концы своего прошлого и устроить при себе до поры до времени Леньку. Таким образом решался вопрос о спасении мальчика. Потом же станет яснее и многое другое. Не следовало упускать случая. Кстати теперь оказалось и предложение Файмана. Надо было сговориться с Калашниковыми, чтобы они переселились в его комнаты. Так можно было все переиначить в колотне его забот и устроить лучше, чем об этом можно было думать всего несколько часов назад.

Вспыхнувшие надежды приподняли настроение Русакова. Он ожил.

В конторе склада губкома нашел Бухбиндера.

Рассеянный по виду, малокровный маклачок с остреньким носиком и черностеклярусными глазами не терял какой-то осмотрительной подвижности даже в двух или трех теплых одежинах под отдувавшейся на нем курткой с подкладом из серого барашка. Увидев Русакова, он кивнул ему головой, чтобы комендант «Централя» обождал, а сам с двумя подсказывавшими ему цены на какой-то товар приказчиками закончил перекройку счета, побывавшего в руках всей тройки сговаривавшихся коммерсантов. После этого Бухбиндер подписал счет, подозвал Русакова и сел перед ним на стол.

— Товарищ Русаков, от жильцов «Централя» мы хотим вас взять в правление кооператива. Хотите помочь нам? Садитесь.

Русаков, не садясь, озабоченно потемнел и с сожалением повел плечами.

— Не могу, товарищ Бухбиндер...

— На вашу кандидатуру согласится весь «Цен-

траль», а иначе выберут прохвоста такого, что он будет обсасывать кооператив, как леденец... Вы же провели запись членов там, почему же не хотите итти в правление? Мы вас хорошо знаем, вы меня тоже видите не первый раз. Разве плохое дело?

Действительно, когда Бухбиндер, проведя в губкоме собрание технических сотрудников, наделил нескольких человек книжками для вербовки членов кооператива,—Русаков отличился добросовестным проведением записи среди жильцов «Централя», но он не ожидал, что сейчас же им кто-нибудь заинтересуется. Теперь, когда он поговорил с Шаповалом, ему нельзя было итти на то, чтобы давать зачинщику кооператива согласие на участие в новой работе.

Он сдержанно помедлил, остановился взглядом на соскользнувшем к нему со стола кооператоре и недоуменно развел руками:

— Личные дела у меня, товарищ Бухбиндер, такие, что, может быть, я уеду скоро из Москвы. А если и останусь, то, вероятно, перейду в райжилотдел заведывать отделом гостиниц. Жду только, там у них сейчас перемены разные.

— Так? Жалко. Кого же вместо вас наметим?

— Возьмите Николая Калашникова. Парень хорошо грамотный. Беспартийный, правда, тоже, но когда надо—разобьется в лепешку, а сделает что нужно.

— А если не выберут его?

— Выберут, я поговорю с жильцами.

— Пришлите его ко мне, товарищ Русаков, только смотрите—вам и проводить на выборах его. Если соберется в правление народ с душой, мы наворочаем такого, что и наркомфину не приснится.

Русаков нашел Николая.

— Ну, товарищ Калашников, придется вам на большевистской молотилке лоб погреть.

—. А что такое?

— В правление кооператива кандидатом от «Централя» вас выставим.

Парень встрепенулся и тряхнул головой.

— Насчет Файна у нас кто-то старается... Чеботаревой Файман, что ли, подсказал, чтобы нашего колдуна выбирали?

— Файман выставляет Файна?—изумился Русаков.—Вот компания—и сюда лезет! Ну, нет! Это, знаешь, Николай, нэпманы рассчитали на то, что никто о Файне не знает. Надо тебе обязательно итти, иначе «Централь» будет опутан. Файмана не проведешь.

— Ну что ж, я пойду.

— Иди тогда к председателю кооператива, а потом мы еще поговорим о наших собственных делах. Надо нам об обмене квартиры поговорить, потому что, кажется, я уеду...

— О!—изумился Николай.

— Завтра будем говорить, пока иди к Бухбиндеру.

Русаков все свои надежды возложил теперь на встречу с гостем Полякова. Тот, сам того не зная, мог его спасти.

Товарищу Шаповалу в Москве приходилось действовать не в первый раз. Тут надо со всех сторон зайти, не одну пружину нажать, чтобы своего добиться. И Шаповал с первого же дня бился по своим делам. Встречи с такими же, как он сам, колотнючими людьми. Атака в Электросельстрое на оперативно-производственный отдел. Налет на хозорганы, чтобы урвать у них все, что может потребоваться для заводика. Труднее было это, чем тогда, когда он приезжал по фронтовым делам, но все же кое-что удалось.

Утром у Полякова чаепитие. Пришел и Русаков поговорить с постояльцем.

Шаповал разгулялся. В платке на столе вынутые из корзины десятка полтора яиц, в банке—сливочное масло беспорочной деревенской фабрикации, рядом—

щедро расположилась обувная коробка, наполненная свежекрошеным жирножелтым сухумским табаком, кувшин меду, пахнущий в пику московскому климату такой степной благодатью из подсолнечников, маков и гречих, что присутствующие на мгновение чувствовали себя на солнцепеке юга. Шаповал сам ел и был готов всех обкормить благами своего дорожного запаса; чувствуя, что его дела устраиваются, он качал от удовольствия головой, после того как проглатывал кусок прослоенного маслом и медом житняка, и с веселой рекламой оповещал:

— Жить на белом свете, товарищи... эх! лучше, чем дома!

Товарищи—Поляков и его мать, уборщица, деловито уплетали яства и угощали с своей стороны чаем постояльца.

— Кушайте еще стаканчик, товарищ.

— Пей!—поощрял Поляков.

И мать и сын бросились подать Русакову стул.

Русаков поблагодарил, попросил не беспокоиться, сказал, что пришел только на минутку.

Шаповал дернулся к нему, заставив его подсесть к себе:

— Едем, товарищ Русаков?

Русаков мгновение помедлил и встал, подавляя в себе возбуждение.

— Я хочу ехать, товарищ Шаповал, и обещаю, что буду работать, как законтрактованный. Но вы знаете, что кроме знакомства с вами у меня там некуда приткнуться, хотя бы для того, чтобы переночевать. А я хочу там поселиться с одним ребенком. Недавно у меня умерла сестра, и от ней остался у каких-то соседей ребенок—сын. С сестрой я связан обещанием. Вопрос—поможете ли вы мне устроиться с квартирой, с нянькой и не боитесь ли, что я не отработаю всякую заботу обо мне?.. Если думаете, что помочь мне не

грешно, то навек обяжете меня. Я поеду. А решите, что я не стою этого, говорите...

— Едемте, товарищ Русаков.

— Поможете устроиться?

— Целый дом у кого-нибудь оттяпаем, если надо будет,—поднялся Шаповал, возбуждаясь,—только не показенному и не поспецовски лишь бы работать... Вот в чем штука! Возьмите работу и так и этак, чтоб чортиками в глазах завод задвигался. И днevать и ночевать в нем... А квартира и прочее—это будет!

— Так что же,—решил Русаков,—за ребенком и ехать, пока вы еще в Москве, или прежде побывать у вас?

— Ребенок где?

— В Одессе.

— Я пробуду здесь еще дней пять. Возьметесь вы помочь мне тут хлопотать пока?

Шаповал в Электросельстрое добывал материал и мастеров.

Русаков подумал о том, что Узунов ему не откажет в содействии, если это понадобится. Твердо пообещал:

— Возьмусь.

— Вот... Потом вместе поедем в Георгиевск, водворим вас и уначалим на заводе, а оттуда съездите в Одессу. Так ладно будет?

— Хорошо, товарищ Шаповал. Сделаю теперь все, что надумаете вы или партия... Куда хотите и как хотите. С завтрашнего дня к вашим услугам, можете располагать мной.

— «Услугам»—давайте не выражаться так стихотворно... Вы живете тут же?

— Да.

— Я зайду.

Русаков ушел от Полякова с вспыхнувшей надеждой на будущее. Теперь надо было кончать с Файманом,

Калашниковыми, войти в дела Шаповала и быть наготове... Скорее тянись, время!

Магазин сдан. Пирожники переселены. Дела комендатуры «Централя» переданы Николаю Калашникову.

В первые же дни приезда Шаповала из Электросельстроя выписана командировка инженеру и двум монтерам, направляемым в Георгиевск для производства работы по включению завода на энергию городской станции. На-днях инженер и старший монтер будут там. Для Полякова Шаповал взял командировку себе на руки, чтобы ехать одной компанией с ним и Русаковым.

Трое работников—в загородке жесткого, со скрежетом рвущегося вперед полусотместного вагона расположились по плотным, как предбанный гардеробник, нумерованным лазам полок. Первые ночь и день—без особой общительности, а на второй вечер—с развязавшимися языками.

Не может оставаться самим собой Поляков, если он и сам не вытрясет перед каждым из копилки души все, что занимает там сколько-нибудь видное место, и других не заставит кипятиться в азартных спорах.

Поляков той же антрацитной породы, что и Шаповал, только со своими особыми заковыками. Грубое, просоченное испорченной от дурного воздуха кровью лицо, ядовитый бегающий взгляд. Весь сляпан природой, будто она ковыряла таких по сотне в один прием, лишь для счета, только бы сбыть с рук. Но выдумками, необоснованным фантазированием и жаждой мешаться во все—переполнен. Чего и не знает—говорит, лишь бы ошеломить воображение своих слушателей.

Поляков завел знакомство со всеми почти едущими

в соседних загородках, ввязывался сам в разговор, лишь представлялся случай.

Он пустил в расход принадлежавший Шаповалу остаток сухумского табаку, угощая им нескольких красноармейцев, приглашенных из соседней загородки. Один конопатенький пехотинец щегольнул особой фокусной зажигалкой, высекавшей огонь пулеметным речитативом искр. Зажигалка произвела впечатление, пошла по рукам, вызвала размышления.

Заинтересовалась оживлением среди парней занимавшая четвертое место в загородке остроносенькая бабка, крестьянка с какого-то хутора на Черноморском побережьи. Подсел находившийся в вагоне мужичонко-беспризорник, житель тех краев, в которые теперь направлялись москвичи. Это был полукрестьянин-полубатрак, которого удачная поездка воодушевила, так что он бодрился и смотрел блаженно каждому в глаза. Он возвращался от Калинина, к которому ездил хлопотать о своих делах, а заодно и с просьбами от какого-то комбеда.

Русаков и Шаповал сперва или мечтали или дремали, каждый думая о своем, на верхних полках, а поддавшись оживлению в нижнем этаже загородки, перевернулись на животы и, выставив головы, стали слушать разговор.

Один красноармеец по поводу фокусной зажигалки вспомнил и превознес Эдиссона.

— Эх, вот голова! Это что—игрушка какая-нибудь: зажигалки, машинки всякие... А вот телефон, электричество, граммофоны! Это механика!

«Эдиссон» затронул хуторскую жительницу.

— А у нас изобрели,—всплеснула она руками и закачала головой,—можно сказать, что ни ниток, ни иголок!

Вмешался и крестьянин-ходок.

— Эх-эх, товарищи-граждане, Красная армия, действительно, что нет!—взроптал он.—Хорошо бы вот

теперь,—нет и разверстки, а все плохо—не то, так это... Вот был я у Калинина. Так он же, наш избранник всероссийский, помочь—помог в моем деле, а сам сказал, что разруха... Еще придется узнать и нееденного и непитого. Сплошала наша нация. Не такой мы народ, чтобы чик—и все было...

Один из красноармейцев—видимо, политрук, задававший тон поступкам своих товарищей и мудро молчавший, пока касалось пустяков, повернул плечо в сторону бабки и крестьянина. С умиротворяющей твердостью поправил:

— Это вы, товарищ ходок, и вы, бабуся, жалитесь и поносите свою нацию зря. Мы изобрели советы, до которых не додумались ни в одном государстве. А это механика такая, что пусть-ка потанцуют буржуи, когда наше изобретение применят и у них рабочие и крестьяне! Небойсь, сами же вы большевистскому духу радовались, когда распатронивали в своем краю какого-нибудь живодера?

— Э-эх, радовались,—вдруг воспылал батрак-делегат.—Уж и почесали в нашем месте их! Уж и распотрошили! Да как, братцы! Я только что на станции был в это время, и не повезло мне, как другим в Ставрополе, где родня моя, а уж и музыка же там была!..

— Что,—заинтересовались участливо красноармейцы,—с боем?

— Да с каким боем! барабанным и колокольным!—упоенно подхватил и почти захлебнулся захлюпавший смехом от воспоминаний крестьянин.—Ха-ха-ха!

— Хха-ха!—радостно поддержали все.—Значит перепало родне твоей?

Крестьянин, будто вдруг сроднившись с слушателями, самозабвенно подсунулся, уплотнив потеснившуюся бабку.

— Перепало!—поведал он искренне.—Вот я расскажу вам, что мне другие передавали. Как началась

везде эта большевистская молотилка против буржуев,— в Великокняжеском и ждут. И вот пришло сперва с фронта солдат десяток, а потом приехал и большевичок один с города. Они и начали все. Подметили жители, что контора удирать собралась, дали всем знать, и вышло сразу против имения три деревни. Перенимайте, граждане, и берите кто что может! И вот началось! Сперва под арест управителя, потом заскрипели возы. Не то, что скот там или по хозяйству орудия, а и стулья понесли, и лампы, и ковры, и перин одних да подушек вытащили целую скирду. А после всего тащат солдаты с большевичком какие-то тяжелеющие три сундука. Ну, крестьяне видят: тяжко—помогать. Поставили посеред двора. «Раскрывай!—командует большевичок.—Будем делить». И вот раскрыли первый сундук. Глянули—а там на миллион серебряной монеты. Стали солдаты делить—не делить, а каждому по пригоршне. Раздали. «Раскрывай другой!» В другом—на миллион бумажками. Новенькие, да пачечками уложенные. По пачке каждому. Раздали. «Раскрывай третий!» А в третьем на миллион—золотые империалочки. По горсти каждому. Раздали. И-эх, ну и запраздновали после этого! Понавезли с города кому что больше надо, подняли голову и, сказывают, так запраздновали, хоть на стену лезь потом!..

— И все потратили?—с сладкой завистью заикнулась бабуся, взволнованная рассказом.

Красноармейцы приняли рассказ за чистую монету.

— Повезло деревенечкам. Ха-ха-х!

— Привалило людям!

— А у нас только землю что и отобрали,—упав духом, позавидовала старуха.

Шаповал, переглянувшись с Русаковым, чуть не прыснул от радостного смеха. Крестьянин разносил сложившуюся про Октябрь легенду, не допуская сомнения в том, что на деле победа над помещиками произошла не так просто.

И у рассказчика и у его слушателей, однако, повествование сразу приподняло дух.

Расшевелило это на задушевный разговор и Шаповала.

— Расписал комарище зеленой молодой мухе-мужичище!—засмеялся и мотнул головой Шаповал.—У всякого большевика поневоле во рту сладко станет, если послушаешь... Такой гвоздь не то к Калинину пройдет, а Ивана Великого в Кремле к земле пригнет да на кресте онучи высушит... Ха-ха, пассажир!

Русаков кивнул головой, чуть критически усмехаясь, и бросил, будто именно об этом и думал:

— Поэт!

Но сердце щемилось другим.

Все, что он видел, было самим собою. И этот глупо-завиральный, но в некоторых пунктах не сдвигаемый с своих позиций Поляков, и смышленно вслушивающиеся во все порознь, но вместе додумывающие всякую думу до конца красноармейцы, и легковерный, подбитый ветром ходок, и колеблющаяся от всякого разговора ропотница—возвращающаяся из города от дочки в хуторок бабка,—все это было органически неотделимо от той новой советской жизни, которая плескалась пенящейся брагой взаимопонимания между всем простолюдьем. Рабочие и крестьяне! Крестьяне и рабочие! Еще те интеллигенты и служащие, которые идут с рабочими и крестьянами. Бывает, что в самой среде этих же группок рабочих и крестьян что-нибудь заставляет их обличать с азартом друг друга, но вмешайся-ка в их спор кто-нибудь чужой—не переплетет ли их сразу всех в скрученное огнем и кровью кольцо единства против учуянного врага?

И вот в такой среде рабоче-крестьянского роятника—он, Русаков, бывший помощник инженера и подпоручик белого штаба. Каково его место среди них?

Рабочие и крестьяне! Русаков-Луговой имел, правда,

небольшое образование. Но он не жил на готовом. Его отец, известный когда-то на юге антиквар, кроме образования и некоторых знакомств в промышленной среде ничего ему не дал. С полным правом Русаков мог считать себя тружеником, не менее чем все другие необходимым в обществе, пока существуют фабрики и заводы. Он не рабочий от станка, что звучит у работников партии как-то особо. Но чем хуже рабочего от станка работник от инженерского стола или труженик от книжной полки или подвижник от перекраивающей жизнь и не останавливающейся ни на миг мастерской человеческого духа? Лишь бы каждый из людей, делая свое отдельное дело, равнялся на общую цель, поставленную себе духовно спаявшейся человеческой массой.

Делает ли так сам он? Идет ли в ногу с теми, кого недавно считал выродками человечества?

Русаков, будто обличив себя, закрыл глаза.

Кто он и для этих людей и сам для себя? Белый доброволец, прикрывающийся чужим именем самозванец, человек, вынужденный не брезговать сделками с темными дельцами и взяткой... Темная личность со всех сторон.

И, все-таки, Русаков считал, что если отбросить все случайное, что связано с его положением, как стоящего вне закона отщепенца, то в остальном он мог бы быть заодно с большевиками.

Его распалила и приперла к стене встреча со Стебуном. После разговора с большевиком постыдным показалось стоять в сторонке. Надо было или в союзе с ними вращать колесо жизни на задуманный ими лад или вступать с ними в смертный бой. Но коснувшись чего-нибудь руками, надо было делать так, чтобы все пело, а не водить действительно впустую «конским волосом»... Мог ли он еще раз попробовать найти у белых что-нибудь беззаветно преданное интересам человечества? Нет. Большевики же интересами

человеческих масс занимались по специальности. Но разве он может не фальшивить с ними, пока он вынужден выдавать себя перед ними не за того, кем он в самом деле был?

Он белых бросил именно потому, что в их среде он не нашел ни одной сколько-нибудь устойчивой и понимающей свое место в жизни человеческой фигуры. Там люди разлагались и заставляли гнить даже то здоровое, что попадало в их среду. Русаков их животной жизни не переварил.

Но, споткнувшись на людях, он только и мог снова воскреснуть от прикосновения к огню человеческих деяний. Огня и металла в стремлениях доселе встречавшихся ему большевиков он уже видел достаточно, чтобы не чувствовать того, что он не ошибся, когда решил перекинуться к ним. И этот Стебун... Или огонь или кремень. Скорее то и другое вместе. Даже врага поднимал из-под ног, чтобы павшего не топтать. Это хорошо. Но даже его помощь Резцовой—это была помощь для бывшего или будущего товарища. С ним Стебун говорил хоть как с беспартийным, но все же не считал его врагом. А если бы он знал, что Русаков—бывший белогвардеец, скрывающий под личиной коменданта свое прошлое?..

Приходилось делать именно то, что так беспощадно охарактеризовал своими сравнениями Стебун. Действовать заодно с большевиками, но не по внутреннему убеждению в их правоте, не из-за желания искренно служить их делу, а потому, что все равно теперь, как ни поступай. И еще для того, чтобы никто из окружающих не угадал его рокового двуличия.

«Тяжело!»

Русаков приподнялся и повернул голову к окну, устремив прямо перед собой усталый взор.

Шаповал, будто угадав, о чем думает его товарищ, с пытливой прямотой прогулялся по нем взглядом и, приподнявшись в свою очередь, спросил:

— Почему вы не вступаете в партию, товарищ Русаков?

Русаков помедлил с ответом.

— В партии есть, товарищ Шаповал,—стал он нащупывать не употреблявшиеся им до сего времени слова и говорить их так, чтобы они были ему к лицу,—есть и виртуозы зверской силы, настоящие большевики, и влезло теперь в нее много таких элементов, что вы не знаете сами, куда от них деваться. Ваш Ленин вместе с партией перекраивает человечество на свой лад. Это хорошо. Но вот как раз тогда, когда эта кройка была геройским делом, я, интеллигент-техник, подумал, что большевистская сила не сможет щелкнуть по пяти частям света так, что от них полетят черепки. Подумал, что большевики только грызнут Россию там, грызнут здесь, учинят годика на два международную драчку, дадут пожиться на наш счет немцам или какой другой шантрапе и затем слиняют сами и вывернут наизнанку свое дело. Я не верил в революцию...

Русаков остановился, чтобы не сбиться и не выдать себя неосторожной фразой, и продолжал:

— Нехотя я шел в Красную армию. Меня ранили, и я рад был, что избавляюсь от службы. А когда демобилизовался, то оглянулся на то, что произошло, и схватил бы себя зубами за локоть. Оказалось, что большевики не грызнули только там да здесь, а все перевернули. И, победив, не сложили ручки, а взялись за дело. Ворочают властью, двигают границами, крутят историю, брызжут электрификациями и орошениями, хозяйствуют казной. Они везде в почете и везде в начальстве. Тут в большевики стало тянуть не одних героев, но и всяких жуликов. Честному человеку теперь-то именно, не входя даже в партию, можно и должно стать первейшим помощником большевиков. Таким я и решил быть пока что... А дальше посмотрим, будь, что будет. Одно знаю: свались какая

беда на Ленина или вашу партию, рассыпься тогда из нее примазавшийся всякий сброд, объяви, скажем, опять Антанта войну,—я первый ничего тогда не пожалею для партии. И если бы все отшатнулись, я бы сказал: а я вот именно тогда, когда вам жарко, с вами. Поэтому партийного билета я хоть и не боюсь, но хлопочут о нем пусть другие. Положитесь на меня так, товарищ Шаповал.

— Та-ак... Ну, работнем значит, товарищ Русаков! Есть у вас амбиция, ну, да ничего. Полезная амбиция не помешает.

Русаков молчал. Он изложил так ново свои мысли несколько неожиданно для самого себя; подумал, что внешней стороне его поведения они отвечают вполне. Что же касается внутреннего содержания, то поможет ли ему кто-нибудь утвердиться в нем? Он на это не рассчитывал.

Он слез вместе с Шаповалом с верхней скамьи, пристроился в угол, чтобы съесть кусок ветчины, и сейчас же к нему в поисках покровительственного сочувствия стал тулиться мужичонко-ходок.

— Вы, товарищ, из Георгиевска?—слышал я, как вы разговаривали,—наклонился он перед Русаковым.

— Нет, дядя, я еду туда работать. Георгиевска еще и не видел.

— Я из Георгиевска,—вызвался Шаповал,—вы что, ищете земляков, что вам так интересно, кто откуда?

— Да как же не интересно, когда в Георгиевске же все мое дело. Быки там, за которых я просил Калинина, гуляют в продкоме.

— А! Как же они попали туда?

— Да не сами попали, а отвели добрые люди.

— Как?

— Расскажу вам, товарищ, а вы посоветуйте... Убили у меня белые сына, а я с дочерью батрачил, все только и ждал, чтобы он пришел да чтоб завели мы хозяйство.

Вот когда убили его, я ждать перестал—и в комбед на Невинке. Так и так, товарищи: сын погиб, дочь девка— замуж пора, и нечем жить. В комбеде товарищи и говорят: хутор есть, из которого выкурили одних, вот и бери его. Я и поселился. Жить—живем, а сами работаем: я на советской маслобойке, а дочь на станции. Заработали на быков, купили пару, думаю: ну, теперь можно и хозяйствовать. И тут бы пахать, а тут налог. Станичный совет подстроил так, что я с самого начала должен платить. А платить чем? Туда-сюда... Не признают ни милости, ни жалости. Угнали быков. Я— в комбед, а в комбеде говорят: и наши дела плохи, жмет исполком. И посылают: езжай к Калинину насчет нашего дела, что притесняют опять иногородних казаки, и попросишь насчет быков. Товарищ Калинин, спасибо, все разобрал и велел написать мне приказ возвратить быков. Вот теперь еду да и думаю: эх, получить бы худобу да успеть вспахать!

Шаповал тряхнул в сторону крестьянина головой.

— Эх, дядька! Такое дело мы и без Калинина распутали бы. Напрасно в партийный комитет в городе вы не зашли.

— Да кто ж знает, что в силе комитет...

Крестьянин почему-то тяготел больше к Русакову и обратился опять к нему.

— Ну, а как же, товарищ, если и на приказ в продкоме не посмотрят? Так и советуете в комитет ткнуться?

Русаков плохо представлял себе увязку отношений между различными органами власти в провинции и поглядел на Шаповала, но размашистый доброволец— восстановитель советской промышленности, поддержав в батраке дух участливым замечанием, направился куда-то из вагона.

Пришлось Русакову войти в заботу неудачного землероба.

— Этот товарищ, что сказал насчет комитета, знает в городе всех комиссаров, и если приказ не подействует, он поможет. Пойдите сперва в продком или кому там написана ваша бумага и передайте ее, требуя своего. Если откажут, то разыщите этого товарища, а если стесняетесь его самого просить, то хоть меня или вот товарища Полякова, с которым вы разговаривали о дочери; мы будем в городе работать при заводе, и вам помогут...

— Вот спасибо-то, вот спасибо, добрые люди, что поможете хоть вы выбраться из батрачины! А тож и после революции хоть в Сибирь гайдакай искать какого-нибудь прислону к земле... Как ваша фамилия, товарищ, чтоб не шукать вас долго на заводе, как не найду товарища Полякова?

С Поляковым у крестьянина знакомство установилось еще с самой Москвы.

— Спросите Русакова. А вас как зовут и величают?

— Фамилия Колтушин, а имя-отчество—Афанасий Ермолаевич.

— Ну, вот, Афанасий Ермолаевич, бычков получите и богатейте себе. Вы вдовец, видно? Еще женитесь и помещиком сделаетесь.

— И зачем то помещичество! Хоть бы так хозяйство сколотить да дочь отдать за хорошего человека.

— Славная дочка?

— Э-эх дочка! Хозяйка да затейница, рукодельница.

Оставивший беседу с красноармейцами Поляков уловил, о чем разговаривали крестьянин и Русаков.

— О дочери ходоковой говорите, товарищ Русаков? Должно быть, славная невеста будет. Меня отец обещает познакомить с ней. Ха-ха!

Поляков заранее радовался, и Русаков только мог изумиться решительности намерений монтера.

Шаповал еще недавно работал в качестве чрезвычайного коменданта города на юге.

Это было ко времени ликвидации Врангеля и перед тем, как Шаповал оказался в Георгиевске.

Шевелились остатки контрреволюции и процветали разбои бандитских группок, которые, как перекати-поле, путались под ногами у стремившегося выйти на путь восстановления разрушенного хозяйства пролетариата.

Для работы на юге были брошены испытаннейшие большевики, и под началом у них оказался Шаповал.

Шаповал—на вид рубаха-парень, неграмотный полубурлак, а в самом деле—приметчивый вожак рабочих, еще вчера руководивший на фронте им же организованным отрядом. Он крепился и вел борьбу, не щадя своей собственной энергии, хотя и чувствовал, что пережитые им до этого всякие фронтовые передряги и нечеловеческое напряжение на полувоенной работе уже достаточно измотали его и заставляют желать перемены образа жизни.

Одно обстоятельство послужило поводом к тому, что Шаповал на эту перемену пошел скорее, чем предполагал.

Шаповалу предстояло расстрелять бывшего оберкондуктора Притуляка, убившего и ограбившего с каким-то сообщником советского артельщика при доставке заработной платы рабочим на рудники.

Шаповал подписал решение о расстреле обер-кондуктора, Шаповал же с двумя дружинниками и должен был за околицей города, возле железнодорожного моста, расстрелять его. Он, однако, не видел приговоренного вплоть до того момента, когда на автомобиле очутился на месте, где должен был произойти расстрел.

Шаповал сидел на передке большой закрытой ма-

шины рядом с шофером; оставив шофера, спрыгнул на песчаную, полузаросшую диким пыреем, землю. Из дверец автомобиля вытолкнулся, согнувшись, арестант, и выпрыгнули дружинники.

Это происходило ночью в глухом конце пригорода. Слышно было вблизи пыхтение и свистки маневрирующих паровозов. Но вокруг виден был только зловеще подымавшийся в темноту откос полотна железной дороги, и в откосе этом обозначалась часть черной дыры проезда под мостом.

Эта дыра, часть откоса, крылья в передке машины да еще четыре вылезшие из машины человека были освещены сиянием автомобильных фонарей.

Один дружинник, высадившись из машины, немедленно вцепился осужденному в рукав и стал держать его, пока другой торопился вынуть из кобуры револьвер.

Обезвреженный обер, канцелярски выдохшийся пожилой мужчина с отощалым телом, затравленно подстерегал каждое движение окружавших его людей, зябко кляцал зубами, но вдруг остановился взглядом на Шаповале и сразу переменился.

— А!—прохрипел он,—а, знакомый!

Шаповал также вынимал из кобуры револьвер, но, услышав это хрипение, вздрогнул.

Он не понимал причины волнения человека, перед ухом которого должен был, лишь только улучит момент, спустить неожиданно гашетку револьвера. Он в первый раз в жизни видел этого человека, а между тем тот так загорелся на мгновение, что перестал дрожать.

Шаповал слишком крепко сек по преградам революции, чтобы хоть на минуту усомниться в том, что эту казнь нужно произвести, так же как и много других, уже произведенных, чтобы очистить советское общество от жалящих пролетариат врагов. Он не мог поддаться колебанию. Казнь надо было совершить

хотя бы после этого в голове гудело. И сомневаться было не время.

Но он попридержал в руке револьвер и на мгновение остановился, когда осужденный его окликнул.

Клокочущий, как только что вскрытая запятнанная пылью и прахом бутылка с бурным напитком, человек весь замер, вцепившись взглядом в Шаповала, и державший его дружинник растерянно выпустил из руки обшлаг его рукава.

На этом человеке висел большой пиджак, под которым выделялась убранная в штаны и сколотая у воротника английской булавкой черная рубашка.

Типичный обратник из этапной колонны. Но ни в его фигуре, ни в горячечно остановившихся со змеиным упорством на Шаповале глазах знакомого для Шаповала ничего не было.

Шаповал подержал на нем удивленно взгляд втечение минуты, не нашелся сразу, что ответить, шевельнул головой и сердито взглянул на того дружинника, который держал осужденного.

Уловивший это движение приговоренный снова ожил, будто члены его одержимого каталепсическим припадком тела пронизало гальваническим током. Почти с задышкой страха и непонятной радости он воскликнул:

— Шаповал! Я с Кавалерки. Помнишь Кавалерку и молотьбу на токах?

Шаповал решил кончать и гневно отсек:

— Не заговаривай зубы. «Знакомый»! Ведите его.

Он в беспричинном раздражении отшвырнул от себя попавший под ноги камешек и решительно сделал дружиннику знак.

Шаповал помнил и Кавалерку—место, где проходило его детство—и балки со скирдами хлеба на токах, где производится молотьба, и простор поля, и ясное синее небо, под которым билось столько всякого живучего дыхания. Но причем тут разная блажь, когда

сейчас надо было расстрелять врага своего класса. Момент не позволяет расспросить хоть немного обера. Шаповал знал наизусть все его дело, знал, почему и как он совершил преступление, но не знал, что он с Кавалерки и не видел его ни разу в лицо. Теперь же остро захотелось вспомнить о детстве. Но тогда надо было делать не то, зачем побудил сюда явиться Шаповала среди ночи его классовый долг,—он не хотел даже вспоминать того, что человек, подобный Притуляку, мог работать на молотилке в качестве одного из машинистов, возле которых ютился в детстве Шаповал. Он должен был служить революционному делу, а не отдаваться своим настроениям.

Не до них было.

Дружинник толкнул осужденного, который, вдруг увидев, что все погибло, снова начал дрожать. Он повел обера вдоль откоса. Другой дружинник следовал за ними вместе с Шаповалом. Шаповал, скособоченно покачиваясь, дал осужденному полминуты на догадку о том, куда его ведут.

Вдруг он очутился вплотную возле преступника, и тотчас же раздался выстрел. Осужденный, не успев вскрикнуть, качнулся, падая наземь. Дружинник, державший его, отскочил в сторону, но сейчас же рванулся к упавшему и выстрелил в него в свою очередь.

Стало удивительно тихо.

Все после этого наклонились с напряженным вниманием к вытягивавшемуся человеку, на слух угадывая через темноту, не сохранилось ли в нем еще признаков жизни.

Но расстрелянный был бездыханен.

Шаповал выпрямился, постоял минуту, оглядывая дружинников, и махнул рукой.

— Заройте и езжайте в город. Я пойду пешком.

Шаповалу хотелось обдумать происшедшее, и он двинулся в город, поднявшись по откосу на полотно железной дороги.

Напоминание о его детстве, брошенное ему при столь необычных обстоятельствах, перепутало в нем все мысли. Он шагал и долго отряхивался от чего-то давившего его к земле.

— Бр-ррр!—обрывал он сам себя с напускной для того состояния, в котором находился, воинственностью.—Сдыхать пора, товарищ Шаповал, нутро ломается!

Нутро у него ломалось. Как и у большинства перегоревших тысячами житейских передряг в дореволюционном подполье, на каторге и на гражданской войне людей, сердце у него начинало буксовать. Был однажды припадок. Другой, по предсказанию доктора, должен был кончиться смертью.

К этому Шаповал был готов, но надо было, сколько хватит пару, продержаться и для этого оставить тяжкую горячку полуфронтовой работы.

— Баста!—вывел Шаповал,—надо заняться другим.

Тут же он решил хлопотать о предоставлении ему партийной или хозяйственной работы. Он надумал перевестись, хотя бы в деревню, но только отдохнуть от долголетнего напряжения боевой деятельности.

Комендатуру он наметил передать своему заместителю, латышу Дауге.

Через несколько часов, еле дождавшись дня, он уже действовал.

Но этот день внес поправку в его намерения. Шаповал нашел себе жену.

Это произошло совершенно неожиданно и косвенно было связано с произведенным им накануне расстрелом.

Шаповал, побывав, без успеха на первый раз, у нескольких руководителей ревкома по поводу освобождения его от работы, зашел в кабинет своего заместителя и увидел здесь перед столом латыша Дауге жалко ежившуюся еле созревшую девушку. Дауге допрашивал ее.

Шаповал сел за другой стол, чтобы обождать конца допроса, и сейчас же навострил слух.

С первых же произнесенных латышом слов он понял, что девушка—дочь расстрелянного им обер-кондуктора.

Дауге, очевидно, заподозрев причастность девушки к делам отца, где-то арестовал ее и намеревался создать новое уголовное дело.

Девушка знала уже, что отец ее расстрелян. Теперь она, представляя такой же конец для себя, окаменела от ужаса и, не двигаясь, еле отвечала латышу.

Шаповал вслушался в допрос.

— Вас зовут Оля Притуляк?

— Да.

— Вы где-нибудь работали?

— Нет.

— Что же вы делали дома?

— Читала, играла на гитаре, пока дом был, ждала, пока кончится все между белыми и красными, чтобы ехать с отцом куда-нибудь и ничего этого не знать. Недавно нас выселили, как нетрудовой элемент, из дома, и отец жил на вокзале, а меня послал в Харьков... думал, что там еще живут его родственники. Но я никого не нашла и вернулась к нему.

— На какие средства вы существовали?

— Отец отдавал все деньги мне, а я с ними делала, что хотела. У него свои были, он получал прежде много от родственников. У него братья, офицеры, находились в штабе Врангеля.

— А теперь где они?

— Я их не знаю. Отец думал, что они в Харькове.

Положение запутывалось.

Дауге, очевидно, должен был передать допрашиваемую под арест. Девушка же трепетала не только оттого, что не знала, чем это происшествие должно было кончиться, но еще и потому, что ей после допроса некуда было деваться. Между тем, Шаповал, изучивший протоколы следствия, знал, что расстрелянный,

любя дочь, из-за которой он учинил грабеж, отправил девушку от себя именно для того, чтобы она осталась в неведении относительно его преступления.

Но Шаповал чувствовал необычное смятение уже от сознания того, что удар, которому подверглась девушка, нанесен именно им. Он казнил ее отца, о чем она не могла и подозревать. И девушка оказалась в таком положении, что, выйдя отсюда, она могла только наложить на себя руки или итти торговать собой, если хотела жить. Между тем она едва сделалась взрослой. Вся она здесь, стоя у стола Дауге, была на виду. Коса, как у девочки, висела, кончаясь черным бантиком у пояса. Коричневая форма под черным передником и неокрепшая фигура с нежным розовым свежим лицом дополняли ее образ, выдавая в ней вчерашнюю гимназистку.

Нужно было одно только прикосновение, чтобы она превратилась в женщину.

Шаповал отчаянно жался к спинке кресла, в котором сидел. Его жилистое недолюбливающее бритву лицо с лепешечно одутловатыми большими щеками темнело все больше и больше. Он дождался, пока Дауге вынес решение:

— Придется, гражданка, вам пойти в камеру...

Тогда он встал и решительно подошел к столу.

— Сядьте-ка, товарищ,—бросил он девушке. И, повернувшись к латышу, попросил:—Обожди, Дауге, я дам тебе один протокол.

Дауге с удивлением поднялся и взял в руки поданную ему Шаповалом тетрадь, которую Шаповал развернул на определенной странице.

Через минуту, прочитав в ней два десятка строк, Дауге оторвался от нее и, сознаваясь в ошибке, смущенно поднял глаза на Шаповала. Из протокола явствовало, что дочь Притуляка не могла быть ни прямой, ни косвенной пособницей отца.

Поймав взгляд товарища, Шаповал обернулся к убито сидевшей на стуле девушке.

— Мы оба просим у вас, товарищ, извинения—стал он возбужденно поправлять дело.—Вы были задержаны по ошибке. Тут у нас значится, что отец послал вас в Харьков нарочно для того, чтобы вы не знали об его намерениях. Значит, вы не причастны к его преступлению и свободны.

Девушка с непроизвольной медленностью поднялась, широко раскрыв глаза, но сейчас же опустила руки и в безмолвном столбняке замерла, не двигаясь к выходу.

— Вы можете итти!—повторил Дауге.

Девушка с тоской шевельнулась, шагнула к порогу, но сейчас же снова остановилась, не зная, что с собой делать. Плечи у нее задергались от приступа рыдания.

— Ей некуда итти!—шепнул Шаповалу латыш.

Шаповал махнул в ответ рукой, направился было к двери, но вдруг передумал, очутился возле девушки, схватил ее за руку.

— Товарищ, идемте со мной!

Девушка, севшая на стул и старавшаяся притти в себя от рыдания, подняла на него с тоской глаза.

— Вот что, товарищ,—увлекся собственным решением Шаповал,—успокойтесь-ка. Ничего не случится больше! Хорошее что-нибудь у нас даже выйдет. Смотрите на меня, могу ли я вам сделать зло? Нет, идемте ко мне. У меня есть место, я вас защищу от каких бы то ни было несчастий. Побудете у меня день—другой, надумаете что-нибудь, и тогда увидим. Никуда я вас больше не пущу. Успокойтесь и идемте. Согласны вы ввериться такому облому, как я? Пойдемте!..

Девушка протестующе встала, не решаясь дослушивать Шаповала.

Но он взял ее за руку и, кажется, не отпустил бы, хоть обдай его кто-нибудь кипятком.

И она покорно подчинилась, готовая сделать все, на что ее толкнут.

— Идемте!

Шаповал доставил Олю Притуляк в общежитие, где жило несколько работников ревкома. Немедленно озаботился он расширением своей жилплощади, добиваясь двух комнат и кухоньки, и даже замедлил с хлопотами о перемене работы.

Но лишь только Оля успокоилась и стала способной соображать о случайности своего необеспеченного здесь пребывания, Шаповал вступил со своей печальной гостьей в дружеские объяснения.

Оля поделилась жалобами на свое сиротство. Шаповал рассказал ей о тех боях, в которых провел свою жизнь. И кончилась эта беседа взаимной их расчувствованностью и вспыхнувшим друг к другу влечением.

Оля сделалась женой Шаповала.

Назначение на другую работу Шаповала задержалось. Тем временем он узнал лучше свою жену. Странным изнеженным существом оказалась эта, превратившаяся раньше времени в женщину Оля. Легко она восприняла взгляды мужа на все, с чем была связана его революционная деятельность, но выше ее сил было подружиться с кем-нибудь из товарищей Шаповала. Их активная общественность казалась ей основанной на отсутствии чувства скромности, безудержной грубостью. Сама она не представляла себе, как это можно публично, среди множества других людей, судить о происходившей революции и о перспективах завтрашнего дня, оспаривая друг у друга правильность мыслей. Для этого, казалось ей, люди должны были быть способными беспрестанно наносить друг другу оскорбления и быть готовыми, в свою очередь, принимать их. Поэтому из всех большевиков только для одного мужа, убедившись в душевной чистоте и чуткости Шаповала, она и делала исключение,

мирясь с его выступлениями на рабочих митингах и перед товарищами по партии.

Шаповал же нашел в ней беззаветно предавшееся ему существо и чем больше жил с ней, тем больше поражался тому, как взрослая девушка могла при пережитых трясках войны и революции сохранить в девственной неприкосновенности удивительно детское, часто наивное, понимание жизни.

Он из осторожности не сказал Оле о том, что он был непосредственным виновником казни ее отца. И в ближайшее же время он убедился в том, что при наивной ослепленности жены это и немыслимо сделать. Одно простое описание чьей бы то ни было смерти повергало ее на некоторое время в тягостное состояние; она избегала слушать о мертвецах. Но, с другой стороны, рассказы Шаповала о его боях, при описании которых муж намеренно не останавливался на перечислении смертей и убийств, возбуждали у нее повышенное настроение, что находило свое выражение в усиленном ухаживании за пережившим героику революционных дел Шаповалом.

Сама она не способна была на грубость даже тогда, когда ее наталкивали на это, и однажды дала в этом отношении урок мужу.

Она имела совершенно неверное, детски чистое представление о других женщинах, поскольку эти женщины умели наружно представляться недоступными для предосудительных страстей матронами.

И вот через месяц после замужества, придя на вокзал встретить уезжавшего в округ на сутки мужа, она увидела выходившую из вокзального зала местную красавицу, поразившую ее тем аристократическим шиком манер, которым вышколенные женщины заученно обдают весь мир, привлекая к себе тем самым общее внимание.

Оля сравнила мысленно пышную женщину с собой, с коммунистками, женами партийных работников, не

обращающими внимания на свою внешность, и доверчиво поделилась чувством ущемленной зависти с Шаповалом:

— Вот видение! Как богиня, земли не замечает!..

Шаповал взглянул на завернувшуюся в пространную котиковую десятину, как в царскую мантию, женщину, уловил очерк ее лица и усмехнулся.

— Это барынька, одна бывшая домовладелица... Не суди по наряду. Я знаю бывших купчих и спекулянток, что одеваются еще хлеще, но рукавом котиковой шубы вытирают потеки от носа и за несколько рублей идут ночевать с босяком...

— Ну, это дурочки вроде меня. А такая большевиков или ухажоров к себе не подпустит на десять верст.

— Ха-ха!—пришел в дикий восторг Шаповал.

Он знал казовую роль внешнего благородства мнимонедоступных для пороков женщин. Прошедшая же красавица имела дела с ревкомом и комендатурой. Слухи о бывшей домовладелице в товарищеской среде Шаповала были весьма недвусмысленные, и Шаповал решил вдруг просветить жену.

— Знаешь что, Оля... Хочешь познакомиться поближе с подлинной натурой таких женщин, не удостоивающих будто тебя и большевиков взглядом?—спросил он.

— А как это сделать?

— Сделаем. Столкнись ты с такой примадонной по какому-нибудь поводу, да дай ей волю, она растопчет тебя, как козявку, и не поморщится. Между тем, она не стоит одного волоска на твоей головке, Оля. Но мы это увидим. Поедем.

Они вышли с вокзала. Шаповал с сумкой из-под харчей и постельным свертком, Оля под руку с мужем.

Шаповал подозвал извозчика, и они поехали домой.

Оля забыла, спустя три дня, о происшедшем на вокзале и думала, что неясными намеками Шаповала весь инцидент встречи с красавицей исчерпан.

Но Шаповал придал своему обещанию серьезное значение. Он хотел, чтобы жена себя ценила и не покушалась завидовать поражающим ее своим нарядом и лоском манер сомнительным барыням.

Возвратясь в один из ближайших дней из ревкома, где он, собираясь уезжать в Георгиевск, сдавал дела ликвидируемой комендатуры, он возбужденно сообщил жене:

— Ну, Оля, теперь нам надо устроить маскарад...

Оля, порозовев за стряпней возле печки, накрывала стол. За дешевенькой белой скатертью, жестяными кастрюльками и старыми тарелками, поцарапанными, будто их грызли кошки, сияющая сознанием своего счастья, она торжествовала, ухаживая за Шаповалом, и тотчас же спросила:

— Какой маскарад?

— Помнишь, мы разговаривали на вокзале о той домовладелице? Я хочу тебе показать, как такие барыни за одно спасибо вешаются большевикам на шею. Она сегодня придет ко мне в гости.

Шаповал усмехнулся и испытующе посмотрел на жену.

Оля, чуть не вскрикнув, побледнела и полминуты молчала.

— А я... надоела тебе?—выговорила, наконец, она с дрожью обиды в голосе, но силясь сохранить видимую гордость.

Шаповал вскочил, стремясь объяснить ей свою затею, и, подхватив ее на руки, с поцелуями закружил по комнате.

— Глупая,—поставил он, наконец, на ноги жену,— ты думаешь, я тебя променяю за тысячу таких барынь? Или погонюсь за чьей-нибудь юбкой? Или позволю себе обидеть тебя каким-нибудь чувством к другой женщине? Слишком удачно я тебя нашел, чтобы не дорожить твоим сердечком. Глупендяра ты маленькая!

— Зачем она придет?—негодующе воскликнула Оля,

не скрывая того, что кусает губы и что мигают ее глаза, готовые заплакать.

— Я же это сделаю, если только ты согласишься на это. Я позвал ее, и она так и поняла, что я устраиваю с ней интересное амурное свидание. Она же всяких приключений ищет. Пригласил к себе на свиданье чрезвычайный комендант—не шутка. Так вот я хочу, чтобы она не знала, что ты моя жена; ты оденься, как прислуга. Я достал вина и деликатесов для ужина, буду ее угощать, если понадобится, а ты будешь будто прислуживать нам и примечай, как эти женщины ведут романы. Я тебе покажу ее во всей ее красе, когда она распояшется. Тогда ты не будешь считать каждую встречную буржуйку за райское видение во плоти. Такой штуки никогда не увидишь, если не показать ее тебе. Хочешь?

Оля заинтересовалась, наконец, и после нескольких новых убеждений Шаповала стала сама увлеченно соображать, как ей не обнаружить перед ожидаемой гостьей задуманной Шаповалом мистификации.

— Возьму у дворниковой жены платье с передником и на косу нацеплю алую ленточку!—ухватилась она за мысль мужа.

— Вот-вот! Да надуй губы, будто бы презираешь всякую буржуазию, беспокоящую бедных горничных, и фыркни разок повыразительней!

— Перещеголяю артисток!

— Ну, значит, готовься. В семь часов придет.

Вечером Олю нельзя было узнать. Она превратилась в донскую станичную деваху. Вместе с Шаповалом приготовили стол в комнате, где были книги Шаповала. Другой комнате придали характер холостяцкой спальни. Оля должна была находиться в кухоньке и приходить, когда ей постучит или позовет ее Шаповал. Но между собой Оля и Шаповал условились, что она через дверь кухни будет наблюдать за происходящим.

И вот около семи с половиной часов в дверь постучали. Шаповал открыл дверь, впустил неуверенно вошедшую и поздоровавшуюся гостью и весело стал помогать ей раздеваться.

Когда шуба была снята, видение, очаровавшее на вокзале Олю, наполовину лишилось своего великолепия. Гостья оказалась особой вдовьего нрава, в меру напудренной, подрумяненной и имеющей какую то свою цель.

Через минуту эта женщина сидела вместе с Шаповалом на диване. Еще через минуту завизжала в ответ на сказанную Шаповалом двусмысленность.

— Ольга!—позвал Шаповал.

Деваха в переднике, с большой косой на спине и алым бантиком, вышла, глупо выпятив губы, из кухни и уставилась на Шаповала и сидевшую возле него в салонной позе даму.

— Затопите камин,—распорядился Шаповал.

Мнимая горничная повиновалась. Шаповал, быстро переглянувшись с Олей, взял руку защебетавшей о театре красавицы и, с видимой нежностью поглаживая ее, стал разводить турусы:

— Женщины, как вы, воспитанные на антипатии к рабочим, живут в настоящее время каждый миг под ударом. Часть из вашего круга уже погибла. Другая часть погибнет, если не примет заранее мер. А ведь сколько у вас того, чего нет у нас, рабочего простолюдья. Вы, например, для меня, дикаря, крепкого только зверской своей силой, настоящий самоцвет. Признайтесь,—палач, большевистский комендант целует вас—вы этого себе не представляли!—И Шаповал дразнил смехом собеседницу.

Гостья—интриганка, волновавшаяся от авантюрного возбуждения и действительно ждавшая, в результате свидания, благоволения со стороны грозного человека, старалась угадать, что предпримет и как именно поведет себя тот большевик, имя которого для города

связано было с полными всяких страхов слухами. Он позвал ее после первого же двусмысленного разговора, встретив ее с одним ревкомщиком, прямо на улице. Дерзче всех других большевиков он заговорил с ней, как с женщиной. Втечение нескольких минут подразнил заставившими притти в возбуждение предложениями, а затем совсем недвусмысленно пригласил ее к себе.

И она, рассчитывая, что может найти в нем серьезного покровителя, пришла.

Уже помогая ей снять шубу, Шаповал делано-победно и заражающе взглянул ей в глаза и придержал за локти.

А затем началось.

Пустой разговор не отвечал бы тайному замыслу их обоих о свиданьи. И Шаповал вдруг, не дав гостье оглядеться, положил женщине на шею руку и вызывающе вопросительно взглянул на нее.

Она в виде слабой попытки сопротивления на его поспешность покачала головой, но предоставила ему поступать, как он хочет. Все равно—это была игра с неравными силами. Шаповал не мог не овладеть ею, пожелай он этого. А он делал вид, что желает.

Видя, что женщина сама не скрывает своих помыслов в выжидающих его действий защитных движениях, он, схватив ее за руку и шепнув «пойдемте», вдруг повлек ее в спальню.

— Разденьтесь! Снимите!—зашептал он, с хорошо разыгранным бешеным нетерпением, сдергивая с нее кофточку.

И женщина, также покоряясь его нетерпению, заспешила раздеваться.

— Я сейчас,—воскликнул вдруг почему-то Шаповал и мгновенно выскочил из спальни.

Кусая теперь смеющиеся и дергающиеся губы, он очутился на пороге кухни перед Олей.

Оля также взволнованно ступила ему навстречу. Она увидала торжествующие судороги на его лице. Теперь ей осталось только пробежать вместе с Шаповалом через комнату в спальню, чтобы подвергнуть позору находившуюся там женщину. Шаповал предполагал, что так это и будет сделано. Он схватил жену за руку и хотел ее увлечь к спальне.

Но Оля уничтоженно прислонилась к косяку дверей, и рука ее безвольно выпала из руки Шаповала.

У нее на щеках были слезы, и в раскрывшихся на мгновенье глазах залегла самая тоскливая, самая мучительная скорбь.

— Что с тобой?—воскликнул Шаповал испуганно.

— Александр, Александр!—воскликнула горестно женщина.—Как гадко жить на свете! Это же не для нее, а для меня обидно. Не хочу смотреть, не хочу ее видеть, пусть уходит!

Шаповал сразу осекся и оглянулся. Ему самому сразу стало стыдно всего происшедшего.

Он повернулся к спальне и почесал затылок. Не хотелось теперь показаться на глаза женщине, затаившейся и решившей, очевидно, не выдавать своего присутствия в спальне ни одним звуком. Там не шевелилась она, здесь—боялся поднять голову Шаповал. И замерли возле дверей кухоньки Шаповал и Оля, а в спальне—смертно поруганная, опозоренная женщина-самка.

— Шура, иди отпусти ее, чтобы она меня не видала. Я спрячусь на кухне!—тихо сказала Оля:—Пусть она не знает ничего...

Шаповал с трудом мог поднять ногу, чтобы переступить через порог спальни. Женщина уже должна была начать догадываться, что он над ней проделал что-то позорное,

И все-таки надо было итти.

Шаповал вошел в спальню. Женщина была уже одета. Забившись в угол, она обожгла Шаповала взглядом ненавидящих глаз.

Не глядя на нее, Шаповал кивнул головой на дверь:

— Идите, гражданка... Я подшутил над вами и каюсь,—я женат. Мне этого не надо.

Женщина рванулась к двери.

— Негодяй!—выплюнула она с ненавистью, выскакивая вон.

Шаповал и Оля убито сели друг против друга возле загроможденного нетронутыми яствами стола.

— Убедилась, Оля?—спустя минуту спросил виновато Шаповал.

— Ах, какая дура я! как мне тяжело,—клеймила себя и сознавалась Оля.

— Меня прости, Олечка—поднялся к жене Шаповал.

Оля покачала головой и улыбнулась через силу.

— Мудрец—муженек у меня!.. Вот мудрец! Эх ты, калека моя кособокая!

Шаповал сговорился с Олей впредь ее щадить.

Вскоре после этого события Шаповал оказался в Георгиевске, где и ухватился за восстановление завода.

Шаповал, приехав из Москвы, знал, что в Электросельстрое были выписаны три командировки. Для Полякова он взял себе путевку на руки, по двум другим должны были приехать на завод инженер и старший монтер.

Приехал только монтер Дергачев, серьезный гражданин, понимавший всякую работу в зависимости от того, какой доход она обещала. Сунул Шаповалу до-

кумент, покосился иронически на Полякова и заложил руки в карманы.

— Почему без инженера?—рассвирепел вдруг Шаповал, бросая под стол служебное удостоверение и наступая на рабочего.

Тот захлопал глазами.

— Да вы разве не знаете?.. Инженер поехал в Одессу. У него и сюда и в Одессу командировка. Он со мной говорил, еще когда вы были в Москве, сказал, что я работу, мол, знаю... Если что не так, то напишу ему письмо, и он приедет или по почте распорядится...

— Вот жулики! Получает командировку, получает деньги, прогоны и сам куда-то едет, а работу сваливает на рабочих... Цацы не нашего бога.

И Шаповал, опустив в гневном остервенении руки, захлебнулся в потоке буйной брани.

К моменту предполагаемого приезда инженера он нарочно не пошел в совет, где работал, а явился на завод, намереваясь познакомить специалиста с директором завода и сразу ввести приезжего в свои проекты. Шаповал знал, что на партийца-директора, занятого ведением окружной партийной школы и неактивно относящегося к делу, он положиться в деле восстановления завода не может. Для этого требовался специальный человек. Добившись в Москве временной командировки на завод инженера, Шаповал и решил в уме, что с приехавшим специалистом он сговорится и обратно уже его не пустит. Теперь весь этот план рушился; оставалось только развести руками.

Шаповал взглянул на вслушивающегося в объяснение и водившего уныло носком сапога по полу Русакова. Схватился за голову.

— Что вы теперь будете делать?—не знал он от отчаяния, что сказать монтерам.

— Наше дело маленькое, товарищ Шаповал. Спра-

вимся без инженера. Что же теперь делать?—ответил Дергачев и рассудил:

— Инженер тоже не большая мудрость. Только планы разводил бы да над душой торчал, как дышло, а работали бы все равно мы.

— Это—мораль в пользу сирот. Говорить мы все—скорошвейки, а проектировку... белая мышь расчертит?

— А готовой разве нет? Были же тут раньше линии?

— Были, так то ж своя станция была.

— У, чорт!

Дергачев растерянно остановился и снял шапку. Поскреб в голове и вычесал решение:

— Придется писать ему.

— Опять целый месяц ждать?

— Тьфу, ну его!

Русаков молча ждал результата переговоров. Теперь, помедлив с минуту, решил вмешаться.

— Не нужно ни писать, ни ждать. Я проектировку сумею сделать без инженера. Мне пришлось на одном вокзале на практике этому научиться. Только, понятно, монтерам придется согласиться на мою ответственность.

Шаповал поднял голову и полминуты смотрел на техника. Потом вдруг решил:

— Действуйте. Если что-нибудь сделаете—на весь свет пустим славу о себе.

Поляков, разразившись боевым кличем отпетого матершинника, воспрянул:

— О! Давно бы так.

Дергачев согласился.

Шаповал решил:

— Идемте в мастерские.

На заводе еле начиналось биение производственной жизни. На заброшенной когда-то самостоятельной силовой станции томился без дела сторож. В кузне из двух десятков горнов в двух сиротливо билось пламя, около них копалось несколько кузнецов. Проходы были

загромождены не у места торчащими кучами железного лома и битых машинных частей.

Во дворе группка чернорабочих на тачках возила со двора в помещение уголь. В литейной от двух вагранок несло холодом. Выкрашенные красным суриком модели торчали, частью среди здания, частью сгроможденные в кучу в одном углу цеха, наводя унынис своими пробоинами. Несколько рабочих обсекали зубильнями с больших, не отделанных после литья шестерен плюсны льяка, другая группа занималась ремонтом воздухогонных труб.

Один литейщик присоединился к московским товарищам нового заводского штаба, стараясь упомнить намечавшиеся руководителями завода проекты работ.

— К воздухогонной машине придется проводку дать мимо кладовой и в эту стену,—разъяснял Шаповал Русакову.—Для освещения возьмите через счетчик особо линию. А для станков в токарном цехе, для передачи вагонеток и в модельное отделение отвод возьмите от главной линии из машинного.

— Что вы тут делать будете?—спросил Дергачев.

— Все время делали части для маслобойных прессов, молотилок, веялок и всякого сельского инвентаря. Льем задвижки на нефтепроводы, фланцы и блямбы для кранов. Но все это не то... Работал я когда-то на заводе Лимарева в Ростове, и займемся мы теперь лимаревской работой—начнем чикать сковородники, котлы и кастрюли. Посмотрите-ка, каких моделей у нас уже набрякал товарищ Дневкин! Кубанские и донские казачихи увидят наши будто под машину выведенные таганки, махотки, макитры,—казака на печку не пустят, пока их бардадымы не предоставят им с базара наш кухонный комплект... Разведем фабрикацию на весь Союз. Только из-за электричества и стоим пока.

— Электричество один месяц—и загудит!—успокоил Дергачев.—Завтра берем линию от станции, чтобы не

терять времени. Товарищ Русаков тем временем сделает проектировку, и почнем.

Следуя за всей группой, Поляков курил, прикидывая на свой расчет, где что делать, и тоже подтвердил:

— Шибанем, товарищ Шаповал, только усмехнетесь.

— Ну, месяц значит. Идемте к директору и так и скажем ему, пусть благословляет.

— Вы идите,—возразил Русаков,—а я начну работать, Александр Федорович. Дайте мне одного рабочего с рулеткой, если есть. Проектировка завтра будет.

— Есть! Федя,—повернулся к ждавшему результатов литейщику Шаповал,—достань рулетку в модельной и будешь помогать товарищу Русакову. Это помощник Франца Антоновича, он будет у вас за главного хозяина.

— Сейчас принесу рулетку, товарищ мастер!—немедленно ответил литейщик.

Русаков знал, что, заключая союз с пропахшим большевистской деловитостью Шаповалом, он идет на черную работу мастера полупроизводственника, полуадминистратора. Знал также, что в союзе с этой чернорабочей силой антрацитного восстановителя завода ему, не полагаясь ни на чью помощь, придется в лепешку разбиться—работать не за страх, а за совесть. Пускай! Он был готов вымахать из себя семижильное рвение, лишь бы это помогло ему найти в жизни то место, надежда на отысканье которого не заглохнет в нем до его издыхания.

Два дня назад он, Шаповал и Поляков приехали в Георгиевск. Это пустобазарный городок возле железной дороги, живущий маслоделием, перепродажей фруктов и спекуляцией в станицах. Но раньше здесь было много военных, находились колоссальные артиллерийские склады. Года два назад эти склады загорелись, почти полсутки город потрясали взрывы рвавшихся в нем снарядов. Все последующее затем время управление складов не знало, что предпринять с наворочен-

ными этими взрывами горами шрапнельных и гранатных черепков. Приехал в город Шаповал, решил восстановить завод, наткнулся на вопрос о чугунном сырье и сейчас же решил: закупать по дешевке лом у Артиллерийского управления. В два счета сговорился и после этого поехал в Москву.

Вокзал в трех верстах от города. Приехали ночью— у станции ни одной подводы. А Шаповал, пользуясь случаем, надергал в Москве несколько тюков предметов заводского хозяйства.

Поахали, посмеялись, поперетягивали веревками кули с изоляторами и пробками, тючки с выключателями, счетчиками и рубильниками, взвалили на плечи и потащили все на себе.

Притащились в контору завода, заставили сторожа открыть дверь, Шаповал ушел к себе, а Русаков с Поляковым здесь и заночевали.

На следующий день первая забота Шаповала—расквартировать товарищей. Русаков, узнав, что с квартирой устроиться в городе легко, сам решил искать себе жилье по указаниям явившихся в контору и разговорившихся с техником рабочих. Один из рабочих взялся сопровождать его, обещая указать дома, в которых можно было занять одну или две комнаты. Полякову с товарищем комната была освобождена в домике модельщика, здешнего старожила. Закрепление подходящей квартиры нужно было Русакову не столько для себя, сколько для того, чтобы возможно уединенней устроиться с Ленькой.

С помощью рабочего он нашел две комнаты в доме матери заводского табельщика. Она предоставила ему свою обстановку и бралась уговориться с знакомой женщиной, чтобы та нанялась нянчить ребенка. Русаков немедленно заплатил ей месячную плату за комнаты, перенес вещи и после этого мог считать себя

готовым к отъезду за Ленькой. Но нужно было войти и в дела завода.

Первое приобщение к заводу началось с проверки машины, небольшого механического пресса в кузне и различных станков в токарнообделочной мастерской.

У воздуходувной машины был машинист-слесарь, и она была готова в любую минуту к работе. В токарных мастерских только два станка были исправлены.

Директор завода, партиец Франц Антонович, к которому Русаков присмотрелся не сразу, оказался человеком, весьма инертно относящимся к делу восстановления завода. Он был сюда командирован из Ростова после того, как его жена, полька, как и он партийка, была временно направлена Коминтерном для работы за границу. Как ни расстроило это обстоятельство Франца Антоновича, он подчинился ему, но как-то смяк, словно выдохся. Он ссылался на перегрузку партийной работой, сидел часами с деловым видом, не выходя из конторы, за какой-нибудь брошюрой или мудрил над составлением тезисов, готовясь к лекциям в руководимой им городской партшколе.

Шаповал делал для завода больше и, хотя у него забот вне завода, по советской работе, было не меньше, чем у Франца Антоновича, сплошь и рядом он оказывался если не в цехах или на дворе завода, то в конторе. С ним Русакову при проявлении инициативы и пришлось считаться больше всего, от директора же оказалось достаточным уже того, что он не мешал налаживать работу самому Русакову.

Русаков не мог похвастать тем, что он в производстве видит все насквозь. Но он не боялся притронуться к станкам. Тут был кое-кто из рабочих, работавших всю жизнь на токарной или слесарной работе. Он привлек их к осмотру станков. Заставил взять в руки инструмент. Зная только, с какой стороны

надо подойти к станку, предпринял проверку механизмов.

Рабочие взялись помогать ему и, зная станки лучше, подсказали, где и что нужно исправить, чтобы механизм был восстановлен.

За час осмотра Русакову стала ясна вся картина. Он не кичился перед рабочими и не употребил ни одного начальнического обращения в разговоре с ними, хотя и ясно было, что в нем есть заряды воли, которые заставляют подчиняться ему.

Смысл и обстановка работы стали ясны и рабочим.

Русакову оставалось распределить между ними работы по ремонту станков, на некоторые части он должен был прежде сделать чертежи, кое-что можно было делать по образцу сохранившихся поломанных частей.

На следующий день вся эта работа уже была расписана и роздана по рукам. На неделю верстаки оказались загруженными.

Неявка на завод инженера задержала Русакова еще на день, но он и не спешил. Все последнее время мысль у него спотыкалась на одном и том же: ребенок в доме, находящемся под опекой государственных органов. Надо было раскинуть мозгами и придумать такой способ овладения ребенком, чтобы не возбудить ничьего подозрения.

Это было просто для любого, не прячущегося под чужим именем человека. А если Ленькой по какой-нибудь случайности заинтересуются и хватятся, что его взял к себе не оставивший адреса и не предъявивший никаких документов приезжий? По нескольким приметам его могли при надобности и разыскать.

Отчаяние заставляло его решиться на изобретение какой-нибудь авантюры. Он сговорился с Шаповалом, сообщив ему, как распределил работы, взял от комнат ключ и, полагаясь во всем только на свою выдержку и находчивость, выехал в Одессу.

Детский дом Отдела охраны материнства и младенчества помещался в доме-особняке, выходящем большим парком к морю.

Вид на море, обнесенный стеною парк и барский дом—единственное богатство приюта. Порядки в приюте, уход за детьми и хозяйство только что начинали складываться. Гражданка Сухачева, заведующая домом от отдела народного образования, билась между невозможностью поддерживать существование приюта и необходимостью обеспечить его хоть минимальными средствами, чтобы не гибли дети.

Русаков успел побывать возле дома, снял в гостинице поближе к приюту номерок и несколько дней прослонялся по улицам, не зная, с чего ему начать, чтобы получить сына. Случай столкнул его в эти дни на улице с одной женщиной, беспризорный вид которой и фальшивые манеры, несмотря на внешность приличной дамы, говорили о том, что женщина решила продаться любому встречному и тоскливо караулит проходящих мужчин.

Эта женщина прохаживалась по краешку тротуара, кутаясь в теплую ротонду, и терпеливо ждала.

Она подняла на Русакова, когда он приблизился к ней, зазывающий, раз скользнувший и повторно остановившийся на нем покорный взгляд. И Русаков вдруг решил затронуть ее.

— Мы с вами, кажется, знакомы. Вы согласны?

Женщина вспыхнула и опустила голову.

— Пойдемте! Пойдемте!—согласилась она без оговорок.

Русаков взял ее за руку и услышал, как женщина ахнула то ли облегченно, то ли от страха.

— Вы первый раз так знакомитесь?—спросил он.

— Да...

Русакова тронуло сопоставление собственного беспризорного положения с положением навязывающей себя мужчинам красивой и молодой женщины. Он

предложил ей пройтись с ним, сам сперва не зная, зачем это ему нужно будет. Попробовал говорить и, тут же убедившись, что женщина не профессионалка, занимающаяся проституцией, а особа из совершенно чуждой улице среды, решил, что эта встреча может ему оказаться полезной. Он стал понуждать женщину на откровенность. Предложил ей рассказать о себе правду и отнестись к нему не как к обидчику, намеревающемуся грязнить в ней женщину, а как к другу, готовому помочь ей иначе, чем средствами того несчастного заработка, на добычу которого она решилась.

Они сидели на бульварной скамье в вечерних полупотемках. Русаков, немного согнувшись, старался читать в душе собеседницы все, что она переживала, и убеждал ее быть спокойной, а женщина прятала от стыда лицо в муфту, которую она держала в руках. Она то бледнела, то вспыхивала, против воли объясняя, что она *не такая*, что она лучше пойдет домой.

Русаков дал ей пачку денег, когда они сели, предупредив, что он дает это ей в виде помощи.

Этот поступок потряс женщину. Участливость Русакова заставила ее признаться в том, что ее выгнало на улицу. И Русаков узнал из полной стыда мучительной фразы:

— Я жена преследуемого священника...

Русаков покачал изумленно головой и взял нервно вздрагивающую руку женщины, чтобы в крепком сочувственном пожатии дать ей успокоиться.

Он поощрил незнакомку рассказать остальное, и женщина поведала ему.

Ее муж—священник-тихоновец из перешедшей к обновленцам церкви. Муж увлекся религиозной распрей и злобствовал среди церковников и прихожан, бунтарски подстрекая их на вражду к советам и не заботясь о доме. Тем временем жить стало нечем ни ему, ни ей, и вот она отчаялась выйти на единствен-

ный доступный для женщины, потерявшей все другие источники средств, промысел.

— Мужу решила не говорить ни слова,—признавалась несчастная попадья.—На одну меня пусть валятся и грех и стыд.

Русаков почувствовал, что она больше не могла бы выговорить ни одного слова от истерической жалости к самой себе.

— Как вас зовут?—спросил он.

— Софья Платоновна...

— Так относитесь, Софья Платоновна, к своей решимости не как к стыду или греху, а как к несчастью, которого и у других людей не меньше. По-настоящему, вы пошли на гибель. С такой решимостью женщина может не только за себя постоять, но и другим помочь. Денег я вам еще немного, Софья Платоновна, дам. Но мы должны сделаться друзьями. Вы мне поможете в одном деле? Верите вы, что я без злой цели подхожу к вам?

— Верю.

— А помочь человеку, у которого нет ни искорки чего-нибудь светлого в жизни, хотите? От вас нужно только согласие. Я ни о чем плохом просить не буду...

— Вы поддержали меня, и я теперь сделала бы все, что вы хотите,—отозвалась женщина.—Я хочу вам тоже добра.

— Вот и спасибо... Давайте завтра еще встретимся здесь.

Русаков взял снова сочувственно руку женщины и, гладя ее обеими ладонями, упросил:

— Давайте продолжим и укрепим нашу дружбу. Мы не сделаем зла друг другу, зато потом всю жизнь будем вспоминать один о другом со светлой благодарностью. Никому только никогда ни слова о том, как и зачем мы встретились. Придите, чтобы помочь мне, Софья Платоновна. Тогда же я скажу, о чем я хочу

сговориться с вами. Меня зовите Михаилом Петровичем, скажем...

Потерявшая под ногами почву женщина готова была на всякое самопожертвование, лишь бы видна была ее человечность. Относительно Русакова она угадывала, что ему что-то грозит. И она вместо ответа спросила с тревогой за судьбу говорившего с ней человека:

— Вы хотите, чтобы о вас ничего не знали власти?

— Да,—искренне признал Русаков.

— А в силах я буду что-нибудь сделать?

— Если не боитесь пойти на обман ради того, чтобы помочь мне.

— Я на худшее пошла, когда вышла на улицу...

— Зачем же вы это сравниваете, Софья Платоновна?—упрекнул Русаков.

— Уже сердитесь, а хотите быть другом! Я приду завтра. Проводите меня домой?

— С радостью!

Когда состоялась условленная на следующий день встреча, Русаков окончательно сговорился с женщиной. Случай дал ему возможность действовать при помощи пособницы, и он решил, больше не откладывая, достигнуть цели своего приезда, какой бы цены ему ни стоило овладение сыном.

Он тем временем уже успел разузнать, кто возглавляет детский дом и какими порядками живет приют. Надо было итти на риск, подействовать на воображение начальницы дома. Русаков был готов к этому.

Жизнь в приюте начиналась рано; разгар дня был здесь тогда, когда в других местах люди только что раскачивались на рабочий ход и, пустив в ход вертушку городского бытия, собирались завтракать.

В это время заведующая домом гражданка Сухачева, уже успев побывать в городе, обязательно возвращалась в приют. Сегодня ее вызвали из кухни к полуза-

брошенному телефону в конторе. Звонил, как сообщила нянька, какой-то приезжий газетный корреспондент.

Гражданка Сухачева испуганно вошла в контору и взяла трубку.

— Вы заведующая третьим приютом?

— Да.

— Антонина Власьевна Сухачева?

— Да.

— Я корреспондент центральных «Известий» и сотрудник «Ара»—это Американское общество помощи голодающим... В редакцию поступил материал, описывающий бедственное положение вашего приюта, и мне поручено проверить, верно ли, что рассказано в корреспонденции. От «Ара» привез вам гостинцев... Я уже обращался в отдел народного образования, но мне сказали, что они препятствий для осмотра не имеют, и направили меня к вам.

— Что же,—взволновалась Сухачева,—в отделе народного образования все знают о нашем доме. Пожалуйста, приезжайте, осматривайте. А от помощи мы, понятно, не откажемся...

— Пропуск у вас какой-нибудь требуется?

— Нет, зачем же? Мы будем ждать...

— Значит, товарищ Сухачева, через полчаса я у вас буду. Сколько у вас в доме всего детей?

— Пятьдесят пять.

— Все малолетки?

— Год-полтора, и самому старшенькому четыре года.

— Хорошо, я еду. Спасибо за справки.

Через полчаса к особняку подъехал извозчик, и тридцатилетний, с торопливым интересом на ходу осматривавшийся мужчина в роговых очках, крагах и новенькой кожаной куртке с барашковой подкладкой сошел с пролетки и вошел в дом.

Это был преобразившийся в «корреспондента» Русаков.

Его встретила на лестнице Сухачева.

— Здравствуйте!

Русаков пожал руку хозяйственной и угодливой женщине. Извлек из кармана какую-то бумажку.

— Документ вам не нужен?—только показал он краешек бумажки, чтобы с немедленной самоуверенностью сунуть ее сейчас же обратно.

— Нет, мы же ждали вас...

— Да. Ну, будьте добры, пошлите пожалуйста на вокзал кого-нибудь по этим квитанциям получить коечто для детишек... Я хотел бы, чтобы при мне еще вскрыли все. А пока дайте мне книгу приюта. У вас дети по именам значатся?

— Пожалуйста. Феклуша!—крикнула Сухачева одну из нянек.—Поезжай на вокзал, получи багаж... Зайдемте в контору, здесь у нас книга. Дети—у одних известна фамилия, а другие имеют наши имена.

— Пожалуйста, я посмотрю...

Русаков подсел к книге. Задавая то тот, то другой вопрос заведующей, для того чтобы играть свою корреспондентскую роль возможно естественней, он тревожно искал в книге имя Лени Лугового и чуть побледнел с облегченным вздохом, найдя его.

Но в книге было указано также, по каким палатам размещены дети. Всего комнат с детьми семь. На каждую комнату приходилось от пяти до двенадцати ребятишек. Девочки и мальчики были вместе. Леня Луговой—в седьмой комнате.

— У вас ведь няньки, наверно, меняются поминутно? Как вы детей не путаете?—вел подготовку Русаков.

— Няньки меняются. Идут ведь только, чтобы через неделю устроиться где-нибудь на лучшее место... Но детей мы знаем. От одной попечительницы мы получили когда-то медальончики детям на шею, в них и вписывается всегда имя младенца и чьих он родителей. Бывает, что няньки и не знают, как называть, так кто-нибудь скажет, а чаще по медальончикам читают, если надо.

— А как питание, одежда?

— Ах, питание! А одежда—уж и не говорите...

— Ну посмотрим, посмотрим это! Я от «Ара», знаете, привез вам капоров, башмачков и рубашонок.

— Вот спасибо, хоть заграница о нас заботится!

— Пойдемте, покажите ваших питомцев.

— Пойдемте... Первый номер посмотрим сначала?

— Давайте с первого начнем, там, кажется, меньше всего детей, а в общем—не важно.

— Можно с первого.

В первом номере было шесть малышей, представлявших довольно самостоятельное поколение ребят, частью расположившихся на полу для производства какой-то строительной работы из папиросных и спичечных коробок, частью блуждавших возле постелек.

— Это старшенькие,—объяснила Сухачева.

— Да, обнищалый народ!—согласился Русаков, пробежав по убогоньким ситцевым рубашонкам и босым ногам игравших ребят.—Ну, посмотрим, что вы за существа... Я для отчета хочу узнать, сколько детишек имеют имена родителей и сколько сироток,—объяснил Русаков, останавливая первую попавшуюся девочку и открывая у нее медальончик.

— Пожалуйста!—пригласила Сухачева.

«Ирина Звягина. Взята от умершей в родильном приюте матери»,—прочел Русаков.

И он удовлетворенно кивнул головой Сухачевой.

— Это у вас хороший порядок. Можно только похвалить.

— Да если бы от нас зависело, разве дети были бы так одеты?

«Владимир Столкарц. Подкинут в квартиру доктора Столкарца в июне 1918 года»,—продолжал знакомиться с медальонами Русаков.

Он намеревался осмотреть всех ребят, не спеша и записывая в книжку пометки. Ему нужно было до-

ждаться багажа с вокзала и, главное, подговоренной в пособницы жены священника.

Он попросил Сухачеву продолжать свои обычные дела, ловко избавляясь от ее присутствия. Обошел еще две палаты. Убедился, что няньки сплошь и рядом не знали, как зовут детей.

— Приходят ли родители к тем деткам, у которых есть кто-нибудь живой?—спросил он в одной палате няньку, записывая происхождение одной девочки, очевидно, имевшей, как и Леня, родителей.

— И-и, товарищ! Кто сюда отдаст, если собирается довести до ума ребенка.

— А много умирает здесь?

— Да, все время меняются. Вот до четырех лет только и выжил один.

Русаков заспешил в седьмую, чувствуя, что скоро должна прийти подговоренная им сообщница.

Действительно, он услышал, как Сухачевой сказали, что пришла дама выбрать приемыша, после чего Сухачева сейчас же вышла на лестницу.

В седьмой Русаков обратил внимание на полторалетку-ребенка, усердно сосавшего в постелечке собственный палец и исподлобья безразлично обозревавшего все происходящее вокруг него.

Это было миниатюрное воспроизведение открытого лица Льолы с вьющимися, длинными не по возрасту кудряшками.

«Леня!»—решил Русаков.

Но увидев его не в яркой голубенькой рубашонке со сборками и застежками, не в той полузакрытой кружевом коляске, в которой он представлял себе растущим своего сына, а в приютской ветошке, на сомнительном матраце деревянной кроватки, откуда ребенок уныло озирал других детей и уставился на вошедшего с нянькой отца,—Русаков подавленно поник головой, продолжая свой обход.

Он осмотрел медальончики. Дошел до пискленка, по-

казавшегося ему родным, открыл алюминиевую рамочку.

«Леня Луговой. Остался от родителей в 1922 году».

— Как зовут этого щегленка?

Отвернулся от сына и показал на девочку, трепавшую сверток куклы из ваты и ситцевой оберточки.

— А у ней написано!—покраснела нянька, направляясь к девочке и намереваясь открыть медальон.

Но Русаков уже узнал то, что ему было нужно. Нянька детей не знала. И он быстро остановил женщину:

— Не надо, не надо! Я только что записывал, теперь помню: Вера она.

— Да, Вера,—подтвердила нянька.

— Ну, вот что, нянюшка... Я сяду здесь возле окна, мне нужно перерисовать вашу детвору и их улей... А вы принесите пожалуйста мне какую-нибудь доску поровней, подложить под бумагу. Можно достать?

— А может быть, столик лучше?

— Не стоит возиться со столиком. Что полегче.

Нянька вышла. Русаков быстро подошел к сынишке, успокаивая его поглаживающей рукой по головке, снял с него медальон. Повернулся. Увидел другого светлоголового пискленка, снял с него его медальон и повесил быстро на него сыновний, а принадлежавший чужому мальчику повесил на шею сына.

После этого сел к окну, вынул карандаш и тетрадь блокнота и сделал вид, что рисует.

Он волновался и ждал, не обманет ли его сообщница.

Возвратившейся няньке не могло притти в голову, что корреспондент переименовал тем временем пару ребят, дабы изъятием из приюта ребенка, носившего его имя, не навести на себя подозрения.

Наконец показалась Сухачева. За ней следовала пробежавшая по Русакову взглядом, но сделавшая вид,

что не знает его, вчерашняя попадья Софья Платоновна.

— А там разбирают ваши подарки, гражданин!—воскликнула счастливо Сухачева.—Спасибо, спасибо! Если бы о нас хоть раз в месяц так вспоминал кто-нибудь, детишки зацвели бы у нас.

Она прервала себя:

— А вот как раз дама на воспитание желает взять ребеночка, в приемыши...

Миловидненькая дама с головкой хорька на полях шляпки, в шубке и с муфтой оживила всю палату своей нарядной фигуркой.

Русаков поклонился ей и сейчас же спохватился, пряча рисунки в карман.

— Да, а у вас практикуется, значит, передача детей желающим?

Он встретился взглядом с молодой женщиной, рассматривавшей детей, и указал ей головой на сына, давая понять, что взять надо этого ребенка.

Софья Платоновна поняла и незаметным движением глаз с своей стороны сделала знак послушной готовности. Она потрепала по головке двух-трех ребятишек.

— Какие худенькие!

Переступила к кроватке Леньки, взглянула на мальчика и увлеченно ожила:

— А этот-то замазур, а! Уй, бука! Уй, хока! Уй, волосатик! Херувимыш маленький!

Ленька завозился и, растопырив пальчики, вытянул ручонку.

— Ца-ца! ца-ца!—он тянулся к большим пуговицам на шубке Софьи Платоновны.

— Цаца? Ах ты, карапуз! А хочешь звать меня мамой, я дам много-много цац тебе?.. Скажи: мама! мама!

— Мя-мя!—пискнул Ленька.

— Говорит! Ах ты, бутуз, бутуз, бутуз!

И Сухачева и переглянувшийся с ней Русаков сочувственно улыбнулись молодой женщине.

— Ну,—повернулась та вдруг к заведующей,—в другие приюты я уже не пойду и у вас больше искать не буду. Разрешите мне взять этого крошку?

— Можно хоть дюжину. У нас его место не загуляет.

— Вот хорошо! Ну, идемте, оформим это. Дайте мне справку для ЗАГСа, и я распишусь.

— Идемте в контору.

— Ну, а я пойду посмотрю, как пришел мой багаж!— сказал Русаков.—Как зовут этого малыша? Я забыл,— с невинным видом спросил он, доставая опять записную книжку.—Надо записать его в расход.

Сухачева, не скрывая, что она также не знает детей, предупредительно обратилась к медальону.

— Сейчас узнаем.

И, расстегнув медальонец, без тени какого-либо подозрения сообщила:

— «Симеон Граев. Взят у отца, убившего мать и покончившего самоубийством»...

— Воинственные родители были,—отметил Русаков.

— У нас почти все такие,—сказала Сухачева.

Все вышли из палаты.

Через два часа после этого Русаков садился в поезд, имея справку об усыновлении ребенка гражданкой Ивановой, а также расписку в получении продуктов третьим домом от «Ара».

Детище Стебуна—дискуссионный клуб открылся. Ввиду важности той работы, которую должен был провести клуб по сплочению верхушечной части партии и по спайке ее с середняцким активом московских и провинциальных работников, особо подобрано для него помещение. В боковом корпусе губкома для этого разгружен из-под Комсомола и канцелярий ниж-

ний этаж с залом и тремя сводчатыми комнатами. Все это снабжено подобранной со вкусом скромной обстановкой, убрано картинами и завешано шторами.

В одной из комнат—читальня со всеми новинками партийных, белогвардейских и иностранных изданий.

Лишь открылась запись в члены клуба и в комнатке правления показались люди, толкующие о партийных порядках, Стебун, договаривавшийся с ними об условиях членства, почувствовал, что почти каждый работник рассматривает клуб, как место для назревавшего в партии бунта против руководящих партией органов, что наиболее недовольные ропотники испытывают, можно ли на него, Стебуна, положиться как на своего союзника.

Так, несомненно, с особым интересом подошел к клубу известный в партии, настрелявшийся в эмиграционных скитаниях и в многолетней политической борьбе большевик Антон, уезжавший в Геную на международную дипломатическую конференцию в качестве одного из советских делегатов. Он ахал, что первое собрание произойдет, когда он уже уедет. Так же точно настроился по поводу состава клуба и постановки перед собраниями острых вопросов автор одной из популярнейших теоретических книг по коммунизму, еще недавно занимавший вместе с тем и ответственный пост на практической работе партии, но теперь устраненный с руководящего поста, жизнерадостный Евгенов.

Одни партийцы предсказывали быстрый крах клубу, организаторы которого заранее отказывались от каких бы то ни было организационных задач и ограничивали всю свою деятельность собраниями для словесных схваток. Другие в возможности спорить как раз и видели главное дело. Немало среди последних было работников, прежде находившихся в верхушечной части партии, но в перестановках партийных рядов уте-

рявших свое место и снова пытавшихся найти общий язык с массой.

А кроме них были и середняки. Семибабов из партийного издательства, Матвей Юсаков из Главлита, заведующий Истпартом Серебряков и многие другие, с которыми Стебун сталкивался впервые.

Многие из них считали себя чем-нибудь ущемленными, не скрывали своего недовольства теми, кто возглавил партию, и честно рассчитывали путем клубных дискуссий произвести проверку партийных отношений. Другая часть, не веря в здоровое воздействие на общепризнанных вождей, прощупывала с самого начала Стебуна и, предлагая ему клубом не увлекаться, намекала на то, что практичнее нескольким недовольным организовать групповую унию и домогаться предоставления себе и своим союзникам возможно более видного и ответственного назначения.

Стебун сдерживался.

Вступление на путь сговора с отдельными ропотниками из-за ответственных постов явно подсказывалось карьеристско-низменными побуждениями, и это способно было только оттолкнуть его от тех, кто это предлагал. Не были закрыты здоровые пути для выпрямления линии центра при перегибах в руководстве партией, и одним из таких путей было вынесение всякого ропотничества на свободный суд партии прежде всего в созданном для этого клубе.

Но намерения Стебуна истолковывались не совсем так, как он рисовал их сам себе.

На одном из очередных заседаний пленума губкома он увидел старого своего знакомца южанина рабочего Статеева, когда-то в подпольные времена отличавшегося веселой беспечностью, но на царской каторге подвергшегося порке и после этого ожесточившегося на жизнь.

Теперь Статеев администрировал в губрабкрине, а по партийной линии вел секретарскую работу в боль-

шой ячейке газового завода, к которой Стебун решил прикрепиться.

На заседании пленума юноша коммунист Акоп заостренно поставил перед руководителями губкома вопрос о безжизненности ячейковых собраний, послушно голосовавших всякое предложение своих вожаков и боявшихся высказываться. Вопрос этот возбудил волнение, и участники собрания выходили в коридор со спором.

Здесь Стебун догнал Статеева.

— Здравствуй, дядя!

Статеев медлительно повернулся.

У него—начавшая брюзгнуть от нездоровой, малокровной полноты внешность. Подбородок угрюмо воткнут в борты куртки, небритое лицо мясами крутых щек давит на воротник, под колючими бровями скрытый взгляд фанатика.

Увидев Стебуна, он слегка оттаял:

— А! Здравствуй, дядя! Здесь?

— Здесь. Хочу к тебе в ячейку на газовый прикрепиться. У вас, слышал я, целая организация...

Статеев остановился и, усмехаясь на нескольких спорщиков, с азартом судивших о разносе, которому подвергся Акоп, движением головы указал на них Стебуну.

Стебун с испытующей твердостью встретил это движение и в свою очередь кольнул взглядом товарища.

— Ты что,—выразил он намерение говорить понастоящему,—считаешь, что против фактов Акопа можно спорить?

Статеев весь отяжелел на мгновение. Он вспыхнул, но вместо тысячи жгучих возражений только придвинул к Стебуну еще на одну сотую поворота головы косяк испытующего взгляда:

— А ты за бузню разве?

Стебун почти рассердился. Он не собирался спорить, ожидая, что у него со Статеевым взгляд один, между

тем его приятель обнаруживал неожиданную самостоятельность. Мгновение он недовольно осматривал Статеева.

— Чего же ты сердишься?

И будто проглотив зернышко горького плода, со скисшим видом, но более спокойно заметил:

— Бузня—не бузня, друг, а если эти вопросы обсудить да кое-что исправить, так от этого мы веса не потеряем.

— Кишкотряс, дядя, это один говорильный.

Статеев махнул рукой.

— Так ли, Марк?

Статеев, остывший было, снова вспыхнул.

— Вот что, Илья... «Командование», «перегибы»... Знаешь, тут дело идет не о том, нужно нам шагать направо или налево, а о том, хороши или никуда не годятся наши руководители. Каждому склочнику теперь снится звание народного комиссара. А ты липнешь в эту компанию, да еще с этим багажом хочешь итти к массе. Ищешь большую ячейку. Ты об этом подумать пробовал?

— Скажем, что о такой проблеме и я думал,—потемнел Стебун.—Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего...

Статеев повел головой, пригласил Стебуна взглядом на улицу и, уже спокойно, подкупающе просто спросил:

— Скажи вот что, Илья, ты нашу ошибку в вопросе о Бресте признал со всеми другими или нет?

— Признал.

— Ошибались мы?

— Ошибались.

— Ну, что это значит, признать, что ты ошибался?.. Значит мы бузу терли тогда во вред революции? А если бы Ильич не ухитрился собрать большинство в то время и левая оппозиция получила бы большинство да поступили бы мы посвоему? Вместо

того чтобы скорее заключить с немцами какой угодно мир, начали бы драться и дали бы им возможность открыть к нам ворота для вторжения буржуазии. Разве наша оппозиция не привела бы к краху революции?

Стебун со вспышкой прячущихся на дно глаз огней перекосился в упор в глаза товарища и, шевельнув в душе какую-то гору, выжидательно признал:

— Может быть, и крахнула бы.

— Ну вот... Наш брат рабочий, требовавший отпора немцам, в то время промахнулся так, что я и теперь покоя другой раз себе не найду. Я шел с тобою тогда и чудил. Если бы не покрыла нас партия тогда... Но одной ошибки довольно. Идя к массам теперь со своим душком, не думаешь ты, что пробуешь еще раз сбить рабочих с толку?

— Так ты думаешь?

— Так, брат, думаю, хоть лезь на стену, если тебе это не нравится...

И Статеев стал еще угрюмее, будто почувствовал, что отсекает от себя навсегда Стебуна.

Стебун остановился. Было что-то жесткое в противоречии с старым приятелем. Он закрыл свою душу на засов перед Статеевым, а Статеев—перед ним, лишь только их мысль коснулась предрешенного для Стебуна вопроса о болезни в партии. Оставалось прервать бесцельный спор.

— Увидим!—выдохнул Стебун что-то оторвавшееся от души.—Я еще с группировками недовольных не связался, сути их взглядов не знаю и в клубе посмотрю, кто куда гнет.

— Я в клубе буду...—решил Статеев.—А в ячейку, если хочешь, войди. Заменишь меня, потому что я развинтился, дурею и начинаю глядеть по ту сторону вещей. Не хочется, да надо над самим собой баланс свесть.

Вид у Статеева, действительно, был больной. Последние слова были сказаны с потухающим безразличием.

Стебун внимательно посмотрел на товарища.

— Устаешь?—спросил он сочувственно.

Статеев чуть скривился и на что-то, понятное одному ему, намекнул с свойственной ему иногда манерой переиначивать слова:

— Ус-таю!

Стебун пожал плечами.

— Ну, пока. На-днях я зайду.

Статеев, сам того не зная, рубанул по самому опасному месту в душевных ранах Стебуна. Именно пятно недавней ошибки в героическом списке деяний Стебуна больше всего заставляло его самого теперь относиться ко всяким новым формированиям в партии, групповым и идейным, лишь с самой терпеливой осторожностью. Ошибался не он один. Каждый из товарищей, руководивших теперь партией, также имел в своем прошлом если не тот, то другой промах. Но водитель масс не может позволить себе роскоши ошибаться раз за разом. В противном случае если не введенные им в заблуждение массы, то его собственная логика должна заставить его политически умереть. Может быть, лучше всего было осудить себя на бездействие. Но перед каждым деятельным партийцем вырисовывалась необходимость принятия ответственных решений, ибо жизнь выдвинула новые проблемы. Нэп—но до каких пределов? Дисциплина партии—но не создается ли в ней и теплица для карьеристских стремлений? Партия дает деятелей на все командные высоты, но не перерождается ли она?

Тот вождь, чье мнение до сих пор было решающим в каждом вопросе, в текущую жизнь вмешаться не мог. Его виднейшие соратники ни его опытом, ни его авторитетом не обладали. Среди них самих на почве соперничества за первенствующую роль в партии могла возникнуть распря. Но это могло обнаружиться только впредь, пока же формировочками, сговорами и знаменательным дроблением на спаянные личными интере-

сами группки занимались второстепенные политические фигуры. Однако это явление чувствовала вся партия. Середняки-партийцы больше всего роптали на частые переброски их центром с работы на работу, не всегда дававшие им удовлетворение. На этой почве на местах происходили трения. Недовольные группировали единомышленников и шли на склоки, вызывавшие тряску организаций. Это отражалось на центре. И вот в партии явно показывалась трещина; наиболее беспокойные стали говорить о том, что порок делается хроническим и грозит потрясением самой партии. Как же должен был поступить Стебун перед явлением этого ропота в многоликом партийном массиве?

Оставалось приникнуть чутким ухом к какой-нибудь из глыб этого массива и вслушаться в шум тех толчков, какими определялось перемещение сил в партии. Стебун нащупывал ответ в решении, что если масса заставит отчитываться перед собой своих руководителей, то этого будет достаточно, чтобы партия сохранила за собой руководящую роль в революции. Но он еще медлил, проверяя себя.

И вот наступило первое собрание членов клуба.

Перед открытием собрания Стебун убедился, что хлопотать было из-за чего. Десятки не видавших раньше в глаза друг друга, одинаково ответственных коммунистов столкнулись здесь впервые за чаем и разговором.

Вездесущий и успевающий быть первым на всех торжествах Нехайчик топырится возле стола со стаканом чая в руке, споря с довольно перемалывающим даровой бутерброд Кердодой, который искоса взирает на товарища и сквозь чавканье бросает едкие замечания.

Возле центрального стола Тарас, Акоп и наступающий на них артиллерией своего трубного баса полногрудый и бурный Борисов.

Его преклонный возраст обличается только обиль-

ным серебром густых седин. А духом старый демагог бодр и великолепен свежестью, словно не сбросившее еще своей летней зелени, но уже покрытое ранним снегом коренастое дерево.

Он больше всех доволен тем, что нашлось место, где можно открыть словесную канонаду. А он—охотник до трескучей словесной пальбы и куролес первоклассный. Знаком не только с каждым деятелем центра в Москве, но знает, где и в каком переулке европейских столиц проживает какой коминтернщик. Им организовано несколько ученых учреждений, приобревших международное значение и составляющих предмет гордости большевиков. В клубе—он среди равных ему по деятельности товарищей, но и здесь он виден больше других.

Захар, Статеев, секретари райкомов, несколько десятков старых большевиков и большевичек, актив губкома—все жужжит и братается друг с другом, чайничая, заряжаясь бутербродной снедью и ожидая доклада.

Стебун выждал, пока комнаты наполнились, а затем занял перед центральным столом место и позвонил. Тотчас же все смолкли. Стебун объяснил, зачем создан клуб. Указал на то, что создатели клуба не придерживались каких-нибудь особых норм для клуба, предоставляя все самим членам клуба.

— Здесь не массовики и безграмотные в политике люди, товарищи,—предупредил он.—Если вы считаете, что нам есть о чем говорить, то будем говорить, и сообща проверим свои недоумения. Все ли крепко сшито в нашей политике, экономике и в рядах нашей партии. С этого мы и начнем. Доклада не будет у нас. Тех, кто имеет что-нибудь сказать, мы приглашаем выступить здесь и обращаться к своим товарищам. Кто же, товарищи, желает что-нибудь сказать? Просите слова, и начнем собрание...

Стебун сел и вопросительно стал оглядывать собравшихся.

Это было ново. Никто не ожидал, что придется без подготовки говорить. Члены клуба забегали друг по другу глазами, недоумевая и ища добровольцев на диспут.

Полминуты прошло в общей заминке.

Но вот высунулся среди стульев поднявшийся Евгенов.

— Ну, если позволят товарищи, у меня есть кое-какие соображения, еще не высказывавшиеся у нас в партии, а требующие решения. Могу, для того чтобы начать только, главное изложить тут...

Евгенов обежал поочередно взглядом должностных лиц партии—Захара, Стебуна, Тараса...

— Просим! Просим!—обрадовалось собрание.

Евгенов продвинулся к столу и, заняв позицию, помигал несколько мгновений переутомленными глазами, после чего взволнованно, но ясно стал переоценивать экономические взгляды, принятые коммунистической мыслью.

— Хозяйственная политика партии,—говорил он,—должна быть уточнена. Нэп, внедряющийся уже в экономику страны, овладевает позициями. Против этого возразить при создавшейся обстановке нельзя, но раз государство становится товаропроизводителем и купцом, то следует позаботиться о выгодности и прибыльности производства товаров. Иначе государству при нэпе грозит крах, а крах государства от конкуренции с нэпом после отступления самой партии от системы военного коммунизма будет и крахом советской власти...

Евгенов высказал также мысль о непонимании значения устойчивых цен хозяйственниками и подкрепил это ссылками на деятельность трестов, не успевающих поставлять товар на рынок, оттого, что спекулянты прямо из-под машин весь его закупают и втридорога перепродают потребителю, усиливая таким образом частное накопление. Затем оратор процитировал вы-

держки из руководящих статей в партийной прессе. Некоторыми противоречиями в этих цитатах он старался доказать путаницу в вопросе, заявил о неотложности его проработки и сообщил о том, что при надобности готов сделать и подробный доклад об этом.

Взгляд, высказанный наспециализировавшимся в вопросах экономики Евгеновым, был нов, но именно поэтому в экономической части он никаких возражений не вызвал. Зато с бурей протестов один за другим члены клуба обрушились на докладчика за его мысли о возможности реставрации буржуазии. Этого никто из коммунистов не мог допустить. Всякий брал слово для того, чтобы сечь Евгенова за такое еретическое допущение, хотя бы даже в теории.

Потребовалось сделать перерыв. Стала несколько определяться физиономия клуба. Стебун объявил на полчаса передышку и подошел к подозвавшим его Захару и Тарасу.

— Там ваш одесский пройдисвет Диссман в приемной,—устремился ему навстречу Захар,—у него еще билета нет, Тарас просит, чтобы вы впустили его.

— Диссман?—переспросил Стебун.

— Да, вы же, Стебун, должны знать его!—воскликнул поощрительно Тарас.

— Хорошо...

Стебун, заглушив шевельнувшееся негодование, перешагнул к приемной и, открыв дверь, кивнул головой служителю:

— Впустите!

Одновременно поймал взглядом фигуру мужчины, с сановной самостоятельностью ждавшего распоряжения о его допущении в зал.

Ожидавший, узнав Стебуна, сделал нерешительную попытку выразить удовольствие.

— Стебун, обождите же...

Стебун, намеревавшийся сейчас же вернуться в зал, прикрыл дверь и выжидательно сунул за спину руки.

— Что вам угодно от меня?

Он и раньше невысоко ценил партийного журналиста, строившего все дела на личной карьере. Подвизаясь во время февральской революции среди меньшевиков, Диссман немедленно после Октября перекочевал в ряды победившей партии. Пользуясь доверием ответственных работников, получил назначение на редакторскую работу в провинции для приобретения опыта. Быстро вошел во вкус командного положения и научился обезоруживать самоуверенностью манер всякого сколько-нибудь не искушенного в распознавании людей коммуниста. Даже личные повадки переиначил, копируя во внешности и в разговорах особенности гениального вождя большевистской когорты. Особенно косил, на манер хитрого ильичовского прищуривания, одним глазом. Подстригал бороду, выкраивая из нее весьма знакомый каждому партийцу околышек бородки Ленина, и во время выступлений на собраниях воспроизводил характерную сиповатость обличительно негодующих модуляций голоса Ильича.

После того как Диссман оказался виновником крушения семейной жизни Стебуна, Стебун выплюнул бы вместе с шлепком крови из своей души самую память о Диссмане. Но форма партийно-товарищеских отношений требовала соблюдения хотя бы официальных, деловых рамок вежливости. Между тем, Диссман, не ограничившись тем, что Стебун его впустил, еще останавливал его.

Он сперва, очевидно, рассчитывал отнести происшедшее в Одессе к числу тех пустяков, которые не должны вызывать между двумя работниками партии осложнений. Но, прозрев по тону Стебуна, что тот так просто на это не смотрит, сразу перестал делать вид, что ничего не понимает, и уже тоном увещевающей просьбы воззвал к товарищу:

— Ну что же вы, Стебун... считаете меня одного виноватым, когда она мне изобразила все так, будто

вам до нее никакого дела нет и не будет... Будто я, как и вы, не знаю, как все это делается... Зачем между большевиками это дамское дутье губ друг на друга?

Диссман действительно с протестующей укоризной, не переставая косить глазом, надулся и подступил настолько, чтобы взять Стебуна за руку.

Стебун, нервно подергиваясь, выслушал его и процедил угрожающе:

— Хотите, чтобы я назвал вас партийной приблудой? Идите и меня не трогайте!

Он тяжело мелькнул взглядом по ненавистной фигуре Диссмана, открывая угрожающе дверь, и мгновение выждал.

Диссман побледнел и, растерявшись, переступил порог.

Тогда шагнул в клуб и Стебун и очутился среди разбившихся на группы в предзальной комнате спорщиков и перетолковщиков того, о чем говорилось в связи с докладом Евгенова.

Акоп, Борисов и Тарас стояли между столами, загородив дорогу к залу, и, очевидно, менялись острословным подкалыванием друг друга, потому что Тарас улыбался, Акоп горячился, Борисов же подковывал их разговор краткими репликами.

— А, именинник!—поймал Борисов взглядом Стебуна и передвинулся, когда пожимал ему руку.—Банька полезная придумана. Поговорим, поговорим!

Акоп возбужденно подступил вплотную к создателю клуба.

— Дайте после перерыва мне слово, Стебун, в первую очередь. Высеку Бочина... Пусть Тарас возражает. Ох, бюрократ! На заседании губкома,—объяснил он Борисову,—подносит такую же чушь, как сейчас Тарас, что внутрипартийная демократия невозможна вследствие того, что в партии много крестьян, а рабочие-де с ними по традиции ладят... Дуют любую отсебятину, лишь бы от Ладо была шпаргалка...

— Бочин—пулемет!—с довольным смехом подтвердил Тарас.—Всегда готов к бою, как следует герою.

— Не пулемет он,—взвизгнул Акоп,—а говорильная центрошишка! Мелет Емеля—его неделя. Идеолог бюрократов!

Борисов брызнул смехом и, словно от пружинного отбоя, оттолкнувшись раза два в припадке веселья всей верхней частью тела от своего фундаментального основания, покрыл спорщиков:

— У Тараса и Ладо это программа: куда умного не надо, туда Бочина пошлите. Ха-ха!..

Он довольно блеснул глазами на Стебуна, заметив в нем высветившуюся в игре губ улыбку.

Тарас, безобидчиво присоединившись к общему смеху, пожал плечами и махнул рукой, отступая, чтобы поздороваться с присоединившимся к одной из разговаривающих группок Диссманом.

Борисов, Акоп и Стебун прицелились друг в друга взглядом. Переведя взгляд на собрание, Борисов скептически потряс в сторону собравшихся головой и со значительным сочувствием, понятным всем троим, спросил:

— Генералов все-таки никого. И не будут приходить?

— Тарас же здесь... Все передаст. А если клуб влияние приобретет, то придут и они. Видите, что без них тоже не пусто.

— Да, да! Тут цвет!

Действительно, в клубе была значительная часть виднейших деятелей революции и партии. У одного стола среди группы друзей с ослепшим в Шлиссельбургской крепости ветераном первых террористических кружков Шелгуновым разговаривал герой освобождения Москвы от юнкеров, командовавший красногвардейцами и солдатами-большевиками, начальник военного округа, седеющий богатырь Уралов. Возле скромной женщины, которая являлась женой и не-

сменным другом отсутствовавшего вождя партии, стояли выспрашивавшие о здоровьи Ленина Статеев, Нехайчик и два-три районщика. У самого председательского стола с сестрой Ильича, издавна заправлявшей секретарскими делами центральной партийной газеты, сговаривались, пользуясь случаем, по поводу очередной кампании Захар и губкомовские москвичи. Старые седеющие большевики возглавляли несколько группок в центре зала. Некоторые уединенно ждали возобновления прений, и видно было, что они начинают томиться.

— Пора начинать!—объявил Стебун, оставляя Борисова и Акопа. Через минуту он позвонил.

Публика поспешила занять места. Только в предзальной комнате осталось несколько не кончивших беседу спорщиков.

Борисов, остановившись у порога, увидел двух все время споривших и собиравшихся только теперь в свободной комнате чаевать приятелей. Это были губкомовский домовой Семибабов, если не дневавший и не ночевавший в каком-нибудь из помещений комитета, то, несомненно, проживавший в одном из соприкасающихся с губкомом домов, и заведующий редакцией в Главлите Юсаков.

Борисов вспомнил что-то, обрадовался и подступил к столу.

— Семибабов, вы работаете в Госиздате ведь? Помощником Ревякина? У меня дело...

— А что такое?—заинтересовался Семибабов.

— У меня госиздатский заказ, я вам его отдам. «Манифест»... Я из-за этого и пришел—знал, кого-нибудь обязательно увижу здесь...

Семибабов, кивнув Юсакову, вдруг встрепенулся и бросил чай.

— Давайте, я передам.

И блеснув взглядом на друга, он чуть не прыснул, решившись на авантюрный трюк.

Он работал не в Государственном издательстве, а, соперничая с этим последним, развивал издательский кооператив, входивший все больше в известность. О предполагаемом издании «Манифеста» под редакцией признаннейшего марксоведа Борисова он знал, так как Госиздат рекламировал заранее книгу во всех газетах. И вдруг оказывалось, что рукопись еще только сдается. И попадет ему в руки. Пусть же Госиздат побольше старается,—партийно-издательский кооператив изданием этой книги прогремит на всю партию...

Вместе с Борисовым они в приемной отыскали портфель бурнопламенного ученого. Борисов извлек несколько тетрадок перекроенного поправками печатного текста и пачку листков собственных объяснений к этому тексту.

— Здесь не все!—предупреждал, крутясь возле Семибабова, Борисов.—Еще конец дам, когда будет набрано.

— А куда вам прислать оттиски набора?—интересовался Семибабов, смиренномудро пряча глаза.

— Домой! Только смотрите—скажите там: у нас диктатура пролетариата, «Манифест» кое-какое отношение к этому делу имеет. У нас Маркс и Энгельс заработали своей теорией на хорошую бумагу для книжки. Ха-ха!

Но Семибабов решил спешить. Уж раз этакое сокровище попало ему в руки, то пусть немедленно же все другие издательства загудят от бешенства, а книжка выйдет в кооперативе. Надо было скорей улетучиться с рукописью, сдать ее в типографию, чтобы если не завтра же, то послезавтра оглушить Борисова готовым набором. Тогда пусть именитый идеолог кипятится и мечет громы за то, что он сделал промашку.

Но нужно было не обнаруживать смиренномудрости своего замысла перед буйным в моменты гнева куролесом. Притянув раскусившего его намерения

Юсакова, чтобы посмеивавшийся сквозь здоровенные запорожские усы главлитчик взглянул на тетрадки со следами поразительного труда по исправлению текста «Манифеста», он качнул головой:

— Работка!

— Да, работа!—согласился с почтением Юсаков.

— Это не все, не все!—предупредил возбужденный от признания его трудов Борисов.

Семибабов сунул по карманам материал и немедленно стал прощаться.

— Я пойду теперь. Сегодня же постараюсь передать, куда надо...

— Всего хорошего. А вы, товарищ,—вдруг воззрился Борисов на усатого гайдамака,—курите? Курите? А? Обязательно схватите рак верхней или нижней губы, если не бросите курить. Бросьте курить и идемте—взглянем, что там.

Он указал на зал, косясь на то, как Юсаков гасит папиросу, сбивая огонь окурка об пепельницу.

— Идемте!—поднялся Юсаков.

В зале раздались аплодисменты. Там исчерпывался список ораторов и кончался вечер дискуссии. Стебун из-за председательского стола пересчитывал взглядом публику, разгадывая, каким динамитом чувств заряжен каждый из присутствующих, и старался не видеть Диссмана, который, с наредкость раздражающей независимостью, то и дело пересаживаясь от одного знакомого к другому, переменил несколько раз место.

У Стебуна было свое на душе. Но о том, что его саднило, говорить было не с кем. Не большевистским делом было бы делиться выцедками личных чувств. А именно личные чувства и всколыхнулись в душе Стебуна.

Он провел до конца собрание. Когда публика стала расходиться, и он вышел в предзальное помещение, посмотревший на него с испытующим пониманием

Борисов оглянулся и, нагрузив руку портфелем, подошел ближе.

— Думаете горами ворочать?—спросил он одобрительно, намекая на цель, поставленную Стебуном при создании клуба.

— Попробовать надо.

— Закроют эту купель вашу. Потому что припарка и к больному месту и к здоровому хороша раз да два. На третий раз она не подогревает, а ошпаривает. Этой же штукой да вас и огреют...

— Посмотрим!—положился Стебун на будущее.

Они вместе вышли из клуба.

Неожиданное появление Диссмана и его попытка свалить свою вину перед Стебуном на женщину взвинтили Стебуна и заставили его снова задуматься над тем, что произошло.

Две возможности мог только допустить щепетильный к самому себе Стебун при выборе жены. От самого себя он требовал уверенности прежде всего в том, что он не только устроит с женой свое счастье, но озарит им и жизнь положившейся на союз с ним женщины. Он допускал возможность первой вспышки в себе чувства к женщине, не прикрытого ризами какой бы то ни было духовной общности. Могло так быть. Если затем дальнейшее знакомство открывало в тронувшем его женском существе хотя бы чуть проблескивающие задатки духовного единства с ним, то ему должно было позаботиться о том, чтобы эта женщина сделалась не только его другом по женьбе, но и вернейшим его сподвижником в борьбе с жизнью. Он, Стебун, разве не булат, высекающий из кремня огонь, а сосулька киселя?

Но сближение с женщиной могло начаться и иначе. Первые симпатии в нем к женщине могли возникнуть на основе чувств солидарности с ней как с соратницей.

В дальнейшем—общие интересы, удачи и неудачи, всякие деловые встречи могли вызвать физическую слюбку и привести к брачному сближению. В таком случае каждому из достигших всесторонней взаимности чувств требовалось только дать себе зарок в том, чтобы, не исчерпывая самих себя одной личной жизнью, подвизаться вместе также вне ее и не забуксовать на брачной постели как на окончательном усыпляющем душу идеале. Наоборот, каждый должен был еще жизнерадостней и полнозвучней, пользуясь самой обстановкой личного счастья, отзываться на то, что связывает одиночек-людей с людской массой.

И вот, спрашивая теперь себя, было ли именно так осмысленно его отношение к Зине, Стебун чувствовал, что кусок за куском шевелящиеся в голове лоскутья воспоминаний, какой бы день его жизни с женой они ни воспроизводили,—все они кричат об одном: он получал от жены лишь только то, что он мог получить, поскольку он не приложил рук, чтобы поднять ее духовно.

Некоторое время после женитьбы он еще пробовал втягивать ее в свои дела и интересы. Но он должен был везти воз партийной работы. И какую часть своего рабочего дня и своей личности мог он в то стенолазное время уделить жене? Только крохи и рывки. Предоставленная тем временем сама себе, жена отдалась влечению к другому мужчине. Диссман подошел к ней, дав выход тому самому стремлению к деятельности, которое Стебун же и выхолил в Зине. Привлек ее видимостью участия в общественных делах помещением в печати ее статеек. Посочувствовал, вероятно. Все произошло именно так, как и должно было произойти. Стебун мог это предвидеть, но что он мог сделать, не изменяя работе? Так произошло бы, если бы он даже заранее все это захотел предотвратить. Все кончено, и прежнего не вернешь, а теперь было важней другое: как же порвал с Зиной Диссман, не

могший долго продолжать с ней связь, раз он был женат и продолжал жить с женой? Неужели для того и уехал из Одессы, чтобы скрыться от надоевшей уже женщины?

Эх, да пускай себе, наконец, все разбегутся!

Стебун гнал от себя мысли, связанные со всеми, потрясшими его веру в самого себя лицами, и хватался за то, что было ближе к очередным злобам дня.

Он жил в отвоеванной для него комендантом Русаковым комнате, в доме, в котором под видимостью председателя домкома хозяйничал бывший собственник этого дома гражданин Файман. Дом этот—ноев ковчег с ассортиментом антисоветской или полусоветской публики. Когда-то большие залы барских палат теперь перемерены, перекроены, каждый зал разбит на комнаты с особыми в одних и с общими в других—удобствами. В непосредственном соседстве с одним из таких общественных удобств, вплотную с общей ванной комнатой—жилкабинка Стебуна. Из коридора вход в переднюю, в передней дверь налево—в ванную, дверь направо—к Стебуну. При купаньи кого-либо из жильцов всякий всплеск воды слышен и Стебуну. Но из-за другой стены шум горше. Комната отделена тоненькой перегородкой от каморки, в которой живет промышляющий набойкой чучел молодой человек Щукин. Юноша этот имел уйму братьев и сестер, проживающих в разных частях Москвы и регулярно по вечерам являющихся к нему гостить до утра, шуметь, танцовать и захлебываться в трелях буйных взвизгов и раскатах хохота.

В первую же свою ночевку в этой комнате Стебун, собиравшийся основательно заснуть, должен был в двенадцать часов постучать в перегородку, чтобы унять развеселившуюся компанию соседей.

Для первого раза безудержный шум стих. Не ожидали протеста.

Но на следующий раз пришлось постучать уже дважды, чтобы шумная компания сколько-нибудь угомонилась.

Дом принял нового жильца в ножи, лишь только он вселился.

Семья юрисконсульта из какого-то треста подозрительно сторонилась Стебуна. Два худосочных губошлепничающих подростка из семьи мастерицы мод, которые будто бы учились именно в изъятой для Стебуна комнате, занимались тем, что украдкой выключали свет в коридорах, лишь только Стебун входил в дом. Щукин и его родня, почувствовав, что их шумное веселье раздражает соседа, начинали иногда буйствовать ради озорства. Порядочней всего держала себя в отношении жильца семья Файмана и затворничавший в двух комнатах коридорного тупика некий гражданин Градус.

У Файмана жена—необъятной толщины дама, две дочери-девицы и несколько сыновей-мальчишек, из которых младший Яшка являлся чем-то священным: общий любимец и баловень. Впрочем, любимицей отца была и младшая дочь Фирра, отличающаяся самостоятельным образом мыслей и действий.

Давид Абрамович Файман—ответственный съемщик квартиры и председатель домового комитета. Не нужно было долго жить в доме, чтобы убедиться, что это воскресший с нэпом торговец. По соседству с домом у него всего несколько дней назад открылась галантерейная торговля. Почему-то он, однако, не отдается магазину целиком. Стебун часто видел его и в доме и на улице с высоким, философически немотствующим обычно, в то время как Файман всегда немножечко горячился, жильцом соседнего «Централя» Файном.

Градус—крупный специалист, импонирующий соседям настолько, что перед ним каждый сторонился в коридоре. У него, очевидно, в советской среде связи. Бывают служащие советских учреждений и у Файмана.

По тому, как почтительно в доме стали говорить о нэпе, торговле и заграничных товарах, Стебун угадывал, что дела Файмана идут неплохо, а случайное соприкосновение с рыночным народом открыло ему и характер этих дел.

Наряду с воскресением частных торговцев пробовала—и не без успеха—внедриться в жизнь и кооперация. Стебун уже знал, что пухнет и растет кооперативное издательство Семибабова. Но некоторые партийцы с еще большим успехом взялись конкурировать с нэпачами в продуктовой торговле. Тут подвизался особенно Бухбиндер, который и прибег однажды к помощи Стебуна.

Коммерсанту, обладателю черностеклярусных глаз, требовалось преодолеть сопротивление начальников в Импортном отделе Центросоюза, для того чтобы выцарапать оттуда партию проскальзывающего мимо кооперации товара; Бухбиндер узнал, что заведующий Импортным отделом товарищ Клейнер—приятель Стебуна.

Учредитель кооператива ринулся в клуб и здесь взмолился:

— Товарищ Стебун, помогите! Без ножа режут. Вы Клейнера знаете? Пойдемте, повлияйте, чтобы его подручные не погубили наш заказ своими закорючками.

— В чем дело?

Стебун знал, что Бухбиндер почти все свое время убивает, если не хлопоча в организованных им магазинах, то воюя в хозорганах с руководителями учреждений, чтобы получить льготу для кооперации или выклянчить отпуск товара; поэтому он не особенно удивился необычному обращению к его помощи в торговом деле.

Бухбиндер рассказал. Он знает, что в Импортном отделе произведена разверстка партии иностранного товара, необходимого и сотрудникам губкома, Моссовета, партиздательства и губсуда, которых объединяет

кооператив. Но несмотря на то, что заказ подан вовремя и все формальности проделаны, объединенный кооператив как местный в разверстку не включен, ибо должен снабжаться через свой губернский центр. А если ждать, пока товар совершит путешествие через этот центр, то от него не останется и следа.

Стебун, по поручению Захара, составлял отчет губкома к предстоящей конференции. Подумал и решил оторваться от работы ради поддержки искренне пекущегося не о себе, а о коллективных интересах Бухбиндера. Собрал и сложил на время в портфель материалы губкома, позвонил в секретариат, что на полчаса оставляет клуб.

— В гараже нам машину дадут,—предупредил Бухбиндер о том, что отлучка не может быть продолжительной.

Они поехали и через десять минут были в Китай-городе у подъезда Импортного отдела.

Перед кабинетом Клейнера—приемная, посетители. Возле секретаря две сговаривающиеся фигуры, и Стебун еще с порога узнал в них неразлучных Файмана и Файна.

У Бухбиндера перевернулась бы печень, если бы он знал, зачем пришли нэпманы. Но компанионы вмиг стушевались вместе с секретарем в комнату канцелярии, лишь только Стебун и кооператор вошли в приемную. Секретарь сейчас же снова вышел, попросил остановившего его Стебуна обождать и исчез в кабинет.

Стебун кивнул Бухбиндеру.

— Идемте без благословения, товарищ Бухбиндер.

Оба вошли в кабинет столь же беспокойного и столь же малокровного и желтолицего, только не столь коммерческого, как Бухбиндер, Клейнера.

Клейнер ерзал за столом, рассовывая по ящикам бумаги и отговариваясь от очередного клиента.

У него был уничиженно заикавшийся старомодный нарядчик—посетитель, которому секретарь, молодой

человек с парадно выглядывавшим шелком платка в грудном карманчике пиджака, втолковывал, как найти Наркомторг.

Стебун усмехнулся на выдрессированную фигуру секретаря:

— Экземпляр—хоть в Париж сейчас! Через такого архангела не только к Клейнеру, но и к порогу его кабинета не подойдешь.

Клейнер, увидев Стебуна, выразительно взглянул на секретаря, и молодой человек только крутнулся, выводя с собой из комнаты нарядчика.

— Илья Николаевич!—с искренним порывом сунул прочь бумаги и поднялся навстречу Клейнер.—В такую лавочку не от добра попадешь. С этим спекулянтом?—со смехом кивнул он на Бухбиндера.—Я от него не знаю куда спрятаться, а он и вас на буксир подцепил.

— Да что же ты, Борис, не поможешь? Дашь волю бумаге да чинушам, так спецы тебе и на голову сядут. Не надо им мешать, раз у вас такой порядок, но и смотреть за ними надо, где они циркуляром бьют по нашему брату.

— Борис Григорьевич,—обличил Бухбиндер,—не знает всех тех дел, которые здесь происходят. А сюда набилась всякая голь-ноль-шмоль из бывших таможенных—взяточников—и ворочает. Им лопни все на свете: партия, рабочие со всеми вашими кооперациями, они свое делают. Хоть для вида вспрыснуть бы сюда десяток коммунистов!

— Да где таких коммунистов, чтобы что-нибудь в номенклатуре пошлин и товаров понимали, взять?!—вскричал Клейнер.

— Нет?

— Нет!—отрубил Клейнер и безнадежно бухнулся в кресло.—Садитесь!

Клейнер, подвизавшийся, главным образом, на профессиональной тарифно-расценочной работе, пошел в Центросоюз не потому, что его привлекала хозяйствен-

ная работа, а поддавшись дружескому настоянию одного из руководителей Центросоюза—своего приятеля, также бывшего профессионалиста, Бархина.

Вникнув—не вникнув в волокитную толчею Импортного отдела, Клейнер считал вполне достаточным, что всякое его время от времени выскакивающее распоряжение с предупредительной покорностью выполняется. А все дела вел посвоему штаб заведующих подотделами во главе с знающим на-зубок всю работу секретарем Тарским, служившим и прежде чиновником по Министерству иностранных дел.

Клейнер был уверен, что вышколенный, опытный Тарский ни его лично, ни отдел не подведет, что он все знает, и формально отдел как будто работал без промашки. Многочисленные жалобы низовых кооперативов Тарский с подчеркнутой аккуратностью сам же и представлял Клейнеру немедленно по их поступлении. Но разве кооперативы не сами были виноваты, неправильно представляя себе порядок получения товаров? Другое дело, если бы требовалось отступить от формы или от общего порядка. В таких случаях Тарский не ошибется и первый найдет способ выйти из положения. Но это такие случаи, когда в дело вмешивается начальство, их же всегда можно заранее предвидеть.

— Ну, что вам надо, говорите сразу, вымогатель!— решил откупиться от обличений и визита Клейнер.

Бухбиндер бурно придвинулся.

— У вас получены из Германии чулки и бельевое полотно.

— Не знаю!—усомнился Клейнер.—Может быть, только разговор. Получается много.

— Не разговор, а есть партия. Уже разверстана. Мы в разверстку не включены. Требую, чтобы для кооператива сотрудников губкома, совета и партийного издательства немедленно отпустили, пока товар не по-

шел по рынку, хотя бы такое количество, чтобы публика себе по смене рубашек завела.

Стебун вопросительно взглянул на Клейнера.

— Сейчас узнаем!—решил проверить Клейнер.

Он нажал кнопку звонка, и Тарский с несколькими бумажками явился в кабинет.

— Виктор Павлович, получали мы из Германии полотно и чулки?

— А вот как раз для вашей подписи приготовлен наряд целевого распределения, согласованный с комиссией Госторга.

— Уже?—Клейнер на мгновение воззрился без особого проникновения в поданный ему наряд распределения. Поплавал по цифрам глазами и наконец махнул бумагой.

— Виктор Павлович, придется пересмотреть этот наряд. Я считаю необходимым некоторую часть из общего количества товара выделить для нового партийного кооператива при губкоме. Вот тут товарищ Бухбиндер с мандатом...

— Они получают через МСПО.

Клейнер быстро перевел взгляд на Бухбиндера, попробовавшего протестующе вскочить со стула, схватил испытующий взгляд Стебуна, мелькнувший из-под пенснэ по секретарю, и начальнически отверг предложение.

— Нет, надо будет непосредственно.

— Тогда давайте обойдемся без ломки наряда новым пересмотром. У нас в наряде значится фонд внеплановых выдач, мы из него отпустим.

— Можно это? Есть в фонде товар? Получит его действительно кооператив?

— По вашей резолюции, без всякой волокиты на этих же днях все можно выдать.

— Где здесь писать?

— Вот здесь... Кооперативу такому-то из фонда внеплановых выдач отпустить такое-то количество.

— Двести пар чулок тебе довольно?—запросил Клейнер.—Пятьдесят кусков полотна хватит?

— Довольно!—согласился Бухбиндер, подмигнув весело самому себе.—Для первого раза... Но,—пообещал он,—я буду ходить к вам при всякой нужде, и если попробуете мне отказать, я приведу сюда половину Совнаркома.

— Вот хапуга!—засмеялся довольно Клейнер.— Подписал... Значит вы, Виктор Павлович, это устроите. Сговоритесь с товарищем Бухбиндером.

— Антик!—выразил свое удовольствие Бухбиндер, взмахивая приветственно остающимся рукой и уходя с Тарским.

— Это что, секретарь—жеребый красавец этот?— заинтересовался Стебун Тарским.

— О, это, брат, не секретарь, а разрыв-трава! Стенограф, на машинке не пишет, а играет. Во всех наркоматах знакомства столько, сколько у нас с тобой не наберется, хоть поработай мы в партии еще полжизни. Пути связей с иностранными рынками знает наизусть. Меня держит в курсе всех ошибок и промахов. Спец, но с такими спецами только и можно что-нибудь делать...

Стебун без возражений дослушал, но в голове у него залегло:

«Шепчется с нэпачами... О чем?»

Он не представлял себе, что Файман и Файн были у Тарского по такому же делу, которое и его, Стебуна, заставило посетить Клейнера. Причем, хотя торговцы Клейнера обошли и авторитетом губкома не оперировали, успех и у них был не меньший.

Лишь только Стебун и Бухбиндер удалились, как торговцы вышли из канцелярии и снова подступили к Тарскому.

— Ушли?—кивнул Файман на дверь Клейнера.

— Пустотрепы! Как домовые, только и бегают один к другому!—махнул рукой Тарский.—Ушли...

— Ну что же, милый Виктор Павлович, товар?

— Товар так, мосье Файман! Комиссия настряпала. Все полотно остается в центре, а шелковые чулки и кружевные комбинации посылают в такие места, что там караул закричат.

— Вязаные кофточки, Виктор Павлович, разогнали? Не пришлось по паре на адрес за сто тысяч верст?

— Вот кофточки, мосье Файман, я вам дам и своих пятьдесят червонцев, но вы должны будете для меня купить полсотни. Конечно, расходы за мой счет... Я обещал одному галантерейщику,—у него дочь, знаете, цветик.

— А если их всего полсотни?

Тарский сделал рукой успокаивающий жест.

— Смотрите...

Он извлек из папки копию наряда, только что подписанного Клейнером, и вместе с Файном углубился в список разверстки по кооперативам и местным отделениям Центросоюза распределяемой в различные города импортной партии товара. Файман на страничке своей книжки стал делать выписки, пробегая наряд.

— Ага, в Вольск? Вот куда едут комбинации и чулки: пятьсот пар и пятьдесят кофточек... А в Острожек пятьдесят кофточек и пятьдесят комбинаций. Хе-хе! Как будто дух бабушки моих дочек шепчет на ухо товарищам, что они должны стараться для Файна и Файмана. Великий гений вы, Виктор Павлович! Хе-хе!

Тарский самодовольно улыбался.

— Им не нужно и подсказывать, они сами придут на заседание обалделыми от разговоров. Кто что ни скажет—то и ладно, лишь бы поднять руки...

— Ну, работают же люди действительно много, надо и их понять тоже,—посочувствовал Файман.—Значит вам полсотни вязанок, Виктор Павлович?

— Да, я вам деньги пришлю или рассчитаемся, когда привезете.

— Это успеется. Придется только поехать в два места. Это Соломону командировки. Завтра товар пойдет по назначению?

— Да. Имейте в виду, что скоро новая разверстка. Платки, пледы, эмалированная посуда и примусы.

— Не прозеваем. Файн поедет, а я буду здесь.

— Вы значит едете?—спросил Тарский высокого компаниона.

— Завтра же поеду... Все что сумею—скуплю. Товарищи для нас стараются. Ха-ха! Мы пойдем!

Файман и Файн промышляли ошибками советского аппарата и изменой его сотрудников. Предприимчивые спекулянты, поддерживая знакомства с сотрудниками хозяйственных органов вроде Тарского и Градуса, вылавливали или покупали у них сведения о том, в какие филиалы этих хозорганов идет по нарядам центра товар. А затем кто-нибудь из них отправлялся по месту назначения товаров, закупал и привозил их в Москву для перепродажи. В результате этих трюков торговый дом спекулянтов скачкообразно богател при каждой новой сделке с Тарским.

Как и было предрешено, после губернской конференции Стебун вошел в состав Бюро губкома. Он стал заведывать Агитпропом, одновременно продолжая возглавлять правление клуба. И дом Файмана озарило сиянием того положения, которое занял среди коммунистов Стебун.

В комнату провели телефон. За необщительным жильцом стал часто приезжать автомобиль. Некоторые распоряжения губкома в газетах стали печататься за его подписью. Отношение к Стебуну со стороны соседей по квартире начало меняться.

Но включение в губкомскую верхушку партийного протестанта, каким знали Стебуна его товарищи, заставило упасть духом нескольких ропотников.

Прежде всего разочаровался несколько Семибабов, сам своего недовольства до сих пор нигде вслух не высказывавший.

Рьяному издателю удалось все-таки выпустить борисовский «Манифест». После того как материал «Манифеста» попал в его руки, он втечение суток не переставал висеть на телефонной трубке издательской конторы, штурмуя поминутно типографию, чтобы там гнали набор рукописи. И через два дня оттиски набора были в руках шлепальщика книг.

Семибабов понесся к Борисову.

Марксовед-партиец имел квартиру в доме по Воздвиженке. Впустила Семибабова домашняя работница, а когда бычковато сунувшийся вперед головой гость марксоведа очутился в коридоре, то на пороге кабинета показался в комнатных туфлях и теплом вязаном жилете сам Борисов. Ученый, увидев Семибабова, о проделке которого он уже знал из объяснений с руководителями Госиздата, рванулся назад, взбычился на визитере недоуменным взглядом, не пошевельнулся для приветственного жеста, ожидая от обманщика оправданий и заранее решив не дать ему ничего говорить.

— Что? Что? Чего вы явились?

Семибабов сделал вид, что он не замечает приближения взрыва.

Борисов вдруг вспрыгнул перед облапошившим его парнем и, не дав ему говорить, взорвался.

— Вы не партийный товарищ, а жулик! Грабитель с большой дороги! Я считал, что в клубе честные люди... Вы мошенничеством занимаетесь всенародно, при свидетелях, среди известных каждому человеку в Москве главарей государства. Немедленно давайте материал—и чтобы я вас больше не видел! Где расписка из Госиздата о том, что вы им сдали рукопись? Ну, где эта расписка, говорите? А?

Борисов наступал, гремел; вделанная в потолок лам-

па качнулась от зычного рева его негодующего баса, в то время как коренастенькая фигура ветерана марксизма, шлепавшего разгоряченно туфлями, курьезно дергалась перед порогом загроможденного книгами кабинета.

Семибабов с свирепым смирением стреноживаемого бычка прятал в губы продувную, деляческую ухмылку; делая вид, что всерьез брань не принимает, сокрушенно косил глазами, и только когда Борисов разрядился—оправдался:

— Михаил Давидович, Госиздат разве для вас лучше губкома?

— Губком! Семибабов—не губком. Кооперативное ваше шарлатанское издательство—не губком. Мне в Госиздате сказали, что вы где-то тоже издаете... Знает каждый, как губкомы издают. В Госиздате мне сделают книжку. К партийному съезду «Манифест» напечатают. А вы будете до будущего года по вашим редакциям рукопись трепать. Немедленно возвратите мне без скандала материал! Спасибо скажите Стебуну, что я не позвонил в чека моим старым приятелям. Завтра же пойду к Захару, потребую, чтобы он спас меня от безобразников!

Семибабов начал сердиться. Никакого особого скандала он, правда, не боялся, кроме того, что ему поставили бы на вид самоуправство в порученном ему деле, но заявление вскипевшего Борисова о том, что вне Госиздата книжка не может быть издана, тронуло его за живое. Он решительно насунул на голову шляпу и вынул из кармана оттиски гранок набора и тетрадки оригинала.

— Хорошо. Прошу, товарищ Борисов, извинения— и пощадите вашу печонку... Не рычите пожалуйста!

Борисов остолбенело замер, фыркнув и выжидательно заколебавшись мехами груди.

Семибабов сунул ему в руки успокаивающую пачку материала.

— Что это?

Борисов взглянул на пачку и поднял ошеломленный взгляд на строптивого книжника. Опять взглянул на оттиски гранок и быстро развернул их.

— Что это?—повторил он с увеличивающимся изумлением, будто не веря сам себе.

— Ничего,—спокойно выжал Семибабов.—Оттиски набора, из-за которых я, как обалделый дурак, штурмовал ежечасно типографию.

— Готовы?

— Готовы.

— Фу!—выдохнул сразу из себя весь пар необузданной горячности Борисов, поворачиваясь к столу и листуя на нем оттиски.

— До свидания!—буркнул угрюмо Семибабов, считая, очевидно, все сношения с своим ругателем оконченными.

— Обождите, обождите, вы... контрабандист!

Борисов, разрядившись, вдруг опал и, видимо, решил сдать свои позиции.

— Садитесь!—указал он на стул.

Семибабов с сомнением посмотрел на только что изругавшего его человека, соображая, должен ли он примириться с оскорблениями, которые обрушились на него.

Борисов вдруг понял причину колебания обиженного и влюбленного в свое дело работника. Искренне залился смехом и закивал примирительно головой.

— Ну, ладно, ладно... Это я выкрутасник, а вы работяга. Ваша берет. Ха-ха-ха! Садитесь, вас не зря ругают госиздатчики. Забьете их. Садитесь. Ха-ха!..

Семибабов просветлел и сел. Борисов и он раскусили друг друга. После проверки оттисков громобойный ученый стал совсем на сторону Семибабова, обещая помощь в соперничестве семибабовского кооператива с Государственным издательством.

Вскоре после этого состоялась губпартконференция. «Манифест» Семибабов выбросил на рынок. И о Борисове заговорили, и издательство прославилось. Но Семибабов не удовлетворился этим успехом и жаждал вмешаться в партийную работу.

В клубе, после первых двух недель работы нового губкома, перед открытием очередного собрания, Стебуна окружили для конфиденциального обмена мнениями несколько середняков-активистов, колеблющихся относительно того, что они наблюдают в партии.

Семибабов и Юсаков прицеливались на Стебуна и ждали не совсем уверенно объяснений от него. Тут же вертелся и Мостаков, партийный бунтарь по призванию, рабочий с Урала, липший ко всем, в ком чуял недовольство.

Семибабов обводил глазами собравшихся и подкалывающими вопросцами обличал Стебуна.

— Думаете вы, дядя, что эта говорильня, вместо того чтобы выявить наши болячки, не собьет лишь с толку тех, кто чувствует болезнь в партии?

Он и Стебуна колол взглядом и вопросительно оглядывал остальных собеседников.

Мостаков хмурым молчанием поддерживал его, почти не интересуясь ответом, и крутил пальцем по столу клочок бумаги, кем-то вырванный из блокнота и оставленный возле стаканов. Для него разговор не нов. Он первый начал проповедывать, что в партии укрепляются бюрократизм и командование, но он не верил, что собеседники могут сговориться о серьезном единомыслии в этом вопросе. Об этом он тут же и заявил.

Стебун не спеша поправил пенснэ, бросив испытующий взгляд на товарищей и возразил Семибабову:

— Надо, чтобы болячки почувствовали и другие.

— Кто?

— Прежде всего те, кто сюда приходит. Клуб—продуван хороший от всякой задышки.

— Так ведь тут же низами, массой, которая только

и может соскрести с тебя всякую коросту, не пахнет даже. Одни главки.

— Рыба гниет с головы.

— Так тем же хуже—никто и не хватится!.. Собирались вы тут уже три раза?

— Собирались.

— Сказал кто-нибудь здесь членораздельно о том, что так, мол, товарищи, нельзя? Сдохнут и большевизм и диктатура пролетариата, если губкомы и верхушки будут накручивать бюрократа на бюрократе, вместо того чтобы с массой решать всякое дело?

— Не сказали, но к этому придут в конце концов все разговоры. Скажем.

— Да не скажете ничего! Будете делать петли вокруг да около. А чуть заикнется кто-нибудь—цеканут вас так, что не будете знать, куда сложить и скатерти ваших архидискуссионных столов. Почему выступления Ильича здесь не добьетесь ни разу? Бывают же Мария Ильинишна и Надежда Константиновна?.. Болен еще? Знает он, что раскорячки в партии?

Мостаков круто обернулся к Стебуну, ожидая, отговорится тот или сообщит что-нибудь новое об отношении вождя к недовольным.

Стебун кивнул головой, светлея от нового направления разговора, и сообщил:

— Он поправился, и о клубе ему Мария Ильинишна рассказывала. Но за него боятся и не дают ему выглянуть. Рецидив болезни может свалить внезапно... Намеренно и приходится не допускать его волноваться.

— Значит он о недовольстве партийцев не знает?

— То, что в газетах, знает.

— А газеты читает?

Стебун блеснул взглядом, вспомнив рассказанное ему на-днях сообщеньице о вспышке вождя против установленного докторами больничного режима, и с интимным удовлетворением передал:

— Тут мне рассказывали на-днях... Он себе газет уже давно требовал, но доктора предупреждали, что чтение ему вредно. Некоторое время удавалось проводить для больного безгазетный режим. Но недавно Ильич в одной комнате сам увидел старый номер газеты и украдкой унес его. Думал—новая. Просмотрел, чтобы никто не видел. Сложил и положил на то же место, думал—газету читает и забывает дежурный сиделец. На другой день ему, будто нечаянно, оставили еще более старую газету. Он сперва унес ее и попробовал читать, а потом рассвирепел, забунтовался, нагнал на всех страху, и доктора решили лучше газеты давать, чтобы только больной не волновался.

— Ха-ха!—оживилась вместе с Стебуном вся группа друзей, воспрянув от радости за бунт вождя революции против докторского режима.

У всех чуть поднялось настроение. И сам собой погас бесплодный разговор обиженных.

Перед открытием собрания члены клуба ввалились один за другим. Пришел с Тарасом и Диссманом прибывший в Москву из Харькова непоседливый атлет Токарев, работавший в украинской партийной верхушке. Увидев Юсакова и Стебуна, которых знал по Украине, Токарев обрадовался и присоединился к компании.

Стебун кивнул ему на стул.

— Совсем в Москву?—осведомился он.

— За новыми песнями!—с особым значением засмеялся Токарев.—Директивы надо получить...

— По национальному вопросу?

— Э-ге!

Все улыбнулись. Украинские работники были осуждены центром за руссификаторство и должны были сговориться о выпрямлении линии,—об этом и говорил провинившийся больше всех Токарев.

Юсаков, работавший на юге и подвизавшийся ранее со всеми прибывавшими теперь оттуда товарищами,

кивнул Токареву головой на Диссмана, сыпавшего возле соседнего стола возражения против кого-то с обличающими ильичевскими оттяжками слогов в речи:

— Что этот ваш ферт?.. Прогнали вы его с Украины, что ли?

Стебун покосился в направлении кивка головы Юсакова и также вопросительно остановил на Токареве взгляд.

Токарев засмеялся, повернувшись так, что чехол на кресле под ним перекрутился чалмой, и с протестующим смехом отверг предположение.

— Попробуй прогнать такого!.. Вы разве не знаете, что у него там неудача?

Юсаков кольнул взглядом южанина, поощряя его продолжать. Стебун не шевельнулся, вопросительно косясь.

— У него же замашки, вы знаете, султанские. Гарем завести жена не дает, так он хоть так нашкодит. Ну, и наблудил, как кот, а потом—в кусты. На веранде в особняке какая-то психопатка повесилась прямо перед его дверью...

— Ха! Кот!

Юсаков, не подозревавший о том, кто может быть этой повесившейся женщиной, с гадливостью мелькнул в сторону Диссмана взглядом, а Стебун скрипнул стулом, напрягая жилы.

— А-а!..

У него сощурились глаза от запрыгавших перед ним огней. Если ни Токареву, ни Юсакову не могло притти в голову, кто несчастная жертва такого расчета с жизнью, то Стебун не мог усомниться в этом ни на одно мгновение.

Такой конец нашла себе, несомненно, Зина.

Звук животной злобы скрипнул и увяз в передвинувшихся челюстях крепкого Стебуна. Он лишь несколько тяжелей навалился на стол, но попрежнему безмолвно продолжал слушать сообщение Токарева.

Харьковец же дополнил свою информацию.

— В прежних краях Диссман, понятно, после такого реприманда работать не мог. Пришлось посовеститься. Куда попало если переехать—не найдешь большого поприща, вот он и устроил, чтобы его отозвали сюда для работы на первое время в качестве ректора какого-то университета...

— Диссман—ректор?!—ахнул Юсаков.

— Да что же... У него высшее образование, а пыль пустить в глаза он умеет.

— Умеет!—согласился Юсаков.

Стебун не мог больше. Будто десятком тяжелых тюфяков со всех сторон без передышки бухало раз за разом беззвучно по его голове, она пухла, и он готов был потерять рассудок.

— Кх-г!..

Он резко встал, крякнув, и, ничего не сказав, вышел в коридор, надеясь там одуматься и взять себя в руки.

В коридоре разговаривали и будто только ждали его.

— Начинаете, товарищ Стебун? Полно народу!

— Начинаем!—отсек он, поворачиваясь немедленно снова к двери комнаты.

Надо было так или иначе открыть дискуссию, высидеть все собрание и только после этого растирать то место, по которому ему нанесен был жизнью новый удар.

Стебун пошел в зал.

Поздно вечером, после собрания клуба, Стебун не сразу пошел домой. Сделал крюк по улицам, обойдя Тверскую и Трубный.

С мозжащей усталостью душевной встряски, превратившей в мешок его тело, вошел в комнату и издерганно опустился на постель, мучаясь тем, что инертно толклось и стучало тяжелыми жерновами в голове.

Почувствовав подушку и взглянув на стену, вдруг услышал визг и вздрогнул. Словно обои перегородки с дешевыми выцветшими рисунками зевающих львов сунулись в него сотнями дразнящих, заплескавшихся языков. Хохот горластой мужской глотки за перегородкой дернул его по нервам, чей-то визжащий смех продребезжал как аккомпанимент хохоту, и ударились в ухо отрывки фраз:

— Катя-а-ах!.. вверх! Петя, ой-ды! Катя-аах! Петя, ой-ды! Да сзади!..

— Ха-ха-ха-хо!..

— И-и-и-и!..

Взвизги и крики врезались в печень и рвали на куски мозг.

Стебун толкнул кулаком в перегородку. И, мелькнув вокруг взглядом, задержал его на заряженном когда-то кольте, который издавна лежал без надобности на столике между книгами, лампой и письменными принадлежностями.

Стебун еще раз решительно и зло затарахтел в стену.

Но это сердитое предупреждение вызвало только новый ответный взрыв хохота.

Стебун вскочил. Постоял мгновение. Поднял в потолок дуло кольта и нажал курок револьвера.

Бах! Бах! Бах!

Выстрел за выстрелом три раза прогремели, дырявя потолок, потрясая стены и продолжая гудеть даже после того как Стебун уже бросил кольт обратно и улегся. У соседей все замерло, как будто их вымело из комнаты. Полминуты там никто, очевидно, не решался раскрыть рта. А затем боязливый шопот:

— Воля ихняя!

— Убьет, а потом судись!

— Я говорила...

— Давайте расходиться!

Так бы и давно.

Две-три минуты панических сборов у соседей—и

комната смолкла. Стебун заснул. Проснулся утром поздно и твердо, будто все концы дум о людях, итог разрыва с женой, кончившей самоубийством, вместе с дымом пороха из кольта выпустил в воздух.

Все шло так же, как всегда. Ничего особого. Нечего выходить из себя.

Он начал умываться под краном и услышал, что одновременно с ним возится кто-то в ванной, отпустив воду и звякая тазом.

Вооружился полотенцем. Хотел вытереться и начать завтракать, и вдруг всплески воды за стеной прорвал панически придушенный девичий крик, а одновременно перегородка комнаты затрепетала от ударов из ванной.

— Помогите! Караул! Ой-ой! Ради бога!—будто кричащего охватило пламенем.

Стебун выскочил в переднюю и ринулся в ванную.

— Что такое?

Никакого полымя не было.

Фирра Файман, способная сесть на корточки перед гиеной и колоть ей глаза булавкой, нагишом забилась в угол ванной и, дрыгая ножкой, одной рукой прижимала к животу рубашку, а другой показывала в промежек между колонкой и стеной и визжала:

— Крыса! Крыса! Там крыса!..

И дрожа будто от страха, когда Стебун с всполошным изумлением оглянул ее, стрельнула глазами на мужчину отчасти со жгучим любопытством, отчасти с издевкой стараясь угадать, как он поступит.

Стебун, крякнув и забегав по ванной глазами, вдруг поймал блеснувший плутовством взгляд девицы.

Фирра строила глазки, уверенная, что разожжет вспышку женобесия у квартиранта.

— Тьфу!—вышел из себя Стебун.—С жиру беситесь, так других не трогайте! Если я возьму сейчас эту красавицу за уши да проведу к папаше и мамаше в этаком виде? Запищите, что нехорошо?

Фирра подпрыгнула.

— Нахал!

Стебун с злой усмешкой захлопнул дверь и заспешил в комнату.

У него уже второй раз затрещал телефон.

Стебун взял трубку.

Звонила из губкома секретарша Агитпропа, сообщавшая, что его спрашивал Захар и что из уездных комитетов его ждут товарищи для согласования вопроса об открытии уездных партийных школ.

— Надел шляпу и иду!—сообщил Стебун.

Через десять минут он был у себя в отделе.

Агитпроп—идеологический кулак губкома, а заведующий этим отделом—главк, без которого не совершается никакой работы по пропаганде очередных задач партии в массах. Многое может сделать только сам этот главк. Сейчас—сговор по кремлевскому проводу с каким-нибудь виднейшим членом правительства и настойчивый нажим с получасовым уговариванием какого-нибудь народного комиссара в необходимости выступить с докладом на районном митинге. Одновременно беседа с антирелигиозниками-агитаторами. Тут же—сговор с редакциями газет о проработке заинтересовавшего рабочую массу вопроса; прием отдельных посетителей и работников-партийцев. Вечерами неизбежные собрания и заседания.

Бурлит Агитпроп.

Одна девица-партийка висит на телефоне, изнемогая в переговорах с докладчиками, более доступными, чем занятой народ Кремля. Другая выписывает наряды на транспорт и по другому телефону командует заказами на подачу автомобилей, мотоциклетов или пролеток. Две машинки выстукивают тезисы, удостоверения, лозунги к предстоящим демонстрациям, инструкции кружкам и районным агитпропам. Сотрудники двух губкомовских журналов и «Рабочей Москвы» в соседней комнате хлопочут о выборке материалов. Секретарь отдела товарищ Бархина верховодит этим аппа-

ратом, попутно устраивая и личные дела то совещающихся в одной из комнат, то толкущихся от стола к столу агитаторов.

Скоро очередное празднование Первого мая. Брызжат через окно зайчики весеннего солнца, начата кампания, и зевать некогда.

А тут пожарная встряска...

На крупной текстильной фабрике рабочие прядильного отделения остановили работу. Ожидается присоединение других цехов. Захар прибежал к Стебуну.

— Знаете о бузне? Посылаете кого-нибудь?

— Сговорился с Кердодой и Жбановым от Текстильного треста. Буду и сам там. Если своими силами не урезоним, придется оторвать Калиныча.

— Кердода?—Захар задумчиво помялся, перекраивая план Стебуна, и потянул носом, как-то значительно поправляя пенснэ.—Кердода?—еще раз повторил с возрастающим сомнением. И безапелляционно решил:—Знаете что, Кердода парень без огонька—ничего не выйдет! Позвоните Тарасу, он хотя и занят, но сам в пожарных случаях просил его вызывать.

— Тараса?—недовольно поморщился Стебун.—Этот пожарный наговорить-то наговорит, но может статься так, что только масла лишь плеснет в огонь.

— Почему?

Стебун мелькнул взглядом по Захару, соображая. Тарас—много пишущий литератор. Зашибает деньги, о чем рабочие знают. В партийной верхушке один из ее столпов. Понятно, что Захар за него не прочь уцепиться. С другой стороны, Кердода—забойщик и теперь, кайлящий посвойски, куда его ни ткни, глыбы простецкой правды и обезоруживающий одними своими междометиями у рабочих всякое недовольство. Обе величины совершенно несоизмеримы.

Стебун выложил свое раздумье.

— Рабочие,—указал он,—знают, что Тарас получает уйму денег за книги и живет графом. Кто-нибудь мо-

жет сказать об этом или выкрикнет с места... тогда разговаривать будет трудно...

— Ну, если вы будете председательствовать, вгоните в пот волынщиков!—уверенно засмеялся Захар.—Да и Тарас. Это такая детка, что его такими штучками не проймешь! Только предупредите его, чтоб он это имел в виду, а там посмотрим...

— Хорошо,—подчинился Стебун.

Через два часа он, представитель Текстильного треста и Тарас были на фабрике. Стебун предупредил товарища о том, что представление о хороших денежных делах Тараса может дать повод для кого-нибудь из рабочих прицепиться к докладчикам.

Тарас был изумлен.

— Неужели обо мне существует мнение как о рваче?! Но это же фантазии...

Стебун считал, что дым не без огня, но промолчал. Он не подозревал только, что Тарас был готов к самозащите.

Явились в фабричную столовую. Гудок. В помещение вваливается отделение за отделением поток волнующихся, раздраженных людей, и прежде всего закоперщики выступления, прядильщики.

Рабочие обижены не на шутку. Текстильный трест не выдает получки за два месяца. Дензнаки, когда их получишь, ничего не будут стоить.

Представитель Текстильтреста, хозяйственник-партиец, объясняет Стебуну и Тарасу, что совзнаками можно было бы получку выдать немедленно за один месяц, хотя это и срывает бухгалтерскую работу треста, но правление Центротекстиля именно потому и задерживает выдачу, что переходит на червонное исчисление. Рабочие будут получать не падающие в цене миллиарды и миллионы, а устойчивые червонцы и рубли. Получку на основе нового расчета можно будет выдать не позже очередной субботы, то есть через пять дней, накануне Первого мая.

Стебун сообщил волнующемуся собранию о том, что рабочим может сказать Текстильтрест. Призвал к революционному порядку и пролетарской дисциплине, указал на то, что в мир коммунизма не вкатишься на саночках, голодное брюхо в таком деле не помощник, и предоставил слово Тарасу.

Тараса некоторые рабочие любили, зная его частью по весьма популярным брошюрам, частью—по общегородским митингам, где он неизменно выступал на сенсационных антирелигиозных диспутах в спорах с церковниками.

Часть рабочих встретила его шумными аплодисментами, и это настроило выжидательно и тех работниц и рабочих, что были поотсталей.

А он в качестве представителя партии уверенно и веско заговорил о значении для будущего развития хозяйства в стране проводящейся денежной реформы, о нищете советской казны, о том, чье дело ее улучшить, чье дело помочь своей власти. Восстановил прошлое борьбы пролетариата. Нарисовал картину начинающегося восстановления хозяйства, указал на то, что трест, переходя к червонному исчислению, делает лучше для всей страны, и прежде всего для самих же рабочих, а сделать это технически не так просто.

— Надо, товарищи, не во имя чего-нибудь, а во имя куска хлеба, бутылки молока для ваших детей, сытого, а не собачьего существования протерпеть несколько дней и дать сделать это большущее пролетарское дело.

Аплодисменты.

Настроение рабочих переломилось. Стало ясно, что волынщики вернутся работать.

Но вот когда чья-то резолюция на записке передавалась в президиум, вспыхнул тот вопрос, которого больше всего боялся Стебун:

— Товарищ Тарас, вам легко говорить, потому что вы не получаете по субботам наших лимонов, а вы-

гоняете да выгоняете книжками монету... Сколько вы зарабатываете, что так хорошо говорите?

Вопрос взволновал больше всего поднявшегося было тревожно Стебуна.

Рабочие также шевельнулись и напряженно замерли.

Тарас не подал вида, что придает какое-либо значение каверзному вопросу. Он остановил Стебуна, намеревавшегося ответить, и выступил быстро сам перед собранием.

— Попростецки брякнул этот товарищ вопрос, но так и надо. Хватайте быка за рога! Разрешите мне только побольшевистски и ответить вам. Я прошу слова для ответа.

Собрание взметнулось.

— Просим, просим!

Стебун сел, кивнув головой в знак предоставления слова Тарасу.

Тарас вынул записную книжку из кармана, снял с шеи кашне и, помахивая им перед собой будто недоуздком, подтвердил:

— Я, действительно, товарищи, сравнительно с каждым из вас капиталист. Я часто получаю денег столько, что когда получу, то мне некуда их девать. Но вы посмотрите: ни разу никто из вас не видел меня, чтобы я ездил на автомобиле. Я в трактир не хожу, вина не пью, балов не устраиваю, питаюсь в столовке, а иногда и в столовку не успеваю. И ни черта у меня кроме этого кашне, этого пенснэ и этой одежи нет. Куда идут мои деньги? Слушайте: получил я недавно, если перевести на червонцы, восемьсот рублей. Партийных взносов я внес, если считать опять в червонном исчислении, семьдесят пять рублей,—это столько миллиардов в знаках, что я не пересчитаю. Профессиональных взносов—столько же. В пользу голодающих с меня вычли десять, да добровольно по вызову ячейки я внес пятьдесят. На заем—тридцать. В партийный фонд взаимопомощи—двести, потом членские

взносы в Общество старых большевиков. За книги, необходимые при работах, в партийный магазин сорок рублей. Товарищу, бежавшему из Болгарии и остановившемуся у меня на первое время для обзаведения, чтобы не валялся на полу, сто рублей. Поездка за свой счет в Серпухов для диспута с попами и дорожные расходы—три рубля. Поездка на диспут в Петроград—пятнадцать рублей...

Тарас перевернул страничку.

— Сейчас, сейчас, товарищи!—предупредил он, отыскивая что-то в записях.

— Довольно!—со смехом крикнули из зала.—Выходит и так уже больше восьмисот...

— Ха-ха-ха! — довольно подхватили другие. — Растратчик, Тарас!

— Катайся, Тарас, да гвозди больше по шеям попов! Ничего, что зарабатываешь!

Собрание развеселилось. Стебун, с особым интересом начавший слушать выкладку расходов Тараса, в свою очередь почувствовал себя уверенней и уже весело повернулся к собранию.

— Значит, приступим к решению, товарищи?

— Просим, просим!

Проголосовалась дружным поднятием рук резолюция о доверии тресту и о возвращении к работе прядильщиков.

Стебун возвратился в Агитпроп и в коридоре встретил того забытого было им комсомольца Ковалева, который провожал его после проведенного им по приезде в Москву собрания молодежи и вызвался ехать за границу для подпольной работы.

Ковалев уткнулся в Стебуна озабоченной физиономией и объявил:

— К вам с просьбой. У меня тысяча градусов температуры! Взорвусь, если не поможете!

— Пойдемте!—дернул юношу за руку и зашагал к кабинету Стебун.

— Садитесь.

И сел сам за стол.

— Вот, товарищ Стебун... Вы с одного раза погубили меня, пообещав дать дело, но объявив себя банкротом, когда я согласился в огонь лезть, лишь только вы намекнули, что, мол, мы, ребята, никуда не годимся. В огонь не вышло. Давайте что-нибудь другое. Всякий комсомолец уже сделался за это время каким-нибудь деятелем. Один прославился сочинением стихов. Другой провел кампанию за броню подростков. Третий распропагандировал свою тещу и тещину бабушку. Вот! Все что-нибудь да делают, один я как пришлепка какой-то... Выручайте! Помогите мне найти дело.

— А, вот о чем вы...

Стебун что-то серьезно прикинул в уме.

— Помогу!

— О!—и Ковалев, не на шутку вспыхнув, придвинулся, выхватил из коробки папиросу и, закурив, обдал Стебуна дымом.

— Я думал об одной вот какой работе, если сумеете... Кто-нибудь ее сделает, если вы прозеваете и не захотите на этом отличиться. Надо организовать детей рабочих предкомсомольского возраста.

— Недомерков? Шкетов? Школяров?

— Именно недомерков и школяров.

Стебун отмахнул от себя дым, немного отодвинулся и, сам додумав, как можно осуществить этот сейчас только зародившийся у него план, предупреждающе провел по комсомольцу взглядом.

— Тут надо,—предостерег он,—понятно, начать с небольшого. Соберите-ка да организуйте детвору рабочих с какого-нибудь одного завода. От Агитпропа я помогу вам и на райком нажму, чтобы вас поддерживали. Придайте организационную форму группке, сбив из детей отряд, скажем. Назовите их пионерами или как им самим больше понравится. Введите значок

какой-нибудь, вроде бойскаутских причиндалов. Заведите трубы или барабаны. Учите ребят преданности пролетариату и ленинизму. Если это вам удастся—другие сделают то же, организуются новые отряды. Губком и партия благословят и переведут все это дело на настоящий путь,—вот вы и отличитесь.

— Идея!—заскрежетал стулом, возбужденно передвигаясь, Ковалев.—Сегодня все обмозгую и засучиваю рукава.

— У вас связь с каким-нибудь заводом есть?

— С Городской электрической станцией. Там веду комсомольскую школу. Секретарь ячейки меня слушается и все сделает.

— Вот и начинайте... Если тут вам связи не помогут, я попрошу, чтобы через райком вас связали с каким-нибудь заводом.

— Нет, спасибо, мне нужна была идея. Товарищ Стебун, я заряжен! Температура миллион градусов! Взорвусь вместе с губкомом!

— Катайте!

Ковалев хлопотливо вышел. Стебун позвал секретаршу. У него еще работы было до ночи.

Доступ в клуб губкома для лиц, не принадлежащих к испытанному кругу активных большевиков, Стебуном был чрезвычайно затруднен. Все знали, что в клубе собираются подлинные руководители партии и главковерхи центровых органов советской власти и что там прежде всего произносятся те слова, за которые через несколько дней начинает цепляться вся страна. Но именно поэтому многие, независимо ни от какой политики, а единственно в силу великого самолюбивого зуда сопричислиться к лику избранных, вели за предоставление им звания членов клуба настоящую атаку на бюро губкома.

Попытки попасть в клуб путем какого-нибудь стра-

тегического маневра от ведавшего приемом новых членов Стебуна отлетали рикошетом.

И о клубе пошел разговор.

Для того чтобы раздражающая недоступность клуба не вызывала кривотолков и в ответ на общее тяготение к нему—были учреждены клубы для дискуссий и при районных комитетах партии.

Но они роль громоотвода не сыграли.

Незадолго перед очередной дискуссией Стебуна осияло появление Резцовой.

Резцова, начав вскоре после своего освобождения работать в Главполитпросвете, зарекомендовала здесь себя с самой лучшей стороны в качестве страстной работницы, рассеяла подозрения в своей сообщности с противниками большевиков и, с некоторого времени сделавшись секретарем руководящей учреждением коллегии, по своей линии также вращалась в среде, близкой к деятелям партийного и советского центра.

Что-то она узнала и пришла предупредить Стебуна в Агитпроп.

Стебун знал, что бывшая арестантка ГПУ превратилась в своего человека, одобрительно, будто сейчас только увидел произведение своих рук, всмотрелся в разбитную женщину, оторвался от приема других посетителей, чтобы спросить ее об успехах.

— Переменились вы... Работаете за всех, говорят?

Резцова с независимыми ухватками совершенно искреннего друга шлепнула на стол портфель, разбросив полы жакета, сунула за пояс на бедра руки и отвела всякий личный разговор.

— Управляюсь так, что к вечеру по телу открывается стрельба, во все семьдесят семь жил и сто сорок суставов... На то я подпольщица, хоть и не большевистская. Вы по себе знаете, как это делается. Но дело не в этом. Я пришла передать кое-что, имеющее отношение к вашему клубу.

Стебун оторвался к двум агитаторам, желавшим условиться об устройстве на заводе показательного суда. Отпустил их и сел.

— Что имеющее отношение к клубу?—спросил он.

Резцова также села, расставив ноги по ступицам стула, руки положив калачиками, чтобы не ерзать о край стола, и не мигнув вымолвила:

— Вы не щадите нашу женскую нацию и обидели нескольких комиссарш, не принятых в клуб. Имейте в виду, что какие бы баталии вы ни разыгрывали там, а исподтиха крадется и подрывается под клуб сплетня. О клубе говорят все злее.

— Что же говорят?

— А говорят... Говорят так: «раньше говорили—ЦК играет человеком, а теперь—клуб хочет играть Центральным комитетом».

Стебун поморщился, будто хлебнул спотыкача. Встал.

— Ну, увидим!

Он взял трубку затрещавшего телефона. Снова вошла Бархина, кто-то заглянул в дверь, ожидая, когда можно будет войти. Резцова поднялась уходить.

Стебун остановил ее движением головы и, кончив телефонный разговор, повернулся к ней.

— Спасибо во всяком случае, что вы беспокоитесь об этих делах, Татьяна Михайловна... Вы, значит, вкоренились там у себя крепко?

— О, всему делу атаман. Кручу, верчу и дым пускаю. Если вам что понадобится—помогу!

— Хорошо... Если делать больше нечего будет когда-нибудь, то приткнусь и я к вам,—с полушуткой усмехнулся Стебун.

Резцова бухнула его по руке, сразгона всадила себе под руку портфель и с воинственной независимостью вышла.

Стебун рассчитывал, что до закрытия клуба было далеко. Через несколько минут, предавшись снова делам Агитпропа, он забыл думать о том, что переда-

вала Резцова. Все другое, казалось, говорило о том, что влияние клуба растет, и партии нет смысла его упразднять. Впрочем, Стебун не мог отдаваться теперь безраздельно клубу, будучи почти до отказа закручен вертушкой работы Агитпропа.

Домой часто приходилось возвращаться только ночью. И еще один раз ему пришлось утихомиривать соседей стрельбой в потолок. После того как один раз доведшее его до чортиков буйное веселье соседей было усмирено револьверным громом, Стебун, решив, что самый действительный способ обеспечить возможность себе покойного сна и в будущем—внезапная канонада, приобрел пугач, дабы не дырявить кольтом потолок и не совершить у соседей нечаянно убийства.

Долгое время пугач лежал без употребления. Соседи предупредительно стихали, когда он приходил. Стебун к тому же терпел, если шум не затягивался до утра. Но один раз веселую компанию снова разобрало далеко за полночь. Стебун разрядил пугач и забарабанил в перегородку. Соседи высыпали с бранью в коридор и, прежде чем разойтись, пошумели в коридоре, поднимая переполох на весь дом и выражая возмущение тем, что им не дают посмеяться в собственной комнате.

Стебун заснул, чувствуя, что завтра так или иначе придется заняться своим квартирным положением.

Но ему не пришлось хлопотать об этом самому.

Перед тем как он должен был уйти, к нему постучали, и он впустил попросившего позволения войти поговорить по поводу комнаты Файмана.

— Пожалуйста!—пригласил Стебун.—Очень кстати, а то я ушел бы...

— Да и я ухожу скоро,—объявил Файман,—я же тоже деловой человек, хоть и не служу. Один мыкаюсь на шесть душ...

— Торгуете?—спросил Стебун.

— Торгую, знаете, маклерую, советы даю, продав-

цов с покупателями свожу. Теперь же опять можно стало.

— Разрешается!—подтвердил кратко Стебун.—Что же вы хотели сказать о комнате? Вам не нравится, что я воюю тут?

— Скажите ради бога, как же вам не воевать? Что вы! Я же понимаю, что вы ответственный работник.

Файман карусельно зацокал ножками, передвигаясь возле Стебуна на одних и тех же квадратиках пола. Перебил себя:

— Вас зовут Илья Николаевич, если разрешите?

— Да. А вас, гражданин Файман?

— Давид Абрамович... Вот я же хочу сказать, Илья Николаевич, что у нас же у всех к вам респект. И даже этот чучельный квартирант, что шабаш собирает, уважает вас... Но уж такой у них у всех этих Щукиных характер смехотворный... В доме—в доме, в чужих—в чужих, и куда хочешь пусти их—все бы только смеялись... Ну, вам от этого, понятно, не итти же ночевать к товарищам. Всякий понимает, что у вас дела не то что продать или купить, а и политика, и рабочие, и крестьяне, и нас, граждан, в виду надо иметь. Так я решил отвести вам другую комнату.

— А!—схватился Стебун за предложение.—Где?

— А тут один гражданин с моей квартиры, вы не знаете его, получает службу в провинции, и комнату я хотел оставить себе, вот ту, что прямо против коридора, но лучше отдам вам, чтобы жилотдел или милиция еще не взялись нас мирить.

— Эта комната хорошая!—подтвердил Стебун, мельком уже видевший комнату, по большей части пустовавшую.—А вас я не обижу?..

— Да что я? Лишь бы вы согласились и не считали, что мы вас выживаем. Будем добрыми соседями. Вы еще познакомитесь с другими квартирантами, так увидите, что нэпачи—тоже люди. Мы понимаем, что вы всем добра хотите. У нас же и знакомые тоже ком-

мунисты есть и знают нас. А в этой комнате беспокойства никакого, только телефон перенесете.

— Телефон перенесу. А с этой комнатой что вы сделаете?

— Не будем спешить... Найдется что-нибудь.

— Хорошо!—согласился Стебун.—Спасибо, Давид Абрамович!

— Мы тогда и вещи ваши перенесем, если разрешите.

— Пожалуйста.

Стебун ушел. Но в этот же день, когда он задержался для ужина в кремлевской столовке, к нему пришел прибывший в Москву и устраивавший свои дела Кровенюк, в теплушке которого Стебуну пришлось переночевать с Шаповалом.

Кровенюку надо было где-нибудь переночевать. Он до сих пор еще ухитрялся гастролировать в качестве самостоятельного военного чина, выполняя инспекторские поручения по Донбассу от штаба военного округа. Но кто-то, наконец, понял, что он чудит. Дознались, что у него теплушка и казенный пулемет.

Все это ему предложили сдать и ехать в распоряжение центра. Обиженный Кровенюк намеревался жаловаться.

Явившись в дом Файмана и найдя комнату Стебуна запертой, Кровенюк решил попробовать разыскать ключ от комнаты, чтобы рискнуть дождаться товарища.

Начал шарить по дверному притолоку.

В это время в коридор вышла Фирра Файман, подметившая штабное обмундирование интересного незнакомца, и, угадав, что посетитель пришел к Стебуну, живо прицелилась на Кровенюка с расчетливой общительностью.

— Вы к товарищу Стебуну? Он перешел отсюда. Это наша комната теперь. Ха-ха! Попались!

Кровенюк отступил от запертой двери, но не изви-

нился, а прежде всего приосанился героем, окинул взглядом девицу, цокнул, как заправский кавалер, каблуками с поклоном и на вызывающий смешок смело потянулся к девице.

— У Стебуна опасный сорт товарищей... Ха! Самоцвет!—двусмысленно и вызывающе польстил он.

Фирра лукаво сощурилась.

— Кому да, а кому нет... Ха-ха!

Кровенюк шагнул к ней.

— Позвольте представиться, чтобы узнать, не был ли Стебун товарищем для вас в таком деле, на какое и у меня много охоты... Кровенюк.

— Ха-ха! Фирра Файман. Вы орден имеете и такие парадные губки с усами,—приложила Фирра пальчик к губам.

Кровенюк не моргнул. Был у него не орден, а устаревший и вводивший всех в заблуждение жетон в честь какой-то годовщины. Кровенюк им пользовался ради щегольства. На лестную аттестацию его внешности он не нашелся что сказать. Самодовольно улыбнулся и продолжал смотреть на Фирру.

Фирра же сочла, что небезынтересно закинуть удочку на лучшее знакомство с воображаемым комиссаром.

— Стебун обычно в это время уже дома бывает,— осведомила она.—Он вам очень нужен?

— Да, я обождал бы его, потому что приехал и мне некуда итти.

Кровенюку польстила манера девицы, откровенно пытавшейся раздразнить его и возобновлявшей расспросы, чтобы он не ушел. Он с недоумением продолжал медлить, ожидая, чем кончится его знакомство с девицей.

Фирра же сообщила:

— Он только сегодня перешел в другую комнату, и там еще беспорядок. Ключ я знаю где, но разве приятно будет ждать, сидя на корзинах?

— Не то на корзинах, на полу сяду,—решил Кровенюк.

Фирра надумала:

— Знаете что: пойдемте к нам, пока придет этот ваш мандарин—Стебун. У нас с сестрой отдельная комната... Потом, может быть, уговорим папу, чтобы пустил вас жить у нас. Вы на рояле играете?

— Немножко.

— Идемте!

Кровенюк ухватился за приглашение Фирры. У Файманов завел настоящее знакомство и заручился обещанием девиц уговорить отца на предоставление ему освобожденной Стебуном комнаты.

Когда Стебун пришел, он простился с девицами и явился к собиравшемуся спать партийцу.

Открыв дверь, Стебун сразу узнал Кровенюка. Он не выразил никакого восторга от этого посещения. Однако, узнав, что Кровенюку некуда деваться, заночевать парня пустил. Предложил ему располагаться на полу и сейчас же лег сам. Узнал, что Кровенюк был в штабе и должен уехать на пост военкома в Георгиевск к Шаповалу, но раздумывает и не прочь пошататься по Москве. На содействие Стебуна в этом смысле и рассчитывал.

— Товарищ Стебун, вы председатель дискуссионного клуба, в котором собираются члены Цека?—спросил он с какою-то надеждой.

— Да.

— Если бы вы ввели меня в клуб, я познакомился бы там с членами Реввоенсовета и остался бы здесь при штабе начальником какой-нибудь части.

Стебун полминуты сдерживал себя, чтобы не вспыхнуть и не предложить улегшемуся уже парню оставить комнату.

Наконец, коротко посоветовал:

— Езжайте-ка, друг, куда вы назначены, завтра же, да постарайтесь там без фасонов поработать.

Кровенюк понял, что Стебун не зовет его снова на ночлег, чтобы избавиться от него.

Стебун же думал о клубе. Клуб сделался крупнейшим фактором партийной жизни, но было что-то нездоровое в стремлении к нему людей, думавших об устройстве своих личных дел. В числе его завсегдатаев уже был Диссман. Теперь туда же мечтал проникнуть такой легкоумок, как Кровенюк.

— Посмотрим, что дальше будет,—тер он себе лоб и откладывал вывод.

Дальше было очередное собрание клуба. Оказалось это собрание последним..

Оно состоялось через неделю после посещения Кровенюком Стебуна.

Вначале все было благополучно. Распространилась обнадежившая партийный актив весть о том, что Ильич продолжает поправляться. Краем уха Стебун поймал замечание разговаривавшего с Борисовым Тараса о каком-то письме выздоравливающего вождя к Мостакову. Мостаков еще не пришел, и Стебун не мог проверить значения этого разговора.

Как всегда, когда клуб наполнялся и знакомый неожиданно встречался за одним столиком с давно забытым другим знакомым, товарищем или сподвижником, настроение в клубе приподнималось. Захар, Тарас и Нехайчик смеялись над высоким чудаком Комаровым, выискивавшим среди членов клуба бывших каторжан и поселенцев, которых он хотел организовать в особое общество. Шутили по поводу того, какая была бы картина, если бы в очередную годовщину революции все подпольщики-большевики оделись в тюремные причиндалы и особой колонной, в кандалах, котах и халатах с бубновыми тузами промаршировали по Тверской.

Комаров—коломенская верста, чуть сгорбленный, с горбатым рулем носа, в пенснэ. Он виновато от всех отшучивался, но агитацию продолжал и в полчаса сколотил группку учредителей общества, согласившихся притти на первое собрание.

Борисов, Семибабов, Кердода и в больших очках на рыжеошерстенном лице, мартышкообразный деятель Исполкома Коминтерна Гутман разговаривали с возвратившимся из заграничной поездки Антоном.

Сегодня в клубе был Лысой, кроме близких верхушке Тараса и Бочина. Предстоял интересный доклад делегации, представлявшей на международной дипломатической конференции в Генуе советское правительство. Вместе с докладчиком Лавриным за четверть часа до открытия дискуссии пришел один из работников, занимавшихся оздоровлением советских финансов, красавец Постышев.

Лаврин зарикошетил в обход столов и стульев к Стебуну. Постышева, впервые заглянувшего в клуб, окружили знавшие его по эмигрантской жизни в Женеве Захар, Акоп и Семибабов.

Постышев, предвкушая эффект принесенной им новости, сиял, будто он только что встретил римского папу, с безбожным плясом поющего на всю Москву «Кирпичики».

И каждый ответно улыбался, здороваясь с сияющим большевиком из Наркомфина.

Постышев сел за столик, давая место расположиться возле него и товарищам, особо поглядел на Захара и, вынув из кармана что-то зажатое в кулаке, положил руку на стол.

— Узнайте, что тут?—победоносно оглянул он товарищей.

— Дрожжи для нэпа!—придвинулся с нетерпеливым интересом и угадал Семибабов.—Показывайте!

Он был больше других партийцев в курсе финансовых дел, ведя торговые дела издательства, и сразу сообразил, чем щеголяет Постышев.

— Монета?—спросил флегматично Захар.

— Червонец николаевский, что там особого?—возразил Акоп.

Постышев разжал кулак и подал Захару то произведение, которое трубило о славе Наркомфина.

— Советский рубль!—отрубил гордо Постышев собеседникам.—Рублевая монета первого нашего выпуска. Поступает на-днях в обращение на рынок. Вслед за этим выпускаем серебряную и медную мелочь—и тогда поздравьте нас. Только что отчеканена.

— Действительно первая?—спросил Захар.

— Самолично сбрил из-под штампа несколько штук и заставил акт об этом составить, как только отчеканили. Хочу преподнесть это на память Ладо.

— Надо Ильичу!—возразил Акоп.

— Ильичу?—отверг Захар.—Он посмеется, ткнет ее куда-нибудь, и памяти не будет у нас... Ладо лучше.

— Да и Ладо то же сделает.

Семибабова вносившая сенсацию монета особенно заинтересовала,—он не хотел выпускать ее из рук.

— Товарищ Постышев,—вдруг загорячился он,— у вас с собой еще есть хоть один такой новичок? Дайте-ка мне! Захар, повлияйте, чтоб Постышев не ежился!

— Да они на-днях везде будут,—возразил Постышев.

— Это-то меня и не устроит. Говорите, есть или нет у вас хоть один рубль еще?

— У меня еще три.

Семибабов оглянулся на зал. Захар улыбнулся, догадываясь, что в Семибабове проснулся торговец. Мигнул Постышеву, чтобы тот уступил.

— Давайте мне их... Я вам заплачу, а вы себе обменяете потом на бумажки, если вам нужно будет.

Постышев пожал плечами, вынул из другого кармана три рублевых монеты и отдал их издателю.

Семибабов подмигнул компании. Три монеты взял в руку, а первый рубль возвратил Постышеву по принадлежности.

— Это спрячьте. Только смотрите, не испортьте у меня музыки. Я хочу заработать в пользу нуждающихся курсантов. Смотрите!

— Ладно, ладно! Катай!—засмеялись, начиная догадываться о его затее, Захар, Постышев и Акоп.

Семибабов вдруг воззвал, поднявшись:

— Товарищи, объявляется аукцион! Первая наша серебряная монета. Рубль советской чеканки. Кто желает, может приобрести на память. Только что из-под штампа. Когда-нибудь за него будут давать тысячи. Я по бедности плачу за него Постышеву два червонца. Кто больше? Монету не уносить... Два червонца, кто больше?

Немедленно столик заерзал в толчке навалившихся на него членов клуба, и прежде чем на монете кто-нибудь рассмотрел рисунок, изображавший рабочего и крестьянина, начальник военного округа богатырь Уралов зыкнул:

— Даю три червонца. Давай мне!

— Обождите, товарищ Уралов, с пролетарским рылом в калашный ряд... Так дешево не отделаетесь! Кто больше?

— Можно в кредит?

— Под расписку, с обязательством выдать долг в течение двух недель.

— Пять!

— Шесть!

— Семь!

— Десять червонцев!

— Ого!—воскликнул кто-то, и сразу большинство соперничавших смолкло.

— Десять, кто больше?

Осталось только несколько охотников.

— Двенадцать!—придвинулся Тарас.

— Пятнадцать!—с отчаянием крикнул Диссман.

— Двадцать!—покрыл всех, будто нанося смертельный удар аукциону, Борисов.

Семибабов, услышав бас своей жертвы, чуть не прыснул от смеха, переглянувшись с Постышевым и Захаром, и сейчас же провозгласил.

— Есть! Двадцать червонцев, деньги на стол—и монета принадлежит товарищу Борисову.

— Вычтете из моего гонорара двести рублей,—сказал Борисов.

— Есть! Получайте рубль.

Он передал монету и сейчас же провозгласил:

— Обождите, обождите, товарищи! Разыгрывается еще один первый советский рубль... Вот он, даю сам два червонца. Кто больше?

Семибабов вынул из кармана новую монету и поднял ее над собой.

— Ха-ха-ха!—взвыла от трюка Семибабова публика.—Второй первый!

Борисов вытаращил глаза и вдруг затопал, загремел:

— Жулик! Контрабандист! Думаете, у меня свой банк? Не получите ни полушки. Издевательство!

Семибабов схватился за живот и сквозь смех объяснил, обращаясь к собранию:

— Михаил Давидович, не кипятитесь, и вы, товарищи, тоже не регочите! Постышев, если хотите, объяснит... Рубли чеканились в пяти штампах сразу. Поэтому первых рублей всего пять. Один Постышев послал Ильичу, другой у него для Наркомфина, и три Наркомфин пожертвовал для аукциона в пользу нуждающихся курсантов. Да и не все ли равно, какой из них первый, какой—второй. Так или иначе, из банков пока получите, чтобы хоть в кармане подержать, дырки заведутся. Я разыгрываю другой. Два

червонца! Кто больше? Товарищ Лысой, за вами очередь.

— Мне Постышев даром даст!—добродушно отгрызнулся Лысой.—Жми тех, кто побогаче.

И повернувшись к остальным, он поощрил:

— Поддерживайте, поддерживайте, товарищи, марку серпа и молота!

Приглашение Лысого подействовало.

— Три!—возгласил Тарас.

— Четыре!—объявил Диссман.

— Пять!—прибавил Тарас.

Третий рубль приобрел Диссман.

— Ну,—расхохотался успокоившийся Борисов, приятельски трепанув за руку Семибабова,—спекулянт вы самый густопсовый!

Стебун стоял с доброжелательным интересом сзади, пока разыгрывался импровизированный аукцион. Увидев явившегося Мостакова, кивнул издали уральцу головой и подошел к нему.

— Что о вас говорят?—спросил он, побуждая товарища поделиться с ним рассказом об обращении к вождю партии.

Мостаков раздраженно пожал плечами.

— Что обо мне говорят?—переспросил он, вызывающим раздраженным взглядом отпарировав вопрос товарища.

Стебун также пожал плечами.

Мостаков—недоверок, как все колеблющиеся. На одном из первых собраний клуба он обнаружил попытку повернуть Стебуна и его друзей на бунт против партийного руководства. Стебун в Агитпропе и клубе, почувствовав под ногами устойчивую почву для здоровой работы в партии, предостерег тогда уральца от задуманной им организации особой группы партийной левой. Мостаков, разочарованный отпором, сделал вид, что угомонился, но поверить этому было трудно.

— Вы от Ильича что-то получили?—подсказал сдержанно Стебун.

— Вы не знаете? Могу сказать. Разговоры мне надоели. Сколько вы тут ни говорите, дело, что дальше, то все хуже, и я разрядился. Узнал, что Ильич намеревается приступить к работе, и решил ему написать: если, мол, не спустить немного возжи, то будет нам же хуже. Я не говорю о том, чтобы допустить издавать соглашателям свои газеты, но внутрипартийной критике должен быть открыт полный простор. Свобода мнений...

— О свободе мнений так вы и писали?

— Да. Послал целую грамоту, в которой излил всю свою желчь и слезы. Думал, что голос середняка партийца заставит его меня разубедить, если он со мной не согласен.

— Ну и что?—напряженно уронил Стебун.

— Получил письменный ответ. Отвечает на все вопросы и лается, как середа на пятницу. Словно кроме бани критически настроенному партийцу ничего не полагается...

Этого именно Стебун и ожидал. Недовольство жестким партийным режимом он разделял и сам. Но Мостаков хватал через край, требуя провозглашения в партии свободы мнений. Партия не могла сделаться ареной для идейных распрь. Мостаков не учел этого и возбудил в создателе и вожде партии предубеждение также против тех, кто в своем недовольстве был сдержаннее.

Стебуна сообщение заставило поморщиться.

— Напрасно, помоему, вы бросаетесь во все стороны,—заметил он кисло.—Сломите себе шею и не сделаете лучше. Партии достаточно добиться отмены системы назначенчества на ответственные посты и сделать партийный аппарат не таким бюрократическим. Да и этого надо добиваться, создавая общественное

партийное мнение, а не возлагая упований на магические письма к Ильичу.

Мостаков вспыхнул.

— Считаю, что всякий партиец так именно и должен поступить, если у него скребет что-нибудь. Отдал в типографию свое письмо и ответ Ильича. Напечатаю, разошлю по организациям, и пусть партия судит, если не я прав.

— Гм! Смотрите, чтоб не было хуже...

— Ничего худшего.

Стебун направился к Лаврину и спустился в зал открывать собрание. Заняли места вблизи стола Лысой, Захар и Тарас. Расположились, где кто успел захватить место, все другие участники клуба, протискался наперед и прислонился к стене Антон, выступавший содокладчиком по вопросу предстоявшей дискуссии.

Стебун позвонил и предоставил докладчикам слово.

Лаврин сделал обстоятельное сообщение о деятельности конференции и о характере участия в конференции советских делегатов, одним из которых он являлся. Антон характеристику конференции миновал, а по-своему, крепко вырубая образы, обрисовал, как впервые показавшихся за границей большевиков панически изолировала от всяких встреч буржуазия и как рвались установить общение с представителями советов рабочие.

Стало от докладов живо и приятно.

Но информационные сами по себе и, казалось бы, бесспорные сообщения вызвали неожиданно бурные прения.

Прежде всего один из видных партийных ораторов, товарищ, заявивший когда-то при спорах о повороте партии к нэпу, что этот поворот производится «всерьёз и надолго», обрушился на отсутствие точных партийных директив делегации и на допущение перебоев во взаимной информации между делегацией и давшими ей полномочие партийными верхами. Он рас-

сказал о нескольких фактах, сообщенных ему Лавриным в частном разговоре Эти факты показывали отсутствие инструкций у делегации, тогда как без них делегация не могла часто ничего предпринять. В заключение в обличающих филиппиках оратор предложил не губить революцию наплевательским разгильдяйством, раз уж партийцам приходится участвовать в парадах, подобных состоявшейся конференции.

Атмосфера накалялась.

Выступивший с примиряющими возражениями Лысой, не придав, очевидно, особого значения предшествующей обличительной речи, отмахнулся от нее несколькими шутками и этим хотел исчерпать разговор.

Но потребовал слово Борисов. Чемоданоподобный марксовед-большевик еле-еле успел только войти в норму от взрыва по поводу проделки Семибабова, дискуссия же снова бросила его в горячку. И вот он загремел, обличая Лысого, бросая бомбы слов:

— Партия! Комиссия! Наркоминдел! Не могли сделать этого... Не научили, как требовал Ильич, управлять кухарок государством, зато комиссаров наплодили, управляющих хуже кухарок, столько, что отбавляй! Ушли от массы! Строим забор на заборе...

— Для заборов нужны столбы—вот и комиссары!— засмеялся с места Лысой.

— Что?—не уловил реплики Борисов.

— Для заборов нужны столбы—вот и комиссары!— повторил громче Лысой.

— Не всякая дубина может быть столбом!—рявкнул Борисов и, подняв кулак, еще пуще загремел:—В комиссии не столбы, а дубины! Мне говорили о том, как приняли представителя «Известий» в этой комиссии. Я не решился после того, что слышал, пробовать получить материал оттуда, когда мне понадобилось делать доклад общерайонному собранию. Специалисты одни. Безобразники!..

Собрание замерло. Чувствовали, что что-то не так,

но, не зная, во что бьет Борисов, зааплодировали было неуверенно, когда Борисов разрядился и кончил.

Однако что-то произошло.

Увидели возле Стебуна заволновавшихся Лысого, Тараса, Захара и Бочина. После минутного совещания вместо очередного оратора Стебун дал слово для справки как-то неожиданно сухо заговорившему Тарасу:

Тарас сделал коротенькое заявление:

— Комиссия состоит не из специалистов, а из руководителей партии. В нее входят Ладо, Лысой и член президиума Коминтерна. Сведения о секретнейших директивах международного характера, сделанных делегации, давать, понятно, нельзя было никому. Бурный спор не стоит и гроша...

Сообщение обескуражило клуб, прения были прерваны, чтобы дать улечься страстям, но горячка возбуждения не улеглась, а вылилась во взаимообличения и дебаты между отдельными группами.

Борисов был оскандален собственным выступлением, не находил себе места и, казалось, желал провалиться сквозь землю.

В передней он поймал на себе щурящийся взгляд Стебуна и виновато махнул рукой:

— Крышка!

— Нагородили вы!—рассердился Стебун.—Не посмотря в святцы...

Через несколько дней он получил постановление о закрытии клуба.

Льола сделалась женой Придорова в Москве. Придоров удивительно ординарно и беспразднично превратился не столько в ее мужа, сколько в повелителя, еле скрывающего собственное победное торжество. Не без злорадства жевал он улыбку, пряча ее в свойственном его лицу и вошедшем в привычку дви-

жении челюстей. На несколько дней перестал останавливаться подолгу остеклянелыми глазами на людях. Временами, поглядывая на Льолу, сладко глотал слюни и счастливо открякивался:

— Кге-кге!..

Как будто он достиг всего, чего хотел.

А Льола безропотно отдалась судьбе, не ища в этом браке ничего, кроме удобств благоприобретенного мужниного стойла, бурдой которого должна была теперь пробавляться.

Но она все же не думала, что ее жизнь окажется такой беспросветной.

Еще в начале новой ее жизни ей пришлось испытывать зоологическую грубость Придорова, от которой у нее внутри все переворачивалось. Когда же Придоров почувствовал Льолу в своих руках, ему, очевидно, и в голову не приходило, что кое в чем он должен постесняться жены.

Победное самоудовлетворение подмывало его и распоясывало на разговорчивость. Эта черта его характера обнаружилась при отъезде из Москвы, когда Придоров усаживался на извозчика, ругая советские порядки за то, что нельзя было достать автомобиля. Во время переезда на вокзал нашлась новая вина большевиков: лошадь оказалась не «довоенного качества», а какой-то бешеной: она то полквартала несла пролетку веселой рысцой так, что лучше, казалось, и не нужно было, то вдруг испуганно сдерживала шаг, останавливалась и от всякого встречного извозчика начинала забирать на тротуар или пятиться назад.

Придоров, во многих случаях совершенно ничего не умевший заметить, сперва терпел непонятное нервничанье трясшего коляску животного, а затем вышел из себя.

— Ну!—зыкнул он в синюю спину кустаря московского транспорта.—Ты будешь ехать или вставать

да самому впрягаться в твой дилижанс? Вытяни ее кнутом!

— Доедем, вот выберемся только, гражданин! Пугливая очень она, напали на нее раз кавалеры...

Придоров не понял.

— Балованная, а не пугливая! Говорю—щелкни ее, чтоб она не фокусничала, как жеманная барышня.

Льола укоризненно посмотрела на мужа и решила объяснить ему то, о чем угадала, лишь только лошадь проявила первое беспокойство.

— Пусть едет, пока не опрокинула нас. Бой не поможет. Лошадь—беременная самка и боится встречных коней.

— Ха!—изрыгнул Придоров.—Паскудная большевистская кобыла, а еще дерет нос, как инфанта... Шлепни ее!

Льолу задел грубый смех.

— Животные здравей развратных инфант в природных инстинктах!—дрожа от протестующего возмущения, попробовала она объяснить мужу.—Беременная самка жеребца не подпускает к себе... А инфант часто и это не останавливает... Мужчин же положение женщин только дразнит больше. Лишь бы поразвратничать!

Придоров стеклянно застыл на мгновение на жене взглядом, жевнул с особым самодовольным чмоканьем челюстью и, удерживаясь, чтобы не качнуться от толчка пролетки, похотно повел головой, будто Льола открыла ему глаза на новый вид удовольствия.

— Разврат, Льолочка, симпатичная вещь! Хе-хе! Теперь буду знать...

Откровенное намерение мужа применить открытие зоологического явления в его собственной практике ножом резануло Льолу, заставив ее испуганно замереть.

На мгновение она не знала, куда девать глаза, и окаменело застыла на мысли о самой себе. Она продалась Придорову, но разве она не знала, что тот, кто

покупает женщину, вовсе не обязан блистать достоинствами порядочного человека? Он получил в ней то, что хотел. Но иметь хоть сколько-нибудь внутреннего благородства и не мерзить животной грубостью он все же мог, если бы захотел. Мог быть хоть и злодеем, но таким, чтобы не противно было его самодовольное непонимание чувств в других людях...

Не хотел или не мог—все это можно было изведать на опыте совместной с ним, наполовину изуродованной уже жизни, и на это испытание Льола сама себя обрекла.

С такими настроениями ехала молодая женщина в дом Придорова. В Одессе в распоряжении Льолы оказалась прислуга. Придоров дорого платил за свою квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни. Он только иногда проговаривался о своих делах, предоставляя Льоле догадываться, если она хочет, откуда он берет деньги. Но Льола уже знала, что в Москве он не провел ни одного дня без того, чтобы не пошататься по всяким учреждениям, где у него были знакомые, и не прощупать их, выуживая какую-нибудь добычу для себя. В Москву он ехал по командировке учрежденной в Одессе хлебоэкспортной конторы. Сделал он или не сделал что-нибудь по этой командировке, но перед отъездом из Москвы получил снова подъемные и командировочные—теперь уже от Электросельстроя для работы где-то на Северном Кавказе. В связи с этой командировкой повидался один раз с каким-то рабочим и о чем-то с ним сговорился.

Льоле перед отъездом дал денег для покупки нарядов. Щедростью, проявленной на этот раз, ограничился и после все свои заботы о жене считал исчерпанными. В дальнейшем Льола должна была каждый раз просить его о необходимых для нее суммах; чтобы сократить число таких просьб, сопровождаемых всякий раз унизительными объяснениями, она решила экономить на

кухне, для которой Придоров скупился значительно меньше.

Будучи когда-то женой интеллигентного Лугового, Льола распоряжалась принадлежавшей мужу дедовской библиотекой и, не считая тогда это за особое занятие, увлекалась чтением в то время, когда Луговой был на службе.

Теперь, когда так же уходил на занятия в советские хозяйственные органы Придоров, Льоле делать было совершенно нечего. Придоров книг не заводил. В его квартире им как-то не оказывалось места. Если бы занести несколько брошюр и положить их где-нибудь под рукой, они казались бы чужими и беспризорными; Придоров или сел бы прямо на них или сунул бы куда-нибудь с глаз долой. Поставь кто-нибудь несколько томиков на полку шкафа,—книги будут казаться строже и значительней самого Придорова, будут бесить злопыхательного советского службиста. Зато в доме были карты, лото и рояль. О связи Придорова и его делах говорил только портфель и редко употреблявшийся письменный стол. Знакомым своим Льолу Придоров показал лишь в первые дни после приезда из Москвы, а затем, чтобы не стеснять себя, стал бывать везде один, выводя Льолу только тогда, когда ему особо это нужно было.

Музыку Льола не любила. Оставалось или играть со служанкой в лото, или надеяться, что Придоров решит из Одессы переехать на службу в Москву.

Придоров тем временем преуспевал. Он числился на постоянной службе в металлическом отделе местного Совнархоза в качестве специалиста-эксперта по оперативно-производственной части. Несколько часов проводил на службе, временами ездил обследовать какой-нибудь завод, чтобы затем представить куда-то доклад. Такова была одна сторона его существования,

дневная. А вечерами в ресторанах, в гостинице и в доме одного из бывших пароходовладельцев и затем администраторов Доброфлота, некоего Полознева, ныне служившего бухгалтером в Финотделе, где он встречался с одним-двумя частными торговцами и кое с кем из дельцов, заправлявших советскими и полусоветскими торговыми конторами и представительствами.

Половнев Александр Васильевич—пожилой, болезненного вида человек, некогда флотский офицер. Его, главу большой семьи, революция пощадила, потому что, задолго до революции бросив службу и занявшись коммерцией, Половнев во время гражданской войны не поддался никаким соблазнам ни сослуживцев, ни собственного сына, пытавшихся втянуть его в деятельность белых штабов. Он хотел уберечь семью от бурь революции. Красные держали его на учете и ничем другим не беспокоили. Его старший сын, также флотский офицер, бежал из Крыма за границу вместе с остатками войск Врангеля, оставив на отца жену, а младший сын сражался на стороне красных. И вот у Половнева семья: невестка с ребенком, сын, по окончании войны поступивший в военную академию в Москве, две дочери и жена—женщина, любящая видеть всегда у себя людей.

Кроме службы в Финотделе он занимался добровольным ктиторством в церкви, имел в квартире собственный постав иконостаса и, не требуя от детей выполнения религиозных процедур, сам с женой усердствовал в богомольстве и на этой почве дружил с приходским попом отцом Павлом.

Семья, не имея общего источника средств существования, за ограниченностью заработка Половнева, выродилась к этому времени в кооперацию сродников. Красавица невестка Ката добывает от случая к случаю уличным промыслом средства для существования самой себе, ребенку и скитающемуся за границей мужу. В семье об этом никогда не говорится, никто Кате не

осмеливается бросить ни слова осуждения. Стенографистка-машинистка Тоня колеблется между Комсомолом и авантюрной средой знакомых, вращающихся возле семьи. Все вместе бьются между надеждой прожить как-нибудь в фарватере советской жизни и мечтой о восстановлении невозвратимого старого благополучия.

Эта семья была единственной, с членами которой Льола не прерывала общения, после того как Придоров однажды привел ее сюда на именины Тони, в устройстве которых гости приняли и материальное участие.

Судьба и положение Каты напоминали Льоле ее собственную судьбу, и, почувствовав это, Льола потянулась к молодой невестке Половнева.

Она узнала, что Ката ведет с мужем, оказавшимся во Франции, переписку, и тут же на вечере решила воспользоваться этим для наведения справок о Луговом за границей.

Это было в промежутке между чаем и ужином, когда Тоня играла на рояле, а гости, разбившись на группы, судачили, беседовали, играли в карты и любезничали друг с другом.

Придоров, придравшись к жалобе хозяина на отсутствие его сына, обучавшегося в Москве, стал пилить Половнева за то, что старик тоскует о сыне—коммунисте. Попик тихоновского толка, отец Павел, присутствовавший при разговоре, взял сторону убеленного сединами бухгалтера. Придоров не очень находчиво повторялся и зудил с передышками свое.

— Если бы,—долбил он неотступно,—вы поотцовски налетели на вашего вышкварка, молодчик оставил бы свою дурь...

Половнев рассердился и попытался отговориться тем, чем и всегда отговаривался в подобных случаях:

— Болен, болен я, батенька, и стар уже заниматься налетами на свое потомство! Они сами не меньше

моего знают, что им нужно. Пусть будет красный, да командир. Лишь бы не нищий, не жулик!

Придорова сердила лойяльность Половнева. Он втянул в себя дым сигары, пожевал и пригрозил:

— Командиром всякий не будет! Командирами там делаются жиды! А вашего сунут в затычки...

— Ах, да что же вы хотите, Лавр Семенович! Чтобы я еще в политику ввязался и свои порядки стал наводить? Болен, болен и стар я, батенька, и не доканаете этим вы большевиков! Хоть бы придумали что-нибудь другое.

— Стар, стар Александр Васильевич!—подтвердил отец Павел.—Для нас с ним церковных дел довольно, и то хоть бы не обидеть кого-нибудь.

— Другое придумаем,—похвалился, скривившись, Придоров,—увидите... А вот вас жалко.

Половнев старчески вознегодовал:

— Я, батенька, Лавр Семенович, не одного сына, как вам известно, имею. Другой сын за границей мытарится, так думаете—лучше ему? Не пишет, бедный, всего, а жалеет, знаю—жалеет, что до локтя зубами не достанет. И дочери у меня... Так разве же христианская жизнь у каждого из нас? Эхе-хе-хе... Не знаю, ничего не знаю, дорогой мой. Страшно все знать, что делается с людьми, и думаете—вам полегчает, если вмешаетесь? Нет, не полегчает. Лучше одним бременем живите, чем еще чужое горе на себя принимать. А если вы не для помощи, а так себе, то и говорить не стоит, Лавр Семенович.

Придоров вспыхнул и пошел к дамам.

Рядом с хозяйкой сидела та попадья, с которой случай свел Лугового при его приезде в Одессу и заставил участвовать в получении из детского дома ребенка. Возле хозяйки и попадьи ахали, разговаривая о действиях чека, соседи и сослуживцы Половнева.

Группа молодежи—подруг и кавалеров Тони—толпилась у рояля. Небольшая группа мужчин и женщин играла на деньги в карты.

Ката, не принимая непосредственного участия в игре, стояла за спинами игроков и со всеми сразу разговаривала, подсказывала, кому как ходить.

Льола была возле нее. Улучив минутку, когда игроки сосредоточились на розыгрыше кона и Ката смолкла, Льола взяла ее под руку и увлекла от стола.

— У меня к вам, Екатерина Александровна, просьба...—нерешительно предупредила она, стараясь угадать, как Ката отнесется к щекотливому разговору.

Ката светло и весело ответила дружеским взглядом. Она обрадовалась, что гордая и недоступная по внешности Льола обратилась к ней за помощью.

— Сядемте,—повернулась Ката к стульям у столика, на котором лежали именинные подарки сестры.—Посмотрим тонин заработок. Ха-ха!

Льола взяла со столика туалетный несессер и улыбнулась с внутренним удовлетворением.

— Мне говорили,—осторожно осведомила она,—что ваш муж за границей и вы с ним переписываетесь... Вероятно, офицеры эмигранты там знают один о друге или могут узнать. Я хотела, чтобы вы для меня, по секрету от Придорова, попросили своего мужа узнать об офицере Луговом и что он вам напишет—сообщили бы мне...

— Это ваш знакомый?

— Нет... Это мой первый муж. Он офицер из штаба Врангеля. После поражения белых я не могла найти его следов. Убитым он найден не был, в плен не попадал, и верного ничего о нем неизвестно. Через Красный крест и Центроэвак, от знакомых—я ничего не могла узнать. Может быть, из его прежних товарищей кто-нибудь о нем знает...

— Вы значит за Придоровым по обстоятельствам

военного времени? Ха!—с грустной шутливостью сочувственно подсела ближе Ката и глянула Льоле в глаза.

— Почти что так,—просто подтвердила Льола.

— Эх, мужчины, кругом мужчины! Бебехи только какие-то вместо настоящих людей. Всегда ведь были все-таки и мужья и мужи, а теперь на кого ни посмотри,—шпана, больше ничего!

— Шпана!—улыбнулась Льола.

— Ну, обещаю, Елена Дмитриевна, настрочить Николаю, чтобы он всю подноготную о Луговом вызнал. Вы знаете, ведь я люблю своего прежнего благоверного, хоть и живу посвоему.

— Да люблю еще и я...

— Натворили наши муженечки... Мамелюки! Не могли понять, что большевистской музыки не нашим растрепам остановить.

— Вы сочувствуете им?—жадно спросила Льола.

— А лучше разве—эти наши? Посмотрите, ваш Придоров—не пузырь пустой разве?

— Они зато возле нас липнут, а коммунистам мы не нужны.

— Пригодились бы на что-нибудь... Вы к ним присмотреться пробовали? Хоть газеты их читаете?

— Нет.

— Я начала читать газеты, потому что в них нет-нет и попадает что-нибудь о наших. Прочла раз о том пароходе, на котором был Николай. А потом стала думать и о большевиках. Это полезно. По крайней мере станет какой-нибудь умница наш то и се разводить—семь верст до небес, а ты ему возьмешь и скажешь: «А собственно вы, мил-государь, врете-с! Не так оно на земле происходит». Он и захлопает глазами. Попробуйте, если не хотите, чтобы и мы начали пахнуть ладаном, как весь наш паноптикум здесь.

— Спасибо. Буду читать.

— Ну, а я как только от Николая что-нибудь получу—сейчас же к вам донесение.

— Спасибо, Каточка!

Обе женщины улыбнулись друг другу. Ката возвратилась к играющим. Льола почувствовала на себе взгляд одного из бросивших игру и искавших себе собеседника мужчин. Она вспомнила вдруг. Это был Ильин, тот самый проштрафившийся комиссар, который содержал на казенном довольстве ее подругу учительницу, скрывшуюся, когда обнаружились растраты.

Он поклонился Льоле и нерешительно подошел.

Это был высокий увалень в френче и галифе, с прической ежиком.

Льола дала ему руку, пользуясь тем, что может узнать что-нибудь о подруге. Сейчас же она и спросила о ней Ильина.

— Аня? Аня еще в Бердянске... Ха-ха! Перетрусила.

Ильин обрадовался, что красивейшая женщина города узнала его и признала свое сомнительное знакомство с ним. Он уткнулся коленом в кресло и хриплым басом стал вспоминать о своем с Льолой знакомстве, придравшись к возможности поговорить.

Льола пожалела, что вступила в этот разговор. Увидела—Придоров метнулся в их сторону стекленеющим взглядом и вцепился надолго в Ильина.

А Ильин вертелся на кресле и продолжал выкладывать все, что могло иметь отношение к льолиной подруге.

— В Бердянске ей и самой уже надоело. Я ей писал, чтобы приезжала. Тут один бешеный центровик был у нас и хотел что-то доказать—да что! Штучка такая, что собственная жена ему и то не угодила. Дал отставку. Замахнулся на главарей, старше себя. Его поблагородному и сковырнули. Поехал в Москву. А через неделю меня опять же и позвали работать.

Редактор здешний начал всех нас восстанавливать. Аня приедет—заживем опять...

Придоров, первый раз увидевший Ильина и не почувствовавший в нем своего человека, попытался подойти ближе к жене с неуклюжим желанием вмешаться в разговор. Но Льоле предостаточно было и одного Ильина.

Она сделала вид, что не замечает мужа. Притворилась, что заинтересовалась сообщениями комиссара.

— А центровик этот, что намудрил у вас, шишка большая?

Придоров, переступив с ноги на ногу, засопел, закусил губу и злобно отошел в сторону.

— Так это,—не замедлил ответом Ильин,—бывший нарком Стебун, его все петлюровцы и белые знают. С каторги вернулся и сделался шахтерским главарем.

— О! Что же он, был женат и развелся?

— Не развелся, но у него—политика, и он во все сует нос. Жена увидела, что он днюет и ночует в комитете, и сошлась с другим. Приехал откуда-то,— в командировке он был,—а у него умирает ребенок, и жена—у любовника. Он бросил ей деньги, сколько у него было, а сам в Москву. Святой!

Льола почувствовала, как живое, лицо Стебуна, каким видела его в поезде. И снова вспомнила его заступничество в Харькове, на вокзале, в дни ее странствий. Теперь понятно было, почему Стебун не давал никому вызвать себя на разговор. У него были на душе смерть ребенка и измена жены. Кто бы мог это знать?

Льолу настолько взволновало сообщенное Ильиным, что она, сурово поднявшись, оставила своего собеседника, лишь бы отойти на минуту от людей и про себя передумать то, что она знала теперь о Стебуне.

Гости, приглашенные хозяевами, собрались поужинать и выпить. Это была для большинства из них пер-

вая пирушка после окончания гражданской войны. Придоров принял участие в ней для того, чтобы показать Льолу Половневым и завести здесь знакомство с оказавшимся у Половневых харьковцем Бекневым. Бекнев был желанным человеком для Придорова. Прибыл он в Одессу по советской командировке и у Половневых остановился по знакомству, чтобы на следующий же день уехать обратно. Но Придоров знал: Бекнев может пригодиться. Для непосвященных это был приезжий, молодой еще человек, с внешностью привыкшего к канцелярской работе студента,—«товарищ» в толстовке и сапогах,—но Придоров знал, что Бекнев не эмигрировал за границу только потому, что считал победу большевиков недолговременной. Еще недавно он служил в немецкой комендатуре, предавая известных ему большевиков. А теперь прикидывался сочувствующим большевикам и прислуживался к ним, чтобы тем больше нанести им вреда, лишь только представится удобный случай.

Придоров и Бекнев взяли на примету друг друга, лишь только Половнев познакомил их и сообщил при этом как посторонний:

— Это господин Придоров, теперь служащий, как и все... знакомьтесь и говорите, а я не буду вмешиваться в ваши дела. Для меня хороши и белые и красные.

Оба гостя познакомились, кратко обменявшись вопросами.

— На виду у правительства держитесь?—примерился к собеседнику взглядом Придоров, чувствуя себя увереннее приезжего уже вследствие того, что знал тайну всех дел Бекнева.—сотрудником в ЦИКе?

— Да. Но польза от этого будет только впоследствии. Теперь наши напуганы и все прячутся. Я за себя не боюсь, потому что меня в Харькове никто не знает. Считают своим на все сто процентов.

— Гм! Это хорошо. Переворота, правда, теперь скоро не состряпаешь, но пользу тем, кому больше-

вики въелись в печенку, принести вы можете большую. У них же неразбериха: правая рука не знает, что творит левая. Этим можно пользоваться. Вы в Одессе еще будете?

— Буду. Вы же знаете: тут наши должны быть.

— Ну, значит, я буду иметь вас ввиду и при нужде обращусь к вам. Желаю успеха, но только здесь сейчас ни с кем не сговоритесь: боятся.

— Ну, увидим. Еще поговорим.

— Поговорим.

Придоров, удовлетворенный знакомством, оставил Бекнева, соображая, какую пользу он может извлечь из этой новой для него связи.

Появление у Половневых подозрительного своей советской угловатостью Ильина и явное знакомство с ним Льолы всполошили Придорова.

Ужин, вино, общий разговор, вспыхнувший за столом, тосты—помешали ему допросить Льолу. Но лишь только встали из-за стола, он нетерпеливо остановил жену:

— Музыкант, с которым ты говорила, из «товарищей»?

У Льолы почти выступили на глаза слезы обиды, вызванной оскорбительным тоном мужа.

— Скажем—из товарищей, так что?

Угадывая, что Придорова распирает от ревности, и стараясь оберечь себя от грубости, она, как могла, выдержала его взгляд.

Придоров угрожающе предостерег:

— Ничего... Советую от таких молодцов подальше держаться. У них первое дело—шашничать с кем-нибудь. Никто не приходил шептаться, когда ты жила на выручку от барахольщиков!

В глазах Льолы заходили огненные круги, и кровь бросилась ей в лицо. Она промолчала и, собрав силы, бросила:

— Хорошо, буду сидеть дома. Ходите сам, куда хотите!

— Дуйся, сколько хочешь!—отошел от жены Придоров.

Он присоединился опять к Бекневу, не танцовавшему и не знавшему, куда деваться. Вдвоем они начали подбирать компанию для преферанса.

А Льола, лишь бы дождаться конца вечера, подсела, к беседовавшей с попадьей хозяйке дома и стала слушать неинтересный разговор перебиравших свои домашние дела женщин.

Только Льола была осуждена вследствие отсутствия знакомств на затворничество, а сам Придоров стесняться не думал.

Он не отказывал себе ни в чем. Постоянно что-нибудь планировал и томился от того, что должен служить, чтобы у него не иссякали средства. Чтобы на падении стоимости денежных знаков не терять, а выигрывать, он постоянно имел сношения с бухгалтерами советских учреждений и торговцами, умудряясь проводить с ними какие-то сделки, которые давали ему возможность жить на выкроенные в результате его деляческой магии червонцы. Но сделки с мелкими спекулянтами явно не удовлетворяли его.

Придоров злобствовал на советскую власть, придумывал планы обогащения и ждал случая. Однако жалованье он мог увеличить только за счет командировок.

Новой командировкой он, лишь представился случай, и воспользовался.

Съездил в Москву, надеясь, что счастье там ему улыбнется, но приехал оттуда, истратив деньги, раздраженный неудачей. Узнав от Половневых, что скоро должен вторично приехать долго не показывавшийся

Бекнев, стал ждать двуличного харьковского совработника.

Тем временем Льола жила, как во сне, чувствуя, что влачит какое-то полукабальное существование. Придоров явно был для нее чужим человеком, взявшим ее для того, чтобы она служила ему в роли непрекословящей его желаниям гаремной пленницы.

Льола хозяйничала в этом гареме, безрадостно обслуживала содержавшего ее человека во всех его потребностях, не переставая думать о том, как нелепо она живет.

С Катой она встречалась на улице раза два, когда выходила что-нибудь купить в магазинах. Но однажды невестка Половнева явилась к ней самолично.

— Елена Дмитриевна, к вам...

— Ответ?—всполохнулась Льола.

— Да... Николай сам Лугового не знал. Старался узнать, что можно, письменно от штабных офицеров, находящихся в Турции. Один полковник, служивший вместе с Луговым, написал ему, что он видел, как Лугового во время боя рубанул буденовец саблей...

Льола с каменной нечувствительностью села. Поправила волосы. Поднялась и с отчаянием махнула рукой.

— Эх, Каточка, хоть так, хоть так—пропала жизнь!

— А вы газеты теперь все-таки читаете, Елена Дмитриевна?

— Читаю, только чтением и живу.

— Несчастные существа мы, женщины!—поднялась Ката.

Льола действительно приобретала газеты. Увидев ее однажды за чтением «Известий», Придоров недовольно покосился. Когда чтение повторилось, стал язвить над женой. Но Льола уже решилась на сопротивление. На первые же замечания мужа ответила решительным аргументом:

— Мне больше нечего делать... Хотите—буду ходить вместо этого к Половневым? Знакомых разыщу?

Придорову сейчас же представилось, что Льола снова встретится с Ильиным и вступит в сношения с большевиками.

Он обратил издевку в невольное разрешение:

— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Хоть наизусть учи декреты и резолюции, если нравится!

Льола же, читая газеты, открывала новый мир и начинала на многое смотреть другими глазами. Так ли уж упорядоченно-просто сложена жизнь, как представлял себе Луговой? Не лучше ли, в самом деле, оттого, что лишены свободы капиталисты и владыки, при которых, как рыба в воде, должны были чувствовать себя люди вроде Придорова? Большевики—за большинство народа. Всех, кто хочет с ними работать, зовут впрягаться в один воз с ними. Их ненавистники психопаты. Разве это компания для нее, готовой жить любым трудом, лишь бы не догорать забытым огоньком в потемках придоровской ограниченности?

Все больше и больше стала Льола останавливаться на мысли о том, какой ошибкой оказалось ее роковое согласие на связь с Придоровым.

Однажды к ней зашла внезапно приехавшая из Бердянска подруга по школьной жизни молоденькая Аня.

Лицо ее загорело и окрепло, вся внешность говорила о том, что учительница чувствует себя твердо. Не похоже, чтобы Аня боялась чего-нибудь, как осведомлял о ней Льолу Ильин.

Обрадовалась, застав Льолу. Просияла и Льола, схватывая подругу и целуясь с ней.

— Ой, Анечка, как ты переменилась!

— Ой, Льола, как ты разбогатела!

— Разбогатела к несчастью!

— Переменилась от лучшей жизни!

— Расскажи же, Аня, как ты живешь. Давно приехала? К Ильину?

— К Ильину? Да пусть он провалится. Приехала по делам нашей школы. Довольно того, что один раз он растаскивал-растаскивал пайки, а потом, как баба, начал всех других впутывать и меня чуть было главной виновницей всех своих растрат не сделал из-за нескольких ковриг хлеба да пяти фунтов сахару... Наблудил и хотел спрятаться за юбку... Я живу... Работаю! Получаю на ребенка. Что мне еще?

— Значит у тебя ребенок? Работаешь?

— Работаю. Ребенок. Ращу его. А твой, кстати... Где Ленька, Льола? Давай, хоть покружу его!

Льола содрогнулась, надорванно опустила голову, и, схватив кончиками хрустнувших пальцев на блузке пуговицу, крутнула ее от ужалившей сердце боли.

Аня испуганно опустила на мгновение руки.

— Умер, Льолочка?

Льола, жестко овладевая собой, попыталась и горе скрыть и не обманывать приятельницу, с которой пережила многое в дни голода. Сквозь бриллианты слезинок солнечно улыбнулась и в звуки ответных слов вложила мужество безысходной решимости.

— Муж потребовал, чтобы я рассталась с ребенком. Это было условие, на котором он брал меня. Я пожертвовала Ленькой. Отдали его в приют.

— Вот что!—протянула с жалостливым участием Аня.—А муж-то, по крайней мере, твой—человек?

Льола молча выразительно посмотрела на учительницу и перевела разговор на другое.

— Расскажи-ка, Аня, лучше о своей работе. Как и что ты? Стòящие люди там, где ты работаешь? Есть ли у большевиков тамошних что-нибудь человеческое?

— Что большевики! Бешеных, вроде того, который хотел вычистить здесь всех и перепугал тогда меня, нет.

— Стебуна?

— Да.

— Знаешь, Аня, я с ним ехала в одном купэ в Москву, когда познакомилась с теперешним своим мужем.

— А!..—живо встрепенулась учительница.—И что? Инквизитор?

Льола покраснела и, подавляя смущение, рассказала:

— В нем действительно, знаешь, есть что-то... сильное. Мой муж жался-жался в купэ, не мог найти себе места и вдруг зашептал мне: «Смотри, полюбезней, чтобы не придрался: это чекист!»

— Ха-ха!—закатилась Аня.

— Такая подозрительная внешность. А в самом деле... чудный человек, вероятно.

— Ну, значит, ты сама знаешь, какие бывают большевики,—подтвердила учительница.—Нам попадется какой-нибудь Ильин, мы и приседаем: ах, комиссар, ах, деятель! А эти комиссары боятся одного духа настоящих большевиков. Здесь я попала в свинятник... А ведь там за меня как ухватились, лишь узнали, что одним человеком их полка прибавляется. Я была на одном учительском съезде. Сообща мечтаем о съезде всероссийском. На съезде распатроним старорежимную педагогику, держись только! Хорошо, Льолочка!

Аня сияла и брызгала радостью общественных дел, а Льола упала духом. Учительница говорила о родном для Льолы мире, и так расстроила Льолу недоступность деятельной жизни, увлекавшей Аню, что на сердце Льолы начало саднить. Если бы и она могла примкнуть к тем, кто боролся за новое! Но вместо этого была придоровская кабала. Хорошо уже было и то, что благодаря чтению газет Льола знала кое-что о происходящем в общественной советской жизни и не теряясь схватывала то, о чем говорила, как о вещах всем известных, просвещенка Аня.

Они толковали до часа, когда должен был возвратиться Придоров.

— Ты мужа не хочешь мне показать?—спросила Аня.

— Тебе его покажу при случае. Но тебя ему лучше не показывать. Почует, каким духом от тебя несет, и засопит. Зайди завтра, если не уедешь.

— Зайду.

Женщины расстались.

С приездом Бекнева на Придорова что-то нашло. Он затащил Льолу в церковь, где шел молебен с участием приехавшего от Тихона митрополичьего присного. Туда же пошел харьковец. Льола поняла, что устройством этого молебна церковники хотят намеренно разжечь страсти прихожан против советской власти.

Ее смешил вид мужа. Никогда Придоров не был религиозным человеком, а тут напустил на себя торжественность, озирался и довольно переглядывался с знакомыми.

Отцы тихоновцы старались. Их и часть собравшихся горожан объединяла кроме молитв чувствовавшаяся в хорошо разыгрываемых церемониях церковного ритуала преданность не только богу, но и еще больше земным страстям. Всякий это знал, и тем истовей старались все воздевать очи горе, что нельзя было сказать вслух о своей надежде на возвращение старого порядка. По размахам вздымающихся для крестного знамения рук, по подсекающимся для коленопреклонения рядам богомольцев, по свирепой торжественности на их лицах каждый чувствовал в молящемся своего сообщника, протестанта против советской власти; настроение у всех поднималось. Поэтому перед концом молебна, когда началась процедура пастырского благословения подходивших поодиночке молельщиков, к руке тихоновца прилипали.

Придоров вышел из церкви, неудовлетворенно озираясь на расходившуюся публику. К нему немедленно присоединился Бекнев.

Совработник в связи с состоявшимся молебном видимо ожидал чего-то большего, чем скрытая демонстрация прихожанами своих чувств друг перед другом. Он махнул рукой в сторону церкви и разочарованно сообщил:

— Повздыхали—и все!

Придоров решил возразить.

— Теперь играть в войну с большевиками никто не рискнет. Да и не тем дошкулите теперь большевиков. Насобачились они сами давать всем в зубы достаточно. Всякий теперь думает о другом. Вы, батенька, единственным заговорщиком так и останетесь, если будете ждать какой-нибудь новой бани против них.

Они остановились в ограде церкви. Льола безучастно ждала, пока Придоров и харьковец расстанутся, а те вполголоса продолжали беседу.

Бекнев, пытавшийся укрепить знакомство с Придоровым, чтобы сблизиться также и с Льолой, не спешил уйти и заставил Придорова разоткровенничаться о своих помыслах в отношении большевиков.

— А вы думаете, что так навеки все и останется теперь?—спросил он иронически.

Придоров не обратил внимания на нотку протеста в его вопросе. Бекнев был для него одним из тех мелких сообщников, при помощи которых он уже не раз обделывал свои дела, забывая затем думать о пособниках. Теперь в голове Придорова вертелась комбинация, в которой двуличный сотрудник для поручений из ЦИКа должен был ему помочь. И Придоров вдруг поделился своим выводом:

— Большевиков погубит тот, кто даст им денег. Вам кажется, что можно от них избавиться войной или восстанием, но уязвимого их места вы не заме-

чаете. Теперь дело не в том, чтобы напасть на них, а в том, чтобы объехать их... Сумейте это устроить!

— Как?

Бекнев перевел взгляд с профиля Льолы, которой украдкой любовался, на собеседника и сосредоточил внимание на ямке в бритом подбородке Придорова.

Придоров не замедлил объяснить.

— Так! Знаете вы, что большевики хлопочут теперь перед державами, чтобы им дали денег?

Придоров сжал хищно челюсти.

— Знаю, так что?

— Вот и хорошо. Они просят, но хорошими словами Европы не проведешь. Прежде признай старый долг, тогда банки, может быть, дадут кредит. Старый же долг для большевиков это все равно, что смерть! Дудки! Но и без займа им тоже не перевернуться. У них финансы поют романсы. Остается только митинговать. Теперь соображайте.—Придоров взмахнул указательным пальцем.—Если бы, скажем, правители Америки, Англии не были дураками, а попробовали бы действовать через нас—думаете, не поддел бы большевиков тот, кто имеет деньгу? Деньги дают барыши. У кого кошелек, у того и молоток. Нам не нужно ни наркомов ихних, ни главков, а подсуньте только трестику какому-нибудь под векселек или закладик чистоганца, комитетикам ихним, комиссарикам. Устройте свой банк для вкладов частных капиталов. Если банк распухнет, думаете—большевики откажутся от кредита? А если мы кредит откроем им сегодня, кредит откроем завтра, то не запутаем ли мы их понемногу? Не очнутся ли они в одно прекрасное время, почувствовав вокруг своей шеи аркан? Вот с какого конца, помоему, надо начинать... Я решил добыть денег и образовать компанию. Буду сколачивать капитал, подбирать компаньонов и хлопотать, чтобы разрешили банк. Они на это теперь идут. Вот вам и вся мудрость. Советую так поступать и вам. Хотите вместе действовать? А посланцы

эти, тихоновская и офицерская шушера, пускай сами бесятся...

Бекнев слушал, дивясь все больше.

— Фу ты, чорт!—поколебался он, когда Придоров кончил.—Для этого с заграницей нам связь надо установить... Чтобы деньги давали большевикам, но через нас. Вы, Лавр Семенович, стратег прямо!

Придоров прищурил хитрые глаза и, промолчав, пригласил собеседника и жену кивком головы к выходу из церковной ограды. Здесь, подавая руку Бекневу, он напомнил.

— Я к вам заеду... Так и знайте: надо будет в Одессе «товарищей» оглушить и заработать.

— Оглушим!—пообещал Бекнев и стал прощаться.

Льола безучастно подала ему руку, отгоняя насмешливые мысли о муже. Этот «бебех», как выражалась Ката, таил в себе замысел о свержении большевиков. Хочет разбогатеть. И ведь будет действительно кроить планы, как урвать и там и здесь лишнюю тысячу рублей, менять совзнаки и червонцы на валюту, одновременно бросая деньгами в каждом кафе и ресторане!

— Псих!—охарактеризовала она в уме мужа небрежным определением, употреблявшимся когда-то ее подругами на курсах.

Улыбаясь всему, что видели глаза, она отворачивалась от Придорова.

Оставив Бекнева, они шли по бульвару и скоро оказались у входа в сквер. Здесь у оградных решеток была стоянка нищих, и прохожие почти задевали ногами за их чашки, в которые сердобольные бросали свои подаяния. Придоров прошел уже было, но, увидев в чашках медные монеты, вдруг остановился; как будто что-то осенило его, он вернулся, заставляя стать среди тротуара недоуменно задержавшуюся на нем взглядом Льолу.

Эксперт-делец в каком-то наитии так ощупывал взгля-

дом чашки, что и нищие начали переглядываться между собой. Что-то осмыслив, он наконец подступил к ближайшему нищему, наклонился к чашке и, отстранив в ней пальцами бумажки совзнаков, сгреб на ладонь медяки.

Нищий старик, испуганный за судьбу своих подаяний, хотел схватить его за руку. Придоров, зло прищурившись, посмотрел на него угрозно, и старик покорно стал ждать, что последует.

Придоров поводил пальцами по монетам, остановился на одном пятаке с датой чеканки 1883 года, отделил его и бросил остальное обратно в чашку. Вынул из кармана бумажник и извлек несколько совзнаков.

— Сколько тебе за это?

Пятак продолжал держать в руке.

Нищий беспокойно воспрянул, пользуясь случаем, чтоб выклянчить побольше:

— Пожертвуйте, барин, Христа ради, пожертвуйте, сколько милости будет! Не обидьте старика!

Придоров бросил ему в чашку скомканный совзнак, сунул в карман пятак и вернулся к Льоле.

— Для чего тебе этот сувенир?—улыбнулась Льола.

Придоров саркастически пожевал губами, удостаивая жену ответом:

— Большевики своему расславленному учителю, немецкому Карле-Марле будут строить скоро памятник из царских денег, выпущенных в тот год, когда умер их бог. Вот я хочу, чтобы и моя копейка была не щербата...

И Придоров, всерьез обмозговывая что-то, остановился перед следующим нищим, чтобы еще поискать медяков 1883 года.

Предоставленная еще раз на полминуты самой себе, Льола, в свою очередь, обратила внимание на притулившуюся у стены дома молодую украинку-нищенку. Это была какая-то несчастная беглянка с Приднепровья, еще не истрепавшая деревенской одежды, в

праздничном пестром платке и с тяжело отвисающим вниз ребенком на руках.

Льола вынула из сумочки бумажку и подошла к нищенке; детеныш уставился на Льолу странно счастливыми, несмотря ни на что, большими глазенками.

Льола чуть нагнулась к ребенку, увидела, что это девочка, и, пошлепав пальцем, ради ласки, счастливую замазурку по носику, спросила сочувственно:

— Сколько ей?

— Год!—подняла женщина засветившиеся на миг материнским достоинством глаза.

А свернутая винтом в остаток материнского платка крохотная украинская гражданка, будто тоже понимая что-нибудь, ерзнула и внезапным подтверждением слов матери сразила Льолу.

— Год!—пискнула и она с неожиданной серьезностью.

— Ха-ха! Вот-то старуха!—прыснула Льола.—Скоро невестой будешь.

Ребенок очевидно настолько привык к вопросу заговаривавших с нищенкой прохожих и к повторяющемуся однообразному ответу матери, что стал отвечать сам.

Льола дала женщине подаяние и, кивнув ей головой, заспешила к кончившему свой экскурс и досадливо скосившемуся на нее Придорову.

— Кх-кг!—отхекнулся он.

Льола знала, что после этого последует нравоучение, и про-себя усмехнулась.

— Думаешь, сделала доброе дело? К большевикам пусть идет, на харчи попробует просить...

— Она не виновата, что у большевиков нет золотых приисков, чтобы всем помочь, а мы не обеднеем, если дадим на хлеб женщине.

— От большевиков за это получим спасибо. Их нищие, советские. Развели... Их и сгамкает когда-нибудь эта прорва. Тебе какое дело до всякой?

Льола вспыхнула.

— Я такая же нищая, да еще несчастней... Эта хоть ребенка пытается спасти, а я своего почти сгубила. И виноваты в этом не большевики.

Придоров скривился, ограничиваясь жестом беспомощности.

— А!—воскликнул досадливо и коротко.

Льолу вдруг охватила смертельная тоска. Мысль о собственном ребенке вдруг как острие длинной иглы впилась в самое больное место ее сознания и вкололась в мозг.

Льола почти не помнила, как дошла домой.

Она не могла больше подавлять вспыхнувшего в себе материнского чувства. Входя в дом, она уже решила послать по секрету от Придорова в приют прислугу, передать для ребенка одеженку и сластей и удостовериться, что он жив.

Придоров достал еще два пятака 1883 года. Раза два он вынимал их из ящика и подолгу рассматривал. Вдруг собрался и поехал в Харьков.

Льола, пользуясь случаем, сговорилась со служанкой и снарядила ее в детский дом.

— Не верь, если будут говорить, что Леня здоров и ничего ему не нужно. Добейся, чтобы увидеть своими глазами мальчика, и тогда мне все расскажешь,—просила она Лушу.

Луша—кухонный атаман. Уроженка веселого Хорольского уезда, подметившая спесь в Придорове и прозвавшая «малахольным президиумом» хозяев за господство Придорова над Льолой.

Хозяйку девушка любила.

Она укладывала в корзинку гостинцы для ребенка и еле удостоила Льолу смешливым взглядом.

— А то я не знаю, барыня...

Льола прощала служанке вольности.

— Знаешь, само собой,—внушила она,—но твое дело—сторона, а я мать. Посмотри, не обижают ли его другие дети... Поясочек повяжешь на нем в две петельки, когда оденешь рубашку. В красном колпачке и красном пояске,—а головка у него черная,—как куколка будет Ленька!

— Да, барыня, все сама знаю, чего учите!

Льола знала, что она может положиться на девушку. Луша же год назад и сдавала ребенка в приют и еще тогда угадала, что мальчика сбывает с рук хозяин. Хозяйка, наоборот, насиловала себя, чтобы скрыть слезы.

Но Льола после этого больше не заговаривала о ребенке, а Луше и подавно приходилось молчать, хотя девушка и порывалась, как могла, выразить хозяйке сочувствие.

У Луши был звонкий голос степной певуньи; она все время пела. Подметив, что Елена Дмитриевна делается иногда веселей от буйного задора ее песен, она нарочно, лишь только замечала хозяйку грустящей, начинала так заливаться на весь дом, что Льоле приходилось или смеяться или утихомиривать служанку.

Поручение хозяйки проведать ребенка обдало девушку переполохом радости, и она поглупела на полдня. Но из приюта пришла оглушенная, ничего не понимающая в том, что произошло.

Ошиблась ли она, показалось ли ей, или она плохо помнила, но сдавала она в дом одного ребенка, а показали ей другого, уверяя, что этот малчик и есть Леня Луговой. Это был белобрысый бутуз, крепкий, забавно хватавшийся за юбку няньки, которая ввела его. Однако он не мог быть тем мальчиком, которого она когда-то принесла сюда, получив его из рук Льолы.

— Но это Леня,—заверяла смотрительница дома в

ответ на растерянные расспросы служанки. И Луше пришлось отдать мальчишке гостинцы.

Уверилась—не уверилась она, но делать было нечего. Льоле сказала что мальчика видела, и что он вырос. Однако она скрыла свои сомнения, для которых не могла все равно придумать объяснения. И в растрепанных чувствах через силу успокоилась на мысли, что в доме лучше знают приемышей и их родословную.

У Льолы полегчало на душе.

Но одной уверенности в том, что сын жив, молодой женщине теперь оказалось слишком мало. Потянуло еще сильнее, чем прежде, самое к Леньке.

Через два дня приехал Придоров. Он вернулся в нетерпеливом и приятном возбуждении. Привез подарок Льоле—дорогой заграничный шарф. Ждал с нетерпением следующего дня. То самоудовлетворенно кхекал, потирая себе руки, то пробовал заигрывать с женой. Сходил в отдел Совнархоза, где служил. А на другой день еле дождался, пока на улицах стали продавать газеты, и погнал Лушу купить ему номер местных «Известий». С газетой в руках вскочил он с кресла, торжествующе захохотал и позвал Льолу.

— Ха-ха! Я тебе говорил, Льолочка, прочитай-ка! Ха-ха! Вот теперь-то мы им покажем. Ха-ха! Финансисты! Деятели!

Собиравшая чай и почувствовавшая, что Придорову удалось осуществить один из его деляческих трюков, Льола с любопытством заглянула в газету и недоумевающе начала читать то место, в которое торжествующий Придоров ткнул пальцем.

Прочла и пораженно подняла взгляд на мужа. Снова опустила глаза на газетный столбец.

Там был напечатан приказ окружного исполкома— о пятаках выпуска 1883 года. Всем гражданам, имевшим такие пятаки, предлагалось немедленно представить их в окрфинотдел для сдачи, в обмен на возна-

граждение по пяти тысяч червонных рублей за каждый пятак.

Это странное распоряжение было необъяснимо. Если бы не покупка Придоровым монет у нищих, свидетельницей которых была недавно Льола, не поездка мужа, не нетерпеливое ожидание им сегодняшней газеты, то Льола приняла бы приказ за разорительное сумасбродство большевиков, но, сопоставив ряд обстоятельств, она немедленно заподозрила в этой истории темную проделку мужа. Однако какие же чурбаны большевики, что дали так провести себя неумному идиоту!

Возвращая засуетившемуся одеваться мужу газету, Льола не могла скрыть испуга и с изумлением села на диван.

— Что ты сделал, чтобы обморочить кого-то?

— Ха-ха! Ничего... Бекнев помог. Послал от ВУЦИКа пожарную телеграмму о том, чтобы срочно собрали пятаки восемьдесят третьего года с выплатой за каждый по пяти тысяч награды их владельцам. Ну, а народ тут послушный. Получим теперь денежки, пока они разберут все дело, а потом пусть ахают. Ха-ха, товарищи, обогатите вы Придорова! Пойду. Чаю напьюсь после...

Он вооружился газетой, извлек из стола пятаки и, сложив их в кармашек, пошел к финотделу. Было еще рано, только через час открывались учреждения, но он не мог дожидаться дома часа их открытия. Он сиял от уверенности, что стоит только раскрыться финотдельским дверям, стоит ему подойти к окошечку и сунуть в них три своих медяка, как кассир ему отвалит без разговоров пятнадцать тысяч. Разобрать авантюрный подлог ранее двух-трех дней никакие сыщики, по его мнению, не могли, а не исполнить распоряжения финотдел не осмелился бы, ибо под приказом кроме подписи предисполкома значилась и подпись заведующего окрфинотделом.

Терпеливо прохаживаясь, он дождался открытия па-

радного, пропустил почти всех служащих мимо себя и наконец, решив, что канцелярия начала работать, вошел в здание.

На пороге его догнал запыхавшийся отец Павел, возбужденный вид которого не оставлял никаких сомнений насчет того, что он пришел по одному делу с Придоровым.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Тоже за этим, батюшка?—Придоров показал газету.

— За этим же, Лавр Семенович. Если бы раньше кто-нибудь знал, что они такое захотят выдумать... Ведь в церкви на тарелки медь только и идет. А прочел вот сегодня это да хватился ревизовать у себя, что осталось от воскресного сбора, и нашел единственный пятак...

— Что ж, и то ничего. Пять тысчонок.

— Да, ничего, а все лучше бы больше.

— Еще идут, идемте скорей!

Действительно, в зал приспособленного для банка здания входили новые всполошенные люди, с подозрительным неверием хищно озиравшиеся по сторонам. Приметив, где помещается окошечко кассы, они направлялись, чтобы скорее занять возле него место.

Придоров, подпираемый сзади батюшкой и начавшей моментально образовываться очередью, сунулся в это окошечко и, встретившись с головой тощего, потянувшегося к клиенту кассира, подал ему газету.

— Вы это знаете?

Голос Придорова, вопреки его воле, дрогнул, и газета колыхнулась в судорожно сжавшейся руке.

— Знаю!

Кассир взглянул из окошечка на обступивших его граждан, возглавляемых Придоровым и священником, и на мгновение нырнул обратно.

— Сегодня,—выглянул он опять,—пятаков прини-

мать не будем. Прошу тех, кто по этому поводу пришел, отступить и дать место пришедшим по другим делам.

— Как не будете, а приказ?—вскипел и топнул взбешенно ногой Придоров.—Что это значит?

— Значит—скоро сказка сказывается... В финотделе такие расходы предусмотрены не были, деньги припасены только на необходимое, и так как распоряжение прислано из центра, то затребовали срочно специальных сумм для подкрепления. Завтра приходите, вероятно, получим из центра деньги и тогда задерживать не будем.

Этого Придоров не ожидал.

— Кге-кге!—словно сухой пылью ему запорошило горло. Он растерянно скривился и тупо посмотрел на так же детски растерявшегося, беспомощного отца Павла.

— Сволочи!—прошипел он наконец куда-то в сторону, покосившись одновременно вокруг. Побагровев от бешеной злобы, он еле-еле закурил конвульсивно вздрагивающими руками сигару и повернулся к выходу.

На другой день приказ, поднявший на ноги всех корыстолюбцев, бросившихся выискивать пресловутые медяки, был аннулирован. Проделка Придорова сорвалась, и пройдохе-дельцу стало еще тошней оттого, что хитро подготовленная возможность разбогатеть провалилась.

Льола по злобному виду вернувшегося из финотдела Придорова поняла, что муж похвастал раньше времени. Теперь по меньшей мере несколько недель он должен был сопеть, злиться и смотреть волком.

Льолу мало трогало злопыхательство мужа. У каждого из них была своя особая жизнь. Льола все чаще задумывалась о том, как ей избавиться от постылой связи с ненавистным мужчиной.

Долго, однако, никакого просвета не открывалось. И вдруг пришло потрясающее известие...

Однажды, когда она с Лушей обмывала оконные цветы, чтобы выставить их на солнце, кто-то позвонил; вышедшая на звонок Луша возвратилась с письмом.

Льолу томила тоска по чему-то хорошему. И думая сама о себе, о своем бесплодном увядании в тисках безрадостной придоровщины, она стояла и подбирала лучинки для укрепления отростков в цветах. Чернели две грозди волос на висках. Очерк переполненного думами лба мелькал за столом между горшками глициний, роз, неумолкаев и гиацинтов. Льола втыкала лучинки в горшки, подвязывая и выравнивая стебельки цветов. Луша внесла письмо, и Льола на мгновение остановилась.

На Лушу глянуло из-за цветов черное заискрившееся око и просветилась белизна щек.

— Ах!—вырвалось у Луши.

— Что?—лукаво улыбнулась Льола.

Луша, чтобы похвала хозяйке не показалась фамильярной, повернула все на цветы:

— Во всем городе таких цветов ни у кого не найдете!

Но это-то признание Льолу и тронуло. Она даже письмо отложила, решив прежде кончить с цветами, а Луше, и не столько Луше, сколько самой себе, рассказала:

— Значит я не такая уж злодейка, как мне думается. Цветы не растут и еле принимаются у всех, кто брюзжит, кто под кого-нибудь подкапывается или до чертиков всех доводит своим характером. Вот у Половневых, от которых мы набрали отростков... у них прежние отростки до сих пор торчат в горшках. А у нас от увядших былинок расцвел целый сад!

— Если бы все такие были красивые и понимающие! Думаете таких, как вы, много!—протестующе фыркнула гордившаяся хозяйкой Луша.

Но письмо все-таки тянуло Льолу, и она, не оставляя цветов, вскрыла его. Взяла в одну руку вынутый из конверта листок, другой подняла горшок с кустом голубенького неумолкая, намереваясь подсунуть его Луше, чтобы она перенесла его на окно.

Взгляд упал на рядки подозрительно немногословных строчек. Льола вздрогнула, выпрямляясь. Горшок выскользнул у нее из рук и грохнулся на пол. Превозмогая внезапный всполох, Льола заспешила почему-то в спальню. Растерянно остановилась, ухватившись за дверь, с мольбой оглянулась вокруг и опять уставилась на помрачающее ум сообщение.

В письме значилось:

«Настоящим один ваш знакомый извещает, что ваш первый муж жив и здоров. Отправитель этого письма уверен, что вы с ним встретитесь. Больше ничего сообщить не могу».

Льола несколько раз подряд прочла это сообщение и потрясенно оглянулась, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не сделался причастен к тому, что она узнала.

Письмо было на обыкновенном листе дешевенькой полусерой советской почтовой бумаги.

Льола осторожно подняла этот листок к глазам, чтобы еще раз прочесть его. И увидела прямые твердые строчки, будто выстроганные из металлических скобочек, там крупные, здесь остроконечные, как ножи, буквы. А смысла этих строчек и букв втечение нескольких минут все же понять не могла. Попыталась не то чтобы сообразить что-нибудь, а прийти в себя хотя бы. Но и прочтя еще раз роковые строки—не знала, что думать. Чья-нибудь это злодейская шутка— или действительно дружеское сообщение? Выходка Придорова с целью испытать ее чувства к первому мужу или послание от самого этого мужа? Но если Луговой жив, почему он не явится и не вырвет ее из пут Придорова? А если это штучка Придорова, то почему же он ни разу не проговорился?

Или Придоров, напившись где-нибудь в ресторане, послал письмо с пьяных глаз, да сам забыл о нем?

Еще раз рассмотрела Льола и письмо и конверт. Вчиталась в каждое слово сообщения. Обратила внимание на то, что письмо послано из Москвы. В Москве у нее могли быть друзья. Знакомых—одна-две семьи. Кто-нибудь из этих знакомых?

Или сам Луговой, раз он действительно жив? Или по его просьбе кто-нибудь?

— Господи, да что же это за испытание?

Льола растерянно перешла опять в гостиную. Ее слуха коснулось довольное курлыканье певшей и расставлявшей цветы Луши.

Льола вяло сделала круг по гостиной и с сиротливой беспомощностью притулилась к окну, за которым цеплялись, лепясь к карнизу, под лучи солнышка, голуби.

Луша, увидев, что у хозяйки показались на глазах слезы, смолкла, оборвав пение, и беспокойно забегала по Льоле взглядами, не зная, выразить ли ей сочувствие или затаить дыхание, чтобы не дать почувствовать своего присутствия. Через минуту не вытерпела и, лишь Льола отвернулась от окна, протестующе стукнула горшком об окно.

— Я дура голосю, не вижу, что вы расстроены! А вы сердитесь и не скажете, чтобы я перестала...

Но она Льоле не мешала. Вывернуть душу и выплакать перед людьми все, что внезапным оползнем ввалилось в ее жизнь, Льоле было бы теперь лучше всего. А может быть, обещала эта весть счастье? Может быть, все, что на нее свалилось, только тяжелый сон?

Льола чуть шевельнулась в ответ служанке:

— Пой, пожалуйста, Луша, сколько хочешь. Пой, может быть, легче мне будет рыдать... Ах!

А письмо еще сильнее сжала в руке и, оглянувшись, приткнулась между пианино и решоткой камина на

маленькую подножную скамейку против окон с цветами. И здесь перед ней начало всплывать все виденное и пережитое.

Она вспомнила и детство свое в бедной семье гимназического преподавателя словесности. И отрочество у дяди, спичечного фабриканта. И юность, годы счастливого сравнительно учения, когда она была на иждивении дяди. И встречи с Луговым после учения и замужество с ним. Гражданская война, затем зачисление Лугового в штаб. Разлука. Голодные годы, пайки, встреча с Придоровым, второе замужество.

Если бы она раньше не слышала, что Луговой погиб! Если бы она теперь знала, что он действительно жив!

Но Льола этого не знала, а теперь имела вот это, никем не подписанное, ничем не подтвержденное письмо.

Но что же делать, как узнать, наконец, правду о Луговом?

Льола в тихом одиночестве гостиной передумала о всех несчастьях своей истрепанной доли, и когда пришла к заключению, что до сих пор была только игрушкой в руках жизни и людей, то решила, что она сгинет, если и впредь отдастся на волю судьбе.

Как уйти от Придорова? Что сделать, чтобы вернуть утерянную волю?

Стали складываться мысли о работе. Только в собственном заработке было ее спасение от пут мужа. Стать на собственные ноги, суметь заработать себе на хлеб. А после этого не страшен был бы Придоров, и радостным могло быть возвращение Лугового, если только он действительно жив.

У нее кружилась голова.

Льола поднялась. Она решила придумать предлог для поездки с Придоровым в Москву, куда он, несомненно, скоро опять соберется, поставить мужа перед угрозой скандала, но заставить взять ее с собой.

На этом решении Льола и остановилась. Письмо сложила и заделала в свою выходную сумочку под подкладку, чтобы его не нашел Придоров.

Легче стало на сердце. По крайней мере было к чему стремиться и из-за чего жить.

Она шагнула к окну и увидела, что голуби куда-то улетели. Улица продолжала шуметь. Но, взявшись рукой за подоконник, она вдруг остановилась, оцепенев от мысли, до сих пор не приходившей ей в голову.

«А мальчик? Ленька?»

Хорошо было лелеять мечту о встрече с Луговым, останься она не изменившей ему, хранительницей его счастья. Она же не только что сама отдалась в кабалу Придорову, но отреклась от материнства и позволила отнять у себя сына.

Она возмечтала о встрече с Луговым,—отцом отданного в чужие руки ребенка. Но что она ему скажет, произойди эта встреча и спроси он о мальчике:

«Где наш сын?»

Ведь не словами должна будет тогда отвечать Льола, а истоптанной и оплеванной, как половица грязного порога, совестью. Она скажет: Придоров заставил мальчика отдать в приют. Но какое дело Луговому до этого животного—Придорова? В какое царство ввел ее этот наглый проходимец, каким счастьем вскружил ей голову, что она собственное дитя не пожалела принести ему в жертву и сбыла с рук, только бы быть приживалкой Придорова?..

Льола ахнула и снова заметалась по комнатам. Теперь надо было думать не только о себе, но и о том, как возвратить сына, как восстановить свои материнские права на ребенка. Ей пришло в голову, что Ката не откажет взять ребенка на время к себе. И тогда она надумала, как ей должно поступить. Она наметила план действий по отношению к мужу.

Когда пришел Придоров, она была внешне спокойна

и не показала виду, что теперь у нее только одно желание: дождаться первой возможности, чтобы переиначить свою жизнь.

Придоров произвел, по заданию заведующего отделом, срочное обследование завода жестяных изделий и немедленно же должен был представить товарищу Леонову доклад о результатах обследования.

Он делал вид, что не знает, чего хочет добиться обследованием Леонов. Но в отделе уже говорилось, что заведующий не верит прежнему директору завода и что Леонов наметил поставить туда одного из своих старых друзей. Этот вопрос поднимался и раньше, но на защиту заводского директора, весьма легко относившегося к отсутствию на заводе дисциплины, выступил завком. Правление профсоюза потребовало обсуждения вопроса, возбудило дело в партийном комитете, и сегодня предстояло заседание коллегии отдела с участием представителей от партии и союза.

Придорову нетрудно было собрать материал, устанавливающий разорительное количество прогулов на заводе, непроизводительный расход материалов и безразличное к этому отношение директора. Но он, кроме того, раскопал в делах завкома несколько положенных под сукно жалоб на приставание директора к работницам—штамповщицам и паяльщицам ведер, а в деле по поводу увольнения одной из работниц установил спайкv между директором и предзавкомом. Директор-скороспелка, прежде служивший табельщиком на этом же заводе, храбрился, выставив перед Придоровым свою незаменимость, но ревизовавшего завод эксперта это заставило только злорадно улыбнуться.

В секретариате отдела Придоров составил несколько статистических сводок и написал доклад. Главного—копий жалоб—не приложил и ссылки на них в докладе

не сделал, а ограничился характеристикой производственной стороны предприятия. Прочитав еще раз черновик доклада, сдал его на машинку и после этого выбрал минуту, чтобы проникнуть к заву.

Леонов—старый партиец, когда-то сам рабочий-инструментальщик, поднимал в городе металлургическое производство и все силы убивал на то, чтобы очистить завод от всякой дореволюционной скверны. Он оперировал, используя в одних случаях знания специалистов, в других, наоборот, профсоюзную или партийную организованность рабочих против рвачества чуждых рабочему делу элементов. В Придорове также чувствовал рвача-специалиста, но ни на чем его не поймал по службе и использовал для различных поручений, не высказывая никаких подозрений.

Он сам как раз хотел вызвать эксперта, когда тот вошел в кабинет. Леонов отодвинул от себя бумаги, предложил подчиненному папиросу, и Придоров, любивший курить лишь заграничные сигары, ради компании не отказался закурить из коробки зава.

— Я кончил обследование и написал доклад, перепишут сейчас его, я подпишу и передам вам...

— Да? Ну, что на заводе? Все болтается, как яичница?

— Вы, Иван Андреевич, хватились во-время. Прогулов, брака и порчи материала столько, будто все это особо оплачивалось по сдельному тарифу... Все это вы увидите по полученным мной материалам. Но в доклад я не написал об одном явлении, процветавшем на заводе...

Придоров скорбно помрачился, будто и теперь заниматься наговором шло против его внутренних чувств.

— Что такое?—вкололся в инженера Леонов.

— Я не знаю, стоит ли поднимать это дело, потому что замешан нехорошо директор завода и предсе-

датель заводского комитета. Такие люди через партию могут все дело повернуть посвоему.

Леонов выжидательно пыхнул несколько раз папиросой, оценивая меру искренности в подходе инженера, но сделал вид, что ничего значительного в словах Придорова не чувствует.

— Чорт с ними, если они губят завод! Какое дело за ними вы знаете?

— Женский вопрос!—с соболезнующей немногословностью намекнул и выжидательно остановился Придоров.

Леонов встретился с ним вспыхнувшими огоньками взгляда.

— Жалуются работницы?

— Они жаловались в завком. Предзавком этим жалобам хода не давал и одну забеременевшую работницу уволил под предлогом порчи материала.

— Документы!—коротко потребовал Леонов.

Придоров шевельнул папкой, с которой вошел, сделал вид, что мнется.

— Я не хотел их представлять, потому что, может быть, вы захотите директора и предзавкома оставить. Директора хорошего трудно найти...

И инженер еще мгновение вопросительно помедлил.

Леонов смерил взглядом специалиста.

— Покажите документы.

Придоров извлек из папки копии жалоб возмущенных против выходок директора работниц, протокол завкома с отчеркнутым постановлением об увольнении за умышленную поломку штампа некоей Ксении Гридниной, заявление Гридниной в завком. Гриднина протестовала против ее увольнения и обличала предзавкома и директора в том, как они совращали ее и сообща расправились.

— Это заявление в завкоме разбиралось?—подавляя в себе негодование, бросил полулист бумаги Леонов.

— Нет.

— Почему?

— Завком перегружен работой.

— Ладно... Оставьте все это у меня. Вечером очень прошу вас присутствовать на заседании коллегии, на тот случай, что потребуются устные справки. Все?

— Все. Сейчас подпишу и попрошу передать вам доклад.

Придоров поднялся и с вышколенно независимым видом выполнившего все, что от него требовалось, делового человека возвратился в секретариат. Здесь он довольно втянул в себя воздух, с удовлетворением подписал доклад и пошел домой.

После крушения его плана заработать в финотделе на авантюре с пятаками, для чего он прибегнул к посылке подложной телеграммы от имени ВУЦИКа в окрисполком, он в первый раз почувствовал некоторое облегчение. Приглашение на заседание коллегии означало успех по службе, он мог понадобиться Леонову; можно было при умении извлечь немало выгод из этого обстоятельства, стоило только не делать промахов при следующих поручениях зава.

Луша открыла Придорову дверь, он щипнул ее, и не привыкшая к таким нежностям служанка растерянно отскочила в сторону и посмотрела ему недоуменно вслед.

У Льолы обед был готов. Когда муж разделся, она вышла из кухни. Придоров поцеловал ее бездушно в лоб. Сели за стол.

Придоров к супу потребовал пару круто сваренных яиц. Льола подвинула ему блюдечко с двумя яйцами, салфетку и прибор. Ей нужно было предупредить его, что она пойдет в приют навестить ребенка, и она выбирала для этого подходящий момент.

Придорова же тянуло в ресторан. Он искал к чему бы придраться и, взяв с блюдечка яйцо с остатками

плохо отмывшихся сеновальных пятен, вдруг указал на него и фыркнул:

— Научи ты, Елена, свою подручную мыть яйца, когда она варит их. Будто их снесла не курица, а беспризорная торговка!

И он подвинул к себе суп.

Льола рассмеялась, очистила яйца и снова подвинула их к мужу.

— Теперь чистые.

— А так еще лучше!—согласился Придоров, давая подкупить себя любезной безропотностью жены.

Увидев, что он смирился, Льола поймала его взгляд и сообщила:

— Мне, Лавр, нужны деньги. Я хочу завтра пойти в приют, посмотреть ребенка и сделать для детей кое-какие подарки. Пусть не при мне он, но хоть буду знать, что он жив.

Придоров глотнул хлебок супа, подумал и решил не спорить.

— Сколько тебе?

— Рублей пятьдесят—сто.

Через силу Придоров сделал соболезнующее лицо.

— Много, Леночка.

Он вопросительно остановился на жене, открывая бумажник.

Льола брезгливо отвернулась.

— Ладно, я дам тебе сто, только ты знаешь, купи лучше себе часики за восемьдесят рублей.

Придоров вынул из бумажника десять червонцев.

Остановленный какой-то мыслью, он помедлил мгновение и полуподавился предостережением:

— Только ты там не растай, знаешь. Подрастет—тогда, может быть, возьмем...

Это было плохо замаскированным предупреждением Льоле, чтобы она не возвратилась домой с Ленькой. Льола побледнела, перенося хлестнувшую ее кнутом обиду, и с каменной выдержкой повела плечом.

— Не беспокойся, знаю, чего ты боишься...

— Иди, иди, Леночка!—успокоился Придоров. И сразу же он повеселел.—А на-днях мы катнем к Половневым. Ты там показывала, как гримируются. Весь девичник уверовал в твое туалетное искусство после этого; обижаются, что ты не показываешься. Я обещал с тобой притти.

Льола приняла решительный вид.

— Мне к Половневым не в чем пойти. В обносках не хочу показываться перед всеми!

— Почему в обносках? Что же ты молчишь? Еще новость—надеть нечего ей!

— Я тебе уже говорила, что другие все ценное покупают в Москве. Думаешь, здесь можно сделать, что нужно?

Льола негодующе проглотила ломтик жаркого.

Придоров пожевал губами.

— Я в Москву на-днях еще раз поеду...

Льола сделала вид, что сказанное к ней не относится. Отвела в сторону глаза и с обиженной медлительностью доедала жаркое.

Придоров был не совсем уверен, что Льола имеет сносный гардероб. Между тем, покажись она где-нибудь не лучше всех одетой, он сам же разозлился бы на нее. Спеша кончить обед и поскорей уйти, он решил согласиться с женой.

— Я едва ли сумею купить, что надо... Поедем если хочешь!

Льола, однако, плохо верила в твердость этого согласия мужа. Она знала об одном из препятствий, которое может помешать ей, и не спешила обрадоваться. Дрожа от негодования, она придвинула к себе тарелочку с желе, ковырнула его ложкой и, сейчас же оттолкнув тарелочку, обличила мужа:

— Пока ехать, у тебя еще компаньонка какая-нибудь окажется! Прошлый раз и попадье этой как раз в Москву понадобилось, когда ты собрался! В одно купэ, должно быть, и билеты были взяты...

Льола рассчитала верно. Придоров сразу перестал есть, вспотел и скривился. Он не ожидал, что жена узнала об одном из его похождений, и переполошился, заподозрив, что Льола не простит ему. Он на мгновение впился глазами в жену. Но Льола спокойно ела желе, ожидая, чем объяснит этот случай муж.

Поняв, что Льола ждет, чтобы он сам проговорился, Придоров спохватился и в свою очередь принял также негодующе-обиженный вид.

— Ха! Еще этого не было!

Он сделал вид, что перестал есть, но сейчас же опять взял ложку и примиряюще заурчал:

— Ты, Елена, уже начала заниматься наблюдениями... Ведь я же на глазах у тебя все делаю... Попадья какая-то! Чем я виноват, что она о своих прародителях каких-то вспомнила. Компаньонка! Я не забочусь о тебе?!. Часы тебе—вот часы! Сыну подарки—нà на подарки! Платья нужны и шляпки—ну, поедем, купишь. Только не думай, что я как только из дому—так и бросился на шею какой-нибудь... Отчет теперь обязан давать! Оставь, пожалуйста, эту мораль. Посмотришь, чего я тебе накуплю в Москве...

— Увидим!—коротко подтвердила Льола, уступая мужу.

Придоров, однако, все еще боялся решений жены, которые неясно чуял, и, не зная, как заставить ее перестать думать об его обмане, виновато заерзал на стуле.

— Ты все-таки веришь, что я не морочу тебя, Льолочка?

— Верю!—отвернулась снова Льола.

Придоров поцеловал ее в лоб.

— Нà тебе деньги, да не думай, пожалуйста, глупостей. И обязательно купи часики. Чтобы сегодня же показала их мне.

— Хорошо, спасибо.

— Ну, я пойду на заседание коллегии. Меня заве-

дующий для поддержки себе позвал. В ход Придоров идет... Ха-ха!

— Иди!—безучастно отозвалась Льола, также вставая из-за стола.

Придоров ушел. Льола на другой же день произвела покупки гостинцев для ребенка, разорилась еще раз, по обыкновению, на покупку цветов, а после этого собралась в приют.

Луша, вдруг узнавшая, что хозяйка с ней поедет к сыну, обезумела.

Девушка занималась украшением кухни. Стружечные ленты, которыми были украшены купленные Льолой цветы, она не выбросила, а понатыкала их на каждой полке кухонных шкафов и чуть не украсила грандиозным розовым бантом самоварную трубу. Любуясь затем произведенным убранством, ликовала, пела, поразив своей склонностью к кухонной эстетике Льолу. Но как только девушке пришло в голову, что Льола может не признать в том ребенке, которого ей показали в приюте, своего сына, ее бросило в жар и в холод.

Гражданка Сухачева, приятно обрадованная сообщением о том, что явилась богатая дама с подарками, вышла в сопровождении целого штата нянек, отпустила свиту и представилась Льоле.

— Кого-нибудь проведать желаете или взять ребенка хотите?

Льола в приютах раньше не была ни разу. Неуютные казарменные коридоры заставили ее сникнуть. Мужиковатые няньки, грубыми окриками начавшие загонять обратно по комнатам показавшихся было ребят, обращались с детьми как с ниспосланным на них наказанием.

— Мне посмотреть ребенка, сданного вам в прошлом году,—сообщила Льола, входя с Лушей вслед за Сухачевой в канцелярию приюта и присаживаясь.—

Служанка была тут у него, но мне хочется самой посмотреть сына. А это детям вашим подарки.

— Спасибо! А какого ребенка хотите вы видеть?

Сухачева взглянула на Лушу, соображая, к какому мальчику приходила служанка.

— Леонид Луговой,—подсказала Льола.

— Тот, к которому я приходила,—неспокойно отозвалась Луша.

— Пойдемте в палату.

Льола вспыхнула и с замирающим чувством материнского нетерпения, держась за Лушу, шагнула из канцелярии. Ее исполненный волнения и одухотворенной красоты вид заставил посторониться и Сухачеву, когда она входила в палату, и открывшую ей двери няньку.

Льола вошла за женщинами в палату и попыталась найти глазами сына, переводя взгляд с койки на койку.

Сухачева и палатная нянька выжидательно остановились. Луша, увидев издали того мальчика, к которому она приходила, в паническом напряжении уставилась глазами на Льолу.

Льола беспокойно передвинулась, оглядывая снова палату, и чуть подалась вперед.

И опять, оглядев ребят, она с некоторым сомнением остановилась на мгновение на черной головенке одного карапуза, тащившего по полу с видом трудолюбивой лошадки деревянный чурбачок, долженствовавший изображать в глазах посвященных повозку. Но это был уже взрослый пятилетний мальчуган, а не трехлетний Ленька.

Льола надорванно повернулась к Луше и Сухачевой и почти истерически выкрикнула:

— Да где же он?!

И Сухачева и Луша сразу бросились к постельке возле кафельного пристенка, в которой двое карапузов, один рыжеголовый, а другой с золотящимися русыми кудряшками, играли в перетяжки, схватившись

для этого за концы кушака, откуда-то добытого ими для забавы.

— Да вот же он!—ухватилась за русого кудряша Сухачева, подталкивая мальчугана к Льоле, в то время как Луша инстинктивно подалась за спину хозяйки.

У Льолы все помутилось в голове.

— Это не он!—выкрикнула Льола.—Не он! Мой сын с черными волосами, черноглазый! Куда вы моего сына девали, что суете мне первого попавшего в руки подкидыша?!

Нянька и Сухачева с тупым изумлением посмотрели одна на другую. Потом взглянули на Лушу, которая растерянно хлопала глазами.

— Гражданка, ведь дети в таком младенческом возрасте семьдесят семь раз меняются в цвете!—рассердилась вдруг нянька.—Что вы морочите другим голову, когда не знаете сами, чего хотите!

— Не выскакивай!—остановила ее Сухачева, раздосадованная тем, что сама не знает, как поступить. И с намерением поразить Льолу раскрыла медальончик.—Смотрите!—предложила она.

Льола прочла и нервно топнула ногой.

— Да что вы мне суете этот билетик! Я мать и знаю свое дитя по лицу и приметам, а не по билетику.

— Ну, судите, гражданка, как хотите!

— Куда девался тот ребенок, которого вам сдала служанка? Луша, у тебя глаз нет или язык отнялся?—вышла из себя Льола, поворачиваясь к горничной.

Сухачева вспыхнула.

— Да вот же, гражданка, этот ребенок, если его звали Леней Луговым.

Луша вдруг обхватила Льолу и с хлынувшими из глаз слезами упала перед хозяйкой на колени.

— Елена Дмитриевна, они меня самое обманули! Я хотела вам сказать, что мальчик не тот, да думала, что ошиблась. А теперь сама вижу, что наделали они чего-то с Леней.

Нянька и Сухачева фыркнули от негодования, но Луша разошлась, присоединяясь к хозяйке, и с запальчивым протестом ткнула пальцем в рыжего мальчугана.

— Вы бы еще на этого нацепили ваш билетик да сказали, что это барынин сын, когда у нас и в роду таких кирпичных головастиков не было!

— Не цепляет никто зря.

Льола топнула ногой.

— Перестаньте вы отговорки ваши сыпать! Найдите мне сейчас же настоящего сына моего!

— Смотрите, мадам, сами, если не верите другим.

— Показывайте другую палату.

— Пойдемте. Проводите, няня, мадам по палатам.

Обиженная Сухачева надулась и, величественно пожав плечами, вышла. Злая нянька так же гневно ввела Льолу в другую палату.

— Пожалуйста, смотрите, гражданка!

Но Льола не видела больше ни палат, ни детишек. Слезы заволакивали глаза, и одни ребята представлялись ей удивительно взрослыми, сравнительно с тем, каким должен был быть ее сын, другие однообразно чужими, как фигурки попискивающих куколок.

— Ах, не могу, Луша!—остановилась она, чувствуя, что надежда розыскать ребенка является жалким самообманом.—Веди меня обратно...

Сдерживая рыдания, она кое-как добралась до извозчика и уселась, холодея от сознания, что потеряла сына навсегда, не проявив во-время материнской заботы к его судьбе.

Луша боялась заговорить с Льолой, не пыталась ее утешать.

Льола будто окаменела. Она не только сама себе сделалась противной, не только о Придорове без ненависти не могла больше подумать, но и всякий предмет в доме сделался ей ненавистным, самая жизнь

здесь сделалась ей невыносимой. При всем этом ей все-таки деваться некуда было, пока она не сможет сделаться хотя бы простой подметальщицей улиц.

Она купила часы, так как знала, что иначе Придоров потребует обратно деньги. Показала их мужу, взяла себя в руки и втечение нескольких дней не обнаруживала, как много испытаний сразу обрушилось на нее. Воспользовавшись тем, что Придоров не поинтересовался подробностями ее посещения приюта, не сказала даже о том, что ребенок для нее оказался погибшим. Не ему об этом жалеть.

Так она ждала, пока определился день поездки в Москву. Придоров предложил жене собираться.

Льола загорелась. Не зная, чем кончится для нее путешествие, много вещей решила с собой не брать. Но потихоньку от Придорова отобрала все приобретенные за это время платья, наиболее необходимые вещи из разной домашней мелочи. Отнесла все это к Кате, которой намекнула:

— Ката, я, может быть, из Москвы не вернусь...

Ката, оглянув уже не первый раз прибегавшую к ее помощи Льолу и увидев у молодой женщины под глазами синие круги, почувствовала в ее словах муку.

— Покушали муженька, Елена Дмитриевна? Раскусили так, что из горла прет?

— Прет!—согласилась Льола.—Не могу! Если найду в Москве работу, пожелаю ему всего хорошего.

— Ну, желаю вам искренне счастья, Елена Дмитриевна! А чем могу помочь—говорите.

— Каточка, помогите спастись. Сохраните мои вещи у себя, чтобы Придоров не знал, и если я не возвращусь, пришлите мне их, когда я напишу свой адрес... Не затруднит?

— Ах, что вы, милая Елена Дмитриевна!

— Вот и все, Каточка!

Обе женщины горько усмехнулись. Обняли друг друга, целуясь, может быть, в последний раз.

Через два дня Льола усаживалась с Придоровым в мягкий вагон прямого поезда—Одесса—Москва.

Между тем Русаков пекся у поддувал жизни советской провинции среди рабочих и партийцев восстанавливавшегося завода. Он нашел для Леньки старушку няню, позаботился о создании некоторого уюта в доме. Пока он ездил в Одессу и устраивал свои дела, монтеры проделали ударнейшую часть работы: включили постановкой главной линии машинное отделение в сеть городской станции.

Русакову сказали, что оба москвича рабочие чем-то недовольны, налегают на словесные упражнения по адресу спецов.

Русаков направился к месту работы монтеров.

Поляков шлямбуром долбил стену, стоя на лестнице.

Русаков остановился, посмотрел на него, обратил внимание на то, что не видно старшего монтера.

— Где Дергачев?—полюбопытствовал техник.

Поляков повернулся. Зло махнул молотком в стену.

— На почте!

И еще злее звезданул по шлямбуру.

Русаков удивился.

— А что там? Ведь материал весь получен.

— Что там материал! Без денег сидим до сих пор. Командировку давали, сказали—сейчас же вышлют, мы задолжились конторе, а теперь хоть бери да езжай за получкой в Москву!

— Фу, чорт!—выругался Русаков.—Надо телеграфировать.

— Да он и пошел с телеграммой... Вон идет.

И Поляков спешно стал слезать с лестницы навстречу товарищу.

Дергачев обескураженно мял в руке какую-то бу-

мажку. Рядом с ним шел находившийся на заводе Шаповал.

Поздоровались с Русаковым оба.

— Послал?—спросил Поляков, догадываясь по расстроенному виду товарища, что что-то неладно.

— Послал! — сердито зыкнул Дергачев. — Деньги пришли, вот повестка, чтоб их раскорячило на все стороны!

Поляков дернул к себе повестку и, посмотрев, кому она адресована, остолбенел, вопросительно разинув рот на товарища.

— Пришли, но адресованы на инженера.

— Ну?—угадывая уже, что это значит, но не веря сам себе, притих выжидательно Поляков.

— Ну, и не дают без него на почте.

Поляков выпрямился, загнул трехэтажный мат, скомкал повестку, швырнул ее и полез на лестницу продолжать работать.

Шаповал и Русаков значительно переглянулись. Русаков поднял повестку, развернул и, пробежал глазами, едва удержался от того, чтобы не выразить непроизвольного изумления.

Повестка сообщала о переводе пятисот рублей на имя инженера Придорова.

«И здесь он!—мелькнуло быстро в голове.—Рвач! В Москве считают, что он на работе. Неужели появится?»

Но он ничего не сказал монтерам, а обернулся к Шаповалу, следившему за работой Полякова.

— Товарищ Шаповал, надо, чтобы директор от имени завода дал почувствительней телеграмму в Москву да потребовал, чтобы там не издевались и над рабочими и над нами.

Шаповал взял его успокаивающе за руку.

— Идемте в контору и дерните им сами всяких выражений порешительней. Директор подпишет.

— Пожалуйста!

И Дергачев взметнулся к Русакову, скрипнув зубами, будто хотел, чтобы в Электросельстрой засвистела не телеграмма, а залп тяжелых орудий. Конфузливо повернулся к Шаповалу:

— Ну, а как же нам-то? Животы тоже включить для питания с электрической станции?

Шаповал оскалил зубы и трепанул монтера по плечу.

— Поможем, поможем, товарищ Дергачев. Завтра получка, прислали денег из Ростова, заходите—я скажу директору, и он одолжит по десятке покамест. Идемте, товарищ Русаков, посмотрим литье.

Литейная выпускала пробу новой продукции, и вот первая партия посуды—чугунных котелков, кастрюль и сковородников, частью покрытая печным лаком, частью седеющая своим натуральным цветом, заполнила верстаки.

Для другой партии заготавливались модели.

Шаповал тем временем уже сговорился с Краснодарским губсоюзом о поставке им первого заказа, наметил послать образцы новых изделий завода в Ростов и по станичным ЕПО; в конторе завода эти образцы демонстрировались перед партийными товарищами Шаповала.

Шаповал явно отрывал от работы Русакова, но он пришел чтобы самолично излить свою радость по поводу достигнутых на заводе успехов.

Вошел с техником в слесарную, где производилась опилка и отделка посуды, складывавшейся возле верстаков.

— Видите?—блеснул глазами на ожившую рабочую суету по всей мастерской Шаповал.—Завертелось?

— Да, темп виден!—подтвердил первые успехи Русаков.—И народу прибавилось, и дело видней.

— Это еще что, батенька, попробуйте управиться зимою, когда горшки покажутся сперва в кооперативах, а потом в казачьих куренях. Смотрите-ка: цацечка, а не кастрюля! Не бьется, не гнется, из чугуна,

а рук не оттягивает, блестит, звенит, чуть порусски не говорит!

Шаповал одел на кулак кастрюлю и провел ею перед смеющимся Русаковым.

— Лориган Коти—фабрикация!

— Да,—подтвердил техник, смеясь,—приделать поля да обернуть лентой кругом—будет не кастрюля, а парадный цилиндр для любого английского лорда.

— Ха-ха! А верно, на цилиндр похоже...

— Но, знаете,—серьезно заговорил Русаков,—все-таки против довоенной выделки эта работа марки не выдержит.

— Чем хуже?—приготовился впасть в азарт Шаповал.

— Не эмалированы.

Шаповал опал и сам себе укоризненно кивнул головой.

— Да, товарищ Русаков, до этого не достукались. А верно. Станичники-то неэмалированный чугун предпочитают, а вот городской бедноте и сковородку давай не иначе, как на белой подкладке.

— Я все-таки узнаю, как это делается,—решил Русаков.

— Узнайте, товарищ! И вы заработаете на этом деле, и о заводе загудит слава. А то чуть кто-нибудь опередит вас да станут выпускать кастрюли эмалированные, в то время как у нас и внутри и снаружи один чугун,—так и крышка всему делу.

— Есть! Наладим машины, и съезжу специально для этого в Ростов.

Шаповал, однако, напрасно боялся конкурентов. Завод начал работать во-время. Обносившееся за годы разрухи кухонное приданое домашних хозяек кричало о необходимости своего пополнения. Между тем, на рынке не было даже изделий из глины. И первое же появление образцов чугунной посуды произвело в торгующих организациях и на базарах настоящий фурор.

Каким-то чудом распространилась молва о том, что чугунки, сковородки, утюги и прочую хозяйственную утварь выпускает завод в Георгиевске. И вот контора завода стала осаждаться уполномоченными от кооперативов и частными скупщиками посуды.

Первая партия изделий завода не полежала в кладовой и нескольких дней. Руководителям завода пришлось позаботиться о том, чтобы в работу была пущена вторая вагранка. Увеличилось сразу и количество рабочих.

Шаповал от удовольствия потирал себе руки, огребал на пользу завода деньгу и победоносно верховодил в совете.

По линии политической работы у Шаповала товарищи: секретарь районного комитета—рабочий-железнодорожник, не ударявший пальцем о палец без совета с Шаповалом, один-два заведующих отделами районного совета, рабочие станции и завода.

В это время краевые военные центры заканчивали демобилизацию красноармейских частей и на местах создавались местные органы, которые обеспечивали бы управлению Красной армии в мирное время связь с населением.

Однажды, когда в Ростове кончилась мобилизация и Шаповал находился в совете, к нему вошел секретарь комитета. Вошедший переступил у порога и дал выступить наперед следовавшему за ним парню в военной форме.

Шаповал о чем-то спорил с заведующим земотделом. Увидев секретаря, обрадовался, что сообща с ним принудит заведующего земотделом смириться, и шагнул, чтобы подтащить его к столу, но сейчас же очутился перед Кровенюком.

— Га, Кровенюк? — изумился Шаповал. — В чем дело?

Кровенюк после поездки в Москву побывал в Ростове и приехал со всеми мандатами, какие давали ему

права на деятельность в районе в качестве военкома. Он чувствовал себя центровиком и, явившись в совет, побаивался только бесцеремонности Шаповала.

— Я назначен военкомом. Нашел квартиру. Прошу дать приказ команде вашего совета, чтобы распоряжения об оперативной работе кроме меня ни от кого теперь дружинники не принимали. Позвольте начать у вас военную работу.

Кровенюк дулся от важности настолько, что сдерживал в себе позыв к излияниям и не напомнил ни о прежнем знакомстве с Шаповалом, ни о ночевке в теплушке.

Шаповал, ждавший назначения военкома в город, обменялся с секретарем им обоим понятной усмешкой и мотнул беспрекословно головой.

— Работайте, работайте!.. Почаще советуйтесь только с нами.

Кровенюк задрал губу, будто его обидели.

— О чем полагается, всегда сговорюсь. Другое и сам решу. Не на такой работе был.

Шаповал не стал спорить и повернулся к секретарю и заведующему земотделом, ответив Кровенюку махом руки:

— Работайте, увидим. Казаков только не раздразните придирками да насчет того, что бандитизм тут у нас, займитесь!

Кровенюк ушел.

На обязанности Русакова было фактическое руководство всем заводом. Механический инвентарь различных станков он во-время отремонтировал и привел в порядок. Большинство посуды проходило на этих станках через обточку, обстружку. Утюги здесь еще полировались и подвергались сборке и соединению из отдельных частей.

К заводу целыми днями подвозились черепки снарядов с руин взорвавшихся артиллерийских складов.

От него тянулись подводы с товаром. А иногда в конторе на заводе происходил и торг.

Однажды, запоздав несколько с выходом на работу и подходя к заводу, Русаков еще издали увидел возле ворот две подводы; около них толклись вооруженные кнутами станичники в длинных бекешах. Из-за стены с ними перекрикивался вытянувший в обличительном азарте голову и плечи Поляков.

Подойдя ближе, Русаков убедился, что здесь в полном разгаре начатая московским монтером полемика.

— Вешать большевиков кто собирался? Не ты, старый идол, когда я столбы проставлял к станции?

— И-и, браток,—отговаривался нехотя угрюмый бородач-казачина, в то время как его партнер бегал вокруг глазами и топтался у телеги, ожидая, не откроет ли кто-нибудь ворот,—да разве ж мы душегубством живем, чтоб вешать кого-нибудь?

— А то скажешь—не одним миром с бандитами мазан? Сиротой представляешься!.. Кто предсказывал, что на наших столбах коммунистов будут вешать, как только придет англичанка и станет отправлять всех на живодерню—не ты, скажешь?

— Так, браток, может, и сказал, так для шутки же... Вспоминаешь ты напраслину...

— Теперь напраслину, когда на чугунках захотел заработать! Ишь, жилы! Кулаки станичные! То вешать только и знали, а то поживу почуяли и сразу казанскими сиротами прикидываться научились. На шею опять бедноте лезете?

— Да и где у нас тыи самые кулаки, гражданин товарищ?.. И что ж вы угрожаете, что какая-нибудь кучка таких-сяких кулаков на чью-то шею полезет? Их и кулаков, может, на каждую станицу один да два человека дармоедов каких. А вы «на шею да на шею!» Мало есть кулаков теперь всяких!

— Мала куча, да вонюча!

— И-и, хлопче!.. Ну, вызвольте ж, браток, могарыч мой...

— Ишь, могарыч! В губтюрю за могарыч хочешь?

Русаков, остановившийся на некотором расстоянии позади казака, чтобы узнать, по какому поводу измывается монтер над станичниками, решил вступиться за приезжих.

— Вы что мытарите казака?—крикнул он монтеру.

Казак грузно обернулся. Поляков, наполовину высунувшийся из-за стены, колыхнулся выброшенными к казаку руками и разразился угрозной жалобой:

— Да как же... Ведем мы, еще только когда приехали, с города линию, ставлю я столбы, а он остановился на подводе,—вез что-то,—и спрашивает:—«Что, мол, голомузик, это для себя, говорит, дрючок ставишь?»—«Как для себя?»—«А вот вешать коммунию англичанка скоро придет». Понятно, мне обидно стало. Говорю: «Нет, мол, это повесим мы проволоку, будем чугунки делать, а нас вешать довольно!» «Наделаете!»—говорит. А теперь, когда прослышал, что можно посуду покупать, он и прикидывается сиротой...

— Ну что же, мало на свете бешеных людей разве? Пошлите его в контору, и пусть там торгуются с ними.

— Контры больше разведет, если продавать такому. Я чую, что за дышло этот казачище!

— Не разведет, товарищ Поляков. Теперь вышло из моды и у казаков слушать старорежимных наговорщиков.

И повернувшись к казаку, Русаков указал на ворота:

— Езжайте, дядько, прямо к конторе.

— Не пустят, гражданин товарищ.

— Пустят, я скажу.

— От спасибо вам, товарищ. А этого голомузика слушайте, что он наговорит!

Русаков кивнул Полякову, чтобы монтер спрыгнул к нему, и, предложив ему папиросу, спросил:

— Ну что, дали в конторе вам пока денег?

— Дали, товарищ Русаков.

— Вот и хорошо. А теперь расскажите-ка, что за штучка ваш инженер, товарищ Поляков.

Русаков, по наказу Шаповала, составил телеграмму в Электросельстрой о нужде монтеров в таких выражениях, которые должны были заставить в Москве спохватиться кого следует и посылать деньги на имя Дергачева. Отметил, что надобность в инженере миновала. Меньше всего Русаков был заинтересован в появлении Придорова на заводе, да и всякий иной инженер нужен был теперь, как ложка после обеда.

Поляков рассказал, что инженера видел в глаза только Дергачев. Он находился будто бы по делам в Одессе. Но монтеры вели с ним переписку. Звать его сюда не звали, написали, что проектировку сделал помощник директора завода, и это Придорова, очевидно, устроило.

— Так... И хорошо, что он мало о нас думает.

Русаков поговорил еще с Дергачевым и, выпытав, что мог, убедился, что бояться каких-нибудь шагов со стороны монтеров для вызова на завод Придорова не приходится. Тогда он успокоился.

У него теперь много было работы, потому что лишь только на рынке обнаружился превзошедший всякие ожидания успех продукции завода, Шаповал нажал на директора, отнесся в парторганы, махнул в Ростов доклад, и завод решили не только восстанавливать, но и расширять.

У Русакова прибавились новые помощники, слесаря. Кое-кто из наиболее бывалых мастеров, поступивших под его непосредственное начало, справлялся и самостоятельно с ремонтом, но это не мешало Русакову иногда и самому браться за французский ключ или клюбик.

Благодаря простецкому характеру Шаповала и тому, что он, часто занятый и партийными делами и торговыми заботами, ценил деловитость специалиста техника, для работы Русакова на заводе создалась товарищеская обстановка. Директор упорно не проявлял никакой самостоятельности и отбывал должностную повинность, ожидая только приезда жены, с которой не намеревался остаться в городе и двух недель.

А дома у Русакова рос Ленька.

И вот тут встал вопрос о воспитании ребенка. Няня, добрая русская женщина, старушка, мать пятерки детей, разбросанных судьбой по всем краям страны, была на свой лад недурной пестуньей.

Но у Русакова были особые требования к лицам, которых можно было приставлять к детям. Он боялся старушечьего воздействия на душу ребенка.

А няня, Ефимия Захаровна, как будто нарочно подбирала систему древнеродительских приемов дисциплинирования малыша.

Обычно Ефимия Захаровна управлялась со всем хозяйством Русакова, пока техник был на работе. Возвращаясь с завода, Русаков заставал мальчика уже снаряженным в постель. Но в урывки свободного времени, в праздничные дни он и сам следил за тем, как растит сына нянька.

Однажды, перед тем как ложиться в постельку, ребенок потянулся к игравшим зайчикам заколебавшихся в глянцах оконных стекол отражений лампы.

Он начал карабкаться на окно.

Няня спохватилась и, пугая мальчика упершейся в окно хлынью потемок, сделала страшливое лицо.

— Хока! Там хока, Леня! Бирюк в мешок возьмет и унесет в лес...

Русаков быстро поднял голову, отрываясь от газеты, осмотрел окно, чтобы угадать, к чему тянется

ребенок, и, увидев в стеклах движение бликов, привлекших ребенка, посмотрел на няню.

— Ефимия Захаровна, зачем вы его пугаете?

Няня обернулась, угадывая, что хозяин недоволен.

— А он окно разобьет и сам в окно выпадет. Убьется.

— Знаете, вы делаете хуже, Ефимия Захаровна, только сами этого не замечаете. Вы вот этим способом можете сделать ребенка лунатиком.

Няня надулась.

— Своих пять вынянчила, и ни один не сделался лунатиком, почти все записались в коммунисты. А тут с одним не справлюсь...

Взяла за руку мальчика, оттаскивая от окна.

Ленька капризно сморщил физиономийку, собираясь протестующе взреветь.

Русаков, бросив газету, взял мальчика на руки, остановил старушку.

— Погодите.

Стал с ребенком под лампой, закачал ее.

— Огонек, ой-ды! ой-ды! Бери ручкой. От лёниной ручки огонек ой-ды! ой-ды!

— Хзги, хз-хь!—сразу захлебнулся Ленька.

— И зайки в окне—ойды! ойды! А ну, побежим к зайчикам!

— Лёни зайкьи! Лёни зайкьи!—потянулся мальчик порывисто к бурно заметавшимся по стеклам бликам огневых отражений.

Русаков дал ему схватить за стекло. И опять крутнулся к качающейся лампочке.

— Стоп огонек!—опять крутнулся к окну.—И заек нету!

Он оттянул лампу в сторону, чтобы исчезли отражения.

Русаков повернулся к няне.

— Видите, Ефимия Захаровна, то, что у вас дети вышли хорошие и здоровые, это произошло, несмотря на ваш уход за ними. Это их удача и значит только,

что живучие у вас дети были. Но такие живучие не все, и другой может не вынести. Так вот: что это будет, если наводить на ребенка жуть и приводить его в столбняк острасткой: «Хока! хока!» Так незаметно доводят детей до того, что потом они до самой своей могилы боятся потемок хуже смерти. А вы это делаете всегда. Сама вы, наверно, дрожите от страха, скажи вам кто-нибудь, чтобы вы в потемках прошли мимо кладбища. И это привито в детстве. Вместо того чтобы растить психопатов, нужно угадать, чего ребенок хочет, и показать ему на забаве же, что тут все просто и ясно и ничего ни чудного, ни страшного нет.

— Я этого не умею. Если я вам не гожусь, то рассчитайте меня,—надулась Захаровна.

Это повторялось не раз. Русаков старался урезонить женщину:

— Знаю, что не умеете. Да и нет почти таких, чтоб умели, чтобы всякий поступок ребенка понимали. Но надо же учиться...

— Поздно переучиваться! Профессорша специальная вам нужна...

Русакову оставалось только пожать плечами и перейти на командный тон:

— Делайте так, как я говорю!

Няня ворчливо брала с его рук Леньку, а на другой день Русаков ловил ее на бессознательном внушении ребенку какой-нибудь иной навязчивой привычки.

Русаков стал бояться за последствия воспитания Леньки, если и впредь оставить его на руках неискушенной Ефимии Захаровны.

Подтягивавшийся северокавказский городок с начавшим восстанавливаться заводом не виден только из Москвы. Вокруг него свой туземный колер. Тут не только житница пшеницы для Советской страны

и европейского рынка, отсюда не только сыплются семечки, льется подсолнечное масло и развозится мед, но тут из-за овражья и выгорблин горных хребтов делают налеты бандитские остатки растрепанной в гражданской войне контрреволюции выродившейся теперь в шкурническое и мстливое разбойное головорезничество, а в станицах и хуторах тлеет скрытая вражда матерых казаков против советов.

Лишь наступала весна, строптивый атаманский дух чувствовало все окружающее население. Всасывал в себя настроение общей нервирующей обстановки и Русаков.

Партия и редко рассеянные по краю пункты советской охраны принимали меры для борьбы с бандитизмом, но крупное казачество укрывало бандитские группы, и борьба в округе требовала весьма сложных операций. Каждый коммунист при надобности мог быть мобилизован для розысков и погони за какой-нибудь шайкой, лишь делалось известным о выходе ее с гор. А между тем городские коммунисты не только передвигались по этим районам с боевыми заданиями, но снимались в разъезды по станицам и для повседневной политической и организационной работы.

Накануне Первого мая поехал с одним товарищем для агитации куда-то под Баталпашинск и Шаповал.

Шаповал возвратился из поездки без товарища.

На обратном пути, когда агитаторы поднимались в парной пролетке по перевалу хребта вблизи Невинномысской, они увидели погоню. Партийцы, зная уже, что это значит, припугнули ямщика-казака, а сами распрягли лошадей, вскочили на них, схватились за гривы и попытались спастись бегством. Шаповал из-под пуль вырвался и доскакал до станции, а другого агитатора выстрел открывших пальбу бандитов снес с лошади. Выехавший затем во главе с Шаповалом и Кровенюком к месту нападения со станции отрядик коммунистов разыскал труп агитатора, раздетый и

исколотый кинжалами, с запиской, воткнутой в зубы: «Такая учисть наступит со всею комунией!»

Первого мая завод не работал, и Русаков вместе с коллективом завода был на митинге. Столкнувшись здесь с Шаповалом, обменялся с ним приветственными замечаниями и часть дня провел в сумятице шествия.

На другой день был какой-то местный праздник. Русаков этим воспользовался, чтобы пойти позвать врача к заболевшему Леньке.

Возвращаясь от доктора через базар, возле ворот постоялого двора он натолкнулся на группу людей, привлекших его внимание. Около ворот стоял крестьянин, возле него уныло тулилась молоденькая девушка, а перед ними обоими жестикулировал, убеждая их в чем-то, Поляков.

Русаков всмотрелся и узнал в крестьянине неудачника-бобыля, ездившего к Калинину. Вспомнил его дело, и его повлекло узнать, добился ли чего в городе землероб.

— Афанасий Ермолаевич! Здравствуйте, товарищ Поляков!

Крестьянин встрепенулся, оглянулась и его дочь. Поляков поздоровался, чеснул у себя в затылке и безнадежно махнул рукой, не зная, что сказать Русакову.

— Товарищ Русаков!—узнал крестьянин.—Это ж вы будете?.. А у меня напасть. Вот напасть, хоть бы нашим врагам век не видать в глаза такого! И с быками не знаю теперь, что делать...

Он растерянно заторопился и конфузливо смахнул рукавом слезинку с загорелой щеки.

Девушка убито отворачивала в сторону глаза.

— Да что с вами?—остановился Русаков, задетый за живое бременем того несчастья, которое убивало балабошившего когда-то в вагоне ходока.—Быков получили? Что же горюете? Это ваша дочь?

— Это Хима!—подтвердил крестьянин.

Тяжело что-то перевернул в голове и после этого дернул рукой беспомощно.

— Быков получил, а хутор сожгли. Теперь ни кола, ни двора... не знаю, что и делать...

— Фу ты, несчастье!—искренно вырвалось у Русакова.—Кто же сжег?

— Казаки, должно...

Крестьянин смолк.

Поляков, как оказалось, за вагонное знакомство с Колтушиным ухватился всерьез, после приезда успел побывать на хуторе у крестьянина, стал ухаживать за начавшей невеститься Химой, помог ее отцу устроить дело с получением быков и был взбешен расправой казаков больше самих пострадавших. Но он явно ничего не мог сделать, как, впрочем, и никто другой. Подступил к Русакову.

— Это контрики проклятые! Помните, я тогда ругался с казаком, что посуду покупать приезжал? Он не только торгует,—он то-и-дело то привозит кого-то в город, то увозит... А с ним был еще один кубанец. У кубанца не хутор, а рай. Пономарев фамилия. Вот он и берет и Афанасия Ермолаевича и Химу вместе с быками в батраки к себе, чтоб этого не знали только в совете. Рад руки погреть. Теперь за хлеб стали платить червонцами, так он до осени дает двести червонных рублей и пять мешков хлеба. Только чтоб работники говорили, что они—его родня...

Русаков не знал, насколько приемлемы эти условия, почувствовал только, что другого выбора у погорельца с дочерью нет. Взглянул на землероба.

— Что же, Афанасий Ермолаевич... Вам итти некуда, пойдемте ко мне, отдохнете и расскажете все, я угощу вас хоть чаем... Товарищ Поляков, ко мне в гости!

— Пойдемте.

Неудачник-иногородец поднял глаза, будто просыпаясь от забытья, щипнул растрепанное мочало бороды

и, махнув рукой, покорно последовал за расшевелившим его техником.

— Если больше не даст—придется продавать быков да наниматься самим где придется.

— Как же у вас, Афанасий Ермолаевич, все сгорело, а быки уцелели?

— Так и остались оттого, что я их только получил. Хлопотал все. Только достукался,—товарищ Поляков помогли мне в земотделе и продкоме все сделать, я у них и заночевал,—утром получил, пригоняю их домой, а на хуторе... нет хутора, одна Хима возле трубы плачет. Хорошо, что с собой чего-нибудь не сделала...

— Ай-яй, горе-то какое!

Русаков привел к себе гостей, заставил няню добыть у квартирной хозяйки стаканы, приготовить угощение и устроить чай, добился того, что немного отошли у него бобыль-крестьянин и девушка.

Потолковали,—иного выхода у них не находилось, как итти в батраки к договаривавшему их казаку Пономареву.

Поляков тут же заявил, что останется работать в Георгиевске до осени. Дергачев собирался возвращаться в Электросельстрой, а он решил остаться простым слесарем на заводе и ждать, пока Хима с отцом заработают и справятся с силами, чтобы завести себе хибарку.

Поляков поблагодарил Русакова за чай, будто он именно отвечал за благополучие своих знакомых. Когда гости простились, Поляков пошел с ними обратно на постоялый, где крестьянин оставил быков.

Они сели на приступочках у входа.

Возвратившихся погорельцев увидел через окно чаевавший в харчевне Пономарев.

Это был приметливый, староверчески крупнобородый и оборотистый мужчина, о котором Русаков хорошего впечатления не составил бы, приглядись к нему хоть мимоходом.

Он ждал тех людей, с которыми вел переговоры утром. Сразу заметил, что они вышли из состояния столбняка. Презрительно и враждебно обежал взглядом щуплого и беспокойного Полякова. Что-то свое надумал, но допил чай, рассчитался с хозяином постоялого, вышел, запряг лошадей и тогда вдруг повернулся к ступенькам.

— Ну, работники, согласны?

Крестьянин встал, отступил почему-то на одну ступеньку. Поднялась и Хима, вопросительно глядя на отца.

Поляков с приступки уставился на казака, который зловеще не отводил полминуты взгляда от упавшего духом погорельца.

Погорелец отрицательно ерзнул руками и затряс головой.

— Нет, Аверьян Гаврилович... Триста если дадите...

— Триста?—казак бросил в дрожки кнут, взял вожжи и уселся.—А ты же раньше соглашался за двести пядьдесят?

— То раньше, а теперь раздумал.

— Гм-гм! Ты раздумал, а я надумал... Значит триста? Еще откладывать да приезжать опять сюда—разоришься из-за одних работников. Я согласен, Апанас, поедем, поработай на Пономарева... Собирайся на своих быках, а я поеду, буду вечером ждать.

Погорелец ушибленно посмотрел на казака, но вздрогнул и повернулся к дочери.

— Значит, едем?—спросила та.

— Что ж, дочка, едем, больше уж никто не даст. Собирай там.

Он обернулся к казаку.

— Дайте задатку, Аверьян Гаврилович.

— Не веришь?

— Да надо ж хоть рубах себе да дочке купить.

— Нà.

Пономарев ткнул батраку несколько бумажек совзнаков и тронул лошадей, отдав распоряжение:

— Запрягай и сегодня езжай, чтоб завтра уже быть в поле!

— Слухаю, Аверьян Гаврилович.

Казак уехал. Погорелец пошел запрягать в телегу быков, а Хима стала прощаться с Поляковым.

Поляков кляцал зубами на казака.

— Сдерет с вас шкуру он работой.

— Одно лето!—успокаивала Хима.

— А к вам на хутор, как праздник, я буду приезжать, чтобы он не знал.

— Бандиты бы не убили вас, Семен Иванович.

— А женимся обязательно осенью или весной. Я не уеду отсюда, пока не пойдешь за меня.

— Пойду.

— А если от этого живодера рассчитаетесь, то прямо ко мне или к товарищу Русакову. Это наш мастер-специалист на заводе, он никого в обиду не позволяет давать, и чуть что—заступится за каждого... Я ему скажу, что вы поехали.

Хима жалась к плечу монтера. С тех пор как Поляков погостил у них один раз, он стал каждое воскресенье заглядывать на хутор, да и в городе, когда они явились, не отказался от знакомства. Девушка после этого готова была отдаться на его попечение в любую минуту, и только из-за несговоренности с отцом они еще откладывали момент, когда осоюзятся в семейную пару.

Наконец, Афанасий управился с быками. Обтерся рукавом. Махнул шапкой.

— Садись, Хима! Добрый хозяин, может быть, еще ужином сегодня угостит...

Горечь этого маловероятного предположения ударила в сердце Химе и заставила скрипнуть зубами Полякова.

— Прощевайте, товарищ Поляков! Поблагодарите за нас товарища мастера. Спасибо и вам за любовь и ласку! Садись, Хима.

Он горестно сморкнулся.

— Эх!—крякнул Поляков, беря за руку девушку и не отпуская ее.—Я же приеду, если на постоялом найду проезжающих в тот край, смотри, Хима.

— Приезжай, хоть отцу что-нибудь посоветуешь, если плохо будет...

Девушка потупилась и хотела освободить руку.

Поляков, мелькнув взглядом по наклонившемуся для смазывания колес ее отцу, быстро толкнул девушку в бок, она оглянулась, оба взволнованно сблизились и впились губами друг в друга.

Хима отступила от рабочего и вспрыгнула на телегу.

Сел и погорелец.

— Прощайте, прощайте!

— Цоб-цабе, цоб-цабе!

Телега заскрипела и заколыхалась. Быки поволокли воз.

После того как успех для продукции завода оказался обеспеченным и, с одной стороны, весь коллектив рабочих заразился производственным рвением, а с другой—в привычку уже стала входить сутолока гонки с приемом и сдачей заказов,—Русаков, следуя общей заботе о дальнейшем совершенствовании производства, вспомнил о своем обещании Шаповалу поставить на заводе отделение эмалировки посуды.

Шаповал теперь все больше и больше занимался партийными делами, отрываясь от завода и часто уезжая в Ростов. Решать многие вопросы приходилось без него.

Русаков сговорился с директором.

— Дела у нас теперь все в порядке, Франц Антонович. Заказами завод обеспечен, материала хватит года

на два, Поляков без меня за станками и работой присмотрит,—поеду я узнавать, как нам справиться с эмалировкой...

Почти молодой еще человек, поляк по происхождению, с холено-белым лицом, в прошлом—воспитанник Политехнического института, Франц Антонович во всем полагался на Русакова. Ему очень не хотелось править заводом одному.

— Можно, только надо с Александром Федоровичем сговориться, и не надолго, чтобы не развинтилось без вас.

— На три-четыре дня.

— Езжайте. Пока завод на нашем попечении, надо вытягивать его...

— А вы думаете покинуть его, Франц Антонович?

Партиец-директор с усмешкой повел вокруг взглядом и нехотя махнул рукой.

— Вместе с вами поедем работать в Москву на завод, товарищ Русаков.

Директор испытующе остановился взглядом на технике. Русаков изумленно раскрыл глаза.

— Как со мною? Шаповал нас обоих съест, если услышит о такой новости. Да в Москве меня и не подпустит никто близко ни к какому заводу.

— Пустяк,—возразил директор.—Если я поеду, то по партийной линии меня и там не оставят в покое, а будут посылать то в кружки, то еще куда. Этого для меня достаточно будет, чтобы я в заводе только почитывал книги. А вы будете вывозить за нас обоих работу. И поэксплоатирую я вас.

Директор полупринужденно засмеялся. Но Русакову было не до смеха.

Франц Антонович был действительно патентованным упорным лентяем. От партийных поручений он отговаривался ссылками на свою занятость на заводе. А на заводе сидел целыми днями над какой-нибудь

книгой и всякие подозрения в бездельничаньи отлетали от него вследствие того деловитого вида, с которым он листал страницы журналов. Русакову было понятно, что недруг всякой живой деятельности, беспомощно отступающий перед всяким делом, Франц Антонович, без поддержки помощника, который за него выполнял бы всю работу, действительно окажется в трагическом положении,—получи он новое назначение. Но Русакову не могло притти в голову, что у партийца есть план относительно Москвы и что в план этот входит также расчет на перевод в Москву и его, Русакова.

Не найдя, что возразить на неожиданное предупреждение, Русаков с растерянным недоумением посмотрел безмолвно на директора.

Наконец он шевельнулся.

— Скоро вы думаете ехать?—спросил он вместо возражений.

— Как только приедет жена.

— А, ну это, еще когда рак свистнет...

И он успокоился. Жена директора работала за границей в партийной организации, которую оставить было не так просто. Он вернулся к исходной теме разговора:

— Значит, я еду, Франц Антонович. Предупрежу Шаповала и завтра прямо на поезд.

— Езжайте.

Не встретив сопротивления со стороны директора, Русаков повидался с Шаповалом.

Шаповал поощрил его заботу о заводе, и Русаков отправился в Ростов, преподав предварительно Ефимии Захаровне относительно ухода за Ленькой тысячу всяких инструкций.

Подъезжая к Ростову, он в поезде узнал, что есть в Тихорецкой мастерская одного кавказца лудильщика, в которой эмалируется старая посуда. Если это было

верно, то оставалось пожалеть, что он не знал об этом раньше,—Тихорецкая была оставлена уже позади.

В Ростове на толкучем рынке Русаков обшарил всех тех старьевщиков, в лавках которых мог заметить подержанные книги. Ему удалось приобрести один общий технический указатель, в котором была специальная глава об эмалировании и глазировании металлической посуды. Уже это его выручало в том смысле, что осведомляло, какие материалы при эмалировке потребуются, если применить на заводе этот способ отделки посуды.

Он снял в гостинице возле вокзала номерок и немедленно же принялся за изучение интересовавшей его главы.

Усвоив достаточно ее содержание, он снова отправился в город. Он зашел в Совнархоз и попытался узнать, нет ли в городе завода металлических изделий, где применялась бы глазировка. Таких не оказалось. Но зато он узнал все, что ему было необходимо, о приобретении химических материалов и, проникнув на технический склад, приценился к стоимости тиглей и лабораторного инвентаря. Закупил в небольших количествах для опытных работ буры, селитры, олова, соляной кислоты.

После этого пробродил два дня по городу и самолично убедился в том, что не сохранилось никакого кустарного предприятия, применяющего интересовавшие его производственные процессы. Решил возвращаться и по дороге заехать в Тихорецкую.

В Тихорецкой пришлось остановиться также на два дня.

На базаре он нашел мастерскую лудильщика, о которой слыхал в вагоне.

Русаков принес с собой в мастерскую захваченный с завода чугунок и эмалированную синюю кружку. Переступил порог забавного металлургического предприятия и очутился в полусарайчике-мастерской.

Тут работал кавказец Вано Аганадзе. Возле него на полу, словно очаг сакли,—горн, самовары в глине, самовары на стенах. Части холодного и огнестрельного оружия, погнутые лампы и инструмент. Помощник—черкешонок.

Русаков поздоровался.

— Вы хозяин?

— Ми.

Бывший комендант «Централя» и врангелевский офицер усмехнулся тем превратностям судьбы, которые привели его к специалисту лудильной промышленности, но, тронутый сознанием несомненной полезности своего дела для завода, согнал с губ улыбку, освободил из газеты чугунок и показал Аганадзе эмалированную кружку.

— Такую полуду, товарищ, кацо, кунак... или как вас назвать?.. на чугунке, как на кружке, сделать внутри сумеете? Хочу поучиться от вас и заплачу за это... Слышал, что вы умеете.

Кавказец, не отрываясь от горна, в котором что-то нагревал, пробежал взглядом по кружке и чугуну.

— Ми еще лучше умеем. Только дорого, казяин. Дешевле купишь новый кастрюль. Весь материал дорого и негде купить. Никто теперь не делает.

— Мне посуда не нужна, а я хочу поучиться. Сколько возьмете, чтобы при мне сделать эмаль?

— Пять рублей червонными.

— Делайте. Когда вы будете работать это?

Черкес сообразил.

— Послезавтра.

— Долго.

— Скорей—дороже.

— Сколько?

— Если завтра—десять рублей.

— Здесь и делать будете?

— Здесь.

— Когда?

— Зачем тебе?

— Хочу смотреть, учиться.

— Приходи после обеда.

После обеда Русаков пришел.

— Закуривайте, кацо.

Сел, дождался, пока кавказец с черкешонком взялись за сковородники.

Лудильщик полой бешмета вытер чугунок. Взял грязную бутыль с жидкостью с верстака. Мочальным квачиком вымазал дно сковородника, предназначенное для эмалировки. Заставил мальчишку разогреть оба горна. Поставил тигельный котелок на один горн. На другой сковородник.

— Что это?—спросил, указывая на бутыль, Русаков.

— Не скажу, свой секрет. За секрет давай червонец. Все скажу. И лудить научу. И паять научу. И эмаль белую, черную, синюю и на железо и на золото сам наводить будешь...

Русаков подумал. Кавказец уже почуял, что может поживиться.

— Дам червонец—только за все, чтоб больше вы не запрашивали. Это соляная кислота, наверно?

Русаков вынул деньги, сунул их кавказцу и снова указал на бутыль.

— Сам знаешь, товарищ, а обманываешь. Это кислота.

Русаков указал на тигель.

— А здесь?

— Бура четверть фунта, мел—горсть, синька, селитра. Ми шибко-шибко греем, пока потечет...

— Ага! Хорошо..

Когда смесь в тигле начала плавиться, от тигля пошел удушливый пар.

Русакову сделалось трудно дышать, и начала кружиться голова. Кавказец и его подручный не обращали внимания ни на что, только чихали, сморкались, отираясь полами бешметов или рукавом, и продолжали каждый свое дело.

Русаков крепился, присматривался и соображал о том, насколько совпадал наблюдаемый им процесс работы с тем, что он вычитал об эмалировке в книге.

Когда смесь расплавилась, а чугунок разогрелся докрасна, черкес зыкнул на мальчика:

— Бросай! Давай!

А сам схватил чугунок, залил его сплавом и, держа посудину щипцами за оба края, закружил ей перед собой по воздуху, для того чтобы сплав равномерно лег по разогретой поверхности металла. Образовавшийся остаток через минуту слил обратно в тигель, после чего поставил чугунок на подставочку дном кверху остывать.

— Готово.

— Все?

— Все, только еще горячий. Когда холодный будет, можно варить и жарить.

— Ладно, вечером зайду взять, а вы покажете еще раз, чего сколько класть для полуды...

— Приходи, товарищ, покажем.

Через два дня Русаков возвратился на завод и начал собственноручно при участии Полякова производить первые опыты, приспособив для работы одно из кузнечных горнов. Через несколько дней его опыты были закончены, и он с торжествующим не менее его Поляковым явился в контору и выставил перед директором и Шаповалом около двух десятков эмалированных кастрюль и сковородников.

Шаповал, увидев результат долгожданного эксперимента, пришел в азарт.

— Хорошо. Эх, хорошо! Качать Александра Павловича! На карман как это выходит?

— Помоему, сходно. По двугривенному на штуку.

— Не больше?

— Давайте считать.

Сосчитали. Оборудование отделения особо больших

средств не требовало. Нужно было лишь приспособить две-три печи для варки сплавов. Для экономии в работе можно было чугун немедленно после литья вынимать из форм, прежде чем остывали отлитые предметы. Наружная отделка должна была производиться после эмалирования. Себестоимость каждой вещи должна была повыситься в среднем от восьми до десяти копеек на штуку. Весь расход падал на химический фабрикат. Зато посуда приобретала все довоенные качества, и часть ее теперь могла итти на продажу в городскую кооперацию.

— Ставьте печи и выписывайте материал,—решил Шаповал.—Подписываетесь, Франц Антонович?

Директор сочувственно согласился.

— Катайте!

Еще больше стало жизни на заводе. Замотался Русаков. Замотался тем больше, что кроме прибавки к работе втравил его Шаповал в компании с одной табельщицей, счетоводом и несколькими комсомольцами поставить спектакль в организовавшемся при заводе клубе. Только по праздникам и виделся теперь Русаков с сыном, если не считать, что по вечерам заставал его спящим в постельке.

Но зато у рабочих создалось уверенное, повышенное настроение. Стали поговаривать о том, что продукцию завода из Ростова требует уже и московский рынок.

Когда монтеры выполнили наряд, Даргачев уехал, а Поляков, как и решил, впрягся в работу Георгиевского завода еще на полгода.

Русаков помог балабошному парню остепениться в том смысле, что приспособил его к работе в качестве своего помощника при эмалировке посуды и втянул его полностью в интересы и дела цеховой жизни.

Поляков вошел в заводской коллектив и стал верховодить в ячейке.

Между тем завод гудел от работы. Постановкой производства Шаповал завоевал у хозяйственников края к себе доверие. Успех не заставил, однако, антрацитного дельца сложить руки. Он начал бунт по новому поводу.

Черноземная казачья косность, неподатливое к коммунистической новине население, живущее натуральным хозяйством, нелепо злой бандитизм контрреволюционных хуторских станичников, прикрывавших банды и организовывавших расправы над заезжавшими сюда работниками центра,—все это ему не давало покоя.

Шаповал значился председателем райсовета. Но его значение в округе далеко перевалило за рамки его официального положения.

Местных рабочих он организовал когда-то в поход против белых. С ними пережил революцию и с ними же теперь поднимал хозяйство.

Поэтому Шаповал для всего округа был символом власти в лучшем смысле этого слова. Население любило его. Бак с кипятком на станции именуется в шутку «кубом имени товарища Шаповала»,—Шаповал распорядился поставить. Главная улица в городке— «улица Шаповала». И даже писсуар возле конторы завода, воздвигнутый по просьбе рабочих, с любовной шуткой зовется «писсуар имени товарища Шаповала»: он велел сделать.

Но Шаповал хотел покончить с хозяйственной отсталостью округа.

Зная, с какой стороны надо к этому делу подойти, предпринял штурм Ростова. Он решил вовлечь заинтересованные организации в сговор о постройке железнодорожной ветки от Владикавказской линии до городка Баталпашинска, у самого Зеленчука, славившегося в качестве гнезда, в котором плодились банды.

С этой идеей постройки железной дороги протяжением в какие-нибудь восемьдесят-сто верст Шаповал

выступил уже тогда, когда только начинал восстанавливать завод. Но тогда это оказалось преждевременным. И Шаповал не настаивал: много хлопот было и без того для советской власти. Но теперь кампания Шаповала вызвала отклик, и первым ее успехом было проведение Шаповалом на краевом съезде советов постановления о ходатайстве перед центром по поводу постройки ветки.

Это произошло вскоре после введения на заводе новой работы с эмалировкой посуды.

Возвратившись со съезда, Шаповал только заглянул на завод, чтобы сказать, что он едет с инженерами из Невинномысской до Баталпашинска для осмотра местности по проекту железнодорожной ветки, составленному еще в довоенное время, но отложенному тогда из-за начавшейся войны. Из Невинномысской, где был охранный комиссарский пункт, он должен был выехать с двумя ростовскими специалистами путейцами на автомобиле, и ему нужен был какой-нибудь технический помощник.

Русаков, зная, как ждет всякого случая, чтобы повидаться с Химой, Поляков, и предвидя, что при поездке через хутора монтер этот случай выберет, предложил Шаповалу взять с собой рабочего-москвича.

Поляков проникся благодарностью к мастеру. Спустя неделю он возвратился в упоении от состоявшегося свидания и явился к Русакову засвидетельствовать почтение и передать поклон от георгиевских погорельцев.

Но он с Невинномысской возвратился один, без Шаповала.

Шаповал остался действовать на месте.

В это время в кубанские и донские станицы приехал проведать казаков и поговорить с ними у самых станичных куреней о местных делах глава советского правительства, Калинин.

Напористый рабочий, предприняв по всему фронту наступление во имя своего строительского плана, решил и это обстоятельство использовать, чтобы бросить лишнюю лопату угля в топку под разведенные им пары. Объезд района с инженерами он использовал для того, чтобы устроить несколько митингов и поднять самих казаков в защиту вопроса о железной дороге. В двух станицах ему удалось побудить кубанцев выбрать делегации к Калинину, и вот во главе этих делегаций он пересек рейс всероссийского старосты, застиг его поезд в Приморско-Ахтырской станице и с триумфом ввел в вагон пяток матерых бородачей.

Как развившему на сто процентов коммунизмом заводскому деляге удалось двинуть артиллерию такого густопсового казачества в политику—можно было объяснить только секретом шаповаловской приспособляемости к людям. Но визит к всероссийскому старосте оказался серьезным.

Сам Шаповал с Калининым имел дела и раньше, но теперь он сделал вид, что явился к нему лишь представить казаков.

Выступил вдруг впереди пяти заполнивших бородами вагон и солидно затолкавшихся, чтобы дать друг другу побольше места, степняков в парадных бешметах, с кинжалами в серебре, и аттестовал делегацию:

— Вот, Михаил Иванович, вы в гости к нам, а станичники—к вам. Послужили они белым, было время, узнали теперь про новый курс в отношении казаков, говорят, что будут служить и советам. Белых раскусили. А теперь у них к вам большое казацкое дело...

И для придания важности голосу представителей народа отступил в угол.

Михаил Иванович с веселым смешком поздоровался:

— Казаку раскусить, где зимуют раки, немудрено. Кавалерийская техника! Как воевать—к кобыле: хвост поднимет, рот разинет, всю буржуазию видать... Хе-хе! Здравствуйте, садитесь.

Казаки, еле справляясь с дремучими бородами, стали располагаться по бреслам вагона.

— Какое же дело у вас? Из каких станиц, граждане?

Казак Заболыгин, атаманствующий некогда в Беломечетской, переглянулся с остальной делегацией и, встретив поощрительные взгляды, крякнул. Он вследствие старшинства и опыта сношений с властями должен был сказать первое слово и решительно переступил ногами:

— Вот, Михаил Иванович,—и он провел в сторону станичников рукой,—передаем мы вам благодарность от наших стариков, что вы и казаков не забываете, самолично удостоили завернуть в станицы, а кроме того и такая у нас просьба. Хоть нет продразверстки, но налогу все-таки не избежишь. Для налога надо продавать урожай, надо свозить на станцию семечки... а что бахчи у нас на миллионы арбузов растим и сами поедаем, оттого что на телегах их не довезешь до города,—так это и говорить уже не стоит. И вот говорили давно уже среди нас партийные... решили мы, что обязательно на Кубани до Баталпашинска надо провести чугунку... Я говорю от беломечетских жителей, которые наказали мне поехать к вам с товарищем Шаповалом.

Казак Гапонов, которому подкивнул Шаповал, немедленно встал, чтобы подтвердить:

— Беломечетские просят—им на тридцати верстах надо пересиливать кубанское многобережье. А нам, баталпашинцам, такой радости—пятьдесят верст. Мы тоже поддерживаем просьбу, чтобы власть взялась за это дело.

— И мы просим, всем надо, из-за того приехали!— стали вставать и пересаживаться ближе делегаты.

Шаповал смиренномудро держался в уголке, ухмыляясь тому, что дело ладится.

Михаил Иванович добродушно закивал головой на первую же речь.

— А, знаю, знаю! Слышал. Мне уже доложили, что краевой съезд советов эту дорогу считает необходимой. Но раз советы решили строить, то дорога будет. Было ведь на съезде постановлено?

— Да, постановление было... Но ведь и до войны еще николаева свадьба тут собиралась дорогу сделать. А вот нет же.

— То николаева свадьба! Им проекты дорог нужны были не столько для дела, сколько для того, чтобы разводить сею-вею заграничным деньгам. Нам же надо построить без заграничных денег. В государстве сейчас много более неотложных расходов. Вот дорога нужна и вам и нам. А поддержат ваши советы своими средствами постройку дороги? Помогут казне шпалы заготовить или что другое сделать?

— Мы, Михаил Иванович, от советов далеко,—признался Заболыгин.—Одни—нетрудовой элемент, другие не уважают станичных советчиков за нехозяйственность. Но краснодарские и ростовские учреждения, понашему, правительство заставило бы вынуть что-нибудь из копилок. На то у власти рабочие...

Шаповал решил выступить.

— За рабочих я скажу... Постройку берутся поддержать и участвовать в ней средствами Краснодарский губсоюз, Ростовский совнархоз, Кубанодонской маслотрест, наш Георгиевский чугуннолитейный завод. У нас, товарищ Калинин, во время краевого съезда было совещание по этому поводу, и мы хоть живот надорвать себе решили, но дело до конца проведем. Наше постановление мы вам послали.

— Эт, какие вы скороспелые... Хе-хе-хе! Ну, обещаю, товарищи станичники, вашу просьбу поддержать в правительстве. Лишь бы дружно шла рабочая и казачья жизнь.

— Да на одном деле, товарищ Калинин, оно всегда дружней... Мы и товарища Шаповала и всякого ва-

шего работника будем уважать, если сообща с нами все будет делаться.

— Будет, будет, товарищи станичники. Давайте-ка мы с вами попьем чайку за успех этого вашего дела, да расскажите мне вот по правде, как поладить вас с иногородними. Жалуются они на вас, товарищи станичники. Не любите вы их, правда, да жалуются и они...

Молодой человек внес из-за перегородки поднос с чаем и булками, поставил подле каждого стакан на стол.

Сняли казаки барашковые кубанки и расстегнули бешметы. Чай хотя и праздничное дело, но для компании со старостой лестно было усесться попрочней.

— Что иногородние?—рассудил Заболыгин.—Иногородние по человечеству хотят жить не хуже нас, а нам и самим давно уже тесниться приходится, так что меж нас третьему и не всунуться...

Калинин прицеливался к казакам, видел: крепкожилый, неуступчивый народ. Надо было поработать, чтобы советская молотилка перемолотила казацкую дедовщину.

Поговорили по-душам. На прощанье и казаки и Калинин обещали в Кремле повидаться, когда будет Всероссийский съезд советов.

— Приезжайте-ка, кого-нибудь из вас увижу!—предсказывал Калинин.

— Пошлют—так поедем! Спасибо за приглашение.

И когда возвращались из вагона, Гапонов предложил своему одностаничнику, рябому Сысою:

— Выберем, дядя Сысой, Михаила Ивановича в почетные казаки нашей станицы, чтоб показать уважение.

Сысою за станицу это показалось тоже лестным.

— Поговорим с стариками и спросим согласия граждан.

Шаповал после этой аудиенции уверенно ждал решения центра.

Ничего нового не произошло до осени. А осень принесла событие, которое заставило техника Русакова еще раз, хотел он этого или не хотел, принять сторону тех, кого он прежде сам считал своими врагами.

Погорельцы-хуторяне, Афанасий и Хима, добатрачили у Пономарева свой срок. Хуторской богатей-кубанец хозяйничал на положении полупомещика в экономии на берегу горной речушки, в пяти верстах от станицы. Кроме батрака с дочерью работали в поле он сам, жена и его дочь Фрося, невестившаяся подобно Химе. Ни убитому ударом судьбы неудачнику Афанасию, ни Химе жаловаться на батрацкую долю не приходилось, потому что на кабалу вынудили пойти несчастья. А Пономарев работу для них находить умел. После работы в поле отцу и дочери приходилось и вечером дорабатывать по хозяйству хвостки дневных дел и утром вставать раньше хозяев. Все надежды на перемену положения откладывались до расчета с Пономаревым.

Но вот не только ссыпана в амбар пшеница, но и побита кукуруза, поломаны подсолнухи. У Пономарева отяжелели житницы. Запеклась и загорелась на железных крышах усадебного дома и амбара сладко пахнущая от степного ветерка сушка порезанных абрикосов, провяливаемых под солнцем на зимний запас.

Когда приблизилось время расчета, Пономарев с каким-то скрытым намерением стал испытывать батрака по поводу его планов на наступающую зиму.

Раз вечером, когда женщины готовили похуторски на дворе вечерю, а батрак сидел и ждал стола в холодке дерев, вышедший из сенец дома хозяин покрутился возле деревьев, рассматривая их, а потом, будто без особого умысла, спросил:

— Ну что, Апанас, работаешь-работаешь, а заработанное за зиму проживешь в чужих людях? Своей

хаты ведь зимой не заведешь? Ай думаешь экономию вымахать лучше моей?

Крестьянин смутно, с горестной завидкой взглянул на сад, пробежал дальше взглядом по крыше дома, по соседним домам хутора и через ручей, через лужайку и степную дорогу перемахнул на бугры начинающихся гор.

Благодатно да пряно в плодоносном предгорьи, среди хуторского холодка, подсиненного яснолазурным небом. О чем-то журчит здесь день и ночь переплескивающаяся через дикое случайное каменье речка; дружно и парадно-блескуче высыпают звезды; лишь наступят потемки, раскатываются по утрам чижи; из каждой щели амбара, погреба, клуни и сенцев обдает пряным запахом продуктов и пшеницы; в конюшне отфыркиваются три коня и две коровы, но все это — чужое. Пономарев не даст даром из этих запасов и косточки от абрикоса, постарается сам еще отнять у другого последнее.

А у батрака хоть бы четыре стены были, где пережить до весны.

Шевельнулся Колтушин вместе с камнем, на котором сидел, снял с головы растерянно и беспомощно фуражку, качнул головой.

— Где там до экономии, Аверьян Гаврилович? Хоть бы так кто пустил пережить... Буду просить совет, чтоб помогли. Главное, быков до весны передержать.

Опустил с покорностью судьбе голову, будто считая в порядке вещей интерес хозяина к его делам, не без надежды подумал:

«Может, на зиму оставит?»

Но это Пономареву было незачем делать, а о другом погорельцу и думать не хотелось.

— Совет-то там переизбрали, знаешь?

Пономарев спрятал зловещую улыбку в усы и процедил в пояснение:

— Теперь наш гражданин, Никанор Сорокоухов, станичной властью там... Председатель...

Афанасий больше приник к земле, шевельнув головой так незаметно, что и не увидел этого Пономарев. Сообщение было для батрака ударом. «Наш гражданин»—это означало старозаветный казак, который из принципа оставит без помощи иногороднего крестьянина, если такой обратится с просьбой в совет.

— Что ж, придется на станции или где искать работы!—покорился обстоятельствам погорелец.

Пономарев повернулся спиной к солнцу, и в белесопрозрачной поднебесной пустоте двора его фигура в черном полурасстегнутом бешмете с обугленно-смоляной бородой и набалдыжинами выстеганных в мерочку плеч угрюмой тучей шевельнулась на батрака с жадно подавленным вопросом:

— А быки?

Он начал топтать ногой переползавшую по сушняку дворовой травы козявку и напряженно нагнулся к носкам сапог, скрывая, что ожидает ответа с горящими от нетерпенья ушами.

— Придется продать.

Пономарев облегченно выпрямился.

— Так... Не везет тебе!

Пошел к столу

— Иди вечерять.

Спустя две недели срок найма батрака кончился. Пономарев позвал Афанасия рассчитываться. Он сидел за столом после обеда. Он еще с утра предупредил работника, что сегодня рассчитываться, но оттягивал расчет, хотя и знал, что Хима уже увязала в узелок одежу, а Афанасий приготовил телегу. Воля была его, и он дотянул до вечера.

— Получай казну!—отсчитал Пономарев деньги, высыпав кучу бумажек перед собой и подвигая ее работнику.

Афанасий проверил, собрал и увязал в платок деньги. Засунул узелок в карман свитки, не придавая значения тому, что казак с хищной прищуркой глаз косит за каждым его движением. Нахлобучил шапку.

— Ну, спасибо за все, Аверьян Гаврилович! Запрягу, попрощаемся да и поедем.

Расчет был получен, а в дальнейшем Колтушин и сам не знал, куда приткнется теперь. На станции Невинномысской предстояло искать удачи, туда и решил он ехать с дочерью. Тяжело повернулся к Химе, ждавшей его с узелком.

— Постой,—остановил его хрипло казак.—Продай мне быков...

У Афанасия на душе было смутно. Он ничего особого не заметил в хозяине, а с быками и сам не знал, что делать. Он успел проверить сообщение Пономарева о новом составе совета в станице, где рассчитывал выпросить себе земли. Быков все равно пришлось бы продать на станции, так как надежды на собственное хозяйство окончательно рушились.

— Так чего ж, Аверьян Гаврилович... Вы, сколько они стоют, может, не дадите, а продавать мне их надо.

— Не обижу и я, дам больше других. Мне, сам видишь, без быков в будущем году не обойтись.

— Покупайте, если платить хотите по совести.

— Тебе же добро хочу сделать... Сколько хочешь за них? Все одно—куплю.

Погорелец помялся, собрался с духом.

— Сто, Аверьян Гаврилович, для капитала, да две десятки туда-сюда...

— Сто двадцать значит?

— Сто двадцать.

— Это с других столько, а мне бы можно и подешевле за то, что выручаю тебя... Ну, да ладно,—богатей, богатей! Пускай на Кубани прибавится одним хозяином... Ха-ха!

Пономарев зловеще усмехнулся и, вытянув снова

кожаный кисет с деньгами, немедленно отсчитал запрошенную сумму.

— Не торгуюсь, видишь. Получай да радуйся, что у хорошего хозяина работал.

Афанасий, чуть смутившись неожиданностью сделки, не заподозрил, тем не менее, угрозы в поведении хозяина, подумал только, что казак задается и куражится.

Хозяйка, женщина с перехватом за средние годы, с полнощекой и конопатой зубоскалкой Ефросиньей возилась с тестом для хлебов из новой пшеницы и искоса наблюдала за происходящей сделкой, не упуская ни одной подробности. Хима, готовая сказать всем «прощайте» и последовать за отцом, сидела на скамейке и ждала.

Погорелец, получив деньги, кивнул дочери. Вдвоем повернулись к хозяину и к бросившим тесто женщинам.

— Ну, прощевайте, Аверьян Гаврилович и Аксинья Самсоновна! Прощевайте, Ефросиния Аверьяновна! Спасибо за хлеб за соль и не обессудьте, если чем не угодили.

— Прощай, прощай, Апанас! Забарились вы, темно, как бы еще чего в ночь не случилось с вами. Скорее идите, чтобы пораньше на станцию попасть.

— Кто там нас тронет, Аксинья Самсоновна? Мы не начальство и не из города откуда, а здешние же, всякий увидит.

— Ну, с богом, с богом!

Хима и Фрося переглянулись жалеющим друг друга взглядом. Они за спиной родителей посвоему сдружились, деля между собою свои девичьи дела и секреты.

— Я, папанька, провожу немного Химу и пойду к мельниковой Шуре. У них сегодня из Красной армии Сергей в гостях, и у Шуры соберутся все девки.

— А пробудешь там долго?

— Может быть, заночую.

— Иди, да чтоб не очень развешивать уши на басни этого Сережки. А то знаем—Комсомол...

— Я буду с нашими.

— Иди.

Поклон всей хозяйской семье—и работники вышли в сопровождении Фроси.

Пономарев оглянулся и посмотрел на жену. И следившая за ним взглядом жена, возясь возле печки, чего-то ждала.

— Дай мне старые сапоги и одежу. Я оседлаю гнедка да заеду к карачаю Джараеву, поторгуюсь насчет ружья, хотел он продать мне... Кгы-кг!.. Так и скажешь, если принесет кого.

Женщина знала, что означало это процеженное сквозь зубы предупреждение. С соучастническим многозначительным безмолвием она согласилась.

— Хорошо. Ты чего ж, револверт хоть взял?

— Взял.

Пономарев нарочно задерживал расчет до вечера под разными предлогами. Знал, что погорельцу с дочерью другой дороги нет, как только итти к Невинномысской через перевал гор двадцать верст. А на этих перевалах бандиты...

Злой умысел овладел думами казака-богатея. Он наполовину опустошил свой наполненный деньгами, вырученными от продажи хуторских продуктов, кисет. Часть из того, что осталось у него, он еще должен был отдать для выплаты налога. Из-за этого разве он хозяйство вел? Он решил овладеть быками которые принадлежали батраку, и денег приэтом не лишаться.

После ухода батрака он переоделся, вышел обследовать двор, заглянул в конюшню, посмотрел на быков. Дождался темноты и, оседлав коня, обернулся к вышедшей жене:

— Ты смотри!

— Хорошо!—сказала жена.

По соседству с хутором было несколько усадеб других казаков, а ниже по речушке стояла водяная мельница. Женщина кивнула на ближайший дом.

— Я пойду к Дарье, они ездили в город, узнаю, почем продали арбузы.

— Иди, да недолго.

— Сейчас.

Казак тронул лошадь и отмерил, сторонясь дороги, полверсты, а затем погнал коня к Невинке. Хозяйка, не запирая хаты, вышла со двора и очутилась у порога соседского дома, куда вызвала побалабошить свою куму. Тут перед домами лежала дорога, сквозь наступавшие сумерки виден был бы всякий человек, приближающийся из степи к хутору. На хуторе же все население было свое, друг от друга не прячущееся.

Но казачка заговорилась, а в это время вернулась с мельницы дочь Пономаревых, Фрося. Красноармеец — родич мельника, которого пошла повидать девушка, был в станице, и его приятели и знакомые девицы разошлись по домам; пошла домой и Фрося. Она увидела, что мать болтает с соседкой, а отца нет, решила ложиться и, не зажигая света в горнице, свалилась на постель. Когда мать вернулась, она уже спала.

Пономарев, выехавший вслед за батраком, сперва сторонился дороги, а потом не спеша проехал по тракту около двух часов. Он заранее рассчитал, в каком приблизительно месте догонит путников. Тут в верстах пятнадцати от станции, вдоль берега Кубани, находилось несколько выгорблин, заставлявших дорогу вилять и по линии ее направления и по профилю. Казак-бородач в этих выгорблинах и намеревался застигнуть батрака. Но он уже въехал в них, а путников еще не нащупал ни глазами, ни слухом. Было уже совершенно темно. Он пришпорил лошадь. Лошадь затопала копытами в глухом галопе, глуша удар ударом и будто колебля темную степную тишину.

Этот галоп преследователя вдруг услышал оказавшийся весьма близко от этого места батрак.

Ничего особого не было бы, скачи на лошади кто-нибудь со станции навстречу. Но верховой с гор в ночное время и как раз в этом месте—это было так неожиданно, что погорельца обдало холодом.

— Постой, дочка!—вздрогнул он, останавливаясь.— Что-то недоброе...

Хима испуганно остановилась. И она услышала галоп.

Афанасия охватил смертный страх. Что-то подсказывало ему, что он гибнет. Он быстро вынул узелок с деньгами и сунул его Химе.

— Нá деньги, иди берегом, пока проедет. И если ничего, то придешь, пойдем тогда дальше, а, упаси бог, бандит, да что сделает со мной,—не пикни, чтоб тебя не увидал, и скорее убегай. Да беги не в Невинку, потому что там на ровном он тебя увидит, а берегом, берегом, под кручами, обратно к хозяевам. Расскажешь все и до утра хоть переждешь у них. Скорей ступай!

Погорелец, трясясь и чуть не падая, толкнул дочь к спуску под берег, а сам быстро зашагал по дороге.

В ту же минуту из-за последних выгорблин показался всадник. Он увидел человека. С удивлением отпустил на мгновение уздечку, увидев, что человек один. Пономарев,—это был он,—подумал, что он догнал не того, кто ему был нужен. Но узнав наконец фигуру батрака, он сейчас же объяснил себе отсутствие девушки.

Пономарев решил, что Хима осталась с Фросей у мельника до утра.

Он подскакал и осадил коня возле погорельца.

— Эй, человече, это ты?

Погорелец поднял руку, чтобы перекреститься.

— Да это кто?—еле выговорил он, сжавшись от ужаса и не узнавая хозяина.

— Свой, а ты думал—бандиты за тобой гонятся?

Ха-ха! А ну, добрый человек, помоги мне. Копыто сбил гнедко, что ли, давай посмотрим! Спереди, вот на этой ноге...

Еще больше задрожал погорелец, узнав хозяина, но, не будучи в состоянии ни пересилить страх, ни сопротивляться и чувствуя, как подкашиваются ноги, не стал ничего спрашивать, а наклонился вместе с казаком к копыту коня. Только успел он, однако, перегнуться, шевельнувшийся смертной тенью кубанец чем-то махнул возле него, и тяжелый стальной шкворень раскроил работнику череп.

Батрак не охнул, рухнул под ноги лошади. Лошадь, сдерживаемая поводом, переступила, отодвигаясь задом в сторону.

Кто-то вскрикнул на берегу, когда ударил казак батрака, но Пономарев этого крика не слышал. Он цыкнул на лошадь и стал обшаривать убитого.

Ужаснувшаяся Хима, наполовину увидев, наполовину угадав, что произошло, вскрикнула и ринулась бежать. Девушка не узнала в темноте Пономарева. Она бежала к хутору, стоная иногда против воли, вскрикивая, будто кто-нибудь сзади замахивался на нее дубиной. Несясь изо всех сил, не чувствовала ни камней под ногами, ни оврагов.

Так бежала она до самого хутора. И застучав в дверь, она остановилась перед открывшей дом хозяйкой, падая от изнеможения.

— Ой, тетенька Аксинья, тятю бандит убил! Вот, тетенька, деньги! Отец все отдал мне, чтоб я бежала.

Казачка приняла сердобольный вид и не дала заметить, как ее обеспокоило возвращение спасшейся девушки. Только на один момент сжалась выжидательно и сейчас же захлопотала.

— Вот грех-то, вот горе за горем на ваш род, девка!.. Ну, пойдем, опомнись хоть в хате. Я одна, и дома сейчас никого нет. Буду хлеб ставить, тесто взошло, и печку затопила. Иди в горницу, заночуй на фросиной

постели, она все одно только утром теперь придет... Деньги спрячу в сундук, не бойся!

Хима немотно вздрагивала. Делала все, чтобы ей ни сказали. Покорно согласилась лечь. Безропотно вошла в горницу. Но она не сделала в ней и двух шагов, чтобы поискать в темноте постель, а тут же возле порога опустилась на пол и, прислонившись к двери, замерла от ужаса перед тем, что только что случилось.

Слезы текли у нее из глаз, но она ничего не видела, не слышала и не сознавала.

Только спустя некоторое время она пришла в себя, услышав вдруг лошадиный галоп. Она затрепетала и вскочила. Тот самый галоп узнала она, который предупредил и ее отца о приближении бандита. Всадник же въехал прямо во двор. Хима чуть приоткрыла окно и прильнула к щелке створок, слушая и всматриваясь в приехавшего. Это был хозяин, и, видно, жена его ожидала, потому что, лишь казак очутился на земле, хозяйка оказалась возле него и таинственно предупредила:

— Все сделал зря?

Казак остановился.

— Обморочил сукин сын, забеглый! Должно, деньги девке отдал... А искал девку—не нашел. Может быть, у мельника?

— Тише, она здесь... Спит на фросиной постели, я ее уложила. И деньги мне отдала с переполоху до утра.

— Что ж ты молчишь? Фроськи нету?

— Нет.

— На, отведи коня!—заспешил казак.—Надо сегодня будет и оттащить ее подальше... Сейчас я...

У него в руке затемнел шкворень. Он оставил жену, а сам шагнул в дом и сейчас же очутился возле дверей горницы.

Хима затряслась и забилась в угол, ближе к двери. Нельзя было выскочить в окно, потому что во дворе

была хозяйка. Дверь тихо начала подаваться вперед. Потом распахнулась, и в то время как у Химы от ужаса спиралось дыхание, казак очутился у постели. Кто-то там дышал. Казак махнул шкворнем, что-то треснуло и забилось со смертным, обледенившим у Химы все жилы стоном. Одновременно с жертвой вскрикнула и она, поняв, что убита Фрося, и вся съежилась.

Остервеневший от крови казак не услышал и теперь сдавленного крика Химы. Продолжая думать, что он убил батрачку, и зная, что деньги у жены, он пошел за мешком, чтобы в нем унести к Кубани труп.

Хима бросилась к окну. Вылезла и без всякой мысли о том, что это зачем-нибудь нужно, закрыла окно. Потом оглянулась, выбежала на двор и, выскочив на дорогу, побежала опять к Невинномысской.

Близилось уже утро, а она бежала, падала, поднималась и опять, задыхаясь, порывалась бежать. Потом сообразила: в Невинке ее не знает никто, и, может быть, ее же обвинят во всем, что произошло. Она взяла в сторону и направилась на Георгиевск. Кто-то дорогой сжалился над ней и подвез ее до Георгиевска на подводе. К обеду она была в Георгиевске на заводе. Вызвала Полякова. Монтер, услышав от нее, что произошло, вместе с пострадавшей явился в контору и оторвал от работы Русакова и партийных товарищей.

Шаповал в этот день уехал в Грозный со всем советским штабом на совещание для увязки с грозненскими товарищами вопроса о ветке на Баталпашинск. Кровенюк где-то открыл самогонный завод и был вместе с командой в какой-то станице.

Пришлось Русакову, когда он кое-как добился связного описания разыгравшейся трагедии, решать, что предпринять для того, чтобы и убийца в своей хуторской отдаленности от власти не избежал наказания и, по крайней мере, не пропали химины деньги. Безучаст-

но отнестись к происшедшему нельзя было, не вызвав охлаждения к себе со стороны Полякова и его друзей.

Надо было немедленно дать знать в Невинномысскую на охранный пункт. Но и Невинномысская немедленных мер принять не могла. Как раз в этот же день утром в горах подверглись зверскому нападению и были перебиты несколько московских больных, возвращавшихся с Тибердинского курорта, расположенного в тылу этого района. Отряд охранного пункта гонялся за бандой, совершившей это нападение, и на пункте никого кроме одного-двух дежурных сотрудников не могло быть.

Так говорили, по крайней мере, коммунисты заводской ячейки, присутствовавшие при разговоре и рвавшиеся отомстить за убийство.

— Что ж, товарищи,—решился Русаков,—надо что-нибудь делать, если так. Не падайте, Хима, духом! Власть рабочая пока что, а не бандитская. Изувер этот ответит за вашего отца головой. Товарищи, остается одно: если подчинитесь мне, хоть я и не коммунист, то пошлем в Невинку телеграмму, чтоб там знали... Франц Антонович разрешит нам поехать, а вы от комитета возьмите согласие, вооружайтесь человек пять и едемте... До Невинки попросим дрезину, а там найдем автомобиль.

Рабочие оглянулись на директора.

Франц Антонович качал головой, будучи расстроен общим возбуждением. По возмущению собравшихся понял, что препятствовать—немыслимо, и согласился:

— Поезжайте, если комитет разрешит. Война почти опять... Завтра только чтоб завод не остался без Шаповала и без Русакова. До вечера я обойдусь.

— Сбегайте в комитет за бумажкой, кого там знают!—велел Русаков.

— Я пойду и товарищ Громов,—заспешил Поляков, приглашая с собой секретаря заводской ячейки.

— Идите и оттуда—прямо на станцию. Мы тоже

туда. Пусть дадут пролетку. Собирайтесь живей, товарищи! Идемте, Хима, мы вас в Невинке оставим, вы там расскажете все в комиссариате. Зайдемте к сторожу.

Русаков взял у сторожа револьвер. Экспедиция из семи человек получила дрезину. Достигли Невинки и на автомобиле, с одним из сотрудников охранного пункта, под вечер были на хуторе.

Пономарев весь этот день находился в пришибленном состоянии. Уничтожив ночью следы убийства, он заставил жену, после того как труп убитой был отнесен и зарыт в яме, при свете зажженной лампы привести в порядок постель. После этого он и жена легли спать.

Поздно утром проснулись, так и не подозревая, что жертвой ночной расправы сделалась их собственная дочь. Когда они встали,—Фроси еще не было. Собрались снедать—девка еще не являлась.

После завтрака, когда казак уже и со скотом управился и до хозяйства приложил руки, уединившись в амбар, где стал по количеству набитых подсолнухами мешков пересчитывать урожай семечек, Аксинья метнулась к мельнику. Оттуда возвратилась перепуганной.

— Аверьян! Аверьян!—стала звать она, лишь закрыла калитку.

Пономарев с горстью пшеницы высунулся из амбара и сейчас же шагнул к переполошившейся жене.

— Что ты?

— Еще вчера Фроська пошла домой от мельника. Не собрались там девки... Сергей в станице был.

— Куда пошла?

— Домой!—дрожа от страшного подозрения, выдохнула Аксинья.

Пономарев разжал горсть; зашуршала, просыпаясь на землю, пшеница. Он почему-то шагнул в темную дыру дверей амбара и переступил уже порог, но озверело вдруг повернулся:

— Молчи! Не пикни!

И, ничего больше не сказав, пошел к конюшне. Постоял здесь тупо против дыры обложенного кизяком входа. Потом вошел в хату и, поймав взглядом жавшуюся, как и он, от страха в угол жену, остановился перед ней угрюмой махиной, выговорил хриплый вопрос:

— Ты ж говорила, что там Химка! Нечистая сила тебе заморочила глаза, что ли?!

— Так пустила ж Химку. В сундуке и деньги лежат. Если хочешь—посмотри...

— Достань!

Женщина бросилась к сундуку, спеша и сама увериться, что происшедшее было не адским навождением, и трясущимися руками подала сверток, сунутый ей накануне Химой.

Казак остолбенел, получив в руки этот сверток. Полуразвязал его и нащупал бумажки денежных знаков. Мелькнув глазами по раскрытому сундуку, швырнул в него деньги и еще раз угрожающе зыкнул:

— Молчи!

Он оглянулся и, подойдя к скамье, бухнулся на нее.

Уже все вопило о том, что им погублена дочь. Но этому немыслимо было поверить. Оставалось только ждать ночи. Убитая была закопана в овраге над Кубанью, вблизи дороги. Лучше всего было разрыть ее, для того чтобы убедиться в том, что произошло. И он и жена теперь ждали одного—чтобы поскорей кончился этот несчастный день.

Наконец стемнело. Молча, будто каждому спирало дыхание, стали вечерять, нарочно при лампе, чтобы дотянуть как-нибудь до ночи. Повечеряли. Взялся Пономарев за бешмет. Хотел снять его со стены и опустил поднявшуюся руку, вслушиваясь в шум зарокотавшей на дороге машины.

Кто-то, видно, из комиссаров ехал в Баталпашинск на моторе. И казак прохрипел:

— Чорт их носит!

Сдернул бешмет и стал одевать его, но вдруг опять остановился.

Мотор затарахтел у самых ворот, пыхнул со взгудевшим гулом еще раз и смолк. Почти одновременно у двери раздался топот ног, и через секунду в горницу ввалилось несколько вооруженных людей. Среди них—тот техник, который впустил на завод мельника, когда тот покупал посуду, и кавалер Химы, наведывавшийся один раз на хутор.

Сотрудник охранного пункта и Русаков выступили вперед.

— Ну, гражданин Пономарев, приехали, надо кое о чем вас спросить... Садитесь, будем спрашивать вас. Товарищ Толмачев, позовите соседей в понятые. Двое будьте наружи, а с нами останется один Поляков, чтобы не выпускать никуда хозяйку.

— Что ж, спрашивайте. Садитесь и вы, гостями будете. Нам бояться нечего,—попробовал было сохранить спокойствие подавшийся назад казак, бегая взглядом по окнам.

— Садитесь!—потребовал Русаков, обходя его со стороны окна.

Комиссар одобрительно кивнул Русакову головой и вынул из портфеля бумаги.

В горницу вошли несколько поднятых почти насильно охраной и ропщущих на то, что не дают им отдохнуть, хуторян-казаков.

Комиссар-следователь предостерегающе покосился на них, а Русаков, скрестив свой взор с их негодующими взглядами, успокоил:

— Обождите, обождите обижаться, граждане-хозяева! Это вам уж не шуточки. Это коммуниста ограбить—не дошкулишь вашего брата, старовера, а тут и посторонний подумает...

Следователь снова одобрительно закивал головой и, записав фамилии понятых, начал допрос.

— Где, гражданин Пономарев, ваши батрак и батрачка?

Пономарев махнул рукой.

— Где ж оны!.. Вчера рассчитался с ними, заплатил за быков им, и пошли они к Невинке.

— Так! Через некоторое время после этого, когда стемнело, вы оседлали коня и поехали куда-то. Не можете ли сказать нам, куда вы ездили?

Понятые переглянулись. Эта поездка соседа им была неизвестна. Но Пономарев не стал ее отрицать.

— Я действительно ездил, но только не куда-нибудь, а к карачаевцу одному, сговаривался с ним раньше, чтобы купить ружье для всякого случая, и вот поехал кончить это.

— Это мы проверим. Батрака и батрачку взялась проводить ваша дочь Фрося, которой нужно было пойти на вечер к мельнику Водопьянову. Она собиралась там пробыть до утра, но вернулась, когда стемнело, в этот же день и легла в своей горнице спать... А где теперь ваша дочь?

Следователь вопросительно поднял голову и смолк. Жутким холодком на мгновение дохнуло по комнате. Но сейчас же все задвигались. Шевельнулся Русаков, и тяжело задышали понятые, ахнувшие от догадки о том, что произошло что-то из ряда вон выходящее.

— Ай-я-яяй! Вот так дела!

Пономарев понял, что пойман. Пот выступил у него на лбу, он зверем оглянуся на понятых. Тяжело опустился на стул.

— Шукайте, если что знаете...

Следователь остановился. Такого упорства он не ожидал, думал, что казак проговорится, а он, почти признав вину, замолчал, оставляя следствие без улик.

Русаков понял беспомощность следователя и медленно повернулся к казакам. Взвел курок револьвера, с силой выпрямился и гневно заговорил:

— Этот... ваш сосед рассчитался с батраком за работу и за быков, потом догнал и убил его. Когда вернулся, то думал, что в комнате находится дочь батрака, хотел и ее убить, но убил случайно собственную дочь и куда-то отнес, спрятал ее труп. Я не коммунист, на государственной службе не состою и потому поступлю посвоему...

В нем проснулась та непреодолимая сила духа, которая парализует волю других людей.

— Если этот зверь не скажет сейчас, где спрятана убитая, я тут же при вас размозжу ему голову, а затем будем искать. Говори!

Он весь вспыхнул, звякнувшим выкриком заставляя всех податься в сторону, и очутился с револьвером перед поднявшимся Пономаревым.

Рядом с ним оказался Поляков.

Пономарев вздрогнул и подался назад.

— На берегу возле мельницы закопана!—выговорил он, кляцая зубами.

— Хорошо... Сядьте на место... Сядьте на место, я говорю!

Пономарев, не сводя глаз с усмирившего его человека, сел.

Русаков устало опустил револьвер. Он иногда мог вспыхивать так, что вещи, казалось, начинали рушиться от одного его взгляда, но после этого чувствовал полный упадок сил.

Следователь удовлетворенно приник к протоколу и стал спешно продолжать допрос. Понятые были теперь на стороне явившихся для следствия людей и качали головами. Была выяснена причастность к происшедшему жены Пономарева. Рабочие, комиссар, Русаков и понятые с арестованной четой супругов направились к берегу отыскивать труп. Когда труп Фроси был найден, автомобиль с арестованными уехал для поисков трупа батрака. Через короткое время

убитый был доставлен на хутор. Найден был и узелок с принадлежавшими работнику деньгами. Поляков доставил их девушке; батрака похоронили.

Это событие сблизило Полякова и Химу. Монтер стал собираться в Москву.

Рабочие пустили о Русакове славу, оценив проявленную им горячность в защите людей их, пролетарской среды. Но самому Русакову это доставить удовлетворения не могло.

Он проявил себя и при аресте казака и при восстановлении завода достаточно. Но червяк тоски засосал теперь его еще сильнее. Он стал спрашивать себя, что ему может дать в дальнейшем завод. Уже определенно мог сказать, что разоблачить его здесь не сможет никакая случайность. Хорошо было и его положение на заводе, но не мог вернуть ему завод Льолы. Рос без материнского глаза мальчик.

И Русаков стал думать о высказанном директором желании взять его с собой в Москву.

Пока этот разговор касался возможности отдаленной, можно было не придавать ему значения, но теперь приезд жены директора ожидался в ближайшее время. Как поступать, если дело дойдет до решения?

Тысяча доводов была за то, чтобы согласиться на предложение, но не меньше и против. Русаков не знал, как он поступит.

Но образ жены, отдавшейся Придорову, взывал к нему и лишал его уверенности в себе.

Русаков не стерпел. Когда стал прощаться с заводом Поляков, Русаков дал ему письмо и попросил его в Москве бросить в почтовый ящик. Было то письмо анонимкой к Льоле, и писал в нем Русаков от имени неизвестного друга о том, что муж Льолы жив и должен с ней встретиться.

Поляков уехал с письмом, но и после этого Русакову не стало легче.

Стебун надломил вражду к большевикам у Русакова удароотбойной прямизной своих взглядов. Шаповал втянул бывшего сообщника белых в строительство советской жизни своим деловым энтузиазмом.

Приехал с Шаповалом Русаков, заботясь не о заводе, а о себе, и работал сперва по обязанности.

Но не у Шаповала можно было относиться бездушно к делу, потому что Шаповал только по отношению людей к работе и расценивал всех своих ближних. Такие, что общему делу не придавали значения, для него вообще не существовали. Но за того, кто отдавался целиком работе, Шаповал сам мог пойти против всего мира. Инициативный партиец дорвался до работы, словно сорвался с цепи, и со стороны о нем можно было подумать, что он вне сферы общественной деятельности не имеет никаких других интересов. Так думал первое время по приезде в Георгиевск и Русаков.

Но когда дела завода стали на прочную ногу и, по почину Русакова, на заводе началась выработка эмалированной посуды, Шаповал так взыграл от успехов духом, что решил устроить пирушку.

Пригласил Русакова на пирушку и пообещал, обнаруживая явное доверие:

— Познакомитесь с моей старухой, Александр Павлович. Мы заслужили право на взаимную дружбу...

— С какой старухой? Да разве вы женаты?

Шаповал счастливо расхохотался, радуясь тому, что это оказалось такой неожиданностью для его ближайшего помощника, и довольно рассказал:

— Э, у меня жена! Белогвардеечка одна невинная, но такое счастье, что будь у каждого большевика такая жена—пробабили бы мы и революцию и социализм. Посмотрите!..

Русаков посмотрел.

Но «пирушка» оказалась шаповалоски-праздничной. Шаповал не ограничился тем, что позвал на вечеринку заводскую администрацию и партийных товарищей. Сюда оказались приглашенными и служанки его друзей, и дворник исполкомовского дома, и полотер, обслуживавший советские учреждения; пришла и Ефимия Захаровна с Леней.

Со всеми своими гостями Шаповал держался дружески просто, заставляя так же относиться ко всем и своих друзей, и понятно теперь стало Русакову, почему Шаповал в городе пользуется любовью жителей.

«Старуха» же Шаповала оказалась еще не вполне сложившейся красивой женщиной, которой не перевалило еще и за двадцать лет.

Видно было, что она совсем недавно была гимназисткой и воспитывалась в провинциальной семье. Она любовно ловила взгляды Шаповала, влюбленно прислушивалась к каждому его слову.

Вскоре раскрылось Русакову и еще одно интимное свойство характера Шаповала, связанное с его семейной жизнью.

Русаков один раз заметил, что Шаповал придумал себе поездку в Ростов. Это было в первый год работы Русакова на заводе. Шаповалу тогда вздумалось начать хлопоты о железной дороге. Русаков усомнился, что Ростов именно для этого понадобился Шаповалу, но ничего другого в объяснение поездки придумать нельзя было.

Перед отъездом Шаповала охватило какое-то странное состояние, вроде столбняка.

Но Шаповал уехал, ни словом не проговорившись, что с ним происходит.

Он пробыл в отъезде дня четыре, а когда возвратился, то следов душевной неладицы в нем не оставалось уже никаких. Снова он мотался по заводским делам и на партийной работе.

Так проходили месяц за месяцем. Тем временем завод стал греметь не только в крае, но слава о нем дошла и до Москвы. На завод приехали с заказом от Мосстроя два гражданина.

Один гражданин был с командировкой Мосстроя, другой—вроде подрядчика при нем или маклера. При намечавшейся строительной работе в Москве должны были понадобиться чугунные кухонные плиты для печей стандартизованных форм и размеров, колосники, вьюшки и другое чугунное обзаведение.

Гражданами, явившимися в кавказский городок, были агент для поручений из Мосстроя, Градус, и унылый, семафорообразно вздымающийся кверху Файн.

Градус нащупал наживное дело. Ему удалось при помощи знакомых провести в Мосстрое чертежи стандартных печей для проектирующегося нового строительства в Московской губернии. Для нескольких рабочих поселков нужны были сотни печных плит и принадлежностей для печей. Между тем стандартизованы были такие их формы, какие не изготовлялись ни одним заводом. Мосстрой должен был выступить с закупками явно не существующих образцов печного чугуна. Компания дельцов и решила предстать перед госорганом в качестве монопольных поставщиков требующегося чугуна. Мосстрой, чтобы не переиначивать всей остальной своей работы, что грозило колоссальными убытками, попадал в полную зависимость от того, кто мог представить ему необходимое оборудование.

Градус, неощутимо для Мосстроя выполнявший премудрую, казалось бы, со всех сторон бюрократическую затею, представлял своей особой единственную сторону, для которой только и была выгодна отсебятина строительного технотворчества. Лишь только проекты прошли все инстанции, он по газетным корреспонденциям наметил для своих целей далекий провинциальный завод, сговорился с Файном, доказав нэпману всю выгоду участия в этом деле, и вот при-

ехал с торговцем предложить заводу заказ, поддерживаемый Мосстроем.

Директор не решался без треста заключать какой бы то ни было контракт. Но Шаповал, уверенный в поддержке товарищей, обрадовался крупной сделке, дававшей заводу новую загрузку. Заказ был принят, выяснилась необходимость расширения завода.

В это время произошло два новых события: вопервых—пришло сообщение, что центр утвердил окончательно постройку железной дороги, которой придавал такое большое значение Шаповал, вовторых—приехала жена директора Франца Антоновича.

Франц Антонович окончательно махнул рукой на заводские дела и два дня не появлялся на завод; на третий день пришел, застал в конторе обоих своих сподвижников по работе и объяснил:

— Ну, Александр Федорович, еду в Ростов и подаю рапорт об отставке; приглашу на завод мастера вместо Александра Павловича, а затем жена поедет устраивать в Москве наши дела, и скоро мы вас с товарищем Русаковым покинем.

Русаков взволнованно поднял глаза. Шаповал, для которого мысль об отъезде Русакова была полной неожиданностью, с возмущенным недоумением поднялся со стула.

Полминуты он негодующе ждал объяснения от собеседников, а затем двинул от себя стул.

— Не будет этого!—объявил он грозно.

Директор пожал флегматично плечами.

Шаповал сделал шаг вперед.

— Вы с Александром Павловичем сговорились, что распоряжаетесь им, как мальчиком?

Директор безвольно кивнул на Русакова.

— Не сговаривался, но он же слышит... Чего только вы взволновались, я не понимаю. Александр Павлович здесь—это хорошо, что вы еще не в Ростове и что я знаю его по работе. А приди вместо меня другой

директор да не будь вас здесь—партийного кого-нибудь должны будут назначить техническим руководителем, а Александр Павловича затрут тогда...

Шаповал выругался.

— А, чорт!

Обернулся гневно к Русакову:

— Вы как поступите?

Русаков чувствовал себя, будто у него под ногами качались половицы. Надо было решать. Шаповал, несомненно, с началом постройки железной дороги заводом заниматься не будет, а без него все переменится. С другой стороны,—надо же было что-нибудь предпринимать и для встречи с Льолой и для воспитания Леньки, которого продолжала пестовать пока Захаровна. Он решился и надорванно признался:

— Франц Антонович прав, товарищ Шаповал. Пора нам расставаться, потому что без вас я не буду на заводе ни делец, ни жилец.

Шаповал круто махнул рукой и вышел.

Русаков обеспокоенно шевельнулся было, чтобы остановить его, но удержался и поник головой. Он чувствовал себя хуже всех. Ни директор, ни Шаповал, ни кто-либо другой даже из дружески настроенных по отношению к нему большевиков не мог ни на иоту улучшить его положения, пока он живет по документам обокраденного им красноармейца. Пора так или иначе покончить с этой несчастной тайной. Есть только один человек в стране, которому подчинятся его сподвижники, если он вступится за Лугового. Этот человек—признанный вождь большевиков.

Русаков в этот день поспешил уйти домой с работы, а придя к себе на квартиру, немедленно сел за составление письма к Ленину. Техник рассказывал в письме о том, как он из офицера Лугового превратился в Русакова, как мучился все это время, боясь каждую минуту быть раскрытым, предупреждал, что он еще целиком в большевистской правоте не уверился, но

просил легализовать его и дать ему возможность доказать, что он во всяком случае не враг советской власти.

Как-то спокойно он заснул после того, как невозвратный шаг был сделан, после того, как открыл бумаге скорбную свою историю.

На другой день, бросив в ящик письмо и явившись в обычное время на завод, он был удивлен сообщенной ему новостью. Оказалось, что Шаповал внезапно уехал из Георгиевска.

Обескураженный Франц Антонович злился, нервничал и не находил себе места.

— Почему он вчера не предупредил о том, что ему нужно ехать в Ростов?—сочувственно спросил Русаков директора, следя за тем, как тот барабанит пальцами по столу.

Франц Антонович мучительно поморщился.

— Он же не знал этого.

— Чего не знал? Что надо будет в Ростове согласовать свои дела, если центр на дорогу денег даст?

Директор беспричинно усмехнулся.

— Вы, оказывается, не знаете еще нашего Александра Федоровича,—с сочувствием отсутствующему товарищу бросил он нехотя.—Дорога тут дело десятое.

Русаков задержал на директоре взгляд.

Франц Антонович объяснил:

— Видите, эта внезапность означает, что у товарища Шаповала с здоровьем неладно. У него бывают сердечные припадки. Он на ногах перенес два раза тиф во время гражданской войны. Теперь сердце мудрит. Один раз стукнуло его—он отошел. Боится, что стукнет еще так, что он и сбежать куда-нибудь не успеет. А на этот счет имеет причуду. Его жена боится покойников, один вид которых вызывает в ней состояние какого-то психоза. А он, вы знаете, любит ее. И чтобы она не видела его мертвым, он решил—лишь толь-

ко неладное что-нибудь почувствует в здоровьи—уезжать каждый раз куда-нибудь из Георгиевска. Там, мол, похоронят, так что «старуха» не увидит. В прошлом году уезжал, ему пришлось мне признаться в этой истории. А теперь вот опять... Только: это между нами. Рабочий, а смотрите: горит, как волосок в лампе.

Директор нарочито улыбнулся, будто ему неловко было за обнаружение в Шаповале столь самозабвенной заботливости о жене.

Русаков, не веря тому, что он услышал, воскликнул:

— Удивительные вещи творятся с такими кособокими людьми!.. Ах, Шаповал, на что он способен! Человечество обнять бы за то, что оно вымолачивает такие штучки...

Он пораженно сел. Снова поднялся, спустя полминуты, и развел руками:

— Ну что ж, мы успеем еще, Франц Антонович... Будем надеяться, что с Шаповалом ничего не случится. О своем отъезде договориться успеете.

— Да, придется обождать.

— Жена ваша в Москву когда поедет?

— Завтра.

— Ну, а пока она в Москве сговорится, как раз и мы здесь смену себе приготовим. Не думаете вы, что скорей мы освободимся, чем она узнает что-нибудь?

— Нет,—отвел всякое сомнение директор,—там я уже знаю, на каком заводе мы будем работать.

— Тогда, значит, все в порядке.

Русаков ушел в мастерские. Через два дня благополучно и даже весело возвратился Шаповал, не потерявший и в этой поездке, как оказалось, зря времени: он пригласил нового литейного мастера, который необходим был если бы даже Русаков не уезжал.

Русаков, узнав, что Шаповал на заводе, разыскал его в литейной.

Увидев Русакова, Шаповал ухмыльнулся.

Русаков обрадовался, увидев эту улыбку.

— Александр Федорович, не сердитесь больше за то, что изменяю нашей компании и дезертирую? — воскликнул он с искренней просьбой.

Шаповал с чувством провел взглядом по стенам родных ему, больше чем кому бы то ни было другому, мастерских и безобидчиво взял под руку Русакова.

— Я погорячился на вас, товарищ Русаков, а теперь и сам знаю, что напрасно. Я действительно долго не пробуду здесь. Франц Антонович прав: хотим мы или не хотим, а суждено и мне отсюда двигаться в другие места.

— Вас снимают уже?

— Не снимают пока, но комитет дороги уже назначен, и я вроде комиссара к ним иду. Буду ворочать наркомпутью!

Шаповал весело подмигнул.

Русаков жадно силился поймать в поведении своего шефа намек на тот страх смерти, который должен был гонять Шаповала в Ростов, но рабочий с умелой скрытностью утаил все, что относилось к его внутренней жизни.

— Пойдемте к Францу, поговорим о наших делах, — предложил он, беря за руку мастера.

Русаков последовал с ним, не сопротивляясь.

Шаповал заговорил о тех новых товарищах, которые должны были приехать в Георгиевск.

Так для Русакова и осталось неизвестным то, что произошло в эти дни с его покровителем.

А Шаповал сделался жертвой неожиданной и скверной передряги.

Уже два раза за последнее время Оля, бесповоротно возведенная Шаповалом в сан «старухи», говорила ему, что на улице при встречах ей делает авансы георгиевский военком.

Шаповал, не придав значения сообщениям жены, подразнил ее, посмеялся над прытью недалекого Кро-

венюка и тем ограничился. Бывший красный командир был подотчетен непосредственно перед ростовскими властями, его деятельность проходила почти в стороне от шаповаловского влияния. Несмотря на давнишние встречи с притязательным парнем, знакомство у Шаповала с ним было шапочное и ограничивалось оно деловыми сношениями по общей работе в райсовете.

У Кровенюка был свой круг знакомых и друзей. В доме Шаповала он ни разу не был и затрагивал на улице Олю, не предполагая, что молодая женщина является женой такой видной личности как Шаповал.

Между тем уличные любезности самовлюбленного военкома оказались не случайными. Кровенюк совсем потерял голову, оказавшись в районе в положении главного военного начальства. Один его помощник предложил военкому устроить знакомство с той юной горожаночкой, которая так заинтересовала Кровенюка, встретившись с ним несколько раз на улице, когда шла на рынок.

Решили устроить весьма смелую «шутку» над Олей и познакомиться с ней в комиссариате.

С этой целью Оля однажды вечером, возвращавшаяся из суда, куда ходила посмотреть судившуюся за убийство ребенка женщину, была на улице арестована.

Для пущего страха ее посадили в дежурку комиссариата и напугали суровым обращением.

Как не перепугал Олю внезапный арест и окрики конвоира и надзирателя, она покорилась произволу в ожидании, чем кончится насилие над ней, и два часа просидела в дежурке военкомского правления.

У нее между тем не позаботились даже спросить, кто она такая.

Шаповал в этот день, по обыкновению возвратившись перед вечером, диву дался, не найдя дома жены.

Дома был готов обед. Никогда он не заставал ком-

наты пустыми. Теперь же Оля необъяснимо отсутствовала.

Шаповал прождал ее четверть часа, двадцать минут Оли не было.

— Не убита ли она громилами на прогулке за городом. Оля имела привычку бродить в рощу.

Неизвестности Шаповал не мог выносить.

Почему-то у него не все клеилось. Большое дело постройки линии железной дороги и предстоящее оживление края, правда, налаживалось хорошо, но зато для работы надо было искать новых людей. Надежные подобранные им с трудом работники уходили. Создавалась временно пустота.

А тут еще страх за Олю.

Еще десяток минут Шаповал потрясенно метался возле окон по комнатам. Вышел на парадное два раза.

Наконец ждать не хватило сил, и он направился в комитет с тем, чтобы оттуда немедленно направиться за город и там искать жену.

У него гудело в голове, когда он вышел на улицу, и земля качалась под ногами. Так потрясала его мысль о предполагаемом несчастьи с женой.

На улице уже темнело и до помещения комитета было два квартала.

Но вдруг на углу улицы узнавший его какой-то мальчишка из соседнего двора переступил ему дорогу и объявил:

— Товарищ председатель, тетю Олю арестовали и повели к товарищу военкому...

— Что такое? Кто арестовал?

— Не знаю. Новый помощник военкома. Арестовали и повели. Сам видел.

У Шаповала забегали перед глазами искорки:

— Кровенюк?

Он вдруг вспомнил, что жена сообщала ему, об уличных ухаживаниях военкома.

— Неужели трепло-человек решился на подлость?

В пять минут Шаповал оказался возле дежурки комиссариата. Красноармеец команды комиссарского пункта стоял возле дверей и, увидев Шаповала, нерешительно тронулся с места.

Шаповал сдержал бешенство и топнул ногой:

— Кто тут сидит?

— Женщина какая-то.

— Кто посадил?

— Товарищ комиссар велели.

— В чем обвиняется?

— Контра.

— Допрашивал кто?

— Товарищ комиссар.

— Как ее фамилия?

— Не говорят они...

Шаповал выхватил из рук красноармейца винтовку, намереваясь с размаха бухнуть прикладом в дверь. Но еще одним усилием воли он сдержал дикий гнев и рявкнул:

— Откройте дверь!

Красноармеец покорно повиновался и сейчас же бросился в канцелярию, где находились помощник военкома и Кровенюк.

Навстречу Шаповалу ринулась убито сидевшая в углу помещения Оля.

— Александр!

— Оля!

— Подлец, какой подлец ваш военком этот, ах, Александр! Скорее домой, там все расскажу.

Шаповал, не чувствуя ничего вокруг себя, кроме жены, очутился с ней на улице. Показавшийся было с помощником на пороге Кровенюк панически скрылся, увидев Шаповала и только теперь догадываясь, что отказавшаяся назвать ему при допросе свое имя женщина была женой Шаповала. Свою карьеру Кровенюк счел в этот момент оконченной.

А Оля сообщила мужу о тех предложениях, которые делал ей при комедии допроса оскорблявший ее каждым словом Кровенюк, признавшийся с самого начала, что арестовал ее, чтобы познакомиться с ней, и с угрозами требовавший, от нее назвать свое имя. Оля уверена была в том, что муж розыщет ее и ни слова не сказала пришедшему в бешенство Кровенюку о том, кто она. Под предлогом выяснения личности ее тогда решили в дежурке оставить до утра, и вот тут и явился Шаповал.

Шаповал клокотал. Как мог, он успокаивал Олю, стараясь со всей нежностью, на какую только был способен, ухаживать за ней, чтобы смягчить происшедшее.

Но он не мог успокоиться на том, что произошло, и ждал следующего дня.

Утром в обычное время он был в помещении совета.

Кровенюк уже ждал его в коридоре.

Увидев его, Шаповал повернул обратно к выходу на улицу, не желая разговаривать с ним в комнате.

Кровенюк, почувствовав, что Шаповал выходит именно для того, чтобы сказать ему о происшедшем, последовал за рабочим.

Около скамьи против дома Шаповал остановился.

Кровенюк приблизился, путаясь в шинели и ловя взглядом в лице Шаповала проблеск надежды для себя.

Шаповал глядел на него искоса и мгновение не говорил ни слова.

У Кровенюка задергались губы, и он не знал, что делать, что говорить.

Шаповал не дал ему собраться с мыслями.

Что-то невыговоренное скрипнуло у него на зубах, он поднял колючие беспощадные глаза на военкома.

— Разговоры не помогут!—объявил он жестко.— Разводить блудню, вместо того, чтобы партийное дело делать? Даю три дня сроку, если хотите покончить

самоубийством. Это самое лучшее для революционера-коммуниста. Если не хотите, сейчас иду,—пишу приказ об аресте и посылаю в краевой комитет сообщение, начну разговор на всю страну. Выбирайте. Щадить за кабацкое самоуправство каждого? Ну?

Жесткая четкость Шаповала словно парализовала Кровенюка и своей тяжестью сковала у военкома всякую попытку к борьбе за собственную жизнь.

У Кровенюка билась надежда на спасение, но челюсти у него дрогнули и он с безумным страхом произнес обещание, отступая на шаг от Шаповала.

— Я застрелюсь...

— Втечение трех дней!—потребовал Шаповал.

— Хорошо.

Шаповал круто повернулся и пошел в Совет. Но он не мог работать. Со вчерашнего дня, еще когда он волновался из-за отсутствия жены, сердце у него мучительно колотилось и чувствовалось острое нытье. Это было опасным признаком. Еще немного напряжения, и—сердце могло не выдержать.

Он нашел предлог для поездки в Ростов и, предупредив жену, уехал на два дня.

Возвратился он, когда истекал срок, предоставленный им для самоубйства Кровенюку.

Новостей в Совете не было. Никто ничего не знал о происшедшем в комиссариате. Значит Кровенюк струсил и на самоубийство не решается, выжидая, что сделает Шаповал.

Шаповал решал—пойти ли пристрелить ему военкома и итти под суд затем самому, или арестовать Кровенюка и предоставить партии и товарищам решать вопрос о судьбе сгибшего парня.

Еще не сложилось у него никакого решения, когда дверь помещения приоткрылась и на пороге показался сам Кровенюк.

Шаповал насторожился и сделал два шага к двери, вопросительно глядя на военкома.

Тот вдруг грохнулся на пол.

— Товарищ Шаповал!

Кровенюк хватался за жизнь, не имея сил расстаться с нею и доходя до последнего предела унижения.

— А, мокрица!

Шаповал очутился в другом углу комнаты.

Кровенюк поднялся и, трясясь бесформенно приземившейся фигурой, просительно залепетал:

— Товарищ Шаповал! У меня револьвер с собой. Пойду сейчас и застрелюсь. Но даже бывшие офицеры на что-нибудь годятся, а я на сторону революции стал с самого начала. Скажите слово, и я всегда и везде за вас буду стоять. Я уеду куда-нибудь. Буду честным партийцем. Мне хочется отличиться. Никто лишь бы не знал об этом ничего. Лучше сам пристрелите меня. Разве поднимется у кого рука на себя, когда кругом плодятся нэпачи и коммунизм пошел на смарку. Может быть, завтра опять революция, и мы будем вместе. Товарищ Шаповал!

Он снова бухнулся на пол.

— Я уеду отсюда!

Губы дрожали у него, а сам он превратился в комок страха и надежды на то, что Шаповал передумает.

У Шаповала дух захватило от презрения к жалкому парню, каким-то чудом умудрившемуся связать свое шкурное существо с революцией. Но у него уже не хватило сил требовать чего бы то ни было от этого человека. И он, круто повернувшись, злобно распахнул дверь помещения.

— Уходи, дерьмо, и не показывайся больше на глаза!

Кровенюк понял, что надо исчезнуть и без оглядки куда-нибудь скрываться. Шаповалу должно было быть тошно теперь вспоминать о нем, а не то что заниматься с ним сведением каких бы то ни было счетов.

И он выскочил, задыхаясь от радости.

Шаповал походил по комнате, пока не погасла вспышка презрения. Успокоившись, он отправился на завод и здесь объявил, что отпускает Русакова.

Поехал, в свою очередь, в ближайшие дни в Ростов директор договариваться о своем отъезде в Москву. Русаков отдался заводским делам, не переставая про себя думать о тех письмах, которые недавно послал. Неделя прошла без перемен. Русаков уже высчитывал, как скоро может последовать какой-нибудь ответ на его послание Ленину. И вдруг роковая весть перевернула вверх дном все его расчеты, заставила на время отрешиться от своих интересов, а всех тех, кто окружал его, сразила потрясающим ударом:

Ленин умер.

В жизни рабочего коллектива завода почувствовалась осечка.

Втечение двух-трех недель, следовавших за этим потрясающим событием, было не до личных дел, не до вопросов обычной заводской жизни. Коллектив рабочих и администрации мастерских жил теми же чувствами, какими жила вся Советская страна в это время. Машина жизни сделала перебой.

Когда прошла неделя траура по умершем вожде, сборы директора завода оказались оконченными. Приехал его преемник. Принял дела. Русаков также был готов к отъезду в Москву.

Оба они выехали.

В Москве за два слишком года многое переменилось.

Внешнюю общую перемену, сказывавшуюся в обогащении некоторой части населения, заметил еще Поляков, когда он возвратился в Москву, привезя сюда с собой Химу.

В первые же дни после приезда парень пошел рыскать по Москве в поисках работы, но в странствованиях по городу сошелся с одним приятелем, хватил в пивной хмельного и, возвращаясь домой, ввязался в скандал.

С первого же момента своего приезда в столицу он заметил, что на улицах появилось много шикарно одетых людей. Значит нэп воскрешал прежних бар, а это для необузданного монтера даже в трезвом его состоянии было ножом в сердце.

Теперь же, находясь «на взводе», он, как нарочно, натолкнулся в одном из театральных проездов на нэпманскую группу.

Это была чета Файманов с Фиррой и еще одной барышней. С ними был военный в кавалерийской форме, и Поляков подумал, что это военный специалист.

Военный вел под-ручку разнаряженную Фирру, а в другой руке держал за цепочку бежавшую перед ним болонку. Шествие возглавляла импозантная мадам Файман, раскрывавшая широкий путь на тротуаре всей остальной компании. Военный терялся в окружении этой группы, краснея перед публикой за то, что в угоду даме должен был няньчиться с ее собаченкой. Но это ответственное дело Фира навязала ему, вопреки всякому его желанию.

Он злился, однако, компании не оставлял.

Все, за исключением военного, держали в руках по яблоку и грызли их, аппетитно чавкая и бросая остатки на асфальт.

Полякова задела независимость этой группы. Он стоял на углу улицы и, увидев проходивших, вдруг выразил намерение прицепиться к ним и сейчас же провозгласил с чувством:

— Приятного аппетита-с, гражданки!.. Только по советским правилам—вы не той стороной идете! Перейдите-ка на ту сторону!

Понятно, что только хмельное воображение могло подсказать монтеру, что его заступничество за порядок уличного движения кому бы то ни было принесет пользу. Поляков решил заставить приведших его в возбуждение нэпманов подчиниться постановлениям советской власти: он последовал за группой и, не стесняясь присутствия в компании военного, обнаружил намерение схватить за руку Фирру.

Вся компания во главе с военным намеревалась прибавить шагу и уйти от пьяного, но эксцентричная Фирра решила иное.

— А мы вот,—обернулась она немедленно к монтеру,—позовем милиционера, чтобы хулигана, который ко всем лезет, посадить в комиссариат переночевать!

Поляков остолбенел, оглянул щегольские наряды Фирры и, забежав вперед, негодующе ткнул себя в грудь:

— Это кто?! Ты меня посадишь в комиссариат? Мамзель! Хе! Подними рубашку, покажи бабашку, а потом зови милицию, Красную армию и пожарных, чтобы с пожарной кишки продули тебе хвост... Пойдем в милицию!.. Ну! Пойдем в милицию!

— В милицию! В милицию!—взвизгнула Фирра.— Максим Васильевич,—дернула она за рукав военного,— обязательно в милицию! Не пойду никуда и ничего не хочу говорить, пока арестуют его. Я докажу, что хулиганам воли никто не даст. Поведемте его в милицию.

И военный, и родители, и сестра пробовали уговорить Фирру, чтобы поскорей уйти от пьяного, но Фирра продолжала бесноваться, а так как монтер тоже стоял за путешествие в милицию, то, во избежание скандала на глазах публики, пришлось переменить направление. Все надулись и последовали за Фиррой к милиционеру, а затем оказались в комиссариате.

Но в комиссариате дело приняло неприятный для Полякова оборот.

Дежурный по комиссариату, выслушав объяснения компании и выяснив личность военного, предложил Полякову:

— Не имеете права, товарищ, скандалить. Спекулянты и спецы эти граждане или советские работники, но затрагивать их в пьяном виде и неприлично выражаться нельзя. Вы должны извиниться.

— Чтобы я извинился? Ха! Контрреволюцию развести хотите? А!

У Полякова хмель, как рукой сняло.

— Да, извинитесь, или вам придется отсидеть, товарищ. Никакой контрреволюции в ограждении прохожих от оскорблений нет.

— Га, вот так порядочки! Рабочий чтобы просил прощения у нэпачек и спеца!.. Га! Сколько же сидеть за то, что я выражался против них?

— До утра.

— А если я их обругаю понастоящему?

— Если будете скандалить в трезвом виде, то и на неделю изолируем.

— Га, на неделю! Таких граждан с собачками и гражданок вроде ёрш и майорш в семнадцатом году я сам ставил к стенке. Эти не попались мне. Но мы сведем еще счеты. На неделю? Так слушайте и тогда изолируйте. Спекулянты! Раздолбы! Каждого привяжу своими руками к столбу и обделаю со всех сторон, как тумбу! Гады!..

Поляков закатил такой словесный душ, что Фирра и мадам Файман шарахнулись к дверям.

Дежурный надзиратель бросился к Полякову.

— Молчите!—душа смех, завопил он—для проформы больше.

— Ах, ах!—кряхтел и прыгал Файман возле военного.—Фирра заставит посмешищем сделаться!

— В дежурку задержанного!—крикнул надзиратель милиционерам.

Но Поляков уже насытил душеньку. В заключение плюнул, взбил еще выше кепку и последовал с милиционерами.

— Я протестую! Я требую, чтобы дело в суд пошло! Пусть его примерно накажут!—взвыла, возвращаясь, Фирра.

Надзиратель и скрипнувший от досады зубами военный стали успокаивать ее. Раздраженная компания ушла.

Не только, впрочем, Поляков, но и всякий приезжавший в Москву с некоторого времени замечал, что обновляется хрычовка-столица. Перестали болтаться на стенах и заборах лоскуты рваных плакатов, и не кричали уже фасады домов о самоуправстве расклейщиков «Центропечати», заляпывавших прежде месивом клейстера каждый угол и каждый подъезд так, что они вопили миру о запущенности домов. Наоборот, дома стали пестреть свежей краской, припудрились штукатуркой и подрумянились охрой. Витрины магазинов заблистали образцами модных товаров. Центр города зарокотал от движения новеньких машин и ожившего трамвая. Если раньше из иностранцев можно было видеть только делегатов, которые на грузовиках ездили в Кремль на заседания конгресса Коминтерна, то теперь в Москве было несколько дипломатических миссий, а кроме того московские модники и модницы стремились, получив заграничные наряды, выдавать себя на улице за всамделишних европейцев.

Ожили театры и кино. А в числе уличных явлений бросалось в глаза еще одно большевистское новшество. На улицах то-и-дело теперь показывались обязательно возглавляемые барабанщиком колонны детишек, с одинаково завязанными в красные галстухи шеями. Детишки маршировали, всегда победно задирая кверху в маршевом азарте задорные головки.

Это были зачатые по идее Стебуна Ковалевым и организуемые теперь комсомольцами уже по всем

районам пионерские отряды детворы пролетариата и совработников.

Но произошли перемены не только общего характера. Переиначилось и положение части тех людей, которые все это время жили в Москве.

Стебун уже не работал в Агитпропе.

Его неуживчивая жесткость, а главное, его роль в создании дискуссионного клуба и особая приязнь ко всем недовольным партийными порядками заставили губком бояться, что свое партийное положение беспокойный работник использует для бунта в партии. Захар, Статеев, Тарас и кое-кто еще из центровиков и губкомщиков, боявшиеся этого, не ошиблись.

После закрытия клуба и последовавшего затем снятия с партийной работы Мостакова в связи с опубликованием им его письма к вождю партии, ответа на это письмо и сделанных уральцем дезорганизаторских выводов—Стебун решил, что в партии действительно неблагополучно. Он стал открыто выступать с критикой руководящих партийных органов, и в то время, как прежде ропотникам партии сопротивлялся, теперь он начал с ними сговариваться. А недовольство назревало и в чем-нибудь должно было вылиться.

Однажды, в праздничный день, когда Стебун обедал в столовке Совнаркома, его увидел ездивший в Геную и теперь занимавший пост секретаря одного из правительственных учреждений Антон. Бывший маляр имел захлопотавшийся и таинственный вид. Увидев Стебуна, немедленно направился к нему и, стегнув единомышленника сообщническим взглядом, остановился.

Стебун выжидательно скосился на него, вопросительно отрываясь от стола.

— В чем дело, дядя?

— У тебя, я знаю, есть приятели... Ты что-нибудь с ними думаешь?

Это было ясно: Антон имел в виду других недовольных внутрипартийными порядками.

Стебун окинул сухо взглядом намеревавшуюся было остановиться возле них товарища Пузыревскую, давая понять, что занят разговором, и кивнул Антону на стул.

— А что случилось?

Антон оперся на стол, склоняясь ниже головы Стебуна, и навалился на товарища с сообщением.

— Вчера застрелился Донцев, снятый с секретарствования в губкоме на Украине. Ставленники Тараса повели против него компанию, очернили его, он приехал сюда, ничего не добился здесь, тормошил меня и всех, кого знал здесь, и вот... Не имея других средств для протеста, разделался с собой... Другие думают, что так это и должно быть...

— Так!—потемнел Стебун.—И что же?

— Ничего... Что назначенчество и аппаратческая казенщина выхолостили из партии всякий дух—ты сам знаешь. Сговорись со своими и, если согласен, после обеда приходи в секретариат ко мне. Мы с Евгеновым и Владимир Никитычем толковали и решили обо всем подать заявление.

— Письменно?

— Да.

— Ладно. Завтра приду.

Антон поднялся и оставил Стебуна одного.

У Антона на следующий день Стебун ознакомился с тем заявлением, которое адресовалось руководящему органу партии и имело наскоро собранные Антоном два десятка подписей несогласных с партийным режимом работников. В заявлении кроме резкой характеристики партийного режима было требование пересмотра ряда директив партии по хозяйственной политике.

Стебун бегло прочитал заявление, выразил некоторое сомнение по поводу не особенно удачных формули-

ровок заявления и уместности возбуждения хозяйственных вопросов, но, расценивая факт подачи коллективного заявления как единственно возможный способ побудить руководителей партии на пересмотр партийных порядков, спорить не стал, а присоединил свою подпись, попросил задержать подачу заявления и направился к тем партийцам, с которыми еще ранее обменивался мнениями по поводу положения в партии.

На его предложение о подписании заявления ответили немедленным согласием не только Юсаков и Семибабов, но и заведующий Культотделом союзов Нехайчик, секретарь союзов Травлов, богатырь Уралов и заведующий Губернской совпартшколой Воеводин.

Отвели предложение Кердода, Лаврин, экономист Зарницкий. Людям, деятельность которых была тесно связана с деятельностью лиц, и официально и фактически возглавлявших руководство партией, бесцельно было предлагать подписаться под этим заявлением. Они если и не считали положение совершенно нормальным, то объясняли нежелательные явления партийной жизни отрицательными общими причинами, а не промахами руководства со стороны центрального партийного органа.

Заявление, подписанное в конце концов сорока шестью партработниками различного удельного веса, было на другой же день Антоном передано по назначению и произвело на деятелей партийного центра впечатление дикой раскольнической выходки профессиональных склочников.

В один из ближайших же дней на собрании актива в одном из районов вопрос о заявлении был поднят с целью обличения группы протестантов и суда над ними перед партийной массой. О заявлении стало известно и в ячейках. Началась тряска партаппарата. Низы стали требовать информации.

Группа инициаторов оппозиции образовала нечто вроде неоформленного политического штаба своих

главарей, которых то-и-дело требовали теперь на собрания для выяснения их взглядов. Года два уже собрания ячеек происходили без каких бы то ни было споров. Теперь же для словесной горячки и критики будто открылась отдушина.

Стебун, Антон, десятки партийных руководителей из различных наркоматов, профессионалы-работники, практики и теоретики различной величины и популярности оказались вынужденными забросить свою обычную работу в возглавляемых ими аппаратах и учреждениях и должны были заняться выступлениями на собраниях.

Общепризнанной, возглавляющей партию группе лиц с решающим политическим опытом и стажем руководства, складывавшейся еще тогда, когда партия открывала только первопутки своей деятельности и роста, с первых же дней дискуссии ясна стала угроза разложения и падения как партийной дисциплины, так и их личного авторитета и влияния в партии в случае безучастного отношения к начавшейся тряске. Значение каждого из них было поставлено под сомнение тем более опасное, что в этой очередной партийной горячке первый раз не выступал с своими решающими разъяснениями снова охваченный приступами болезни, для всех авторитетный вождь партии. Отсутствие же вождя теперь-то больше всего и чувствовалось. Массы не представляли себе, в каком он состоянии, ждали, что в самую последнюю минуту споров Ильич все же выступит и все сделает ясным.

Между тем, дискуссия перекинулась и в провинцию. Она началась поздно осенью и закончилась только зимой. И все это время состав актива обоих течений нервно дергался, ведя борьбу из-за каждой ячейки. И все время руководители обеих сторон мыкались по вызовам агитпропов и секретарей. Приспособленность ко всяким выступлениям у наспециализировавшихся большевиков заставляла каждого из них быть как на

пружинах. Разбуди того или иного агитатора в два часа утра дежурный губкома и скажи ему, что нужно туда-то в интересах партии отправиться и выступить,— агитатор только крякнет и начнет обуваться.

Стебун вместе с другими своими единомышленниками проводил время изо дня в день на собраниях и обостренно полемизировал против сторонников партийного большинства. Его видели то в каком-либо из вузов, то на собраниях заводов, то, затем, в ячейках советских аппаратов.

Сперва неясно было, насколько организация устоит против этого штурма оппозиции. Но вот в отчетах и разговорах все чаще и чаще стали произноситься имена выступавших против оппозиции Тараса, Емельяна, Статеева, Диссмана, Захара и имена лидеров центра, завершавших своими выступлениями устные бои.

Оппозиционеры стали проваливаться, и это почувствовалось уже на бурных районных конференциях. Губернская конференция выявила этот провал окончательно. После этого у оппозиции оставалась еще надежда на некоторые успехи на общепартийной конференции, хотя бы в виде проведения своей линии путем протаскивания ее в поправках к предложениям Центрального комитета.

Общепартийная конференция, однако, не только не дала вовлечь себя в половинчатые решения, а, наоборот, поставила вопрос о самой оппозиции и вынесла ей безоговорочное осуждение. Лозунги оппозиции и ее выступления, требовавшие изменения хозяйственной политики, конференция характеризовала как мелкобуржуазный уклон. Дальнейшее ведение дискуссии по возбужденным вопросам прекращалось.

Было, конечно, неизвестно, успокоятся ли после этого ропотники. Врагам партии казалось, что взаимный спор между большевиками—это знамение времени. Те, кому любо было потрясение железных рядов партии, радовались, предвкушая подрыв авторитета советской

власти в якобы безучастно наблюдавших за борьбой масс. Им казалось, что междоусобица у партийцев отшатнула от них рабочих, и партия начала терять в массах опору.

Так мнилось тем, кто и в стакане воды готов был бы утопить всю революцию. Жизнь, однако, посвоему меряла события. Безжалостным судьей она вмешалась в распутицу человеческого бытия.

Как раз тогда, когда сумерки сгустились, дохнуло смертью.

Умер, не сказав спорившим большевикам своего умиротворяющего слова, Ленин.

Массы потрясло.

Каждому, кто с Лениным совершал революцию, стало страшно за свое невмешательство в партийные дела. Ленинское ополчение рабочих с заводов, фабрик и мастерских стало под партийное знамя. Так верней был успех дела Ленина.

Споры оказались не к месту. Довлело надо всем незабвенное прощание масс со своим умершим вождем, а затем началось равнение рядов новых армий партийцев.

Стебун опал на некоторое время, что-то в нем заскрипело как-будто. У него так же, как и у Шаповала, сердце работало скверно. Он не замечал раньше, что живет за счет растраты собственного здоровья, теперь же дело дошло до того, что ему пришлось наведаться к доктору.

Доктор заботливо стал успокаивать его.

— Ничего, ничего! Поживете еще. Вылечить вас нельзя, но отдохните недельки две, месяц, серьезно отдохните—и еще повертитесь.

Стебун пробовал отдыхать. Но он никуда не поехал, на безделъничанье же его хватило ненадолго.

Пересилил себя и, решив, что недомогание—результат временного упадка духа, взял себя в руки.

Он и теперь продолжал жить у Файманов.

Файман и Файн продолжали цвести.

Побездельничав дома несколько дней, Стебун сделался свидетелем некоторой временной размолвки между двумя компаньонами. Из случайного разговора с одним из соседей узнал, что ссора у друзей «принципиальная».

Магазин Файмана однажды был под угрозой пожара.

В это время Файман с семьей был на даче, Файн же жил в «Централе», где находился и магазин.

Разбуженный комендантом Файн, зная, что Файмана в городе нет, бросился на улицу к магазину, чтобы распорядиться на пожаре вместо компаниона.

Возле начавшего гореть дома собралась толпа. Горело что-то в кухне в квартире, смежной с магазином. Комендант набросился на Файна, считая его причастным к предприятию Файмана:

— Открывайте магазин, выносите что можно!.. Товар спасти можно, если распорядиться.

Паника уже началась. Из дома выбегали жильцы с вещами.

— Ключей нет! Ключей нет!—охал Файн.

— Сломайте замок!—посоветовал кто-то.

Файн ухватился за предложение.

— Кто сломает? — попробовал найти он добровольцев.

— Трешницу за фокус, я открою дверь!—подскочил какой-то тип из зевак.

Файн отступил от него, не желая тратиться, но, заслышав звонки приближающейся пожарной команды, решил разориться, думая потом предъявить счет Файману.

— Нá трешницу, ломай!

Тип извлек немедленно из кафтана фомку, подступил к двери, и через три минуты замок был сломан.

Файн соображал, что ему делать.

— Гражданин милиционер, покараульте возле ска-

мейки, мы будем со сторожем вытаскивать товар, да отгоняйте публику.

Но публику стали отгонять и пожарные и несколько сбежавшихся милиционеров.

Файн и сторож ворвались в магазин, схватили по нескольку кусков мануфактуры и выбежали с ними на тротуар.

— Ой, сгорим! Ой, завалится верх!—заохал не рискнувший вторично вбежать в магазин Файн, увидев пожарных, ринувшихся наверх, где бился огонь.

— Помощь наймите!—крикнул сторож.—Дайте людям по целковому, и пусть вытащат товар...

И он тоже отступил.

— Зовите, заплачу!—решил Файн.

— Эй, кто поможет выносить?!—зыкнул сторож.— Помогайте, хозяин заплатит...

В магазин рванулось человек двадцать добровольцев.

— Ой, довольно, довольно!—завопил Файн.—Никого не пускайте, граждане милиционеры!

Пожарные орудовали там, где был огонь.

Подозрительные зеваки, бросившиеся на заработок, моментально половину мануфактуры перебросили на тротуар.

Но огонь удалось наверху погасить, пожарные начали слезать, и милиционер объявил Файну, что пожару конец.

— Все, хозяин! Потух пожар! Сгорели обои, да на кухне занялось...

— Как потух? Зачем же пугали зря?!—воскликнул Файн, удостоверяясь, что его хлопоты действительно ни к чему. И он отер с лица трудовой пот.

— Потух!—подтвердил милиционер.—Складывайте все обратно.

Добровольцы-носильщики во главе со сторожем остановились.

— Сумасшедшие люди!—вышел из себя Файн.—Ма-

газин разорили! Попортили зря товар! Фараоны угорелые!

Он забегал возле горы выброшенного товара, охая и хватаясь за голову.

Но делать было нечего. Он отер еще раз на себе пот и повернулся к зубоскалившим по поводу происшествия помогавшим ему добровольцам.

— Носите обратно!

Но у тех уже отбило охоту к работе.

— Э, хозяин, рассчитайтесь прежде!

— Да отнесите же прежде!

— А заплатите по сколько? Ведь это работа—не то что за столиком копаться! Как сумасшедшие бегали туда и оттуда!

— Ну, побегали, и заплачу... Сколько вы хотите?

— По три рубля.

У Файна подкосились ноги.

— Что? Вы взбесились?

— Да это еще кто, спрашивается, сбесился! Чего лаешься? Давай деньги да сам носи назад, если хочешь богатеть!..

— Гражданин милиционер, это что же такое за грабеж, когда у человека бедствие! И зачем же я буду платить, когда магазин Файманов, а я Файн.

— Платите, платите, гражданин! Сам слышал, когда горело, обещали...

— Он хочет, спекулянтская душа, еще на этом эксплоатировать! Плати по трешке, если заставил зря таскать свое тряпье! Сам виноват, что в штаны наделал с переполоху!

Милиционер скомандовал.

— Ну, еще долго торговля будет? Надо тротуар очистить.

Файн закружился, кляня себя за вмешательство в чужое дело, вынул деньги и рассчитался. Добровольцы, поживившиеся на несчастьи, рассеялись, его же и ругая.

Проводив их взглядом, Файн уставился на кучу кусков мануфактуры и галантерейных коробок. Из толпы смеялись над происшествием.

Исчез куда-то и сторож.

Файн схватился за куски материи и начал таскать их в магазин.

Два часа кряхтел он над перетаскиванием обратно товара. Водворив его, наконец, на место, он достал где-то замок, кое-как запер магазин, дал еще три рубля явившемуся сторожу, сговорился с ним об охране лавки и пошел к себе.

Прибывший утром Файман вскипел, когда узнал о том, как хозяйничал его компанион, и вместо благодарности готов был собственноручно вцепиться в волосы Файну. Компанион натворил делов. Пришлось Файману весь следующий день сортировать в магазине товар.

Однако Файн тоже не мог отнестись спокойно к произведенным им из-за пожара затратам. Имея в виду возмещение его расходов Файманом, он присоединился к нему, когда тот шел в магазин, и взял компаниона за руку.

— Давид, вы же мне сегодня отдайте двадцать пять рублей.

Файман чуть поднял снисходительно брови.

— Какие?

— Так я же истратил, потому что вас не было при пожаре. Слесарю—за то, что сломал замок, три рубля, рабочим, что выносили куски, восемнадцать, милиционеру рубль и сторожу три рубля. Я уже не говорю, что сам я работал больше всех и, может быть, не согласился бы двадцать пять рублей получить за такую работу. Пускай мой труд пропадает.

Файман и без того чувствовал себя разоренным, а тут еще эта претензия. Но будучи благодушно настроен, он решил только поиздеваться над компанионом.

— Ах, Соломон, Соломон, вы же знаете, что товар у меня застрахован!

— Это же ничего не значит. Потому что если у нэпача пожар и если бы все сгорело, а магазин закрыт, то еще советские страховики дело могли повернуть так, что вы же и виноват были бы, а то я же и свидетелем был бы, что у вас сгорело много.

— Какой вы умный, Соломон! И как вы вмешались, я не понимаю! И как вы успели столько дел наделать в бедной моей лавчонке! Только из-за вас и потух пожар.

— Так ведь не лучше было бы, если бы сгорело все...

— Я же и говорю, что вы не дали огню даже заглянуть в лавчонку, так распорядились... И раньше я замечал, что вы такой дока на все, а теперь уж я думаю, Соломон, что вы не иначе как тайный брандмейстер у нас, в Краснопресненской части. Оттого и пожаров так мало... Видите, какой вы проворный!

Файн стал сердиться на компаниона.

— Вы смеетесь, но деньги-то я потратил на ваши дела?

— Ну, я заплачу вам, Соломон, когда высчитаю, на сколько еще у меня убытку. Только вы мне заплатите за подмоченный и за порченый товар.

— Э, не хочу!

— Как хотите... Вы же известный практикант на то, чтобы получать с каждого, что вам не полагается.

— Это вы, Давид Абрамович, практикант не платить долгов.

— Ну, что хотите, думайте обо мне...

Оба торговца не на шутку рассорились и прервали сношения.

Помирились они странно—в связи с смертью Ильича.

Файн в это время почувствовал под собой прочную почву, вылезши из вечных мелких сделок по покупке в провинции ненужной захолустью галантереи, брит-

венных лезвий и шелковых чулок. Ему улыбнулось счастье на подряде с поставкой для Мосстроя заказанного в Георгиевске чугуна, и он открыл бельевой магазин.

У Файмана дела шли хуже, потому что его беспрестанно подсиживал руководимый Бухбиндером объединенный кооператив, который теперь в числе десятка других магазинов не только раскинул одно торговое заведение прямо напротив торговли Файмана, но сплошь и рядом из-под рук у нэпмана вырывал партии товара от разных контор и представительств, будто специально выслеживая, где и что покупает Файман.

Галантерейщик, правда, духом не падал, оборачивался, но сделалось теперь это много трудней, чем прежде.

А его коллега без него стал отличаться.

Когда Москву ударило вестью о смерти Ленина, Файн по токам настроения, охватившего все население, понял, что эта смерть из числа тех, которые потрясают миллионы людей.

И он проникся сочувствием к общей скорби.

Но почтение перед трауром большинства жителей— это дело душевной деликатности, мешать же коммерции не должна была даже эта катастрофа.

Файн прежде всего добыл экземпляр плаката, изображавшего во весь рост Ленина с призывно поднятой рукой.

Он принес плакат в только что открытый им собственный галантерейный магазинчик. Взобрался на окно, пристроил плакат на витрине и, воображая, что проявляет верх ударной коммерческой мудрости, прицепил к протянутой руке изображения умершего вождя революции пару дамского белья.

После этого, оставив в магазине жену, он пошел к Дому союзов, где находилось тело Ленина и куда теперь тянулось большинство московского человечника.

Файн решил отметить, что он—не враг партии и тоже верен Ленину. Но, зная, что другие торговцы будут над ним смеяться, он хотел сделать это украдкой, надеясь не дать заметить себя кому-нибудь в очереди. В душе он был за то, чтобы большевикам удалось в других государствах свергнуть правительства.

Он знал, что здесь на жгучем морозе стоят очереди желающих бросить последний взгляд на Ленина, и хотел сам выстоять, сколько бы ни пришлось, лишь бы увидеть хотя бы на смертном ложе того, кто при жизни вел за собой народ и своей смертью колыхнул массы.

Выйдя на Столешников, он увидел, что очередь значительно больше, чем он ожидал. Но он и представлял себе по разговорам, что не так скоро удастся вернуться домой, и поэтому пошел мимо хвоста ожидающих, к тому месту, где хвост нарастал новыми присоединяющимися к нему людьми разных общественных классов. Он убедился, что большинство ожидающих составляют рабочие, служащие и неопределенное какое-то простолюдье. Успокоившись, он занял в очереди место, провел взглядом по другим ожидающим и вдруг поймал на себе взгляд Файмана.

Файман, очевидно, также недавно занял место, стоял бочком недалеко и сделал было неловкую попытку стушеваться. Но таиться было уже поздно.

Компанионы снова посмотрели друг на друга. Файн стоял уже вне очереди, будто он здесь находился случайно.

Оба торговца шевельнулись друг к другу.

— Вы, Соломон, гуляете?—с политичной любезностью подсказал Файман.—Ой, сколько народу любило Ленина! Сообща у них все—хорошо. А мы один на другого дуемся! Здравствуйте.

— Здравствуйте, Давид Абрамович... Я же тоже гуляю, как и вы,—уклонился с хитрой неопределенностью

Файн.—А дуемся, вы же знаете... Вы нехорошо, Давид Абрамович, отнеслись к моей заботе о вашем добре, когда этот пожар напугал всех в «Централе»...

Файман хорошо, будто путешественник полярных стран, был упакован в теплые одежды. Немного ослабил шарф на подбородке, чтобы разговаривать.

— Ну, чтобы не сердились, Соломон, я отдам вам все, только давайте не портить компании.

У Файна отлегло на сердце, и он потряс головой.

— Что ж, я теперь и не требую уже, Давид Абрамович, не обеднею. Компанией мы больше можем сделать, понятно. И у вас торговля, и у меня теперь торговля. Я зайду к вам в гости завтра. Ой, холодно как!

— Холодно, Соломон! Пристал я, хоть постою здесь послушаю, что говорят о Ленине.

— Я тоже, Давид Абрамович, хотел послушать. Да холодно, не уйти ли?

Файн вопросительно покосился на очередь и на Файмана.

Файман нерешительно поглядел на очередь, со своей стороны. На полшага отодвинулся от Файна и рассудил:

— А почему бы нам не пойти к Ленину, Соломон? Все равно гулять. Вас же не побьет дома никто за это?

— Я намеревался пойти, да все скажут, что нэпачи пошли к большевикам...

— Фуй, нэпачи! Мы же не хотим капиталистами сделаться и не открываем банка, а честно торгуем. Государству больше от этого пользы, чем если бы мы были нищими.

Файн растроганно подергал носом.

— Ох, Давид Абрамович, какой вы всегда... на что-нибудь толкнете меня. Я же за этим тоже пришел сюда, да боюсь, если не пустят...

Файман успокаивающе качнул головой.

— Я смотрел уже. Пускают и торговцев, какие не

отличились чем-нибудь. Относятся ко всем вежливо, пускают. Пойдемте!

— Я теперь не догоню вас. Вы ближе.

— Это ничего, вместе выйдем. Я обожду вас возле дома, и вместе пойдем.

Файн кивнул головой в знак согласия и стал в хвост. И он и Файман стоически дождались пока их пустили в дом. Прошли мимо гроба и наклонением головы почтили покоящегося в нем великого человека.

Файман ожидал Файна на углу. Они побеседовали. Файн пошел в магазинчик и здесь узнал новость. Плакат, из которого он соорудил рекламный фокус, лишь только он ушел, привлек внимание проходивших мимо коммунистов. Они собрали публику и заставили снять с плаката рекламное безобразие. Милиция составила протокол.

У Файна заболел живот на несколько дней, пока он не убедился, что других последствий его выдумка не принесла.

Стебун, после всего, что он узнал о компанионах, не мог пройти мимо них без скрытой улыбки. Но торговцы были людьми иного мира. У них—коммерция, а у него—свои дела, и касаться нэпманов ближе ему не было никакого повода.

Пробездельничав около месяца, как внушил ему доктор, и почувствовав жажду к работе, Стебун заинтересовался тем, куда он будет назначен после снятия с работы в агитпропе. Пошел к Захару.

Захар подумал, щекотливо поисповедывал оказавшегося снова не у дел партработника, поговорил о том, о сем и, наконец, предложил:

— Что вы скажете о работе в партиздательстве?

— С Семибабовым?

— Да.

— В качестве кого?

— Ответственного редактора. Дополнительно еще дадим вам работу в Главполитпросвете, будете участво-

вать от губкома в комиссии по заочному образованию. Надо организовать это дело.

Стебун прикинул в уме предложение. Решил:

— Согласен. Сговоритесь с Семибабовым.

— Я сговорюсь, но пойдите и вы к нему.

Издательство Семибабова пухло. Открыт был теперь под щегольской вывеской магазин новейших книжных соблазнов. Понадобились один и другой склады. Функционировали во всех районах Москвы книжные базы издательства, а на крупнейших заводах—прилавки с книгами.

Из комнаты, находившейся возле уборных губкома, Семибабов передвинулся было в те помещения, где был дискуссионный клуб. Но ненадолго вместился и в них. На самой улице возле помещения издательства тесно стало от грузовиков и подвод, то подвозящих книжные тюки из типографий, то увозящих издательский груз на вокзалы для транспортированья в разные части Советской страны. Семибабов отвоевал себе по этой же улице большущий особняк, принадлежавший некогда издательству газеты «Копейка». Вселился в него.

И вот сидит—не сидит красный книготорговец, а больше вертится в кресле за письменным столом, постоянно отговариваясь от книжных агентов или представителей провинциальных издательств, постоянно торгуясь с ними, навертывая один на другой крендели сделок.

И уже не разверстщик литературы он при книжном шкафике губкома, а председатель правления издательства.

Ратнер, перетаскивавшая в губкоме книги с латышом и фронтовиком,—не регистраторша редких бумажек, а деловитый, подстать председателю, секретарь.

Фронтовик Морозов—заведующий складом.

Длинный, как ходуля, латыш Дрейфус оказался обладателем бухгалтерской премудрости и ведает финансовой частью. Кроме сотрудников—десятки чужого народа, ищущие в издательстве работы редактора, беллетристы и поэты.

Для руководства редакционной частью работы в издательстве Семибабов просил уже не раз у Захара ответственного работника. И вот Захар, сговорившись с Центральным комитетом и проведя вопрос на бюро губкома, предложил эту роль Стебуну.

Пришел Стебун.

У Семибабова—Дрейфус с бумажками, главполитпросветчик с книжного распределительного сектора, выпрашивающий, чтобы ему отпустили товар под облигации займа или в кредит, и выжидательно насторожившаяся Ратнер, которая должна будет сделать в склад распоряжение, лишь сговор кончится.

Увидев Стебуна, Семибабов разом отмахнулся от главполитпросветчика и кивнул Дрейфусу, беря для подписи бумажки.

— Отпустите!—распорядился он, обращаясь к Ратнер. Стебуна обдал довольным взглядом.—Садитесь, дядя!

Подписал счет. Подписал несколько платежей и требований. Остановился на паре бумажек.

— Авансы?

— Да... Работают, а есть надо что-нибудь?

— Кочергин... Евграфова... — прочел Семибабов.— Упаковщики со склада?

— Да. Еще ни разу аванс не брали.

— Выдайте, но скажите, что вперед пусть стараются обходиться получкой.

Семибабов повернулся с улыбкой к Стебуну, но тут же принял серьезно-деловитый вид. Он знал Стебуна со всех сторон, но только не как подчиненного. Как он будет работать? Естественно, возникла потребность убедиться в том, что Стебун пришел не для

времяпрепровождения и обузы, а для заинтересованного в развитии всего дела сотрудничества с ним и остальными работниками издательства. Приветственно возгласил:

— Работать, дядя?

Стебун набил трубку. Поджег заряд своего зелья, ткнул в пепельницу спичку и облокотился на стол в полуоборота к лицу Семибабова.

— Да, ходят слухи, что у вас большая работа.

— А если не большая?

— Все равно, лишь бы работа, а не видимость.

— Нет, дядя, тут у нас такая хозопляска, что только винти да винти—час на час, день на день. Можно сейчас вам денька на два дать одну малограмотную штуку, чтобы вы ее просмотрели?

— Что же, я не белоручничать пришел. Покажи.

— Секундочку...

Семибабов вышел в соседнюю комнату, через минуту возвратился с несколькими ученическими тетрадками, сшитыми в одну папку.

— Вот. Это продукция некоего участника империалистической войны. Дневник солдата. Замечательная вещь, но не только сырая, а совсем неграмотная. Мы ее, может быть, и не издадим, но с Военного издательства выручим деньги за нее для поддержки коммуниста из солдат и сделаем полезное дело.

Стебун понял, что это—проба. Кисло перелистав несколько страниц плохо исписанных тетрадок, споткнулся на чем-то. Вернулся к первой странице.

Потом оглянулся.

— За этот столик сесть можно? Машинистка у вас есть? Позовите ее сюда, да пусть даст мне бумаги.

Семибабов, угадывая, что Стебун хочет работать, воспрянул, зазвонил, вызывая к себе Ратнер, предоставил редактору и машинистку и все остальное.

Стебун с машинисткой расположился в углу кабинета за секретарским столиком и, не обращая ни

на что внимания, утонул в рукописи, одновременно и исправляя ее и диктуя в исправленном виде машинистке.

Он понял, что Семибабов хотел проверить его редакторскую работоспособность; решив, что работать в издательстве, являвшемся узлом центровых партаппаратов Москвы, будет уж не так дурно, пошел навстречу желанию мастера издательских дел, чтобы тут же покончить с вопросом о своей персоне.

Проработав около часа, он на мгновение оторвался, воззрился на осаждаемого, по обыкновению, посетителями Семибабова и спросил:

— Чай у вас бывает, дядя?

Семибабов довольно дакнул и, немедленно приоткрыв дверь, кому-то крикнул в коридор:

— Товарищ Хренов, чаю, конфект, лимон, халвы, кондитерскую и кофейную товарищу Стебуну!

Стебун с одобряющей улыбкой покосился на товарища и продолжал работу.

Через три часа он сдал дневник обработанным так, что тщательно прочитавший его после этого Семибабов не нашел ни одной фразы, к которой можно было бы придраться с точки зрения редакторского контроля. Но, уже прислушиваясь к диктовке дневника, Семибабов убедился, что редактором Стебун в издательстве будет именно таким, какого он не мог бы придумать и нарочно.

Он пожал руку Стебуну, когда тот собрался уходить.

— Ну, дядя, завтра значит будем продолжать уже вместе? Как вас звать подомашнее? Илья...

— Илья Николаевич.

— Хорошо. Компанию теперь мы с вами составим. Я рад, что вы будете комиссарствовать надо мной, а не бюрократа какого-нибудь прислали.

Стебун ушел, чтобы со следующего дня засесть за работу в издательстве окончательно.

Придоров и Льола приехали в Москву весной, с расчетом, что пробудут здесь около недели. Так Придоров намечал в первые дни приезда, а затем сам же начал затягивать отъезд.

Льола не столько думала о покупках, сколько спешила разыскать хоть какую-нибудь ниточку, за которую можно было бы уцепиться, чтобы найти в Москве службу.

Разыскала одну из бывших подруг по педагогическим курсам, на которых училась перед замужеством. Подруга жила в Первом советском доме и была знакома со всем домом. Она предприняла атаку на члена правления недавно учрежденного Госбанка Кирпичева и познакомила с ним Льолу.

И вот судьба Льолы почти решена, кружится голова от радости. Льола завтра должна сговориться по поводу работы.

Придоров целыми днями где-то пропадает. Льола взволнована, ей в стенах гостиницы тесно и душно; она вышла на улицу погулять по городу.

И вот она в центре Москвы. Она идет по пышным кварталам Петровки. Гипсовые колоссы, поддерживающие веранду в каком-то старинном доме, салютуют ей наклонением головы; цементные амуры, украшающие на домах узоры карнизов, посылают воздушные поцелуи. В зорких, сеющих огоньки глазах молодой женщины мелькают убранство выставок и рекламные надписи магазинов, перед ней и за ней потоки столичных модников и модниц.

Мужчины с дерзко замедленными шагами вглядываются в лицо сияющей красотой незнакомки, которая с видом гордой чужестранки шествует мимо, не удостаивая их взглядом.

Сияют магазины.

Но магазины—не для Льолы. Она—нищая, хотя и имеет вид королевы. Перед ней новая жизнь, а пока во всем потоке щегольской уличной массы нет ни

одной души, связанной общими интересами с прибывшей из провинции и ищущей себе в столице житейского причала молодой женщиной.

Переоценив еще раз свое сожительство с Придоровым, ненадолго воскреснув после полученного ею анонимного сообщения в надежде разыскать мужа, пережив потерю ребенка и упав опять духом по приезде в Москву, Льола была уже близка к тому, чтобы возвратиться в Одессу ни с чем.

И вот, как ни было это неожиданно, судьба развязывала ей руки. Отдавая себе в этом отчет, Льола силилась сдержать радость, чтобы не сиять ею, как влюбившаяся в первый раз девочка. Против ее воли, ее лицо светилось улыбкой.

Льола торжествовала.

Но игра улыбки вдруг исчезла, червячок тревоги заставил ее озабоченно потемнеть, и она крепче стиснула в руке ручку ридикюля.

Ведь теперь приблизилось время сведения счетов с Придоровым.

Льола вышла погулять, собраться с духом и посмотреть Москву. Она ее любила больше какого бы то ни было другого города и особенно больше этой торгашеской, с авантюристически непостоянным населением Одессы.

В Одессе, правда, Льола пережила самые тяжелые годы голода и разрухи, но по Москве с ее особой домовитостью скучала всегда и находила утешение в том, что временами хоть мечтала о ней.

Теперь, чувствуя, что она в ближайшие дни сделается снова москвичкой, Льола впитывала в себя биение жизни столицы.

По Столешникову она поднялась в Козьмо-Демьяновский переулок и здесь очутилась в недавно разбитом скверике. Чем-то свежим и новым дохнуло на нее, лишь только она поднялась на верхнюю площадку сквера. Она оглянулась и поняла, что это впечатле-

ние свежести—от однотонной кумачево-красной с белыми промежутками отделки домов, окружающих площадь тысячью окон.

Льола пробежала по ним взглядом, перенесла глаза на памятник революции, на арки сквера, на клумбы— и не могла не признаться:

— Хорошо!

Привычка оценивать красивое сделала свое, и к советским деятелям, позаботившимся о том, чтобы привести в порядок площадь, у ней шевельнулось уважение.

Льола осмотрела и публику сквера.

Было предвечернее время весеннего дня. Скверик был оживлен.

Дети. Несколько парочек на скамьях. Двое-трое мужчин с ребятами. Но больше всего матерей и проводящих время на свиданиях или в ожидании свиданий юных прелестниц.

Льола присела на минутку передохнуть и пробежать неуловимым взглядом по каждой из наиболее эффектных прелестниц сквера, мысленно сравнивая их с собой.

Скептически усмехнулась.

Коротенькие юбки, кричащая безвкусица, примитивная падкость к заграничным шаблонам и к килограммам косметических средств.

Дешевка!

Сейчас же, как только Льола села, несколько модных особ обернулись к ней, одни—с любопытством, другие—с демонстративным пренебрежением к ее неопороченной крикливыми подробностями костюма внешности.

Льола в ответ на это выражение женской кични высокомерно повела носиком.

Дешевка!

Льола не знала, что этот примитив нарядов и манер создан людьми нэпа, но чувствовала, что это не

то, что дала ей самой тренировка ее собственного вкуса к нарядам и уходу за своей наружностью.

Вблизи нее сидели девица и два молодых человека, вслух с аппетитными комментариями перечислявшие курорты Крыма и Кавказа, очевидно в предвидении летней поездки на них.

В это время в скверик вошла и прошла через него, направляясь на Тверскую, какая-то чахоточная явно увядающая красавица.

— Сарра Рупп! Сарра Рупп! Звезда балета!—оповестил один из юношей своих собеседников, тотчас же уставившихся на артистку.

Льола посмотрела в сторону знаменитости и чуть-чуть скосила глаза вслед прошедшей. Запечатлела в себе штришок нерадостного наблюдения:

«Пшикни из спринцовки на несчастную звезду—и она зачадит, как огарок!».

Группа детей перебрасывала друг дружке мяч. Какое-то маленькое существо в ярко-голубом вязаном костюмчике, в таком же колпачке с кистью, как козявка, ползло со ступеньки на ступеньку с нижней площадки сквера. За ним беспомощно передвигалась, расставив на всякий случай руки и панически вскрикивая при неверных движениях ребенка, мать.

Полуостанавливаясь возле клумб и бегавших детей, шли прохожие.

Льола хотела подняться и уходить и вдруг приросла к скамье, словно ей рухнуло что-нибудь на голову. У нее в глазах забегали зайчики гнева, губы слегка сжались, и уголки зрачков, несмотря на то, что она сама не шевельнулась, остановились на вошедшей в сквер паре, направившейся к освободившемуся местечку на скамье нижней площадки.

Льола вся превратилась в слух и внимание.

Это был Придоров с вызывающе раскрашенной девицей в костюме амазонки.

Они сели у гранитной стены нижнего плаца, в то время как Льола сидела на другом плацу, вверху, и могла слышать все, о чем заговорит муж.

Льола едва сдержала вздох, чтобы не выдать своего присутствия.

Лавр Придоров был барски безмятежен.

Обвисшие щеки, фуражка с белым верхом, с иголочки костюм, с замшевым верхом лаковые ботинки, обилие колец на пальцах обеих рук, в зубах сигара.

От его самодовольного вида отдавало набитым червонцами бумажником.

Спутницей его была Фирра, с которой Придоров в этот свой приезд познакомился, немедленно же начав делать предприимчивой дочери торговца авансы.

Фирра в сюртуке и сапогах имела походный вид. Со стэком и перчатками в руке, она развязно скрещивала свои играющие взгляды со взглядами Придорова и откровенно дразнила его. Придоров, продолжая, очевидно, разговор, как только они сели, возразил:

— Флиртовать с собственной женой! Чорт возьми, Фирра Давидовна! Еще интерес тоже! Она недурна, и если б еще знала, где раки зимуют... хоть сейчас в султанши... ха-ха! Но правил и принципов в каждом взгляде столько, что я чумею... А попробую, что выйдет из флирта.

— Она — жена! — объяснила вполголоса снисходительно галантная Фирра.—И провинциалка разве может догадываться о том, чего ждет от женщины знающий жизнь мужчина? Французский стиль и в Москве знают не все. Ха-ха!

Что-то гадкое и прямо касающееся Льолы было в этом разговоре.

Льола не могла бы теперь подняться со скамьи, если бы даже хотела, так подкосило ее услышанное. Показалось, что красные здания всей тысячью своих окон уставились на нее и обдают ее стыдючим жаром позора.

Без кровинки в лице она продолжала слушать.

Фирра же чуть прищурила вызывающе один глаз и ожидала.

— Хе-хе! Французский стиль!

Придоров всосал в себя фразу, сияя от удовольствия. Придвинулся к собеседнице.

— Но что же вы, Фирра Давидовна... Сюда приходят сидеть те, кому деваться некуда. Проедемтесь на Воробьевы, оттуда—в гостиницу. Кутнем сегодня, а то, смотрите, ручки увяли даже у вас...

И Придоров взял руку девицы.

Фирра, очевидно, ждала, что последует приглашение. Но она испытывала настойчивость Придорова и, не отняв руки, играла равнодушием. Придоров же с видом чувственника увлекся пальцами Фирры, будто играя ими, и, остановившись на безымянном пальце, украшенном кольцом с едва поблескивающим бриллиантиком, он пренебрежительно кивнул на него.

— Пхе!—негодующе произнес он и сделал жест презрения.

Фирра упрямо опровергла:

— Никакое «пхе»!

Она стала перебирать пальцы, поднимая их к лицу Придорова:

— Это—мизинец. Это—перстневик. Это—средний. А вот этот «пхе»!

С уверенностью в том, что последует поцелуй, она вытянула указательный палец.

Придоров ухватился за него.

— Хе-хе! Этот значит «пхе»? Жулик! Я должен его поцеловать...—он нетерпеливо заерзал.—Га! Идемте к Страстному. Возьмем такси. Поедемте...

Льола видела и слышала достаточно.

Решительно встала со скамьи и с видом идущей по своим делам женщины стала спускаться на нижнюю площадку, где неизбежно должна была очутиться перед сговорившейся парой.

Придоров, продолжавший говорить что-то амазонке, на полуслове осекся и остолбенело поднял на жену глаза.

Льола с гордым спокойствием окинула его взглядом, будто только что увидела:

— А... вы здесь?

С гримаской допускаемого вежливостью пренебрежения она скользнула взглядом по спутнице мужа и, как будто все происходило именно так, как полагалось, сделала шаг к Придорову.

— Вы собирались куда-то? Посвоевольничайте, я не хочу мешать вам, но имейте в виду, что я буду ждать вас дома не более двух часов.

Придоров недоумевал и готов был провалиться сквозь землю. Он не понимал предупреждения жены. Во всяком случае нужно было что-нибудь делать с амазонкой.

— Это мадемуазель...

Он запнулся. Он хотел поправить дело представлением жены Фирре, со вспышкой любопытства и недоумения оглядывавшей обоих супругов.

Льола презрительно чуть скосила глаз и успокоила:

— Да? Вы собирались куда-то... Сговоритесь с мадемуазель о свидании на следующий раз. Я зайду еще в один магазин и буду вас ждать затем дома.

И Льола, кивнув, хотела уйти.

Придоров вдруг решил проявить характер и предотвратить решимость женщины дерзостью.

— Что ты хочешь?!—прошипел он вдруг.—На обоих вас хотел я...

Он не досказал. Льола с исказившимся от вспышки гнева лицом широко раскрыла глаза и сделала угрожающее движение рукой, чуть приподнимая ее перед собой.

Придоров, как предостереженный от нападения на прохожего понтер, опал, смолкнув на полуслове.

Льола повернулась и пошла прочь.

Вышла из себя и Фирра, увидевшая, что кое-кто из сидящих на скамьях начинает оборачиваться в их сторону.

— Босяк!—прошипела она, передернув в руке стэк.—Жену не может заставить сидеть дома!

И, не дав Придорову сказать слова, юркнула вверх по лестнице.

Придоров скрипнул зубами, посмотрел вслед и жене и своей новой знакомой и, взглянув на смеющуюся публику, быстро повернул с площадки.

Опозоренный происшедшим, он клацал зубами, шагая по Столешникову. Он понял, что жена, пользуясь свободой советских порядков, решила или взять его в руки или оставить. Но это не входило в его расчеты. Он знал, что у нее не было денег, и зловеще предостерегал ее в уме:

«Посмотрим, посмотрим, Льолочка!.. Приди только сегодня домой!»

И он с злобой мелочной мстительности придумывал способы воздействия на жену.

«Это не прежнее царство большевистских карточек, когда—ткнись к какому-нибудь комиссару, продайся за паек и живи. Теперь, кроме пайка, нам нужны юбочки с бантиками и шляпки с газами. Без червончиков ничего не сделаете. Нэп-с! Ха-ха!»

Он шагал по Петровке, где недавно проходила Льола. Но нервозная горячка центральных кварталов дергала его не меньше скандала, на который он нарвался.

Прохожие, казалось, знали, что произошло, и как-то особенно злоехидно, иронически осматривали его, беся своими ухмылками. Тошнотное чувство растерянности заставляло цепляться за что-то его ноги, несмотря на разутюженность нового асфальта. Машины, извозчики и люди как будто нарочно сбивались в дергающиеся очереди и пробки, чтобы загораживать ему до-

рогу. Перед одной из таких пробок он остановился и вскипел на самого себя:

«Что же я иду плеваться домой? Под благословение? По крайней мере приготовлюсь. Пусть обождет».

И он повернул в ресторан на Тверскую отвести душу за коньяком и намеренно притти в гостиницу, лишь когда Льола заведомо будет уже дома.

Льола между тем думала о своем положении.

Теперь Придоров сам доставил ей повод для злого разрыва с ним. Надо было дождаться его, заставить его дать ей средства хоть на первые дни существования и после этого оттолкнуть от себя самую память о нем.

Чтобы сжечь за собой все корабли, молодая женщина сейчас же направилась в случайно замеченную ею еще раньше дешевенькую гостиницу у Страстного монастыря. Ей удалось закрепить за собой на несколько суток номер. После этого она, сохраняя невозмутимый вид гордой красавицы, пошла домой. Только щурились от гнева под длинными ресницами глаза.

Самой себе Льола созналась, что она, разоблачая мужа, поспешила.

Что она будет делать в Москве без денег, пока не получит хотя бы аванса, когда станет работать? Если Придоров ей ничего не даст? Чем расплатиться за гостиницу? Как устроиться с квартирой? И что, если обещанная работа завтра получена не будет?

Гудели, несясь по спуску проезда на площадь, трамвайные вагоны. Льола, задыхаясь от потрясающего ее негодования, спешила скорей достигнуть дома; не передохнув, вошла в гостиницу.

Ключ висел на нумераторе. А она ходила около часа. Значит Придорова нет?

Льола на мгновение вздрогнула, но взяла ключ и прошла на второй этаж.

Гневно подумала:

«Фокус какой-то выдумывает, мудрец одесский! Ну, я дождусь... Прежде рассчитаемся».

И она вошла в номер, стала собирать в чемоданчик вещи и свертывать в ремни постель. Когда это было готово, задумалась.

Еще два часа назад Льола смеялась.

А теперь?

Она выключила свет и, зажмурив глаза, закрыв их руками, откинулась на спинку кресла.

Только блики рекламного фонаря с дома-небоскреба напротив, дробясь через листву уличного дерева, вместе с тенями этой листвы колеблются на полу и на стенах. Тяжело чернеют портьеры, в складках которых свисают шеренгой немые бездушные тени. Молчат загадкой расплывшихся силуэтов обесформленные мраком очертания обстановки. Жутко.

Вошло в номер горе, облюбовало место, разлокотилось.

У Льолы оказалось время, чтобы подумать и приготовиться к необходимому разговору.

Придоров пришел с видом деланой и веселой непринужденности.

Постучался сперва решительно и с вызовом.

Льола не ответила; тогда он толкнул дверь и открыл ее сам.

— Гм! Спит мадам-барыня, что ли?

Открыл выключатель.

Свет, качнувшись вместе с комнатой, ринулся во все стороны. Отстоялось в нем высокое помещение, сверкнула позолота багетовой рамы на стене.

У выключателя—сделавший вид, что он не взглянул на жену, Придоров. У него груз хорошо завернутой гастрономии и бутылок. Положив тючки на стол, сбросил фуражку и начал не спеша разворачивать свертки.

— Та-так! Так-так!—полупротянул, полуподдакнул какой-то своей мысли легоньким напевцем.

Взглянул на свернутую в ремне постель.

— Так-так! Так-так!—продолжал возню с гастрономией и делал вид, что не может отвязаться от мотивца.

Бросил еще раз взгляд на Льолу.

— Так-так, так! Так-так!..

Пожевал губами.

Видно, хитрил и ждал, чтобы начала жена.

Льола поднялась, сняла с вешалки пальто и положила его к свертку постели, тряхнула сумочкой, останавливаясь перед столом.

— Ну-с, позвольте надеяться, что вы уже понимаете, чего мне недостает, чтобы я ушла отсюда и закаялась когда-нибудь еще раз встретиться с вами?

Придоров крякнул и прочно сел в кресло.

— А чего же еще недостает?—невинно уставился он.—Постель увязана. Вы собрались уходить? Можете... Я не мешаю.

Он делал вид, что равнодушен, а насчет денег не понимает: или ждал просьб или решил поиздеваться.

— Подлец! Вы безвыходностью моего положения хотите воспользоваться, чтобы еще хоть немного оттянуть и неволить меня, пока я не вынуждена буду броситься под трамвай! Вам за один подлог телеграммы, по которой вы хотели обмошенничать финотдел, собьют тон. Или вы хотите, чтобы я обратилась в какой-нибудь комиссариат?

— Обратитесь—попробуйте!.. Не обратитесь! Не дамское дело, сударыня-с! На это я мастер. И я шататься по Москве с одной постелькой не буду. Комиссариаты—штука крючкастая. А впрочем, все это—гниль! Я, Льолочка, тебя никуда не пущу! Что я шуры-муры развожу при случае—это верно. На то я Придоров. Такая вкрючливая натура у меня... погибло все от большевиков, а Придоров вертится возле них и вывертывает всякие, знаете, ажурцы. Но пил вот я сейчас в «Звездочке» и решил, что не любить

такую раскрасавицу нельзя. Все мне о тебе прожжужали уши, а ты моя собственность, и я без всяких порфир тебя почти и не видел. Брось-ка ты сумку да разденься... ляжем спать... Я спущу штору. Ха-ха!.. Червончики женочке потребовались! Покорной женочке и червончиков не жалко. У Придорова хватит... Ту-та!

Он, балаганничая, прихлопнул себя по грудному карману и повернулся за шнуром оконных штор.

— Согласна, Льолочка?

И любопытно-похотливые глаза с стеклянеющей серой мутью всосались в Льолу.

У Льолы ходуном ходила грудь и подкашивались ноги.

«Подлец! Что с ним сделать?»

И Льола растерянно стояла, то схватываясь за пальто, то с ужасом роняя его из рук. Не заметила, как щелкнул выключатель.

— Х-х!.. Согласна, Льолочка?—обдал ее похотливо охмеленным шопотом Придоров, очутившись возле нее.

И она почувствовала на себе его руку.

— Лезет, животное! Я не подпущу тебя, пока ты не отдашь половину своих денег, чтобы я могла после этого от тебя убежать... Деньги давай, если хочешь лезть! Зверь!

И Льола толкнула прочь мужа, чувствуя, что она готова впиться в него зубами.

Придоров прохрипел что-то и, взбешенно зашуршав бумажками, снова оказался возле нее, суя ей в руку деньги и охватывая ее.

— На... Га!

— Подлец!

Льола, не дав опомниться Придорову, оттолкнула его, вскочила, накинула пальто и, когда Придоров попытался загородить ей дверь, так выразительно приготовилась крикнуть, что он отскочил.

Она бежала.

В кабинете правления партийного издательства работали Семибабов и Стебун. Семибабов вел обычные сговоры с клиентами и сотрудниками издательства. В углу кабинета за столиком сидел несколько отдохнувший от вертушки аппарата, но и сейчас своим сухим видом напоминающий атамана контрабандистов—Стебун.

Латыш—бухгалтер с документами, по которым нужно было произвести платежи, перечислял Семибабову счета и ждал подписания нескольких последних бумажек. Ждал еще, пока освободится Семибабов, стоя возле стола, похожий на юркого приказчика конторщик из цинкографии, в которую издательство сдавало большинство своих иллюстрационных работ.

Вошла новая посетительница, красивая и со вкусом одетая особа.

Взглянув на нее и поймав ее беспокойно дрогнувший при виде многолюдья взгляд, Семибабов успокаивающе оглянулся и жестом указал на кресло в стороне:

— Присядьте пожалуйста.

Это была Льола. Она села. Повела взглядом и вдруг поймала на себе вздрогнувший взгляд Стебуна. Что-то было в этом, потянувшемся к ней взгляде. Льола мгновенно вспомнила эпизод встречи с Стебуном на Харьковском вокзале и переезд с ним в купэ до Москвы, когда она приезжала с Придоровым для получения справок о Луговом.

Льола вспыхнула, пряча глаза, и почувствовала, что также вспомнил встречи с ней и неспокойно напрягся Стебун, чуть передвинувшийся на стуле и переведщий в сторону глаза.

Она помедлила и снова беспокойно метнула бросок взгляда в сторону крепкожилого мужчины.

Стебун, читая рукопись, делал вид, что не заинтересовался посетительницею больше обычного. Казалось, он не отрывался от чтения.

В самом же деле его что-то приподняло. Он угадал вдруг, что молодая женщина пришла к чужим людям, спасаясь от какого-то бедствия. Впервые понастоящему он почувствовал в ней женщину, и пульс забился у него дикой стукотней.

Не подавая вида, что с ним что-то происходит, он полистал еще с полминуты рукопись, что-то обдумывая, потом подтянул к себе клочок бумаги и, будто продолжая делать пометки на тетрадке, черкнул на клочке несколько слов. После этого свернул записку и стал ожидать, украдкой наблюдая за происходящим.

На Семибабова напирал цинкографский конторщик, рыжий юноша, выпрашивавший аванс в счет заказанных работ.

— Павел Васильевич,—изображая комическое отчаяние, молил он вместе с тем серьезно,—выручайте!

— Вот прорва!—отшучивался Семибабов, пробегая глазами копию заказа.—Почему не обратитесь в Госиздат или в Наркомфин? Вы же для них работаете в сто раз больше.

— Э, Павел Васильевич! Если и следует получить, так там от подписи управдела до ящика кассира такая Военно-грузинская дорога, что по ней только ишак не заблудится. Сам зав сможет разыскать там, что ему надо, если на трех языках путеводитель по отделам с примечаниями Рязанова издадут и в фотографиях все этажи изобразят. Бюрократия!

— Ха-ха! А у них вы наши порядки тоже так расписываете?

— Ваши порядки, Павел Васильевич! Эх, что там равнять!

— Сколько вам нужно?

Семибабов взглянул на Льолу:

— Простите, товарищ, вы не очень спешите?

— Пожалуйста.

Конторщик радостно заволновался:

— Да пустяк: десять червонцев. Нужно двадцать, но десять я уже добыл в Агитпропе за плакаты.

— У Диссмана?

— Да.

— Ха! Дал? Как же это вы его подковали?

— Подсыпался... Он, знаете, спит и во сне видит, будто похож на Ленина. Даже говорить старается под Ильича. Вот я болтал-болтал, а сам все разглядываю его, будто картину какую. Он, наконец, спрашивает: «Что вы?»—«Да,—говорю,—на Ленина вы, товарищ Диссман, похожи—поразительно! Вам еще никто этого не говорил?» Он расцвел, приосанился и скромничает: «Да намекали, намекали!»—и по бородке себя рукой и глаз прищурил. Ну, после этого я пожалел, что не попросил сразу двадцать червонцев: дал бы.

— Ха-ха! Ну и жулье же! Давайте подпишу да уходите, а то и я окажусь у вас похожим на Маркса.

Семибабов со смехом подписал заявление.

— Только работу, смотрите,—предостерег он,—ощупывать буду своими руками.

— Да, Павел Васильевич! Любому спецу покажете.

Семибабов пожал руку рыжему молодцу и полупоклоном пригласил Льолу сесть ближе.

Льола подала записку и пересела, вопросительно ожидая, что ей скажет хитро владычествующий из-за своего стола человек.

Еще не дочитав записки, в которой подательница рекомендовалась на должность секретаря издательства, Семибабов вдруг заерзал, отчего на сердце у Льолы похолодело.

— Чудак, Кирпичев, вот чудак!

И он живо повернулся к Льоле.

— Ведь он же знает, что мне мужчина нужен. Мне нужен грамотный толковый парень, способный и сеять, и жать, и на дуде играть. А вы... простите вы же на нашей мельнице не будете знать даже, что делать...

Льола растерянно опустилась и убито предупредила:

— Мне Кирпичев говорил, будто он с вами сговорился, что пришлет меня на должность секретаря. И он считал, что это вещь решенная.

— Но я говорил о мужчине... Ах, чудак, Кирпичище! Что же нам делать?

Семибабов вопросительно перевел глаза с Льолы на Стебуна.

Стебун воспользовался этим, чтобы предупреждающе шевельнуть своему сотоварищу взглядом, и бросил ему записку.

Семибабов схватил в действиях товарища что-то относящееся к просьбе посетительницы и, прежде чем сказать еще что-нибудь ей, мелькнул глазами по записке. Он растерянно захлопал глазами, прочитав в записке сообщение Стебуна:

«Эта особа будет моей женой. Второй раз вижу ее и начинаю балдеть. Кто она? Если надо, выручите ее. Имейте в виду мою помощь. Узнайте о ней больше».

Семибабов оглушенно замер на мгновение, но не повел бровью, соображая, как теперь поступить. Мигнул взглядом в сторону Стебуна и, сочувственно вглядываясь в Льолу, сам себе растерянно повторил:

— Что же тут делать?

Льола сидела как на огне, чувствуя, что у нее в глазах начало все двоиться. Теряя веру в помощь, она поднялась.

— Простите, что обеспокоила вас по вине Кирпичева.

Но Семибабов движением руки горячо остановил ее.

— Нет, стойте, товарищ, так не годится! Сядьте-ка еще на минутку. Это же не решение вопроса.

Льола разбито подняла глаза, неуверенно садясь снова. Но сами собой у нее губы сжались в жесткие склад-

ки, как у человека, над которым кто-то захотел поиздеваться.

Семибабов угадал катастрофичность положения просительницы и взметнулся.

— Вы не горячитесь-ка, товарищ, и не спешите думать, что все на свете чурбаны... Если дело в том, что вы нуждаетесь в немедленном получении работы, то я считаю себя обязанным устроить так, чтобы ваши интересы не страдали, если даже к Кирпичеву вам обращаться снова неудобно... Работали вы где-нибудь до сих пор?

Льола несколько успокоилась, но могла говорить только со сдержанной официальностью, чтобы этот хозяйничающий из-за стола человек не подумал, что она подделывается к нему. И особенно еще при Стебуне просить...

— Я до сих пор работала только в качестве учительницы в Одессе. И когда Кирпичев направлял меня к вам, то я предупредила об этом его. Советских порядков совершенно не знаю. Жила последнее время праздной дармоедкой. Единственно, что у меня есть,— отчаяние, которое может толкнуть на что угодно. Могу ручаться только, что если мне дадут работу—я буду работать, а не дуть на пальчики. Вам нетрудно научить работать меня, если вы верите, что я гожусь на что-нибудь.

Семибабов скрыл улыбку. С интересом спросил:

— Вы думаете, это так просто, что все вас будут учить?

Льола вопросительно посмотрела на него.

— Где вы учились?

— Кончила педагогические курсы.

— Ну вот, а говорите ничего не знаете и дармоедка. И языки знаете?

— Знаю два.

— И педагогику?

— Да, в теории.

— И литературу?

— Очень хорошо иностранную, преимущественно по подлинникам. Немного хуже русскую. Можете проэкзаменовать... Литературой я жила.

— Га, чудесно! Вы простите, но виновником недоразумения с этим секретарствованием являюсь все-таки, должно быть, я, а не Кирпичев. Я говорил ему про секретаря для издательства, но была речь и о другом секретаре... Чудак! Тут в Главполитпросвете, где работает товарищ Стебун,—Семибабов кивнул в сторону своего идеолога,—организуется Комиссия по заочному обучению, и им нужен секретарь. По существу—организатор всего этого дела. Кирпичев, должно быть, об этом думал, а пишет—в издательство. Чудак!

Льола внимательно следила за начавшим было снова ерзать во время своих объяснений Семибабовым. Он говорил о разговоре с Кирпичевым, очевидно, импровизируя. Путал следы, чтобы его участие в судьбе Льолы не показалось столь горячим, каким оно было в самом деле. И Льола это поняла. Кирпичев слишком ясно говорил о самом Семибабове, у которого Льола должна была секретарствовать, чтобы теперь она не сомневалась, что Семибабов сочиняет. Не могла только угадать мотива, который побуждал Семибабова делать это. И, удивляясь быстрой смене в этом некабинетном человеке официального отношения к ней на заинтересованное и отзывчивое, она ждала.

Семибабов обратился за поддержкой к Стебуну.

— Что вы скажете, Илья Николаевич, если мы поможем устроиться товарищу в Главполитпросвете? Кстати,—перебил он себя,—как же ваше имя, отчество или фамилия?

— Елена Дмитриевна.

Льола чуть покраснела снова, решив фамилии пока не называть.

— Елену Дмитриевну устроим, а?—кивнул Стебуну Семибабов.

Стебун, оторвавшись от рукописи, полминуты помедлил и одобрительно заметил:

— Что ж, там секретарь нужен. Вашу знакомую, очевидно, сообща надо спасти из какого-то зверинца... Устраивайте!

— Но тут нужна будет ваша помощь, Илья Николаевич.

Стебун вопросительно скосился, будто не понимая, о чем говорилось.

Льола также перевела на него взгляд.

— Дело в том,—объяснил Семибабов,—что Елена Дмитриевна, если ее ткнуть к нескольким бюрократам, не объясняя, что она должна будет в комиссии делать, конечно, растеряется первое время, и все это кончится ничем, а я не прочь Кирпичеву услужить понастоящему и думаю, что Елену Дмитриевну несколько дней подряд не мешало бы проинструктировать. Мы с Еленой Дмитриевной будем рассчитывать на вас... Вы ведь там не меньше бываете, чем в издательстве.

Стебун остановился взглядом на Льоле и серьезно всмотрелся в нее.

Льола взволновалась, теряясь, и умоляюще воскликнула:

— Ох, если столько хлопот, то я не имею никакого права! У вас же у каждого своей работы...

Семибабов, прежде чем ответил что-нибудь Стебун, успокаивающе отмахнулся:

— И мы люди, Елена Дмитриевна!

Стебун усмехнулся располагающей улыбкой.

— Раз вы, товарищ, к нам обратились, то теперь несите и все последствия вашего шага... Кажется мне, что где-то я уже встречался с вами? Не ошибаюсь?

И Стебун остановился прищуренным взглядом на женщине.

Льола вспыхнула.

— В поезде, мы ехали в одном купэ!—воскликнула она, делая движение приподняться со стула.

И почему-то на мгновение все растерянно смолкли.

Стебун, будто и не коснулось его волнение, прежде всех вспомнил, о чем шел разговор до этого, и, продолжая его, ответил на предложение Семибабова:

— Все мое инструктирование сведется к нескольким разъяснениям и к тому, что я у Елены Дмитриевны побываю в первые дни ее работы раз-другой, когда захожу в Главполитпросвет. Пустяк. Сделаю это с удовольствием.

— Тогда все можно считать решенным!—тоном, не допускающим никаких отступлений, объявил Семибабов. И он предложил Льоле:—Завтра пораньше утром вы зайдете сюда и с товарищем Стебуном вместе отправитесь, чтобы без проволочек приступить к работе. Обо всех формальностях я сегодня же сговорюсь с тем товарищем, которому подотчетна будет ваша комиссия. Это с Резцовой надо будет иметь дело?—повернулся издатель к Стебуну.

— С Резцовой. Вы сегодня сговоритесь, а я завтра сделаю остальное,—предупредил Стебун.

— В какой комнате эта комиссия?

— Шестьдесят третья, кажется. Да вы Резцову там найдете...

— Ну вот,—удовлетворенно повернулся Семибабов к молодой женщине,—значит все сделано, как хотел Кирпичев. С завтрашнего дня работаем.

— Ах, спасибо вам!—поднялась счастливая и тронутая Льола, бросая взгляд на Стебуна, в котором чувствовала решившую ее судьбу силу.—Спасибо! До завтра.

Она поклонилась, не подавая руки, и вышла.

Семибабов поднял вопросительно смеющиеся глаза на Стебуна.

Тот улыбкой подтвердил о своих матримониальных намерениях. Этим у обоих определилось отношение к Льоле. Художник, принесший рисунки Семибабову, не дал им перекинуться объяснениями, но когда по-

сетитель сговорился с издателем и вышел, Стебун сам поднял голову, объясняя:

— Я на семейных делах один раз растряс половину самого себя, дорогой. Вы не знаете этих моих дел. Гнить от собачьей старости еще рано. Есть смысл обзавестись женой. А эта Елена Дмитриевна, видно, испечь что-нибудь толковое сумеет. Попробую смычку устроить. Огонь высекают из камня.

— Интеллигентка она, избалованная барством, и внешностью играет. Конкурентов из-за ее юбки не отобьетесь.

Стебун с сомнением покосился.

— Юбку она отдавать в заклад уже пробовала, видно. И сластенов на юбки видала. А поглубже—это я ковырну. Попробуем.

— Ну, лад да счастье вам!

— Спасибо!

Стебун решил подвергнуть Льолу испытанию прямолинейного и беспокойно взметнувшегося порыва своих мужских чувств.

Льола действительно получила работу, и как ново, сгоряча даже счастливо, почувствовала она себя, придя на третий день после разговора у Семибабова в ту комнату Главполитпросвета, которая была отведена для работ Комиссии по организации заочного образования.

Перестали пугать тысячи вопросов, связанных с переменой жизни. Странно, но почему-то, если верить Стебуну, многие из ее очередных забот принял близко к сердцу Семибабов.

Стебун при первом же появлении Льолы в Главполитпросвете свел ее с каким-то товарищем Ржаковым, отдавшим в канцелярию распоряжение провести приказом назначение Елены Луговой в секретари комиссии. Он же предложил ей на следующий день быть

уже в комнате комиссии и самостоятельно ознакомиться с делами по тем бумагам, какие она найдет в столе, пока он придет.

А он приходил на два часа перед окончанием занятий.

Льола чувствовала, что на проявлении самостоятельности можно в первый же день работы провалиться, обнаружив полное непонимание того, что она должна была делать.

Только что она недоуменно расположилась над извлеченными из ящиков стола протоколами и несколькими незначащими бумажками, не зная, как из них создать для себя какое бы то ни было занятие, как Стебун заглянул в дверь, чтобы убедиться, что она пришла. Но, кивнув ей предупреждающе головой, он не зашел, а закрыл сейчас же дверь и куда-то зашагал.

Через четверть часа снова пришел и привел с собой маленькую женщину с острым носиком и подстриженной куделью на голове.

Стебун, подойдя с ней к Льоле, поздоровался и отрекомендовал приведенной женщине нового секретаря.

Льола поднялась.

Маленькая женщина, с мужчинской удалью пройдя по комнате, простецки оглядела сотрудницу с головы до ног, подступила к ней вплотную и с размашкой шлепнула Льолу по руке.

— Вы значит главной зачинщицей будете в этой комнате теперь? Здравствуйте!

— Вот, Елена Дмитриевна,—отрекомендовал Стебун Льоле пришедшую,—товарищ Резцова, приятельница моя и Семибабова. Семибабов просил ее, чтобы она помогла вам во всем... Она тут верховодит везде и за вас при надобности заступится. А я сейчас разберу с вами эти бумажки и посоветую, с какого конца начать работу.

— Не знаю, какое спасибо говорить и вам и товарищу Семибабову... Я уж начала падать духом. Наработаю я, если мне не объяснят...

— Объясним!—бросил Стебун, взяв со стола бумажки и пробегая их.

— Этот стряпальщик, если захочет, то каждая комиссия у него завертится посвоему!—махнула безапелляционно рукой на Стебуна Резцова.—Вы, Елена Дмитриевна, с самого же начала берите все в свои руки, если дело вам по душе. Теперь в провинции в каждом городе есть много такой публики, которая хотела бы сделаться поученей. Комиссии надо открыть всю эту публику и накормить ее всем, чем мы можем, а главное—нашим пониманием общественной жизни. Комиссия уже несколько месяцев как назначена, но никто до сих пор ничего не сделал. Теперь назначен председатель, а секретарствовать будете вы. Человека опытного на это дело не найдешь. Придется тут вам все самой изобретать. Если сумеете—вы герой, а не секретарь будете. Пока значит оставайтесь, а если что надо вам будет—прямо ко мне. Поучайтесь от Стебуна...

Она ушла.

Стебун показал на протоколы.

— Вы это читали?

— Читала.

— А эту словесность?

Он указал на копии отношений в различные учреждения.

— Читала,—повторила Льола.

— Так... Ну, из этого вы почерпнуть что-нибудь едва ли сумеете. Я вам расскажу, что вы должны сегодня сделать. А вы возьмите бумаги и записывайте.

Льола, немного волнуясь оттого, что они остались теперь только вдвоем, хлопотливо приготовилась.

Стебун с сухой замкнутостью деловито выждал несколько секунд, пока она положила на стол бумаги и, скрывая легкую неловкость, села. Не позволяя себе

никакого отступления от роли бесстрастного советчика, Стебун распорядился:

— Я буду вам говорить, а вы записывайте... Я скажу, что вам нужно сделать сегодня и кого вызвать для того, чтобы сговориться о программах и других вещах. На сегодняшний день того, что я вам скажу—хватит, а завтра увидим. Пишите: составить письмо в библиотеки и узнать их адреса...

Льола забегала карандашом по бумаге. Стебун объяснил, в чем смысл первого поручения. Затем предложил записать второе. Также объяснил. Велел записать третье задание.

Впродолжение четверти часа он подсказывал что-нибудь новое и новое для записи, и скоро дела оказалось столько, что Льола уже не сомневалась в заполненности всего дня работой. Кое-что захватывало и следующие дни.

Наконец, Стебун исчерпал наметку программы работы и кивнул головой.

— На сегодня довольно. Теперь работайте.

— Спасибо вам!—вырвалось у Льолы.

Для Стебуна наступил момент неофициальной части его посещения. Он оглянул молодую женщину, встав со стула и собираясь подать ей руку.

— А как у вас с комнатой, гражданин-товарищ? Ведь вы же говорите—только что приехали откуда-то?

Льола вспыхнула от этой новой заботы и, подняв глаза, полууспокоила Стебуна:

— Пока живу. Снимаю номерок в гостинице.

— Гм, номе-ерок!.. Это удовольствие сомнительное.

— И дорого и безобразно!—решила искренне признаться Льола.—Живут люди вместе с кошками и крысами. Не хватает только летучих мышей, но делать нечего.

— Да, это не по вас... Вот об этом меня просил передать вам Семи...бабов... Кг-кг!

Стебун как-то наполовину проглотил фамилию, пряча глаза и подчеркнуто сухо выговаривая слова.

Льола почему-то напряглась, почти краснея, и быстрым взглядом скользнула по Стебуну, не дав ему заметить некоторой вспышки своего сомнения.

Семибабов, несомненно забывший уже о ней, только о ней будто и думает. А он, Стебун, словно не при чем... Или она ошибается? А относительно того, что ее волнует близость этого человека, она тоже ошибается?

«Все большевики, вероятно, такие странные. Другие люди в их руках просто козявки!»—решила она и, успокаиваясь, с вопросительным ожиданием подняла на опекавшего ее советчика глаза.

Стебун все с той же подчеркнутой бесстрастностью объяснил:

— У Семибабова один техник имеет дачу в Малаховке, где живет семья этого техника. Летом обычно там устраивается и Семибабов, поселюсь скоро с ними со всеми и я, наверно. Зимой же все мы живем здесь, потому что утром и вечером много времени тратится на путешествия. Но у кого квартиры нет, тем там и зимовать приходится. Так вот, если у вас ничего лучшего нет, этот техник согласен предоставить вам обставленную комнату, и выйдет это весьма дешево.

— О, это же в тысячу раз, все-таки, лучше гостиницы будет!

— Да, пока вы не устроитесь лучше.

— Я с удовольствием соглашусь на все, лишь бы избавиться от гостиницы.

— Так я тогда и передам Семибабову, а вы затем зайдете к нему.

— Спасибо, Илья Николаевич!

Стебун ободряюще улыбнулся, дружески пожал руку, пробегая по Льоле сочувственным взглядом, и вышел.

Льола осталась одна. Взглянула на переписку. Подумала о том, что работы теперь хватит. И какой работы! Как близко жила она раньше от всяких государственных зачинаний и как она не чувствовала их грандиозности!

На следующий день Стебун опять с утра пришел сделать наметку заданий для нее и сказал, что Семибабов сегодня ждет ее, чтобы сговориться относительно комнаты. Новый заряд работы, но уже сделавшейся понятной, остался после его ухода. Встретившись в коридоре с Резцовой, Льола вдруг вспомнила, что ей даже не пришлось к этой деятельнице Главполитпросвета обратиться за помощью. И Резцова, видно, почувствовав, что Льола входит в работу, поощрительно хлопнула ее по руке.

— Ну, что ваш Ржаков, не сбежал еще?

— О нет, он уже с двумя какими-то профессорами сговорился о постоянной работе. Сговорился с неким Файдышем о журнале. Назавтра заседание назначил. Стебун поручил мне писать письма в Казанский, Ростовский и Ленинградский университеты. Он смотрит за тем, чтобы я не сидела без дела.

— Значит работа пойдет у вас?

— О, пойдет!

— Ну, вот и отлично! Эта комиссия—мое детище, я на заседании завтра буду сама. Если вам что-нибудь нужно будет провести через комиссию, то скажите мне, и мы сговоримся. А закапризничают Ржаков, Файдыш или Стебун да не сговорятся—опять-таки вы ко мне... Обработаем их!

Товарищ Ржаков, пропагандист-антирелигиозник губкома, по совместительству должен был руководить работой Комиссии по заочному образованию. Он тоже только что был назначен, но работой также заинтересовался, с Стебуном и Файдышем заключил союз, и вместе они решили взять в секретари кандидатку Стебуна.

— Вероятно, сговорятся,—успокоила Льола политпросветчицу.—Они, наоборот, такую программу с товарищем Стебуном развили, что скоро не одна я, а каждому из них потребуется по дюжине помощников. Я должна сговориться с библиотеками об условиях, на каких они в провинцию будут высылать пособия и книги. Ржаков тоже об этом ведет переговоры.

— Ого!—обрадовалась Резцова.—И соглашаются библиотеки давать книги?

— Вот об этом я и пишу, здесь у нас уже давно лежали запросы. Я получила каталог от одной библиотеки, сделала подписку и на-днях пошлю книги.

— Да у вас компания оказывается скорошвей-скоробрей. Молодцы! Ну, работайте, а после работы пойдем ко мне, почаюем. До свидания!

Резцова, видимо, вела курс на дружбу с молодой женщиной, и Льолу радовало, что она сама понравилась энергичной Татьяне Михайловне, приятельнице Стебуна.

Так устанавливались у нее новые связи.

Между тем Придоров еще был в Москве, ища случая увидеть жену, и однажды натолкнулся на Льолу.

Он немедленно же после всего происшедшего принял меры к тому, чтобы о скандале с женой никто из знакомых не знал. Не подал никому вида о том, что у него что-нибудь изменилось в семейном положении. Внутренне же от злобы у него мысли одна за другой шли вприсядку.

Первое время он почти был уверен, что Льола возвратится, растратив те несколько десятков рублей, которые он ей сунул впопыхах в тот вечер, когда она ушла от него.

Но вот он увидел ее выходящей вместе с другими сотрудниками из Главполитпросвета.

Он не поверил сначала своим глазам. Пользуясь тем, что Льола его не замечала, прошел несколько шагов сзади и из разговора жены, шагавшей с Резцовой, убе-

дился, что говорят они о просвещенческой работе в каком-то отделе общего для обеих женщин учреждения.

Придорова как кипятком обдало, и он отстал.

Но, пройдя десяток шагов, он передумал и решил зайти наперед, для того чтобы сразу выяснить, чего он может ждать от жены. Его выводило из себя ее бегство. Если бы она теперь возвратилась к нему, он временно даже удержался бы от мести.

Лучше всего было бы, если бы Льола не нашла себе пристанища и убедилась, что без него не проживет. Тогда он простил бы ее, и уж она не мудрила бы впредь. И, надеясь на это, он заранее предвкушал радость того, что победа будет на его стороне. Чего он, однако, не мог ожидать—это того, что Льола уже работает с большевиками.

«Неужели она и оставила его для того, чтобы наговорить им на него?»

Придоров позеленел от одной мысли о возможности такой цели у Льолы.

«Надо вывести тебя, милая, на чистую воду!»—подумал отвергнутый муж и заспешил другой стороной улицы обогнать жену.

Льола рассталась с своей спутницей, и тогда Придоров пошел жене навстречу. Она увидела его переходящим улицу и слегка побледнела. В первое мгновение хотела повернуть назад и бежать, но одумалась, решила дать отпор. Чуть-чуть выпрямила шею, поднимая выше голову и прищурившись презрительно, продолжала итти.

Придоров подошел к Льоле, еле сдерживая под внешним спокойствием дергавшую его злобу. Чувствуя, что жена не только не даст руки, но даже не повернется, чтобы остановиться, он постарался стать с ней в ногу и зашагал рядом.

— Я не понимаю этих штучек, мадам Придорова! Объясните мне пожалуйста, вы давно уже с больше-

вистскими комиссарами шашни ведете, что оказались в их компании?

Его распирало от бешенства.

Льола начала волноваться и, возмущенная наветом ненавистного ей человека, побледнела.

— Это не ваше дело! Если вам что-нибудь нужно от меня, то говорите, а затем оставьте меня в покое.

— А!.. Я хочу поговорить с вами.

— Что вам угодно?

— Пройдемте, сядем на бульваре, я скажу—что.

Льола, не отвечая, прибавила шагу.

— Пойдете вы?

— Нет.

— Га!.. Большевики значит бедную буржуечку приютили и пригрели... Знаем, чем за это буржуечкам приходится расплачиваться. Думаете, они даром няньчиться будут с вами?

Вся кровь хлынула Льоле в лицо. Она переступила несколько шагов, точно вслушиваясь в то, что сказал Придоров, и оглянулась.

Они были у Трубного рынка, на пересечении бульварного кольца. На перекрестке стоял милиционер.

Увидев его, Льола остановилась, пробежала взглядом по фигурам прохожих и, чтобы не привлекать их внимания, с видимым спокойствием произнесла:

— Вот что, слушайте, вы, скот! Я знаю, что вас затронуло и чего вы боитесь... Так имейте в виду: если бы у большевиков только и заботы было, чтобы душить персидским порошком всякую дрянь, я бы уже давно кому-нибудь из них указала на вас. Но у них и дел и сил больше, чем вы думаете. Не до вас ни им, ни мне. До поры до времени подличайте. Но имейте в виду: если вы еще раз подойдете ко мне или скажете что-нибудь о людях, которые ко мне подошли, как не подходили еще никто из такой братии, как вы, вы, мосье Придоров, нарветесь!.. Уходите, иначе я позову милиционера!

И Льола пошла, оставив мужа на улице.

Придоров судорожно мигнул несколько раз глазами, но не проронил ни звука. Только опомнившись через мгновение, он вдогонку угрожающе бросил:

— Хорошо!

Льола не слышала. Она почти бежала, вся дрожа и сотрясаясь внутренне от вспышки гнева.

Если не считать скандального разрыва с женой, то во всех других делах Придорову везло.

Он приехал попытаться получить еще раз фиктивную командировку вроде той, которую получил, когда привозил Льолу с собой в Москву в первый раз. Поручение, возлагавшее на него обязанность сделать проводку электричества на заводе в Георгиевске и не потребовавшее даже его поездки туда, было очень выгодным для него, и он рассчитывал, что могло наклеваться еще что-нибудь в этом же роде.

Первые дни ему ничего не удавалось. Потом разразился скандал с женой и с Фиррой Файман. Жена оказалась бесповоротно потерянной, а с Фиррой можно было еще разговаривать. Ее можно было наконец подкупить.

Чудодейная дочь торговца деньгам не придавала особой цены, получая их достаточно от отца, но она из себя выходила от зависти к тем модницам, которые получали новые редкие наряды из-за границы. Когда Придоров встретился с ней, чтобы оправдаться за столкновение с женой, она действительно с ним легко помирилась, но только под условием, что он, немедленно разузнав, как это делается, выпишет ей заграничный костюм и те предметы для модного туалета, которые в Москве достать было нельзя.

Придоров облегченно согласился.

В один из ближайших же дней он пришел в иностранный отдел Госбанка, для того чтобы выменять

на червонцы долларов и послать деньги в Германию, которая установила с советами регулярные торговые и почтовые отношения.

Он произвел эту операцию и хотел уже уходить, но, проведя взглядом по банковскому залу, остановился.

У решотки кассы беспомощно озиравшийся иностранец, немец типа чемоданистых нуворишей, обратился за объяснением банковских порядков к спешившему из банка артельщику-русачку.

Артельщик, не поняв ломаной чужой речи иностранца, что-то попробовал объяснить, а затем заспешил уходить и, махнув рукой, оставил спрашивавшего без ответа.

Иностранец с растерянным недоумением проводил его глазами и оглянулся на Придорова.

Придоров скептически улыбнулся в сторону ушедшего, сделал шаг, чтобы приблизиться к немцу, и вышколенно поклонился с любезной готовностью помочь незнакомцу выйти из затруднительного положения.

— Welche Operation wollen Zie machen, lieber Herr, in dem Reichsbank? *)—спросил он предупредительно.

Немец обрадовался.

— О, у меня всякие дела здесь, но я ничего не могу добиться. Разрешите отрекомендоваться—Фридрих Эйншток, германский подданый, прибыл по делам концессии... Я русский язык немного знаю.

И немец поклонился и подал руку, не усложняя этой церемонии особыми объяснениями.

— Лавр Придоров!—представился совнархозовский эксперт.

— Сейчас не могу никак послать в Айзенах брату пятьсот фунтов... Мне экстренно надо перевести деньги, а мне говорят—нельзя. Я с братом поспешил перевести сюда капитал, потому что марка падает. Но разве мы знали, что сюда перевести можно, а отсюда

*) Какое дело у вас в банке?

нельзя? Говорят, Валютное управление так распоряжается... Это такой советский закон?

Придоров заметил в немце что-то для себя много обещающее. Не перебивая его, сочувственно потемнел, но чтобы не проявить пристрастия к советам и спасти от ошибки концессионера, объяснил:

— Это недоразумение. Деньги за границу переводить можно, но только ограниченными суммами и с разрешения, которое надо взять в Валютном управлении. На такую сумму, которую вы хотите послать, разрешения не дадут.

Эйншток застыл взглядом на Придорове.

— Как же быть? Где это Валютное управление?

— Валютное управление здесь близко, но вы там ничего не добьетесь. Большевикам или приказ нужен или еще что-нибудь...

Придоров делал вид, что колеблется. Полминуты смотрели они друг на друга. Эйншток—на Придорова, Придоров—на Эйнштока.

Наконец, с видом самопожертвования, Придоров решился.

— Пойдемте, я знаю, как все это делается, и помогу вам. После этого успею свои дела сделать.

— О, обяжете меня! Какая благодарность!—схватился Эйншток.—Как я рад, что такое полезное деловое знакомство случайно получаю.

Придоров, шагая с немцем к выходу, скромно молчал.

Эйншток же, проникшись верой в то, что теперь его дела будут сделаны, выразил возмущение тем, что вообще в Москве оказалось делать все сложнее, чем они себе это представляли с братом. До сих пор не могут вложить в какое бы то ни было предприятие денег. Не мог он найти себе доверенного, который, зная советские порядки, вел бы дела с властями от лица фирмы. Первый деловой человек, вообще, которого Эйншток, по его словам, встретил, был Придоров.

Придорову это растерянное состояние и неуменье повернуться среди советской обстановки было на-руку. Он постарался себя выдать за знатока порядков всех правительственных учреждений, а попутно—изобразил и их неразбериху.

Рассказал, пожевывая губами, о том, как некий муж, желая положить жену в родильный приют, возил ее на извозчике с докторским приказом по учреждениям Мосздравотдела, пока женщина дорогой не родила. Назвал еще ряд случаев неладицы в учреждениях и, не ругая прямо большевиков, дал понять немцу, что частная инициатива и предприимчивость только еще и могут оживить население, дав ему товар, заработок и рынок. Делясь, однако, с немцем своими суждениями, он узнал и о его делах.

У Эйнштока с ним нашелся общий язык, так как немец оказался также инженером, служившим в довоенное время на одном из рижских теплотехнических заводов. Во время мировой войны он находился с младшим, но более денежным братом в Германии на производстве кухонь для фронта. Послевоенные события заставили братьев закрыть дело и жить на проценты с капитала. Но с некоторого времени в Германии стал угрожающе падать курс марки, а это вело братьев к разорению. И вот, прослышав, что в восстанавливающемся Советском государстве червонец крепнет, капиталу же иностранцев советское правительство идет навстречу, если это обещает Советской стране хоть какие-нибудь выгоды, братья решили попытать счастья с применением своих средств на русской почве.

Но, очутившись в Москве, нувориш оказался беспомощным человеком настолько, что и некоторое знание русского языка, на которое он больше всего рассчитывал, ему не помогло.

Эйншток понял, что при таких условиях не обойтись без помощи русского дельца—юрисконсульта или компаниона. Но он боялся положиться на тех посред-

ников, которых мог ему рекомендовать Союз совторгслужащих. Германское же посольство, в которое он обратился, требуемого знатока деловой русской жизни на виду не имело.

Случай столкнул теперь его с Придоровым. И Эйншток сообразил, что Придоров, если сам не пойдет к нему в помощники, то поможет найти какого-нибудь подходящего дельца.

Придоров произвел на него впечатление вполне солидного и денежного человека. В Валютном управлении по крайней мере у него оказался какой-то знакомый, который для Придорова в два счета сделал то, что не удалось бы иностранцу и за неделю. Но воспользоваться разрешением на перевод валюты можно было только на следующий день, проведя операцию через Госбанк.

Тут снова понадобилась помощь Придорова, и Придоров обещал немцу помочь и в банке.

При состоявшейся на другой день встрече знакомство было закреплено посещением ресторана, и в ресторане опять—деловой разговор.

Узнав, что Эйншток, намеревавшийся заняться производством калориферов, еще не поместил своих средств, Придоров выразил удивление.

— Почему же вы не берете концессии на производство, пока кому-нибудь другому не предоставлена монополия?

— Э, легко сказать!—вознегодовал Эйншток.—Кто-то получает концессии, я же до сих пор от секретаря комиссии никакого толку получить не мог, а председателя концесскома в глаза не видел. Кого-то может быть, купить можно вместе с концессией, но—заговори об этом не с тем, с кем надо,—откажешься от концессии на алмазы, а не только на калориферы.

— Да, трудно, но не невозможно же!—подтвердил Придоров.—Не нужно только полагаться на советских деятелей. Подведут. Дело удивительно выгодное.

Хуже всего, что русские не имеют права на концессии. Я сам принял бы в таком деле участие. К сожалению, не найду столько средств. Я бы все это живо обделал, концессию для вас я получил бы в два-три месяца, потом пустили бы производство... а заработать можно так, как советским директорам и не приснится!

— О, если вас интересует дело, герр Придоров! Средств у нас с братом хватит, но мы и со средствами слепые люди... Возьмите на себя все хлопоты и дела с большевиками—и оплатите этим компанионство. Мы с братом будем просить вас, потому что управляющим, если бы мы на жалованье вас пригласили... это может оскорбить вас...

Придоров о таком предложении мог только мечтать, но сделал вид, что колеблется.

— Да, но ведь это дело же! Оно, знаете, пойдет, если только его сразу пустить хорошо и бросить на него, скажем, ну не менее ста тысяч.

— Не меньше и мы думали.

— Если такой капитал вложить, то доход... Обождите, прикинем! Если взять, знаю я тут один заводик, бывший Грагама... В первое производственное полугодие дохода предприятие не даст. Следующие полгода реализация изделий—двадцать процентов. Значит в год десять... Да... Это с карандашом можно проверить точнее... Знаете,—прервал он свои исчисления,—согласен! Положите мне условно по тысяче в месяц за хлопоты, с условием, что вы мне их не платите, если за два месяца мы не получим концессию. Тогда же, когда концессию получим, вы предоставляете мне это жалование и право компаниона с участием в прибылях. Если это вас устроит, то я берусь, и мы капитал выгоним... Спишитесь с вашим братом, и если он согласится, скрепим формально соглашение. Мне дело представляется золотым, если только мы

не опоздаем. Я-то уж знаю, что можно делать с русскими заводами...

Эйншток схватился за предложение, радуясь, что наконец дело может сдвинуться с мертвой точки. Придоров стал вести все его дела.

Стебун сперва откладывал, а затем и вовсе воздержался от переезда на дачу, где поселилась Льола. Юсаков же и Семибабов жили уже там.

Стебун никак не мог вложить свои городские дела в такое расписание, чтобы у него оставалось время для ежедневных поездок из Москвы на дачу и с дачи в Москву. Но кроме того он с какой-то преднамеренной осторожностью держал себя на расстоянии от Льолы.

Он знал, чего хотел. Льола должна была стать его женой. Возле него пустовало место для того женского существа, без которого мужчина, не живя полной жизнью, становится брюзгой или нелюдимом. Огонь высекают из камня. Стебуна потянуло к огню любви.

Но он бережно заботился о том, чтобы Льола не поставлена была его поведением в такие условия, при которых ее отношение к нему должно было определяться ее признательностью за его заботы. Прояви Стебун в чувстве некоторую неосторожность, она не могла бы не подумать, что Стебун рассчитывает на ее взаимность, как на компенсацию за протежирование ей.

Боязнь подобного истолкования его поведения со стороны Льолы останавливала Стебуна от всякой попытки приблизиться к молодой женщине, и он сам создавал такое положение, при котором Льола не могла перешагнуть рамок официального отношения к нему.

Свои посещения для инструктирования ее Стебун прекратил, лишь только Льола поняла, что от нее требуется в качестве секретаря комиссии, и стала про-

являть самостоятельность в работе. Заходил только, если это необходимо было ему, как члену комиссии.

Он, кроме работы в издательстве, до отказа нагрузился работой в заводских ячейках и в комсомольских школах политграмоты.

Но с партийными товарищами у него были и особые дела.

В это время один из наиболее популярных деятелей партийного центра, в своей очередной книге, излагавшей его взгляды на захват пролетариатом власти, обрушился с обличениями на некоторых из соратников Ленина за шатания, проявленные ими в критический момент революции. Между тем, верность большевизму со стороны самого автора этой книги в руководящих кругах партии расценивалась различно.

Понятно, что напоминание о преданных к этому времени уже историческому забвению промахах партийных руководителей могло быть расценено только как намеренное политическое выступление, а в таком случае оно не могло оставаться безответным.

И вот актив партии еще раз должен был вынести неладицу в своих рядах.

Для Стебуна это выступление было неожиданным, и он повернулся против него, заставив резко осудить автора книги во всех ячейках, в которых он работал. Он считал это выступление антипартийным. Но таким оно было для него только по форме, а не по существу. По существу он считал оценку руководителей партии правильной. Это должно было сказаться рано или поздно. И это сказалось. Автор книги подвергся обстоятельному осуждению. Прошло после этого около года, и неожиданно в рядах той же самой группы, которая возглавляла движение против антипартийного выступления, обнаружились трения. Наметилось обсуждение выдвинутых жизнью вопросов с тем подходом к их разрешению, который больше всего был присущ осужденному. Разногласие затронуло не-

скольких руководителей партии и всколыхнуло партийно-середняцкий актив.

Духовному укладу Стебуна перетряхивание спорных вопросов было любо, и он стал сговариваться по поводу создавшейся обстановки со своими друзьями и единомышленниками. Варясь в котле партийной среды, он не мог не встречаться с деятелями обоих течений партии. Но по собственным настроениям он ближе был к Антону Евгенову, автору обличительной книги, и к своим друзьям: Семибабову, Нехайчику, Акопу. Будущая схватка между большинством партии и ее расшатывателями еще только намечалась. Но Стебун уже ее чувствовал и толкался среди товарищей, чтобы угадать, к чему она может привести. Встречи с Льолой для него отошли временно на задний план. Заходя поздороваться к ней, Стебун лишь удостоверялся, что Льола продолжает с успехом работать, и уходил. Но его тяготение к молодой женщине сделалось явным, и однажды это вылилось в разговоре, который у него произошел с Льолой.

Юсаков устраивал у себя пирушку на именины жены, и Льола от его имени передала об этом Стебуну при одном из его появлений в комиссии.

— Илья Николаевич, Матвей Федорович зовет вас на именины.

Стебун присел, прощупал внимательным взглядом молодую женщину и перевел на другое разговор, испытывая приязнь Льолы.

— Именины не именины, но меня тянет туда. Все на свете бросил бы... Знаете, чего мне хочется?

Он посмотрел с открытым вызовом.

— Что?—смутилась Льола.

— Побывать у вас!—бросил как что-то необыкновенное по значению Стебун.

Льола вспыхнула и мгновение молчала.

Она дала подошедшей машинистке черновик какого-то документа, пересилила собственное волнение и,

подтверждая движением глаз согласие именно на тот тон, которым говорил Стебун, тепло возразила:

— Так почему же? Только сомневаюсь, интересно ли вам это будет.

— Сомневаетесь?—переспросил Стебун, медля продолжать.

Льола рылась в бумагах, скрывая, что она в самом деле чувствует.

Он отложил карандаш, передвинул почему-то пепельницу и вдруг спросил:

— Скажите, Елена Дмитриевна, вы мышей и крыс боитесь понастоящему? Так... не для женского жеманства только, а так, что пищать начинаете, когда наткнетесь на мышонка?

И Стебун полунасмешливо, полусерьезно насторожился.

— Ой, боюсь!—искренно вырвалось у Льолы.

— Стебун выдохнул что-то довольно.

— Ха-ха!

Внутренно разлившаяся радость,—так что обрадовалась и Льола,—на мгновение преобразила его бесстрастное и официальное обычно лицо.

— Хорошо!—удовлетворенно объяснил он.—Вы не удивляйтесь, что я у вас это спросил. Я спрашиваю это, если только уважаю женщину. Когда-нибудь объясню, в чем тут дело. До свидания!

Льоле нелогичное поведение Стебуна ничего не объяснило, но что-то обдало ее радостью и заставило почувствовать себя после этого разговора приподнято, будто на крыльях...

Молодая женщина чувствовала себя как дома на главполитпросветской работе. Ее подстрекали явная осмысленность и деловой дух внешкольного отдела, где работала Резцова. Льола заинтересовалась, почему у Резцовой в отделе бьется жизнь, и узнала, что Резцова добилась этого после устройства совещания провинциальных внешкольников. Благодаря этому сове-

щанию между отделом и провинциальным активом деятелей внешкольного образования во всех начинаниях установились тесная спайка и необходимая ясность. Резцова и ее помощники знали лично почти каждого из тех, к кому они обращались в провинции. От этого промахов и казенщины в работе не было, все шло как на винтиках.

Льола сговорилась с Резцовой и начала в свою очередь при случае намекать Файдышу и Ржакову на желательность созыва совещания группок и кружков самообразования.

Ржаков и Файдыш смотрели на дело иначе. Они поручили Льоле созвать расширенное заседание комиссии.

Льола предупредила Стебуна во время его визита об этом заседании и через несколько дней снова увиделась с ним.

Расширенное заседание происходило впервые. На него пришли, кроме работников и организаторов комиссии, представитель губкома, лысый бородатый агитатор от Агитпропа Центрального комитета, по одному, по два человека от Комсомола, профсоюзного центра и Пура.

Льола села секретарствовать, сияя оттого, что собралось представительство таких организаций и что осуществление задуманного плана работы во многом будет зависеть от ее энергии. В прениях, в постановке вопросов ловила каждое слово. Всматривалась в собравшихся. Она заметила, что Стебун не поздоровался с одним непринужденно державшимся на заседании партийным деятелем, свободно вступавшим со всеми в разговор и бросавшим беспрестанно критические реплики. Льола узнала только, что это работник губкома Диссман. Имя это ей ничего не говорило о самом человеке.

Диссман же позировал, будто сановная особа. Льола почувствовала, что он старается обратить на себя ее

внимание. Избегая его упорного взгляда, она сделала вид, что занята записыванием прений и ничего не видит.

Диссман спросил потихоньку про нее у Резцовой. Льоле во время обмена мнений пришлось поднять голову, чтобы подтвердить одно из заявлений Резцовой об интересе к работе по заочному образованию в провинции. Она горячо сослалась на материалы, имевшиеся по этому вопросу в комиссии. Стало ясно, что она ведет невидную, но проникнутую идейным интересом работу в комиссии.

Тогда вдруг воспламенился верой в дело заочного образования и Диссман. Сейчас же он попросил слова и в негодующих филиппиках стал требовать, чтобы предложения руководителей комиссии были целиком приняты и оказана всякая помощь Главполитпросвету. Он в позе Ленина поднялся из-за стола, заложил большие пальцы обеих рук в жилетные карманы и, сердито коля вопросами остальных собравшихся, стал обличать:

— Двадцать процентов неграмотного населения— это вам шуточки! А из восьмидесяти процентов грамотных половина не имеет ни учителей, ни руководителей в самообразовании, ни книжки—это вам коммунистическое государство? Нет, научите-ка их, просветите их—вот тогда вы будете коммунисты. Комиссия закладывает краеугольный камень в дело просвещения, разве мы не поможем ей? Всеми силами. Массы на это дело надо поднять, а не о пустяках спорить. Конечно, всесоюзное совещание нужно, и я первый попрошу дать мне доклад на этом совещании...

Льола, откинув первое чувство антипатии к выступившему, обрадовалась союзнику. Ей не пришло в голову, что у Диссмана что-то уже задумано на ее счет.

Стебун усмехнулся прыти товарища, в мотивах которой он не сомневался, но про-себя решил, что Диссман растаял только пока находится на заседании, вый-

дя же отсюда, просто не будет иметь случая встретиться с Льолой.

Он, однако, ошибся. На следующий же день от имени Диссмана Льолу подозвали к телефону.

Льола взяла трубку.

— Товарищ Луговая?

— Да.

— Говорит Диссман. Товарищ Луговая, протокол вчерашнего заседания комиссии вы составляете?

— Да, я.

— Я хотел просить вас вот о чем, товарищ Луговая... Я протокол хочу показать в ЦК и в секретариате, для того чтобы они заинтересовались этим делом. Мне очень важно, чтобы моя речь и предложения были записаны точно и чтобы что-нибудь не было искажено. Я хотел бы поэтому, прежде чем протокол будет подписан Ржаковым и вами, прочитать, как вы записали то, что я говорил.

— Как же это сделать?—растерялась Льола.

— А вы скажите, когда у вас будет готов черновик, я к вам заеду.

— Через час черновик у меня будет готов.

— Вы будете в комиссии в это время?

— Я буду здесь весь день.

— Я значит через час, через два заеду.

— Пожалуйста, товарищ Диссман.

Льола не нашла ничего неестественного в желании Диссмана прочесть черновик. Смутилась, но решила быть осторожной и стала ждать. Постаралась вспомнить все, что говорил Диссман, и несколько раз проверила протокол.

Диссман через полчаса появился, сделал широкий приветственный жест шляпой и подсел к столу.

— Здравствуйте, товарищ Луговая.

— Здравствуйте, товарищ Диссман. Вот протокол.

Диссман делал вид, что читает, а сам вскруженно ощупывал глазами формы фигуры молодой женщины.

Перечеркнув кое-что в протоколе, он вдруг спросил:

— Вы член партии, товарищ Луговая?

— Нет,—удивилась Льола.

— Жаль... Поэтому-то я вас до сих пор не видел ни разу в Москве. Тогда вы бывали бы на наших собраниях.

— О, я не против партии, но если в партию будут итти такие, как я, то силы у партийных не прибавится. Спасибо, в Главполитпросвете поверили хоть, что такую белогвардейку можно подпустить к себе.

— Вы белогвардейка? Почему?

— Офицерская жена. Муж белый, погиб на врангелевском фронте...

Льола улыбаясь и стараясь быть вежливой, кивнула головой в подтверждение своих слов.

Диссман, делая вид, что отрывается от исправления протокола, продолжительно посмотрел в глаза молодой женщине.

— А как же вы тогда пошли работать к нам и верховодите в этой комиссии?

— Так... Была дурочкой раньше. Думала, что большевики разграбят Россию, промотают что разграбили и сами же придут поклониться тем, кто с ними воюет, мол, нагрешили мы, хоть гоните на каторгу теперь, да введите порядок!

— Ха-ха! Ничего себе программочка!.. А теперь «как дошли вы до жизни такой»?

— По семейным обстоятельствам,—отговорилась коротко Льола, не зная, как избавиться ей от гостя. Одновременно ее кольнуло, почему спрашивает о ее личных делах не Стебун, которому она должна была бы быть много понятней, чем этому антипатичному новому знакомцу.

Диссман же вступился за Льолу перед самой Льолой.

— Вы имеете право быть чем хотите!—заявил он, бросая протокол.—Знаете, у вас много данных. Совет-

ская женщина—это жрица борьбы. Вы это по себе можете видеть. Вчера вот—заседание. Дюжина большевистских столпов мудрят, а вы знаете свое. Они поговорят, а вы будете делать дело. Но только не отмахивайтесь от партии. Вот что: у вас в работе часто, вероятно, будут встречаться недоразумения и понадобится помощь не в одном, так в другом деле. Совещание, например, вы задумали. Резцова—энергичная женщина, но она плохой организатор. А вам и докладчики нужны будут, и нужно, чтобы в газетах хоть заметка появилась о совещании,—я все это помогу устроить вам. Когда наметится совещание, вы заходите ко мне, мы поговорим о вопросах повестки дня и, пока Резцова что-нибудь надумает или не надумает, мы решим и сделаем...

Льола угадала, к чему клонится это необычное участие к делам комиссии. Она готова была провалиться сквозь землю, но знала, что от Диссмана зависит многое в самой работе комиссии, и должна была сделать вид, что готовно примет всякую помощь от лица партии, буде Диссман сдержит обещание.

Не дав заметить о своих догадках, она поспешила выразить удовольствие.

— О, товарищ Диссман, раз вы беретесь помогать нам где надо... Я всегда буду помнить это и товарищу Резцовой скажу то же...

Она не кончила и повернула голову к двери, за которой почувствовала приближение Стебуна.

Диссман взял снова протокол и, сделав на нем пометку, указал Льоле:

— Это место выбросьте, товарищ Луговая, а тут я напишу сейчас вставочку.

Вслед затем он поднял голову и увидал Стебуна.

Стебун, мелькнув по нем брезгливым движением бровей, кивнул головой Льоле, секунду помедлил, соображая, что ему делать, а затем, подсев к столу Ржакова, стал ждать.

— Илья Николаевич, я скоро кончу!—предупредила его виновато Льола.

Стебун сделал успокаивающий жест рукой.

— Не беспокойтесь, Елена Дмитриевна, я на одну минутку.

Он вслушался, о чем говорил с женщиной Диссман.

Диссман, в присутствии Стебуна вдруг перекривившийся и переменивший дерзость авторитетных речений на еле выцеживаемые указания, явно заспешил, несмотря на то, что ввязался в поправки, с которыми надо было кончать.

Льола пылала. Она угадала, что Стебун и Диссман не выносят друг друга. Стебун из-за Диссмана не подошел поздороваться с ней и может подумать что угодно. Если бы она знала, что проверка протокола для Диссмана—только предлог!

И Льола готова была пропасть от стыда.

Стебун уловил из слов Диссмана, что тот исправляет предварительную запись протокола.

Он критически осмотрел бывшего редактора и безразлично задумался.

Посидев, однако, с полминуты и видя, что Диссман намерен переждать его, он круто передвинулся вместе со стулом и поднялся.

— Я зайду завтра к вам, Елена Дмитриевна,—бросил он на ходу.—Мне нужно поговорить с вами.

Не останавливаясь, он еле кивнул головой и вышел.

Льола со скрытой злобой против Диссмана поспешила внести в протокол поправки и сделала вид, что собирается написанное диктовать машинистке.

Диссман поднялся уходить.

— Мы в союзе—помните!—предупредил он, протягивая руку.

— Да, мы будем знать, что у нас есть поддержка,— заверила Льола, не оборачиваясь и начиная диктовать ждавшей ее машинистке.

Диссман оставил помещение. Льола, лишь только он вышел, поспешила найти Резцову.

— Татьяна Михайловна, скажите, Стебун и этот Диссман, что был у нас на заседании, знакомы? Вы Диссмана знаете, это хороший товарищ?

Резцова насмешливо приставила щитком руку поверх глаз и вытянула голову, будто из-под залпа солнечных лучей рассматривая что-нибудь новое в Льоле.

— Ха! Заинтересовались?

— Не заинтересовалась, но они не здороваются, а я сейчас чуть не наделала глупостей, когда они встретились.

Резцова взяла за руку Льолу.

Стебун вам нравится?—спросила она с приятельской простотой.

Льола кивнула головой.

— Ну, я вам расскажу,—объяснила Льоле Резцова.—Диссман был причиной безмерного несчастья Стебуна. Знаете, на балконе у Диссмана повесилась жена Стебуна года два назад.

Льола отступила.

— Ах!..

Через мгновение подняла глаза.

— Значит хороши были и его жена и Диссман! А Стебун любил жену?

— Любил ли—сомнительно. Но эта женщина увлеклась любовником и перестала смотреть, что у нее творится дома. Он мне рассказал о своей трагедии. Они жили в Одессе. И вот интеллигентные люди, а у их ребенка не привита оспа. Мальчик заражается, гниет, и Стебуну приходится дать ему яду, чтобы ребенок не мучился. После этого он жену бросил, а сам поехал сюда. Женщине деваться было некуда, она—к любовнику, а тот только шашни готов был строить, пока она жила при муже, теперь же не пустил ее к себе на глаза. Ей и осталось одно: на пороге дома любовника—в петлю.

— Аяй, жалость! А как же партия? Ничего не сделала Диссману?

— Ну, если партия в эти дела будет вмешиваться, то большевикам надо стать попами. Стебун сам по этому поводу к товарищам не обращался.

— Ох, несчастные мы, женщины!—вздохнула Льола.—И могли бы почеловечески жить, да с ума сами сходим.

Обстановка, складывавшаяся вокруг Льолы, встревожила ее. Теперь у нее была сложная забота отгородиться от Диссмана и достигнуть этого таким образом, чтобы он не заметил ее антипатии к нему и не стал мстить ей в работе, пользуясь своим влиянием и положением в губкоме.

Стебуну же надо было так или иначе объяснить, что ее положение в разговоре с Диссманом было постыдней всего для нее самой. Он, вероятно, догадался о намерении Диссмана. Но о ней он не должен был думать, как о женщине, готовой на всякое приключение.

Льола весь следующий день ждала Стебуна, рассчитывая все объяснить ему, лишь только он придет.

Однако она прождала напрасно. Стебун не пришел ни в этот день, ни на следующий. Началось очередное выступление недовольных партийными порядками, и Стебун мотался по ячейкам.

На задворках одной из окраин Москвы, словно бедный родственник у ворот дома богатой бабушки, мостится к приулкам столицы и оживает тот завод, куда назначили директором Франца Антоновича и где оказался теперь после возвращения из северокавказского городка Русаков.

Это завод бывший Грагама. Изготовлялись на нем прежде средства теплотехнического оборудования для казенных и частных построек, и имел он несколь-

ко отделений; теперь же на нем работал только литейный цех и кое-как восстанавливалось слесарно-механическое отделение, начавшее выполнять различные случайные поручения советских хозяйственных органов.

Начал работать здесь Русаков в качестве помощника директора, сейчас же по приезде, в ближайшие дни после смерти Ленина. Вблизи завода, в общежитии он получил для себя комнату. После этого для него встал вопрос о сыне, и он пошел к Узуновым.

Инженер жил у Каменного моста, квартируя в одном из находившихся здесь двух древних особняков. В особняке, выходившем на улицу, проживали лица административного персонала и часть рабочих электрической станции. В другом, расположенном в саду, двухэтажном доме жил Узунов и несколько других квартирантов.

Чистенькая работница открыла Русакову дверь, когда он разыскал квартиру инженера.

— Дома Яков Карпович и Любовь Марковна?— спросил Русаков, не решаясь входить в дом без предупреждения.

— Пьют чай. Пожалуйста.

С любопытством повернувшиеся к двери при его появлении Узунов и хозяйка переглянулись. Любовь Марковна поднялась, не веря появлению Лугового и не зная, что ей думать о представшем вдруг человеке, которого все считали похороненным. Инженер же кивнул жене головой и спокойно пробежал взглядом по Русакову.

— Возьмите спать Рисю,—сказал он работнице, предлагая ей увести из столовой четырехлетнюю девочку, бросившую пить чай и уставившуюся на гостя.—Ты, архаровец, в детскую!—повел взглядом он в сторону мальчика, двенадцатилетнего пионера, заседавшего за столом.

Мальчик стрельнул глазами на гостя, послушно выскользнул из-за стола и исчез.

Русаков приблизился поцеловать изумленной хозяйке руку, и тотчас же, переполненная счастьем того семейного уюта, в котором она жила, молоденькая инженерша почти горестно воскликнула:

— Всеволод Сергеевич! Всеволод Сергеевич! Говорят, чудес не бывает... Да это же настоящее чудо, что вас живого вдруг видишь!

Русаков под радостным смехом скрывал смущение и старался сохранить наружную бодрость.

Инженерша то оглядывала его со страхом сомнения, то смотрела вопросительно на мужа, не зная, как толковать неожиданный приход прежде родного им, но уже давно зачисленного в списки погибших человека.

Узунов, не подавая вида, что отвечает на этот немой вопрос жены, и зная об опасности нелегального положения Лугового, сочувственно улыбнулся Русакову и объяснил:

— У нас нет чужих, Всеволод Сергеевич. Любовь Марковна, как видите, рада будет узнать все, что вы скажете о себе. Садитесь, попьем чаю. Я рад, что вы вспомнили о нас.

Русаков, замерший было вопросительно, когда его увидели, облегченно вздохнул, оттого что Узуновы не подумали чуждаться его, благодарно кивнул головой и объяснил:

— Любовь Марковна! Яков Карпович знает, что тут никакого нет чуда, если не считать несчастий. Я думал, что Яков Карпович вам рассказал о наших встречах. Мы с ним виделись два раза...

— Да он и звуком не промолвился, что знает что-нибудь о вас,—с укором обернулась к мужу молодая женщина.—Значит погибать вы где-нибудь на фронте и не собирались,—мы сами все выдумали? Почему же о вас никто ничего не знал и не знает?

— Мне самому приходится заботиться об этом...

Я скрываюсь, Любовь Марковна, живу под чужим именем. Якову Карповичу это известно.

Узунов подтверждающе кивнул жене головой, продолжая слушать и прихлебывая с выжидательным спокойствием чай.

— Садитесь же, Всеволод Сергеевич,—пригласила Узунова.—Выпейте чаю. Но скажите, ради бога,—поразилась она опять,—почему же вы Льолу оставили на произвол судьбы?

Русаков, преодолевая тяжесть мыслей, улыбнулся как мог и, пододвинув к себе стакан, сделал рукою тоскливый жест.

— Зачем Льолу делать несчастной, если яснее ясного знаешь, что, пожелай о ней заботиться—кончится это тем, что из-за меня ее затаскают... Разве я Льоле хочу несчастья?

— А так лучше, что она то моталась—ждала вас, то отдалась в руки этому вашему Придорову?.. Неужели вы без Льолы сможете жить?

Русаков на полминуты от боли закрыл глаза, а когда раскрыл их, то сделал головой упрямое движение, словно отстраняя раз и еще раз от себя что-то, что с тяжестью рока наступало на него. Собрав через мгновение силы, он попытался уверить себя:

— Еще немного смогу... Я чего-то жду, Любовь Марковна. Надеюсь на непредвиденный какой-то поворот счастья. А если ошибусь, и придется мне или самому себе подвести итог или подведет за меня его кто-нибудь, то рад я буду уже и тому, что гибну один, а не увлек на гибель и Льолу... Так следует поступать в моем положении.

Узунов, будто гордясь крепкой закалкой мужчин хорошо вышколенной породы, к которой причислял и себя, с удовлетворением взглянул на жену.

— Прав Всеволод Сергеевич,—поддержал он Русакова.—Не много доблести быть попрошайкой счастья и соперничать с Придоровыми, рассчитывая на жа-

лость к себе со стороны жены, когда перед этой женой муж должен предстать в таком виде, чтобы всякий Придоров казался в сравнении с ним его камердинером. Это в нас, отживающих теперь мужчинах, заложено крепко и умрет вместе с нами. Крохоборчество в таких делах не для тех, кто пережил такое время, какое пережили мы...

Любовь Марковна засветилась на мгновение хорошим чувством. Это было чувство радости за отзвук человечности в том, что сплотило их сейчас на минутку. Но и за Русакова и за Льолу ей со стороны сделалось страшно, и она кончила вздохом.

— Чудовищное положение у вас!—качнула она головой, наливая мужу чаю.

Русаков бодро встряхнулся и решил заговорить о цели своего прихода.

— Спасибо, Любовь Марковна, за сочувствие, но вы еще всего не знаете. Я к вам и Якову Карповичу с неслыханной просьбой...

И Любовь Марковна и инженер обернулись на выжидательно сникшего и колебавшегося продолжать гостя. Зная Русакова, они не усомнились ни на мгновение, что просьба, о которой он заговорил, не выйдет из рамок возможного для них, и сейчас же друг другу подсказали взглядом о том, что нужно гостю помочь.

— Говорите, Всеволод Сергеевич!—попросила Любовь Марковна.

— Говорите, говорите!—подтвердил и Узунов.

Русаков поднялся.

— Вы знаете, что по требованию Придорова Льола отдала, когда выходила за него, ребенка в приют... Это было два года назад, когда мы впервые встретились здесь с Яковом Карповичем. Яков Карпович же мне это и сказал... Ребенок в приюте если бы и не умер, то для нас с Льолой во всяком случае оказался погибшим. Я поэтому тогда же поехал в Одессу, и

мне удалось его взять к себе. Все время он жил со мной в провинции, где я работал на заводе. Теперь ему три года. В провинции я дольше не смог работать и вместе с тамошним директором перевелся на работу сюда. Ленька все еще со мной, но я не знаю, что с ним делать, пока он вырастет. Могу оплатить его содержание, но боюсь, чтобы он не испортился в руках случайных нянек... В этом деле я и рассчитываю на Любовь Марковну...

— Хотите доверить Леню нам?—угадала Любовь Марковна.

— Да, пока со мной что-нибудь не произойдет... Если вы и Яков Карпович не сочтете это за злоупотребление вашей дружбой...

— Ах, Всеволод Сергеевич! Помоги мы спасти мальчишку от приюта—так это же и Льола с ума сойдет от радости, когда она получит сына. Я удивляюсь, почему она тогда же вместо приюта не поговорила со мной и не дала его мне. Но, видно, Придоров окончательно лишил ее сообразительности. Ты, комиссар мой, голос против не подашь?—усмехнулась инженерша мужу.

Узунов улыбнулся в ответ на прозвище, мягко кивнул головой:

— Это, Любочка, дело твоей компетенции. За пионерами смотреть нам не приходится, значит у нас одна Рися, да и та уже не маленькая. Если это будет в тягость нам, то придумаем что-нибудь другое вместе со Всеволодом Сергеевичем, а теперь помочь надо. И Елена Дмитриевна не забудет до смерти этого и Всеволоду Сергеевичу мы поможем...

Любовь Марковна посветлела и энергично потребовала:

— Давайте Леньку немедленно. Я и вам и Льоле покажу, как надо растить детей. Завтра же давайте его к нам! Да не думайте, что вам никто не сочув-

ствует... Если в таком случае старым знакомым не помочь, то где же и дружба и человечность?

У Русакова от благодарного чувства задергались живчики на лице.

— Кгм-м!

Он с силой удержал подступавшие к горлу спазматические движения и пожал женщине руку, одновременно бросив благодарный взгляд в сторону Узунова. Объяснил успокаивающе:

— С визитами к Леньке я вам надоедать не буду. Я уверен, что он будет иметь все, что надо... Еще только одна просьба к вам, Любовь Марковна, и к вам, Яков Карпович. Просьба, чтобы Льола пока не знала о ребенке. Скройте от нее все, что касается и ребенка и меня самого.

— Я объясню это Любовь Марковне!—предупредил сочувственно Узунов, знавший лучше о намерении Русакова скрывать до времени все от жены.—Посидите еще немного,—добавил он, встав, чтобы задержать намеревавшегося прощаться гостя.—Расскажите, что вы делали в провинции.

Русаков присел на минуту.

— В провинцию я поехал, потому что там безопаснее всего прожить с Ленькой, без боязни какой-нибудь случайности, которая все повернула бы подругому. Прожил там два года и не каюсь.

— Вы работали на заводе? Значит кто-нибудь знал, что вы имеете специальность?

— О специальности не знал никто, но мне пришлось в лазарете долго лечиться с одним коммунистом, который оказался после фронта главным лицом для завода. Этот коммунист встретил меня здесь, в Москве, как раз когда я узнал, что Льола отдала Леньку в приют; он и позвал на должность помощника директора, не зная даже, а больше угадывая, что я на заводе пригожусь. Я поехал ради Леньки. Работы оказалось достаточно, с Ленькой все устроилось, и вот... жил!

Узунов и Любовь Марковна переглянулись, заинтересованные, очевидно, вопросом о том, насколько Русаков изменил прошлому. Вдвоем повернулись вопросительными взглядами к наблюдавшему за ними выжидательно гостю.

Русаков понимал, что он главного не сказал, но намеренно умалчивал о своих взглядах, пока старые друзья его и его жены сами не спросят о том, как он представляет свою жизнь с властью, против которой недавно шел.

Узунов, больше для того, чтобы это знала жена, чем для самого себя, мягко сник головой, осторожно помедлил и наконец спросил:

— Работать вы могли там, Всеволод Сергеевич, только весь находясь на виду у большевиков... Значит, переменили прежние взгляды?

Русаков сам не знал, почему он стал думать иначе и что в нем переменилось. Знал только, что не разрешил самое близкое и кровное для себя. Что̀ взгляды, когда им самим большевистская власть распорядилась бы, не спрашивая, как он о ней думает! Что̀ его теперешняя работа с нею, когда он должен ребенка отдавать в руки знакомых, а жены должен сторониться и предоставлять ей жить, как только она сумеет! И подавив горечь мыслей, он тряхнул в ответ отрицательно рукой.

— Работал я, конечно, и поступал все время так, что и сами большевики не смогли бы лучше вести себя на моем месте. Старых знакомых за это время мог бы найти, если бы хотел делать что-нибудь против советов. Но это никому не нужно. Большевиком же сделаться или слепо служить им—не могу из-за одного того, чтобы еще раз не каяться... Взгляды зависят теперь не столько от меня, сколько от того, что еще со мной произойдет и как ко мне отнесутся большевики, узнав, кто я в самом деле. Я уже пробовал

найти выход из этой бездны. Однажды не выдержал и написал Ленину...

— Вы написали Ленину?

Любовь Марковна поднялась со вспышкой несказанного интереса, а Узунов беспокойно замер на Русакове взглядом.

— Вы знали, что он болен?

Русаков сделал беспомощный жест.

— Тогда мелькнуло сообщение, будто он выздоровел и приступил к работе... Я решил, что он не воспользуется моим признанием для того, чтобы отдать меня политической агентуре. Стал ждать последствий этого письма и до сих пор ничего не знаю.

— А послали вы его когда?

Русаков беспомощно пожал плечом.

— Я послал, когда выяснилось, что перееду опять в Москву. Послал, стал собираться, а через две недели—телеграмма о его смерти.

— Значит письмо может оказаться в ГПУ, и для вас будет еще хуже?

— Все может быть, хотя не думаю, что кто-нибудь отдаст письмо для такого использования его...

— Тяжело!—заключили участливо Любовь Марковна и Узунов.

Русаков сохранял спокойствие. Посидел еще с полминуты.

— Ничего,—успокоил он хозяев.—Чем-нибудь кончится. Почему-то мне теперь спокойней, чем это было прежде.

— Тут не спокойствие, а вся жизнь разбита!—возразила Любовь Марковна.—Хоть бы это устроилось.

— Так или иначе, а устроится!—махнул рукой Русаков, вставая.—Пойду я...

Он встал, благодарно пожимая обоим супругам руки.

— Завтра доставлю вам, Любовь Марковна, Леньку.

— Жду, обещаю смотреть за ним, как за своими,— пообещала отзывчивая инженерша.

Завод, бывший Грагама—завод-неудачник. Только недавно начал восстанавливать его некий товарищ Караваев. Ему удалось собрать несколько артелей рабочих, получить от ВСНХ каказы и пустить в ход одну большую вагранку из трех, находящихся на заводе.

Но что-то на заводе не спорилось.

Работа была только у литейщиков, а набрано было много слесарей, трубников и токарей. За отсутствием работы рабочие относились к делу спустя рукава, и считалось совершенно естественным, что для оправдания смысла существования рабочего коллектива никто понастоящему не прикладывает рук.

Перед тем как Франц Антонович и Русаков получили сюда назначение, на заводе была непродолжительная стачка на почве задержки заработной платы. Товарищ Караваев сломал себе шею на неувязке своих стремлений с возможностями треста. Его с завода сняли и назначили людей, прежде заводу не известных.

Русаков упал духом перед сложностью того, что предстояло здесь сделать, чтобы работа стала на что-нибудь похожей.

А Франц Антонович остался верен себе. Он попрежнему много читал и безмятежно благодушествовал. Заводом руководил только в том смысле, что контролировал действия Русакова и литейного мастера Кузьмина да сносился с трестом и поддакивал расхлябанно относившимся к работе завкому и ячейке.

Сперва он, впрочем, ретиво и деловито попробовал взять их в руки. Поставил вопрос о сокращении незанятых рабочих тех специальностей, для которых нагрузки в будущем не предвиделось. Выяснил, какие заказы необходимо в первую очередь выполнить и что отложить. Вообще показал, что он—хозяин на заводе. Но надолго его не хватило: он быстро дал отбой и предоставил итти работе по течению.

Рассчитавший помочь ему поставить работу с не меньшей осмысленной ударностью, чем это было под

началом Шаповала, Русаков скоро должен был примириться с тем, что его роль здесь будет значительно скромнее, чем на кавказском заводике.

Завод должен был прогнать выполнение нескольких залежавшихся заказов ВСНХ на изготовление счетчиков для электрических, газовых и водопроводных установок, выпустить большую партию батарей под паровое отопление и кончить поставку цилиндрических коробок для какой-то аппаратуры в трамвайные вагоны.

Спешность этой работы дала возможность не замечать общего состояния завода. А когда гонка с выполнением залежавшихся заказов кончилась, Русаков стал систематизировать свои наблюдения и делать выводы.

Ему стало очевидно, что нужно или восстановить завод в полной мере, что не только дало бы всем рабочим работу, но и потребовало бы увеличения их количества, или, как бы болезненно это ни было, добиться ликвидации тех рабочих групп, которые не имели нагрузки.

После того как перед рабочими спасовал уже попробовавший заговорить о сокращении бригад директор, нечего было итти по этому пути и Русакову. Он решил примериться к тому, насколько мыслимо было поднять на заводе неработающие цеха. Особо заинтересовался давно заброшенным трубным отделением, восстановление которого придало бы совершенно иной характер работе завода. Целые часы стал проводить за его осмотром. В то же время не упускал и другого,—попробовал отсортировать из общей массы заводского коллектива опытных мастеров и ближе познакомиться с рабочими, в которых замечал проблеск заботы о производстве.

Смышленые рабочие в свою очередь стали проникаться к нему тем особым отношением, которого не могли вызвать к себе ни глава завода—директор, ни

выражавшие интересы рабочих представители завкома и ячейки. Русаков сплошь и рядом проявлял себя как ответственный за все дело завода преданный работе службист, и к нему стали обращаться за распоряжениями в наиболее критических случаях.

Однажды, после трех месяцев его работы, когда Русаков в слесарно-механическом отделении помогал бригаде токарей разобраться в чертеже, его разыскал прибежавший из литейного отделения чернорабочий Жаров.

— Александр Павлович, Кузьмин просил скорее позвать вас!

Русаков бросил объяснения, видя, что что-то случилось, и повернулся к ждавшему его рабочему.

— Пойдемте. В чем дело там?—спросил он Жарова, спеша перейти двор.

— Да в чем... Вагранку надо спустить, а литейщиков—один Перелешин.

— Как Перелешин? А бригада где?

— Пошли с секретарем на выборы: выбирать совет. Франц Антонович разрешил, а что из вагранки само польется сейчас—об этом даже не знал.

Русаков с осуждением качнул головой и быстрее зашагал. Вспомнил, что один литейщик, за переполнением комплекта артели, работал как кладовщик. Велел его позвать. Спросил:

— Кто еще в литейном есть?

— Ключкин один, составляет ведомость.

Русаков прибавил шагу и очутился в литейном.

Мастер Кузьмин уныло стоял возле вагранки с секретарем завкома Ключкиным, оставшимся в отделении Перелешиным и двумя чернорабочими.

Повернулся потерянно к Русакову, разводя руками по пустой мастерской, чтобы объяснить положение, и тревожно приблизился:

— Спускать, Александр Павлович? Когда возвра-

тятся рабочие—неизвестно... Только вас и ждал, чтобы вы знали.

Он говорил о выпуске чугуна из вагранки в яму перед печью.

Русаков отрицательно махнул рукой, отвергая мысль о выливке расплавленного металла в землю. На выплавку двухсот пудов литья истрачена нефть. Вылить его и завтра опять тратить топливо—нелепо. Но и не выливать было еще хуже, ибо чугун должен был закупорить вагранку, когда остынет.

Следовало показать пример иного отношения к делу, и Русаков объяснил:

— Сейчас придет кладовщик Пастухов, он литье знает. Кроме того, Перелешин и нас двое. Вот уже четверо. На каждого по рабочему—восемь человек. Засучивайте рукава, товарищ Кузьмин, показывайте нам формовки, и начнем лить. Вы знаете, где какие формы заделаны?

— Знаю. Разносортка только в колодках. Маховичков десяток прачечных и гири для весов. В остальных во всех в земле коробки для счетчиков.

— Ну, разносортку мы отложим, а выльем чугун на счетчики. Это они?—он провел взглядом по земляному полу с сделанными на нем насыпями и воронкообразными норками, которые обозначали, что тут находятся выкроенные в земле, под ногами, формы для очередных отливок. Оглянул группу собравшихся к вагранке людей, сделал полукомандный жест:

— Товарищи, литейщиков нет, а литье готово. В формах—коробки для счетчиков. Вчетвером и с четырьмя помощниками надо постараться нам с этим делом справиться. Если этого не сделаем и чугун выльем, стыдно будет в глаза друг другу смотреть. Беритесь за ковши! Чесанем для примера другим, чтоб не уходить, пока не кончим!

Он обернулся к завкомщику, молодому человеку,

остановившемуся мимоходом возле вагранки и судачившему с другими рабочими.

— Вы со мной, товарищ Ключкин!

— Я ведомость составляю, Александр Павлович!— подвинулся назад дрогнувший Ключкин.

Кладовщик Пастухов оглянулся на него, пренебрежительно собрал с верстака несколько пар рабочих рукавиц и стал их рассовывать Перелешину, Кузьмину, Русакову, себе, двум рабочим.

— Гайка слаба у Ключкина!—объяснил он ехидно.

— Гайка! Попробуй потаскай махину—язык и ты высунешь от храбрости!

Русаков, жестко покосившись, отвернулся от Ключкина.

— Не хотите? Ладно. Товарищ Нестеров, ко мне в пару!

Он взялся за шест-водонос, проткнув его в ушки ковша, надев рукавицы, и подождал, пока приспособился сделать то же рабочий Нестеров.

Мастер Кузьмин указал:

— По этому порядку льют две партии—Александра Павловича и Пастухова. По этой—Перелешин и я с кем-нибудь.

Все подступили с ковшами к отверстию вагранки. Кузьмин, оставшийся без пары, оглянулся:

— Идете вы, что ли!—рассердился он на Ключкина.—Если не хотите—пошлите из механической кого-нибудь, сбегайте, пока я тут посмотрю.

Завкомщик хотел повернуться, но его пристыдила деловая решимость обступивших вагранку администраторов. Он вдруг ткнулся к рукавицам и оказался у ковша.

— Ну ее, табель! Обождет до завтра!

Долговязый черноусый Нестеров, нагнувшийся к устью вагранки, выбил оттуда затычку, и расплавленная струйка металла хлынула в ковш Русакова. Лишь только он наполнился, другой такой же ковш подста-

вили под жолоб Кузьмин и Ключкин, Потом—Пастухов с чернорабочим. Наконец—и Перелешин с своей парой, забивший после наполнения всех ковшей отверстие вагранки кляпом.

Заплясали по стенам тени рабочих пар, сцепленных водоносами и понесших в разные стороны полутемного литейного сарая четыре светящихся солнечным тестом кадки. Подходя к норкам, литейщики отливали в них порции кипящего металла, осторожно обходили наполненную форму и передвигались к следующему земляному городку.

Переноска ковшей и сливание из них в формы расплавленной массы—штука тяжкая и для привычных литейщиков. Немудрено, что Ключкин испугался, когда Русаков пригласил его к себе в пару.

Уже после первой выгрузки ковшей у работавших кости заныли и рубашки стали мокрыми. После второго обхода все начали покачиваться, после третьего—сделали минутную передышку.

Но повысилось у всех настроение, когда подошли для последней наливки ковшей.

Русаков посмотрел на часы.

— Товарищи, четверть шестого, а кончать надо.

— Кончим, кончим, Александр Павлович! На полчаса осталось. Только покуримте.

— А вы, Ключкин?

— Ничего!—сквозь бурные выдохи выкрикнул завкомщик.—Хоть водянки натрем, да литейщикам нос покажем!

Русаков взглянул себе на руки. Они пузырились, как и у остальных, буграми ссадин. Все отерли пот с разгоревшихся лиц. Снова стали наполнять ковши.

Через час работа была кончена. Работавшие измаялись, но почувствовали себя героями. Завод был избавлен от лишнего убытка.

Это событие привязало к Русакову узнавших о его твердой воле рабочих, подняв в их среде его автори-

тет. А с кладовщиком Пастуховым Русаков установил дружбу. Кладовщик поделился с ним своими сведениями о заводе, познакомил его с содержанием кладовой, и Русаков из этого извлек для завода пользу.

В это время окончилась сдача срочных заказов, и он решил приступить вплотную к проверке инвентаря трубного отделения.

Прежде всего отделение было приведено в порядок со стороны его внешнего вида. Отделение вымели, счистили с машин грязь и всякие понабросанные на них случайные предметы, начиная с обломков кирпича и кончая чьими-то развешенными на рычажках онучами, создававшими впечатление полной заброшенности мастерской.

Когда это было сделано, двое рабочих под присмотром самого Русакова восстановили проводку трансмиссии от заводского двигателя к валу трубного отделения.

Вычищенные машины теперь сияли, как игрушки, но они еще не были выверены.

В главной прокатной машине не было постава, который, вероятно, когда-то был снят для ремонта и затерян. Но машина для обдирания накипи с паровых труб оказалась вполне исправной. В видимой исправности были и машина-гнулка для выгибания труб, и труборезка, и машина для нарезки винтовой резьбы.

Русаков решил эти машины испробовать.

Выверив вал, он велел позвать заводского доку, слесаря Середу и кладовщика Пастухова. Пастухов явился с несколькими штампами. Рабочий Жаров принес к машинам старые, порванные трансмиссии из кладовой.

— Середа, станок твой!—крикнул слесарю Русаков.

Середа, получивший при Караваеве премию за сконструированный им особый станок для сшивания проволокой трансмиссий, понял.

— Есть!

Бросил французский ключ, ручник и зубило и метнулся в слесарную.

Русаков с Жаровым начали вымерять рулеткой размер требовавшихся для каждой из машин приводных подтяжек.

— А они должны работать,—сообщил Жаров, понявший намерение Русакова,—не поломаны нигде. Еще товарищ Караваев мечтал пустить их, когда заряжал завод.

— Работают,—авторитетно успокоил Пастухов, любивший патриотически вступаться за всякое добро на заводе.

— Если работают—хорошо,—объяснил свое намерение Русаков,—а нет—по крайней мере будем знать и посмотрим, какие исправления нужны.

— Хорошо б заказец подходящий—да пустить! На постройках-то теперь без центрального отопления в домах не обойтись. За границей, должно быть, все приобретают, когда надо.

— Что за границей! И в Донбассе заводы делают оборудование. Да и на Путиловском принимают заказы.

— Ну, тогда нашему не ожить.

— Посмотрим. Трубное можно приспособить для всяких других работ.

— Понятно, чем зря стоять. У Коммунхоза мало ли всяких работ...

Середа получил мерку. Трансмиссии растянули. Заглянул директор, узнавший, что Русаков в трубном пробует машины. Пришло двое-трое рабочих.

Русаков заставил их помочь натянуть на шкивы ремни, лишь только Середа сшил трансмиссии. Пожелал ради шутки бельгийской гнульщице сделаться героем труда.

Середа запустил там и здесь в машины масла. Когда все было готово, Русаков, послав рабочего в кочегарку, распорядился пустить вал на рабочий ход. Через несколько минут вал вверху скрипнул и повер-

нулся. Все замерли, следя, как вслед за валом тронулась на холостом шкиве трансмиссия, поползшая подобно змее. Еще раз и механик и Русаков пробежали взглядом по гаечным скрепам машины и по системе движущейся рабочей ее части, брызгавшей каплями масла.

Русаков тронул предохранительный рычажок, перевел ремень трансмиссии с холостого шкива на рабочий.

Все возбужденно впились глазами в машину. Только директор, полагавший, что Русаков хлопочет зря, и чувствовавший, что машина исправлена, бросил апатичное возражение:

— Напрасно хлопочете, Александр Павлович, не для нас это.

Русаков спокойно пожал плечами:

— Хоть будем знать, что у нас есть. Наконец, выменяем что-нибудь на машины у других трестов...

Директор махнул рукой и пошел в контору.

Ремень, попав на рабочее колесо, тронул его. Раздвижные салазки, служащие для приспособления к станку штампов и формовочных прессов, меняющихся на машине в зависимости от рода сгиба и выгиба труб, а также от их диаметра, сделали медленное хитрое движение, переломив будто для плясового поворота чашечку поршневых передач. Этот поворот они повторили еще раз и еще раз, машина закляцала, и они забегали.

— Эт так штука!—вырвалось у Жарова. Пастухов и Середа одобрительно крякнули. Русаков, убедившись, что машина совершенно исправна, обратился к тем штампам и частям, которые принес с собой кладовщик.

— Давайте-ка!

Он выбрал из инструмента то, что ему было нужно. Перевел ремень на холостой шкив. При помощи особых винтовых барашек вделал отобранные части в

салазки машины. Оторвался, осмотрелся, из кучки отрезков труб в углу помещения выбрал три конца полуторадюймовых труб, по диаметру заложенного в машину прессака, пустил снова машину и вложил один конец трубы в штамп.

Салазки двинулись, впились подушкой и прессаком в трубу, вдруг отстали от нее, поднимаясь для нового движения, и Русаков вынул трубу, овально изогнутую на сто восемьдесят градусов. Взглянув на выгнутый изгиб, он передал трубу Пастухову и заложил в штамп другой конец.

Салазки опустились, и с этой трубой произошел тот же фокус.

Рабочие, из которых никто не знал назначения машины, казавшейся негодной, теперь смотрели на Русакова как на чудодея. Русаков же перешел к проверке других, интересовавших его машин. Только труборезная машина требовала ремонта; остальные можно было сразу пускать в работу.

То, что занимало Русакова,—расширение завода и загрузку работой всех его цехов—можно было осуществить. Но нужно было еще поднять неподатливого на всякие новые хлопоты директора и добиться согласия трестов загружать завод заказами.

Русаков с карандашом в руках взялся вычислять, что может дать рационализация завода, и подытоживать, во что обходится государству выработка каждого заказа, если не перевести работу на новые начала. Он сел за составление доклада, намереваясь убедить директора начать хлопоты перед заинтересованными в делах завода хозяйственными инстанциями. Доклад этот,—работая над ним только урывками,—он закончил недели через две. Принес его директору.

Несокрушимо устоявшийся в позиции полного спокойствия Франц Антонович нехотя прочитал доклад, чтобы не спорить с Русаковым, но не стал и говорить о поддержке помощника.

— Идеалист вы, Александр Павлович!—отмахнулся он.—Не хотите понять, что в тресте свои специалисты только и делают, что планируют да на нашего брата, производственника, наводят мораль. Вы хотите лучшего государству, а они же вас и распишут так, что не захочешь говорить уж с ними. Давайте делать, что велят...

Русаков, однако, в здравый смысл руководителей треста верил больше, чем директор.

— Но почему же, Франц Антонович!—вышел он из себя.—В тресте если не все, то руководители по крайней мере понимают интересы дела, а не чиновничьего гонора. Всякому станет ясно, что дело вопиет за себя. Разве я стал бы работать и собственноручно перещупывать все машины, если бы не чувствовал, что мы делаем преступленье, растрачивая деньги на работу, которая нам обходится в несколько раз дороже, чем она должна стоить. Ведь это будет видно самому оголтелому чиновнику, если он прочтет, что мы сообщили правлению.

— Да, вы думаете, не знают этого? Знают давно и подумали уже о нас. Не беспокойтесь. Производство теплотехнического оборудования Донбасс перетянул к себе, и его нам не дадут. Товар на рынок у нас выйдет втридорога против других заводов. Об этом разговор в тресте был, и имейте в виду, что решили нас не расщирять, а ликвидировать. Не говорите только пожалуйста об этом... Вообще затеял восстановить этот завод сумасшедший Караваев. Нужно ему было отличиться на хозяйственном фронте, так он и кинулся... Ликвидируется завод, Александр Павлович. Получим еще наряд на отливку колодок для обувных механических фабрик, выполним весь прежний план, и это последние заказы.

— Но это же спотыкач какой-то, Франц Антонович! Ну, сегодня не нужна работа. Но ведь строительство само себя обгоняет помесячно. Мы распустим ра-

бочих, забьем ворота, а через несколько месяцев собирай их опять, когда начинать будет в сто раз трудней, и вот тогда ахай!

— Ничего не поделаешь: все решено!—насупился директор.

— Нет, я сам, наконец, пойду куда угодно, останусь сторожить завод, если его закроют, но бросаться таким оборудованием, какое имеет завод,—это же самим новую разруху разводить.

Русаков отложил разговор, с тем чтобы возобновить его, лишь директор сделается немного податливей. Сообщение о проектируемой ликвидации завода сразило его, и он не знал, что ему вообще придется делать в ближайшее время.

Но о проекте ликвидации завода прослышали рабочие, и это создало нездоровую обстановку.

Директор в один из ближайших дней внезапно позвал в контору Русакова. Явившийся Русаков увидел в конторе секретаря ячейки и завкомщика Ключкина, беспокойно нажимавших на отмалчивавшегося директора. Франц Антонович сердито объявил:

— Вот, Александр Павлович, рабочие волнуются. Кто-то им сказал, что наш завод будет закрыт.

— А!

Русаков воспрянул.

— Рабочие правы, Франц Антонович... Рабочие были бы неправы, если бы с заводом ничего нельзя было сделать. Они этого, к сожалению, не знают, но мы-то с вами знаем, что завод за себя постоять может.

— Так пойдите же, поговорите в главках наших.

— А зачем нам итти? Я вам предлагал послать доклад. А теперь что же... Если рабочие волнуются, пусть трест на собрание представителя своего пришлет, и мы поговорим. Пусть он докажет, что завод никуда не годится. А мы ему докажем,—у меня и материал в докладе есть—что завод оправдает себя и еще кое-что для государства заработает.

— Правильно!—ожили и взволновались рабочие.— Пусть докажет!

— Прави-ильно!—буркнул протестующе директор, не сразу поддаваясь уговору.—Но нужно, чтобы они послушали, а заставьте приехать их.

— А не нужно зевать, вот и заставите. Представьте сейчас же им доклад. Изложите тресту ваш взгляд. Я то же сделаю в правлении Союза металлистов, с Ключкиным пойду. Поговорите на ячейке. На общем собрании я выступлю против закрытия. Вот и докажем на фактах, что приспичило закрывать оттого, что не подумали свести прежде концов с концами.

— Правильно!—опять заявил секретарь ячейки.— Кто как хочет, а я сейчас поеду в райком, иначе чорт знает что наделаем, опять стачка будет. Рабочим без работы оставаться—не шуточка. Бросят работу, и делай что хочешь... Можно копию вашего доклада получить?

— Конечно,—подтвердил Русаков секретарю.

Директор раскачался.

— Ну, ладно... Вы, Александр Павлович, управляйтесь тут, а я с Ключкиным тоже в райком. Оттуда, если успею сегодня, в трест.

— Чудесно! Катайте, Франц Антонович, и мы еще за себя постоим!

Русаков проводил директора и рабочую делегацию.

Директору в этот день в тресте побывать не удалось. Но в райкоме ему обещали за завод заступиться, и это его поощрило. С другой стороны, требовали активности рабочие, и он разгорячился настолько, что сдал доклад правлению треста и добился обещания прислать представителя треста для объяснений с рабочими о причинах закрытия завода. Этого было весьма мало, чтобы отстоять завод, но кампания за его сохранение началась, и эта кампания временно сплотила рабочих и администрацию, партийцев и беспартийных.

С нетерпением и Русаков и рабочие ждали общего собрания и выступления уполномоченного треста. Назначен был день собрания. На собрании выступил уполномоченный треста и сообщил, что завод не ликвидируется, а сдается на концессию компании немецких предпринимателей, намеревающейся организовать на заводе производство прежней теплотехнической продукции. С немцами ведутся переговоры, и они в ближайшее время будут принимать завод.

Рабочих это сообщение словно ударило по голове обухом. Растерялся даже и Русаков, не знавший, как относиться к новости, и чувствовавший, что перемен на заводе не предотвратить и что они должны будут так или иначе отозваться на его личной судьбе.

У него опустились руки; единственно, что осталось ему в дальнейшем делать, так это только отрабатывать на заводе положенное время и ждать, пока не выреш ится так или иначе судьба завода. Но он попросил директора при очередной поездке в ВСНХ:

— Узнайте, Франц Антонович, реальная ли вещь эти разговоры о концессии и скоро ли мы увидим новых хозяев.

Директор возвратился не в духе. Его и самого уже начала дергать неопределенность положения. Он разобиженно уединился в кабинете и велел всех явившихся по делу направлять к Русакову.

Русаков, узнав, что возвратился директор, зашел в контору.

— Что слышно, Франц Антонович? Есть концессионеры в натуре в Москве и серьезно это?

Франц Антонович, не поворачиваясь в сторону помощника, полез к себе в стол с видом, ясно свидетельствовавшим о том, что он разочарован до полного отчаяния.

— «Серьезно»! Мудрецы! На-днях концессионеры явятся осматривать завод.

И он брюзгливо вперился в вытянутые из стола бумаги, явно чувствуя себя жертвой обстоятельств.

Русаков ушел в цеха. Обратившимся к нему рабочим сообщил, что ему сказал директор.

Прошло после этого несколько дней, слухи о предстоящем приезде концессионеров для осмотра завода подтверждались.

И вот однажды, когда Русаков шел в контору для проверки каких-то чертежей с слесарем Середою, к воротам завода подкатил рявкнувший на весь переулок автомобиль, и из его коробки выгрузились двое незнакомцев.

Русаков и Середа были на полпути к конторе и приехавшие прошли мимо них.

— Концессионеры!—остановился Середа, чтобы не опережать гостей.

Остановился и побледневший Русаков.

Один из двух посетителей, иностранец в фетровой шляпе и широком пальто, несомненно, и был концессионером. А второй, в белой фуражке и в складно сделанной летней визитке из альпага, был вовсе не иностранец, Русаков с первого взгляда узнал в нем Придорова.

Помощник директора замер, провожая взглядом шагавших к конторе дельцов, и минуты две стоял неподвижно, пересиливая охватившее его волнение и растерянность.

Несомненно, директор сейчас же пошлет разыскать Русакова для того, чтобы он, как наиболее знающий завод техник, сопровождал концессионера при осмотре мастерских и помогал немцу необходимыми объяснениями. Но мог ли Русаков показаться перед знавшим его Придоровым?

Это было бы явным безумием в его положении.

И Русаков решил избежать встречи.

— Пойдемте!—позвал он Середу, продолжая путь к конторе, будто ничего не случилось

Середа последовал за ним, качаясь на ходу бок о бок с мастером.

Вдруг у порога конторы Русаков остановился, закачавшись, и отупелым взглядом, словно пьяный или больной, уставился на Середу.

Середа испуганно споткнулся.

— Александр Павлович, что вы?

Русаков, вместо ответа, пересиливая с заиканием задышку, выцедил:

— Мм...Припадок!.. Скажите Францу Антоновичу— не могу! К доктору скорей!

Он сунул сверток чертежей в руки слесаря и, шатаясь, почти падая, повернул нервически к воротам.

Симуляция внезапного приступа истерического припадка или другого непонятного недуга была столь натуральной, что у Середы ни на мгновение не шевельнулось подозрение об обмане. Увидев, что Александр Павлович может упасть, он догнал его, взял под-руку и сказал, что проведет до извозчика. Вывел за ворота.

Извозчиков не было, и Русаков с отчаянием указал взглядом на трамвайный вагон.

— Сяду! — объяснил он с измученной беспомощностью.

Середа подвел его к трамваю.

— Скажите Францу Антоновичу—болен! Если отойду—приду. Очень прошу его извинить меня...

Он отпустил Середу и уехал...

В городе Русаков пробыл почти до вечера. Он возвратился домой уже в сумерки, сам себя спрашивая, что делать дальше. Сделал вид, что его болезнь не прошла и, повидавшись в коридоре общежития с рабочими, собрал сведения о сегодняшних посетителях завода.

Рабочие в подробностях передали ему, как происходил осмотр завода. Сообщили, что один концессионер—немец, другой—его русский компаньон. Осматри-

вали завод похозяйски, все помещения и машины описывали и завтра еще раз явятся, чтобы кончить опись и проверить, не упустили ли что из мелочей.

Русаков, запасшись этими сведениями, заперся у себя в комнате. Решил на следующий день также не выходить на работу и написал директору записку с сообщением о том, что не может показаться, пока не оправится от припадка.

Вечером он опять выведал через рабочих о том, что было днем на заводе, и, узнав, что опись кончена, на третий день с утра по обыкновению пришел на завод.

Франц Антонович негодовал на помощника, пока знакомил с заводом будущих его хозяев, но, выполнив эту процедуру, успокоился и не решился журить Русакова, когда тот явился.

— Что с вами было?—спросил он участливо.

Русаков конфузливым жестом руки отвел необходимость точного объяснения и обрывками фраз осведомил:

— После фронта бывает иногда у меня так. Землю царапать начинаю. После одного потрясения. Раньше было часто. Потом перестало. Думал, что прошло совсем, а позавчера почему-то опять...

— Надо бы отдохнуть вам.

— Да, очевидно, при первой возможности надо будет... Ну, а что же концессионеры наши? Будут принимать завод?

Директор пренебрежительно махнул рукой.

— Еще на год дела хватит, если не больше. На зиму можно брать заказы. Сперва они должны заключить договор на концессию. Об этом хлопочет компаньон концессионера, русский. Потом немец поедет к брату в Германию закупить машины и договорить мастеров, а у русского компаньона какие-то дела в Одессе еще надо ликвидировать. И заключается концессия только с весны будущего года. Словом, у них хлопот больше, чем у нас. А нам заказы дадут, и до

весны будущего года ничего не изменится. Больше не пожалуют.

Русаков не пропустил мимо ни одного замечания из критически брошенных ему сообщений директора. Вывел заключение:

«Придоров, значит, не покажется. С оглядкой, но можно продолжать работать на заводе».

И как расшатанная телега через пасмурную степь, потянулась опять бесперспективная производственная жизнь завода. Кое-какие заказы, правда, были. Еле-еле прогонял и готовил их к сдаче завод. Все стало итти,— лишь бы день до вечера.

Русаков решил наведаться к Узуновым.

Уже наступала осень, но в воскресенье выдалась хорошая погода, и Русаков застал инженера и Любовь Марковну с детворой в садике перед домом. Узунов восседал с номером «Известий» в качалке и празднично блаженствовал. Любовь Марковна возле него сидела на скамье. Дети: Рися, Ленька и трое чужих малышей бегали между деревьями, играя в «палочку-выручалочку».

Любовь Марковна участливо следила за ними и сама отдавалась игре, подсказывая детям, кому и где прятаться, а потом выдавая спрятавшихся.

Русаков, застав семью в сборе, приблизился и на мгновение остановился перед счастливо отдыхающими людьми.

— А! Присоединяйтесь, присоединяйтесь, Всеволод Сергеевич!—увидела его Любовь Марковна.

Узунов опустил газету.

— Просим!—пригласил он гостя.

Русаков поздоровался.

— Курорт у вас!—сказал он, поводя головой вокруг.—Детский рай.

— Да, у нас хорошо. А Ленька—смотрите!

Русаков обернулся.

Мальчик, увидев «дядю Шуру», бросил играть и, комично скрестив руки, стал в наполеоновскую позу, будто судил отца за невнимание и ждал, пока его заметят.

— Леня, да ты, брат, вырос-то как, ая-яй! Не забыл еще меня?

И он, схватив мальчика, качнул его в воздухе.

— Поминаю, дядька Шулка! Ты ушел от меня, а я и не плакал и не плакал! И не буду больше плакать, когда я тебе не нужен. Я иглаюсь с Лысей...

Мальчик надуто отвернулся и стал обиженно отодвигаться.

Все рассмеялись.

Русаков посадил мальчика к себе на колени.

— И ты не хочешь простить меня? Не хочешь помириться со мной?

— Если принесес мне велосипед, то буду и с тобой иглать.

— Ах ты, взяточник маленький! Ну ладно, получишь велосипед. Попрошу тетю Любу, чтобы купила тебе.

— Плежде дай, тогда помилюсь.

— Взяточник!—отпустил Русаков сына и покачал головой с улыбкой, одновременно переводя взгляд на остальных сбежавшихся детей.

Он сел возле Любовь Марковны на скамье.

Рися командовала:

— Теперь Мотя будет наша мама и так будет играть. А я и Леня будем детками. И вот Мотя учит нас чему-нибудь. Ну, учи, Мотя!

Мотя, маленькое розовое, проворное существо, быстро вцепилась в Леньку, схватила с земли прутик и начала им отчаянно и вовсе не для вида только хлестать мальчугана, приговаривая:

— Учись читать! Учись писать! Учись работать ходить! Дрянь! Сыночек уродился!

Ленька, растерянно вытаращивший глаза в ответ на это учение, вдруг забрыкался, не успевая спасаться от ударов.

— Тетя, тетя!—захныкал и заспешил он к Любовь Марковне.

Но Рися, вдруг увидев, какой оборот принимает игра, наскочила на девочку.

— Ты что дерешься?

Мотя не смутилась и хлестнула прутом подругу.

— Я твоя мама! Я его мама!

Рися запальчиво сжала кулачки и приняла такую решительно драчливую позу, что Мотя подалась назад.

— Разве так надо маму играть?—наступала Рися.— Так?

— А как же? Мама всегда, когда учит детей, бьет их прутом.

Рися подскочила к ней с азартным гневом.

— Это старый режим, если бьют! Спроси у кого хочешь. Старый режим!

И, обернувшись, девочка очутилась перед смеявшимися взрослыми.

— Мама, при новом режиме полагается бить маленьких деток?

— Ну, конечно же, у хороших мам не полагается,— подавляя смех, ответила Любовь Марковна.—Мотя этого не знает. Поиграйте лучше в ключи.

Рися торжествующе метнулась к подруге:

— Ага! Что я говорила!.. Давайте играть в ключи!

Дети занялись озабоченно вычерчиванием на земле кругов для прыганья и забыли происшедшее, а Русаков и Узунов обменивались шутливыми замечаниями.

— Рися вроде реформаторши ребячьего быта у вас,—улыбнулся Русаков.

— Да, женщина вполне современная. А та—старорежимница!—засмеялся Узунов.—Действует прутом...

— И каждая—в свою маму!—бросил Русаков, под-

черкнуто кивнув Любовь Марковне, с улыбкой выжидавшей, пока гость осмотрится и заговорит о своем.

Русаков почувствовал это вопросительное и вежливое ожидание. Озабоченно потемнев, он сообщил:

— Я недавно натолкнулся на Придорова. Он случайно меня не заметил, но по всему видно, что он обосновался в Москве давно. Ведет чужие рискованные дела. Не знаете ничего, Яков Карпович?

Потемнел и Узунов, знавший много больше Русакова, а Любовь Марковна в подтверждение сомнительности дел их прежнего знакомого негодующе тряхнула головой.

Узунов осторожно подтвердил:

— У него дела... Напал на компанию каких-то немцев и собирается их выдоить. Примазался на правах их компаниона к концессии. Немцев на этой концессии пустит в трубу да и сам до чего-нибудь достукается. Из-за этого остался в Москве... Кажется, немец и деньги на него собирается перевести. Уезжает, пока здесь все будет готово, в Германию, а Придоров собирается съездить в Одессу и потом возвратиться опять, чтобы отсюда немцам пускать пыль в глаза.

— Он значит действует попрежнему... А Льола? Не знаете, как она?

Русаков взволнованно передвинулся на скамье и опустил глаза, что-то рассматривая у ног и пряча в землю тоскующий взгляд.

— О, Льола, Всеволод Сергеевич!—передвинулась участливо Любовь Марковна.—Вы не знаете этого? Она развязалась с ним... приехала в Москву, здесь бросила его и поступила на службу.

Русаков пораженно выпрямился и встал со скамьи.

— Вы это хорошо знаете?

Он перебежал взглядом с Любовь Марковны на инженера и весь потянулся с вопросом к инженерше.

— Она у вас была?

— Не была, но мы с ней один раз ехали в поезде вместе. Она живет в Малаховке, а мы с Яковом Карповичем ездили туда к одним знакомым... Она и рассказала. Не смогла жить больше с ним и вот розыскала работу.

— Где она работает?

— В Главполитпросвете.

— Ах, Льола, Льола!

Русаков беспомощно опустился на скамью, обхватив руками ноги ниже колен и вперившись взглядом перед собой.

Узунов ободряющим замечанием предупредил приступ уныния в госте:

— Не падайте духом, Всеволод Сергеевич! Это лучше, чем если бы она примирилась с Придоровым.

— О, конечно, это лучше!—в горячем возбуждении подтвердил, поднимаясь, Русаков.—Не придумаю только я, как мне самому быть. Надо переварить и перемолоть близость Льолы теперь... Новое положение во всем...

Не кончив, он смолк на полуфразе. Рассеянно мелькнув взглядом по желтому тополю, наблюдая плавное движение осеннего сева листьев. И, мучаясь той же тяготившей его мыслью, через мгновение добавил:

— Надо что-нибудь придумывать.

— Да, дело переменилось!—сочувственно подтвердил Узунов.

— Но Льоле все-таки, пожалуйста, ни-че-го!—умоляюще и настойчиво предупредил Русаков.

— Нет, нет!—в один голос заверили Узунов и Любовь Марковна.

Русаков успокоился. Переменил разговор.

— Скажите, как Леня? Не тяготит вас? не натворил я вам с ним хлопот?

— О, славный такой и восприимчивый бутуз! Нет, нет, Всеволод Сергеевич, мы не отдадим вам его, пока

вы не сможете свободно предстать перед всеми, называя его открыто своим сыном.

— Спасибо!—растроганно отозвался Русаков.—Пойду попрощаюсь с ним. Зайду к вам, если опять узнаю о какой-нибудь перемене. О придоровской сделке мне нужно будет все заранее знать, чтобы я не столкнулся с ним; может быть, я зайду узнать у вас о его проектах.

— Я узнаю об этом подробней,—пообещал Узунов,—и тогда расскажу.

— Пожалуйста.

— О письме вашем к Ленину ничего так и не знаете?—спросила инженерша.

— Нет!—мотнул головой Русаков.

Он нашел взглядом между игравшими в углу сада детьми Леньку и закружил по аллейкам к сыну. Потом вернулся на минуту проститься с Узуновыми.

Возвращаясь домой, думал о Льоле. Спрашивал сам себя: стоит ли бередить рану,—пройти к Главполитпросвету, когда там кончаются занятия, чтобы хоть издали увидеть дорогую для него женщину.

В этом не было никакого смысла. Это только влило бы в чашу горчайшего из горьких настоев его души каплю отравно-сладкой, но не врачующей и не исцеляющей наркотической приправы. Безумно было глушить себя ядом собственных же чувств. И, однако, Русаков знал, что завтра же он будет стоять у подъезда Главполитпросвета, дождется выхода жены, чтоб до мельчайших подробностей запечатлеть в своей памяти, как она выглядит после всего, что пережила...

И действительно, Русаков в последующие дни несколько раз уходил с завода ранее обычного, чтобы продежурить по получасу у Главполитпросвета. В третье из своих посещений он увидел Льолу. И еще раз убедился он, что без Льолы ему не жить.

Он стоял возле газетного киоска, купив там книжку, и делал вид, что рассматривает заголовки изданий на витрине. Льола вышла, отделяясь от группы других

окончивших занятия сотрудников и сотрудниц. С нею шла маленькая особа в кепи и расстегнутой куртке. Левой рукой с портфелем она прижималась к Льоле, а правой, сжатой в кулак, совала с воодушевлением во все стороны, будто изничтожая воображаемых врагов. Льола улыбалась и сдержанным шагом умеряла горячность своей собеседницы. На углу они остановились, чтобы разойтись в разные стороны.

Еще раз разразились смехом, довольным, счастливым смехом людей, плодотворно поработавших за день, пожали друг другу руки. Спутница Льолы аппетитно хлопнула рукой в кисть Льоле, оттопырила вверх козырек кепи и победно зашагала прочь, а Льола с тихой улыбкой повернула в сторону Мясницкой.

Русаков зашагал следом за ней, и земля у него под ногами горела. Он разрывался от тоскливого желания догнать жену, взять за руку и бежать с ней на край света.

Но он сдерживался и только жадно ловил взглядом каждое ее движение.

А Льола шла, светясь улыбкой, гордая сознанием собственной трудовой самостоятельности, и так довольно попирала ногами асфальт тротуара, будто все на улице ей радостно салютовало.

Она дошла до трамвая на Мясницкой и остановилась ждать вагона.

Русаков также остановился, мысленно прощаясь с ней. Подумал, есть ли у него мелочь на трамвай. Сжал рукой в кармане брюк несколько болтавшихся там монет, сделал нерешительное движение, чтобы достать их, и разжал руку. Хотел броситься к остановке и отступил. Выдохнул во вздохе тяжелого отчаяния весь остаток силы, провел рукой по лбу.

В это время очередь, в которой была Льола, втолкнулась в вагон, молодая женщина вошла на площадку, и вагон ушел.

Русаков опустошенно сник, провожая его взглядом, и безрадостно пошел домой.

Стебун ни на одну минуту не сомневался, что Льола будет его женой.

По Льоле видно было, что она ждет от него слова о их будущем и тревожно волнуется.

Стебуну оставалось только условиться с Льолой о встрече для решающего их судьбу разговора.

Именно для этого пришел Стебун к Льоле тогда, когда Диссману вздумалось явиться в отдел, под предлогом чтения черновика протокола.

Увидев тогда, что момент для разговора об интимных делах неудачен и что к Льоле липнет Диссман, он переменил намерение и ушел, рассчитывая переговорить с Льолой в ближайшие дни. Но следующий день оказался у него загруженным работой в издательстве и непредвиденными встречами с партийцами, недовольными установившейся политикой и задумавшими новый сговор. А затем ему пришлось залезть по уши в горячие фракционные дела.

Стебун оказался одним из столпов той группы, которая считала, что партийное руководство пошло по неправильному фарватеру.

С момента последнего оппозиционного выступления прошло уже порядочно времени, и стало казаться, что в дальнейшем никаких трений возникнуть не может. Но как раз в это время попытка ударить по единству партии нашла себе место еще раз и тем опасней она отдалась в низах, что была предпринята на партийном съезде представителями партийной организации одной из советских столиц. На этом съезде группа делегатов выступила как одно целое, противопоставляющее себя большинству съезда.

Съезд сделал попытку пресечь дальнейшее дерганье партии. Его постановлениями партия сказала, что она не допустит подрыва своего единства. Были немедленно приняты организационные меры, обеспечивающие это единство. Переназначения и массовая переброска нарушавших дисциплину сеятелей раскола,

казалось, исправляли несколько положение. Руководителям нового выступления оставалось смириться.

Но это уже не зависело от их воли.

Стебун, до сего времени не порывавший связей с своими единомышленниками, которые уже однажды атаковали партийный центр по другому поводу, сделал попытку посвоему отнестись к событиям. Он решил взять на себя посредничество между участниками каждой из выступавших когда-нибудь против партийного центра групп и содействовать их объединению для общего выступления.

Фракционный блок склеился, и казалось, что очередное выступление против отсортировавшегося в результате прежних внутренних потрясений ядра руководителей партии обещает успех бунту, затевавшемуся теперь общим фронтом всех недовольных. Одним из обстоятельств, которое могло благоприятствовать выступлениям, были изменения, происшедшие за это время в самой московской организации.

Секретарем губкома теперь был не Захар, семь раз примерявший прежде чем что-нибудь сделать, а двигавший силу на силу и сталкивавший их одна с другой прямолинейный партийный практик, рабочий Влас. Районные секретари также в большинстве были новые. Прежние губкомщики работали в низах или находились в провинции. Часть их, оторвавшись от партийной среды, стала отставать, теряя связь с тем, что происходило в организации. Новые работники только входили в дело.

Фракционеры же спешили.

Все было внешне благополучно до времени, и вдруг партийную массу как громом поразило сообщение о том, что в лесу под Москвой обнаружена организованная одним из бывших районных секретарей сходка партийцев, нелегально собравшихся для выработки раскольнических фракционных решений. Это небывалое в истории партии событие неожиданным, впрочем, было

только для непосвященных. Руководители партии были информированы о том, что некоторые из прежних партийных вождей, разгоряченные поражением на съезде, готовятся к новому бунту.

Прежде всего почувствовал, по некоторым признакам, угрозу предстоящих событий Кердода, угадывавший многое по настроению знакомых оппозиционеров, с которыми был связан узами дружбы.

Он счел своим долгом предупредить об опасности положения Ладо, который собрался ехать с Тарасом в летний отпуск. Несколько ближайших друзей и сподвижников Ладо и Тараса сошлись на их проводы.

Бывший шахтер пришел не в духе.

Дружеская бражка шла в зальце кремлевской квартиры Лысого. Кердода явился, когда у заседавших за столом зачинателей большевизма поднялось настроение.

Кердода буркнул приветствие, всунулся угрюмо за стол и с кислым видом скособочился на соратников.

Лысой примерился к нему с праздничной общительностью и, зная, что Кердода также скоро собирался ехать вместе с Власом для отдыха на юг, хмыкнул собеседникам:

— Семен, как квашня, засопел! Поедешь, Влас, с ним на Терек, двинь его там с горы, чтоб он покупался как следует!

— Поедем с нами, хохол!—предложил Тарас серьезно, думая, что Кердода расстроился от того, что не может также уехать.—Раньше отдохнешь, скорее приедешь.

— Я не поеду, брось!—азартно буркнул через стол бывший шахтер. И обратился к остальным:—Распоясываемся мы, друзья, с отпусками, а оставаться в Москве некому. Забыли, что кое-кто только руки потрет, если мы все будем отдыхать. Отставные генералы мастерят склоку. Обождите-ка, какими раскорячками стукнут они по партийному единству, если мы распустимся!

— Ты ворожишь?

Тарас засмеялся, высказав это предположение, а Ладо насторожился, прервал на мгновение разговор с Власом и повернулся в сторону шахтера.

Лысой махнул беспечно рукой:

— На то судьба и сочинила большевистский рой, чтобы мы в нем гудели.

— Чтоб гудели,—возразил Кердода,—да не бесились. А тут готовится новая склока, после того как не расплевались еще с первой как следует.

Собеседников предостережения взвинтили:

— Что случилось? Говори толком!—с резким недовольством забеспокоился Влас, несший ответственность за состояние московской организации.

— Ничего! Но оппозиционеры образовали из всех групп блок, шлепают и распространяют один за другим документы. Распускают слух о совещании, на котором была между нами ругня. Используют секретные постановления для того, чтобы настроить определенным образом низы. Девизик пустили: лестницу метут сверху вниз... Вот смотрите!

Он сунул Ладо тетрадку перепечатанных на машинке и очевидно распространявшихся из-под полы секретных постановлений партийного центра.

— Стебунят, значит, опять?—усмехнулся в ус Ладо.—Ничего, кацо, мусор метут и с верхов и с низов. Не страшно!

Тетрадка пошла по рукам и вызвала возбуждение.

— Что это за мордобойня какая-то устанавливается?—поднялся со стула Тарас.—Ведь это уже прямой призыв к расколу, если они вступают на путь конспираторской практики. Что же значат тогда постановления съездов?.. Шлепают всякий документ и пускают по рукам. Безобразие!

— Гм!.. Да...—буркнул Лысой.—Партийный утюг только и спасет от раскола.

Бойцы беспокойно смолкли. Только Ладо, обменявшись с Тарасом взглядом, хитро осмотрел каждого,

сунул в губы конец уса, чтобы еще раз пожевать его, и усмехнулся.

— Ты со мною не согласен?—спросил его сбоку Лысой.

— Я?—удивился Ладо.—Нет, я согласен. Будет еще всего понемногу. Будет и утюг.

Он усмехнулся, прощупал прищуренным взглядом сперва подсунутый ему Тарасом стакан, а затем уставившихся на него соратников и осторожно предупредил:

— Не теперь понятно. По башке себе еще склочники не заработали. Только пробуют. А если они дойдут до чортиков? Если нам нужно будет выбирать между расколом и ударом по раскольникам? Или мы, чем больше стоим у власти, тем чувствительнее делаемся, хотя бы партию и диктатуру кто-нибудь губил даже?

— Так-то так...—не договорил и остановился задумчиво Лысой.

Другие присутствующие, очевидно, в этом вопросе были на стороне Ладо. Влас резко потребовал, выражая общее настроение:

— Нет, товарищи, с церемониями кончим!

Ладо сделал успокаивающий жест и заключил разговор предложением:

— Тут поговорите, что сделать, если блок не осядет, когда мы уедем... Кто бывал на курорте, расскажите лучше, как там с почтой?

— Почта не совсем...

Заговорили об условиях отдыха на Кавказе.

Между тем секретные документы действительно ходили по рукам, и оделял ими партийцев прежде всего Стебун. О том, что в верхах партии опять назревает распря, заговорили снова, и снова каждый здоровый коммунист почувствовал в душе червяка тревоги за то новое испытание, накануне которого находилась партия. Оппозиционеры, угадывая, что оживление в

их рядах стало известным, скрывали еще свою организацию, но вслух стали поносить партийные органы.

В это время в Москву для реализации отпущенных на постройку железной дороги кредитов приехал Шаповал.

Стебун неожиданно встретил его со Статеевым, который расклеился и издергался к этому времени настолько, что губком для его собственного спасения снял его с ответственной работы и направил для секретарствования в низовую ячейку. Оба партийца составляли со Стебуном компанию, подвизавшуюся в годы гражданской войны на Южном фронте. Друг в друге чувствовали силу.

Шаповал обрадовался и вцепился в Стебуна.

— Товарищ Стебун, заняты? Идемте к Максиму!

— Идем!

Стебун знал, что Статеев крепко недоволен новым своим назначением и, полагаясь на доверие прежних своих сподвижников, решил повлиять на них с целью их привербовки к оппозиционерам. Статеев жил неподалеку.

Шаповал о самом главном и заговорил, лишь только приткнулся к стулу.

— Ваша компания бузит, говорят? Вы оппозиционные дела знаете?—спросил он прямо Стебуна.

— Да!—признался Стебун.

— Чего вы хотите?

Стебун снял и стал протирать выжидательно пенснэ. Кивнул головой в сторону развинченно заходившего по комнате Статеева.

— Что ж... Максим, вероятно, тебе расписал уже? Мы—мелкобуржуазные уклонисты.

— Лазарем ты не прикидывайся и на Максима не кивай, а говори толком! В чем разногласия?

Статеев вдруг остановился и возразил:

— О разногласиях не спрашивай!—бросил он.—Вы-

думаны. Дело не в разногласиях, а в том, что много кандидатов в вожаки.

Он отступил, снова остановился, махнул рукой, выругался и стал обличать:

— Чорт знает что делаем! Все варились в одном котле и вместе совершили революцию. Друг другом дорожили и спаялись на всю жизнь на одном общем деле. Теперь же будто не поделили приисков с золотом... Публика балдеет. Правда в том, что в верхах вся вина... Генералы перегрызлись. Но пусть попробуют затеять раскол... Партия кому-то шею сломит.

Стебун встал и сощурился на друга.

— А вы думаете, что от партии зависит не допустить раскола?

— А от кого же?

— От Ладо, от Тараса и Лысого... От руководителей, которые занимаются тайными группировочками и устраивают свои фракционные совещания тайком от штрафных членов верхушки с целью окончательной их изоляции. Знаете вы об этом что-нибудь?

— Не знаю!—резко возразил Статеев.—Я варюсь в ячейке, и высокая политика не для меня. Не удостоен!

— Хорошо! Читали вы, какими разговорчиками отвечают архистратеги наши на то, что происходит вокруг?

— Не читал, не знаю. Слышал, с какими-то документами носятся оппозиционеры. Ерунда!

— Могу дать прочесть, если хотите.

Статеев отверг с сердцем:

— Подпольных секретов знать не хочу!

— Почему?—сверкнул взглядом Стебун.

— Я член партии и не новичок! Если документы ходят по рукам из-под полы, подсовываются партийцам потихоньку от партии, то препозорная это метода добывать мне их таким путем! Я для революции и партии дал достаточно и имею право требовать, чтобы мне всякий верил и дал в официальном порядке тот

документ, который ходит как секретная раскольническая агитка. Теперь, когда знаю наверно, что ходит протокол какой-то, пойду в райком и потребую, чтобы в райкоме имели копии для ознакомления партийцев. Это не тайна мадридского двора, а партийное несчастье...

Шаповал, растерянно наблюдавший доселе за страстностью спора, вскочил одобрительно.

— Правильно, Максим! Ты так и действуй, но стоп— не кипятись! Стебун за партию болеет посвоему и спотыкача не хочет. Неладное что-то. Мы его уговорим вместе. Давайте не ссориться. Эх, товарищи, поехать бы вам обоим со мной, послушать, что пролетариат говорит о вашей бузне...

Шаповала поразила страстность тона обоих схватившихся для недоброго объяснения товарищей. Он доселе был настолько поглощен насущнейшей повседневной работой по строительству и закреплением позиций пролетариата в казачьем краю, что только с трудом представлял себе, как другие партийцы могут заниматься чем-нибудь иным.

И он не меньше чем Статеев и Стебун перенес болезней, пережил тягот, растратив едва ли не большую половину своего здоровья. Но в то время как Статеева пережитое, несомненно, надломило, а Стебуна повернуло к большевистской творческой работе боком, он, Шаповал, не сбился с пути и после того, как многие из его соратников сделали уже не одну осечку в работе. Никому он не скажет, что помимо всяких забот о заводе, железной дороге, партии его душа накачана счастьем шевелящихся в голове дум о «старухе», ради которой готов был быть еще деятельней и самоотверженней.

Спор показал ему, что в партии не все в порядке. Но он не знал подоплеки того, что разъединяло партийцев. Надо было этим заняться и узнать, какая распря сваливалась на голову партийцев. Отпор Сте-

буну, оказанный Статеевым, его отказ получить из приятельских рук предосудительно предложенные Стебуном секретные материалы его воспламенил. Он дружески ткнул Статеева в бок. Он и сам так сделал бы, имей он время. Но он не мог задерживаться в Москве, так как в его кармане уже лежал билет на обратный выезд; в то же время уехать, не зная, чего хотят недовольные от партии, теперь он не мог, творись с его делами что угодно.

И он поддержал Стебуна.

Выразив одобрение Статееву, он подступил к Стебуну.

— Вот что, Илья... Я в Москве буду еще, но приехать опять в таком же вот положении,—вы знаете, о чем говорите, а я вроде беспартийного—это дудки! Оставаться, чтобы узнать, что у вас тут делается, не могу. Это Максимка пойдет в райком—и готово, мне некогда. Дай мне с собой документы, а Статеев достанет сам... Можешь?

Стебун спокойно пожал плечами.

— Пойдем ко мне—возьмешь. А Статеев пусть попробует сунуться—что ему скажут в райкоме...

— Не ссорьтесь!—вскочил Шаповал, боясь нового взрыва прений.—Расскажите лучше, где кто работает из вас. Ты, Илья, по книжной части?

— У Семибабова,—подтвердил Стебун.

Он коротко сообщил о своей работе в издательстве и Главполитпросвете. В свою очередь спросил у Шаповала:

— А ты что, не там уже?

— Я кручусь. Вожусь в железнодорожной строительной комиссии, мотаюсь между Москвой, Ростовом и еще одной станцией на Кавказе. Должен скоро приехать сюда опять, буду на конференции и тогда берусь всерьез поговорить о всех этих ваших делах. Сейчас не в курсе и молчу. Может быть, правы вы. Может быть—другая сторона. Одного боюсь: ой, смотрите,

товарищ Стебун, не переборщите со склокой! Пропадем все!

Статеев, после первой схватки опавший и безвольно вслушивавшийся в разговор, не вытерпел и бросил:

— Это разучились у нас уже понимать!

Стебун покосился на него. Возразил:

— Совесть оппозиционеров спокойна. Каждый делает только то, что он считает необходимым для успехов партии. Разница между нами та, что мы понимаем свой долг так, а те, которые ни сядут, ни встанут без «ура»—иначе. Пойдем, Шаповал.

Шаповал уехал, снабженный документами Стебуна.

Прошло некоторое время.

Стебун, зная о целях раскрытой в лесу конспиративной сходки, не совсем сочувствовал тому, что кое-кто из наиболее недовольных отважился на заведомо поспешное ляпанье себе единомышленников путем устройства фракционных массовок. Однако он знал, что организации фракции не избежать, и потому жалел лишь об обнаружении собрания, а не о том, что оно вообще могло состояться. О своем отношении к нему, однако, умалчивал, считая, что неосторожно обнаруживать свою причастность к тем, кто его устроил.

Спускаясь через неделю после встречи с Статеевым по лестнице из своей комнаты в доме Файмана, он услышал, что за ним, по его следам спешит кто-то. Обернулся и столкнулся с Кровенюком.

Кровенюк после неудачной попытки военкомствовать в Георгиевске оказался в Москве и здесь устроился на какой-то хозяйственной работе в Московском гарнизоне.

С Файманами он установил нешуточное знакомство, когда ночевал у Стебуна. Он тогда не сразу уехал, а договорился прежде с Файманами о закреплении за ним комнаты, прожил у них несколько дней и по приезде из Георгиевска сделался соседом Стебуна.

Все время он хлопотал о переводе на более ответственную работу. Это долго ему не удавалось. Недавно он получил отпуск и уехал в Сочи, о чем Стебуну было известно. Теперь же вдруг снова оказался дома.

Стебун и Кровенюк не разговаривали друг с другом после разговора о дискуссионном клубе. Кровенюк дулся. Но теперь, очевидно, что-то произошло, что заставило его забыть обиду.

Он был в штатском, сиял весь и первый ухмыльнулся, подавая виновато Стебуну руку.

Стебун изумленно ответил на приветствие и с любопытством замедлил шаг.

— Вы демобилизовались?—спросил он сочувственно.

— Месяца два... Из губкома Диссман за меня хлопотал.

— Гм!—Стебун скрыл злую усмешку.—Вы же уезжали в отпуск?

— Да, я ездил, но, знаете, оппозиция все... Из-за этого приехал. Еду в распоряжение губкома на юго-восток.

— Эх-ха!—скривился в чувстве недоумения Стебун. Пересилив себя, он принял подкупающе-дружественный вид и с видимым бесстрастием резонерски возразил:

— Ну... Причем же тут оппозиция? Нам работники нужны всегда.

Кровенюк не согласился с этим доводом и увлеченно стал объяснять:

— Работники нужны, но не представься случай— никто обо мне и не знал бы. А оппозиция склоку развела, я и пригодился. Вы знаете: у них настоящая фракция. Разводят нелегальщину.

— Да, говорят,—согласился Стебун.

— Ну вот! А кто не склочничает, тому дело найдется. Я был в Сочи, а там теперь весь центр. Только что настроился с месяц отдохнуть, а тут телеграмма

о том, что наши партийцы в лесу устроили тайную сходку. Влас вызывает в Москву Ладо. Тарас было в панику. А Ладо: «Ничего, ничего, кацо, давай дадим директиву». Посоветовались и написали Власу особого ничего не предпринимать, пока не возвратятся, а потом сразу со всем этим кончить. Нужно везти пакет... С почтой посылать нельзя, а я тут. Командируют тогда меня. Я и отпуска не кончил, а скорей за пакет да в Москву. Тут спрашиваю о работе, мне и говорят— езжайте пока в губком на Волгу. Будете начальником милиции, потом получите назначение больше. Надням поеду.

— Так... Ну, вам повезло,—иронически блеснул глазами Стебун.

— Да. А как я справлюсь? Шуточки—губмилиция!

Кровенюк, заглядывая в глаза Стебуну, будто проверял, насколько понятно человеку со стороны, что он понадобился для услуг людям, отвечающим за политику государства. Он сам едва верил выпавшей на его долю удаче, горя единственным желанием доказать, что те, кто доверился его преданности, не ошиблись.

Стебун, угадывая, что у Кровенюка от избытка чувств неровно бьется пульс, старался продлить свой путь, чтобы больше вызнать от разоткровенничавшегося товарища. Ему нужно было теперь предупредить своих единомышленников о том, что ему рассказал Кровенюк, и в то же время душа у него пеклась изжогой презрения к мелким интересам взрослого и, казалось бы, имеющего возможность не щеголять ограниченностью своего счастьишка человека.

Стебуну казалось, что он что-то должен немедленно сделать. Как-то использовать ошибку наивного парня, не заподозрившего, что он делится сплетней с тем, кому сам не сказал бы ничего, знай он, что Стебун оппозиционер.

Стебун вдруг решил поиздеваться над самомнением Кровенюка.

— Знаете,—бросил он, когда Кровенюк достаточно порассказал,—вы мне наговорили тут и, может быть, совсем напрасно. Ведь я,—фракция не фракция там, а тоже за перемены. Верхушка у нас запуталась. Я—оппозиционер.

Кровенюк испуганно опешил на мгновение, но быстро успокоил себя.

— Ну,—возразил он,—за перемены всякий... Вы если и оппозиционер, то выступаете с критикой открыто. Не пойдете же на сходку в лес...

— На фракционную сходку, конечно, не пойду, но я решил сделать то, на что смелости не найдется и у верховодов оппозиции... Я составил сборник тех документов, которые по секрету ходят из рук в руки, и в партийном издательстве, где я работаю, мы их на-днях выпускаем из печати, благо никто не ожидает этого.

Кровенюк испуганно остановился.

— Как это, товарищ Стебун?—проверил он со страхом.—Ведь за это не знаю что будет! Ведь это же против партии!

Стебун сделал рукою знак, предлагая не шуметь на улице, и объяснил:

— О том, что я делаю это, никто и знать не будет... Все втайне. Только вам открываю, потому что вы не захотите мне чинить неприятностей, зная, что я зря ничего не сделаю.

— Нет, я никому ни словечка!—заверил потерявший было присутствие духа и опять встрепенувшийся партиец.—Я против этого, но это дело ваше. Вмешиваться не буду, ну его...

— Вот и хорошо! Вы мне рассказали все откровенно, и мне скрывать от вас, что я оппозиционер, было бы уже нехорошо. До свидания!

Они распрощались.

Стебуну очень хотелось знать, как поступит Кровенюк, расставшись с ним. На всякий случай он решил предупредить Семибабова о том, что издатель может быть вызван для проверки того, что было рассказано Кровенюку.

Действительно, он не ошибся. Кровенюк четверть часа колебался, каясь, что дал Стебуну слово молчать. Но ответственность за то, что он узнал, и желание усилить доверие к себе пересилили в нем всякие колебания, и он повернул в губком, чтобы обо всем рассказать Власу. Влас вызвал Семибабова для объяснений. Тот возмутился по поводу клеветы на него и заявил, что он не сумасшедший—заниматься такими шутками. Сделалось ясно, что Стебун над Кровенюком поиздевался.

А Стебун, поднимая тревогу, предупредил своих единомышленников о том, что центр и руководители партии готовят против оппозиции кампанию. Другие информаторы оппозиционеров в ближайшее время дополнили первые сведения сообщением о том, что весь удар по оппозиции обрушится во время осенней всесоюзной партконференции. И Стебун предложил в предупреждение этого удара произвести штурм центра с низов; для этого—сговориться с наиболее верными ячейками, где можно было ожидать перевеса сил в пользу оппозиционеров, и, выставив здесь неожиданно докладчиками еще не утерявших популярности, хотя уже и скомпрометировавших себя причастностью к внутрипартийным вспышкам бывших вождей партии с мировыми именами, этим открыть начало боя.

С тех ячеек, в которых работал Стебун, он и предложил начать выступление, не сомневаясь, что здесь оппозиция будет иметь успех.

Предложение Стебуна было принято.

И только теперь, будучи уверен, что единый фронт всех недовольных, а главное—участие в выступлении громкоименных величин обеспечивают наконец полное

торжество оппозиционной платформы, Стебун решил устроить свои личные дела и прежде всего Льолу сделать своей женой.

Он зашел в Главполитпросвет к Резцовой. Главполитпросветская ударница сообщила ему, что Льола должна вечером делать доклад на собрании культурников в Доме союзов, поэтому необычайно волнуется, и ее лучше не смущать.

Стебун расспросил точнее о собрании и узнал, что роль докладчицы Резцова же вместе с Нехайчиком и навязала Льоле, втягивая неискушенную молодую женщину в работу с массой. Льола заранее трепетала от одной мысли о том, что она в этом ответственном выступлении со скандалом провалится.

Стебун подумал и, не заходя к Льоле, решил повидать ее, когда она будет делать доклад, а перед собранием только позвонить ей, что собирается с ней увидеться.

Он знал, что должно было случиться после его разговора с женщиной, которая вверялась ему с самого начала и заставляла его самого то деликатно отступать, то стремиться к сближению с ней. И он решил быть готовым к перемене в своем положении. Сопоставил с своими видами на новую жизнь предстоящий отъезд Кровенюка. И пошел к Файману.

Файман был в магазине. Стебун прошел в магазин.

Торговец любезно изумился.

— Дорогой жилец! Уважаемый гражданин Стебун! Сядьте пожалуйста тут. Сюда, на стульчик... Это наш магазин.

— Спасибо, не беспокойтесь. Я с небольшой просьбой, если хотите мне помочь...

Он, пересиливая неловкость своего визита, усмехнулся, оглянул магазин и через стойку наклонился к торговцу.

Тот любезно затоптался, порываясь услужить такому жильцу, как Стебун.

Стебун сообщил:

— У вас освобождается та комната, в которой я прежде жил, так у меня просьба предоставить мне ее опять.

— Как! А та, в которой живете, разве не нравится вам?

— Нет, не то... Эту комнату я не освобождаю. Я женюсь и поселю там жену, а сам поживу опять в этом ящике, пока не устроюсь где-нибудь понастоящему.

— А! Очень приятно, очень приятно, гражданин Стебун! Для вас, для хорошего партийца все сделаю. Как только уедет гражданин Кровенюк, можете комнату занимать, больше никого не допущу.

— Спасибо, гражданин Файман. Может быть, сегодня же, если удастся, я и приведу жену показать ей, где она будет жить.

— Когда хотите. Мешать не будем, ни вы нам, ни мы вам. Очень рады будем, что и вы семьянином становитесь!

Торговец извивался от полноты чувств.

Стебун еще раз поблагодарил его и ушел.

Льола готова была провалиться сквозь землю.

На двух-трех главполитпросветских собраниях сотрудников ей пришлось выступить с докладами по просьбе местной культкомиссии. На выступлениях в кругу сотрудников она обнаружила способность отстаивать ту точку зрения, к которой присоединялась.

Резцова, по просьбе Стебуна старательно подталкивавшая Льолу к работе над своим мировоззрением, придралась к этому, и именно по ее наущению Льолу стали втягивать в выступления все чаще.

А теперь Резцова придумала новое. В Доме Союзов культотдел устраивал собрание фабрично-заводских культурно-просветительных комиссий для доклада о постановке заочного самообразования, и главполит-

просветская секретарша объявила Льоле, что доклад придется делать ей.

Льола, услышав это предложение, отшатнулась от своей опекунши.

— Татьяна Михайловна, вы убить меня хотите?!

Но спорить с Резцовой, если она решила что-нибудь, было немыслимо.

— Милая Елена Дмитриевна! Если вы хотите быть только безголовой чиновницей—тогда дело ваше, а если вас интересует живое дело—то доклад сделаете, хотя бы все знали, что вы от роду немой человек и до сих пор слова не говорили. Собрание уже назначено, Ржаков будет занят, а я в этот же день делаю два доклада. Дайте послушать другого кого-нибудь хоть вечером!

— Ах, Татьяна Михайловна, да провалюсь же я с позором!

— Это касается вашей работы. Если она вам надоела, то так и говорите, поставим на всей нашей заочнообразовательной затее крест, и будете делать что-нибудь другое.

— Но, Татьяна Михайловна, может быть, кого-нибудь другого подговорите. Вы сумеете это сделать.

— И не попробую. Готовьтесь-ка лучше.

Резцова ушла, не слушая возражений. Пришел убедиться в том, что докладчица предупреждена о предстоящем выступлении, Нехайчик.

Блистая неисправимо своей, попрежнему щуплой внешностью, Нехайчик попрежнему же неисправимо искажал и теперь на свой манер каждое русское слово. В очках и под большой шляпой, в которую он не входил до подбородка только потому, что ее поддерживали гигантские кудри,—таким он был на фронте, когда гнал впереди себя казака против стрелявших белогвардейцев, таким его увидел Стебун, когда во время конгресса Коминтерна он делал из висячей зыбки распоряжения о расстановке плакатов на Доме

союзов, таким явился он и теперь в сопровождении Резцовой к Льоле.

Резцова кратко сообщила:

— Это товарищ Нехайчик, сговоритесь с ним о собрании...

Льола приросла испуганно к стулу и через силу вымолвила, приглашая гостя сесть на стул.

— Пожалуйста, товарищ Нехайчик.

Укоризненно взглянув затем на самоуправно распоряжавшуюся ею политпросветчицу, она по необходимости обратилась к организатору профсоюзной культработы.

— Что же, товарищ Нехайчик, вы скажете?

— Товарищ Луговая,—излился Нехайчик,—мы будем устраивать вечер и постановка вашего доклада с участием всей культурно-просветительной работы. Такого инициатива заставили нас собрать заводских комитетов, сделать продвижение заочного самообразования, которое хотели развить и мы, и губком, и рабочие от своего инициатива... В четверг собрание будет состояться в лекционной комнате Дома союзов, и мы хотим, чтобы вы обязательно была... Товарищ Резцова сказала, что говорила вам...

Резцова вмешалась.

— Мы говорили об этом... Елена Дмитриевна уже готовится, товарищ Нехайчик. Если она не познакомит с работой комиссии товарищей, работающих в месткомах и фабкомах, нашей деятельности—цена грош.

Льола почувствовала, что Резцову не переупрямишь, и с отчаянием подчинилась.

— Что ж, хорошо, товарищ Нехайчик. Только снимаю с себя ответственность за то, что я наговорю.

— О, мы все там будем... Мы знаем, что вы первый раз на такой широкой собрании будете доклад делать. Я буду там и товарищ Резцова. Если у вас не удастся сказать настоящее, мы выступим и поправим.

— Хорошо!—согласилась Льола.

Она стала готовиться, про-себя заучивая систематическим повторением чуть не наизусть те аргументы и мысли, которые должна была сообщить собранию. Но делала это столько же в нерабочее время, сколько и между работой, в часы занятий, в антрактах от одного телефонного разговора до другого, используя свободные минуты между писанием бумажек и беседами с посетителями, являвшимися к ней по делам комиссии.

Наступил жуткий день доклада. Льола в этот день чувствовала себя полупомешанной. Что-то делала, куда-то звонила, на какие-то звонки отвечала, с кем-то говорила. Но все это—будто в полусне.

И вот еще один, сто первый за сегодняшний день звонок к Льоле. Льола с немного волнующейся и начинающей переходить в раздражение певучестью в голосе сигнализирует:

— Ал-ло!

Полузнакомое что-то в вопросе:

— Елена Дмитриевна?

— Да...

Догадкой подняло вдруг всю вверх:

«Неужели он?»

— Тут я прочитал торжественное объявление о том, что культотдел закатывает ваш доклад о заочном самообразовании. Верно это, мадам-товарищ?

Конечно же он. Стебун только и имеет эту манеру—титуловать ее язвительным словцом «мадам» даже тогда, когда он, видимо, рад пожелать ей наибольшего счастья.

— Это товарищ Стебун?

— Да.

— Ох, дорогой товарищ Стебун, это верно...

— Ну, хоть лишитесь дара слова от досады, пусть земля сгорит под ногами у вас,—я, Елена Дмитриевна, приду и пробуду на докладе от начала и до конца.

У Льолы закружилась голова и от радости и от смертного страха за то, что может произойти, если

она оскандалится. Все время, после встречи с Диссманом, еще не забытой Льолой, она и Стебун виделись только мимоходом, встречаясь в коридорах Главполитпросвета или сталкиваясь на заседаниях комиссии. Стебун несколько раз готов был с ней заговорить о чем-то, что заранее предрешало их отношения и ее судьбу, но в решительный момент сомнения каждый раз останавливали его, и он сдерживался. А теперь опять напомнил многозначительно о себе.

И Льола не знала, что должна теперь сделать.

— Приходите, Илья Николаевич!—с подозрительно-спешной горячностью вырвалось у ней.

— Отговорюсь от всего другого и приду... До свидания пока!

— До свидания!

Льола безвольно опустила трубку...

А вечером на трибуне бокового лекционного зала когда приблизилась минута ее выступления, суетился Нехайчик, с яростной враждой спорила с каким-то, случайно зашедшим на собрание пропагандистом Резцова, Льола же, прислонясь к стене авансцены, казалось, теряла всякую способность соображать что бы то ни было.

Стебун, выйдя из боковой двери на авансцену, еще с порога посмотрел на собрание, на его устроителей, на Льолу и приблизился к столу. Поздоровался с Резцовой и остальными, с кем был знаком. О чем-то обменялся несколькими замечаниями с Нехайчиком и Татьяной Михайловной. Заметил, что Льола видит его, но не имеет сил приблизиться, безвольно ожидая момента выступления.

Он мгновение помедлил, встретившись с ней взглядом, что-то прикинул в уме и с уверенным кивком головы подошел, ободряя ее:

— Волнуетесь? Пустяк, Елена Дмитриевна. Я попросил, чтобы Нехайчик дал прежде мне слово, а когда я поговорю, вам будет легче свое сказать. Возражения

на чужую речь набегают скорей и возбуждают красноречие. Не падайте духом!

Льола очнулась и схватила его за руку, не пожимая ее, а держась и не выпуская, будто боясь, что Стебун уйдет, прежде чем вольет в нее уверенность в ее собственных силах.

— О, вы спасаете меня! Я уже приготовилась, что провалюсь с стыдом и позором!—созналась трепетно она.

— Нет, это ни вам, ни кому другому не нужно. Нехайчик сейчас откроет собрание, и будем говорить. Я минут десять хочу поговорить о затеях заочного образования, поскольку к ним отвлекаются массы от других очередных задач. Вам придется меня ругать в своей речи. Можете не стесняться. А потом я провожу вас немного, мне нужно будет потолковать с вами.

— А... Хорошо!

Льола вспыхнула. Но все другое нужно было теперь отложить и думать только о докладе. Она поняла, как прозрел ее состояние этот стегучий Стебун. Она радостно выпустила его руку, вдруг почувствовав, что у нее свалилась с плеч гора.

— Илья Николаевич!—вырвалось у нее.

Стебун бодряще усмехнулся.

— Знаю, знаю... Вы думаете, что я только ради вас и стараюсь? Посмотрите, как я поиздеваюсь над вами. Давайте-ка торопить наших друзей.

И он повернулся к Нехайчику и Резцовой.

— Начинаем?

— Да!—заспешил экспансивный культпросветчик, бросая разговоры и занимая место за столом.

Стебун позвал взглядом за собой Льолу, также сел и указал ей на стул.

Нехайчик призвал к порядку собрание и, как всегда, поражая варварски исковерканными на свой лад словами, забарабанил:

— Товарищи работники культурно-просветительной работы, у нас сегодня собрание культурно-просветительных работников, которые занимаются организацией заочного самообразования. Вы все знаете, какое это колоссальново грандиознова задача—научить заочному самообразованию нашего пролетариата. Поэтому мы с такова нетерпением и ждали этого собрание. Вступительное слово желает сказать товарищ Стебун, имеющий своего взгляда на наша работа. Слово товарищу Стебуну.

У Стебуна была несложная задача, вытекавшая из его намерения помочь Льоле. Требовалось в коротеньком слове походить вокруг да около вопроса и подсказать докладчице несколько положений, которые затронули бы ее мысль и вызвали желание дать отпор неверному суждению. Аудиторию Стебун знал, круг интересов и представлений слушателей—также. Для него не представляло труда задеть и собравшихся и Льолу.

Он провозгласил неизбежное—«товарищи»!

Собрание стихло, а он повел рукой и начал излагать свой взгляд, почти чувствуя во время речи, как цепляется за его слова не спускавшая с него глаз Льола.

— Самообразовательная работа существует не только теперь, но существовала даже во время подпольщины,—привел Стебун первое соображение и продолжил:—Я говорю о том, что было в наше время школами политграмоты... О подпольных кружках, воспитавших бойцов двух революций. Заочное самообразование для преподавания политической грамоты и коммунизма применить нельзя, а поэтому едва ли целесообразно поднимать на него артиллерию наших рабочих организаций. В самом деле, на что мы сами толкнем массы, если оторвем их от школ политграмоты и подсунем им заочное образование? Они станут увлекаться техникой, они захотят быть бухгалтерами, стенографистами, шоферами и учиться всякой технической

и профессиональной премудрости. А политическая грамотность? Для нее времени не останется...

Льола уже при словах о том, что к преподаванию политграмоты заочное самообразование применить нельзя, вспыхнула, а теперь с повышающимся возбуждением слушала, ловя каждую фразу и в уме подбирая возражения на речь Стебуна.

Стебун, впрочем, сказал, что категорических утверждений он не делает, он только выражает некоторые сомнения в качестве пропагандиста-практика, давно ведущего политическо-воспитательную работу среди рабочих. Сославшись на попытки организации заочного самообразования в буржуазных государствах, он заметил, что хотя и не знает, как там на деле поставлена работа, но уже то, что буржуазия занимается этим, говорит само за себя.

— И у нас,—заключил Стебун с явным подозрением,—это дело начинается тогда, когда развернулся и стал на ноги нэп... Мы не знаем, понятно, какова историческая подоплека этого начинания, но не представляет ли оно собой затею и дорогую и нужную не для пролетариата, а для мелкобуржуазной интеллигенции, ищущей применения своим силам? На эти вопросы мы и ждем ответа от докладчицы.

Вопрос был поставлен, аудитория изумилась неожиданным сомнениям и насторожилась. Резцова, не знавшая, что нужно было Стебуну, дернула его за рукав и засовала кулаками, а Льола возбужденно поднялась и заняла место на трибуне. Она теперь будто приложила к земле ухо и, услышав откровение о том деле, которому служила, готова была поведать о нем всему миру. Ничего, что этот колючий, как заноза, Стебун, расскрипелся со своими подозрительными догадками. Она рассеет всякие недоумения.

И Льола заговорила.

Она перестала чувствовать себя чужой. Наоборот, и поднявшее ее на воздух ожидание сотни неумелых,

но крепко связанных с рабочими массами культурников и культурниц, и буйная Резцова, и прямолинейный Стебун, и даже смехотворно толкущийся товарищ Нехайчик—все представилось ей частицами одного и того же стремглавного бега к человеческому счастью.

Во времена давно прошедшего девичества в душе Льолы что-то вспыхивало порой. Подобно блеску отражения крохотной звездочки на поверхности воды в глубоком колодце, начинали в голове шевелиться детски светлые мечты, побуждавшие ее рваться к такой вот радостной человечности, какой ее всколыхнуло теперь. Но праздная суетность дядиной семьи, в которой она жила, последовавшие затем поочереди замужество, пайковая побирушечность и срамота придоровского благополучия—все это прихлопнуло лучистый огонек в колодце ее души. Теперь пришел Стебун, и не крохотный огонек, а ослепительно разгорающийся фейерверк нового счастья осиял Льолу.

— Товарищи!—воззвала Льола.—Сто пятьдесят человек нас здесь. И сами-то мы не знаем одной сотой того, что нам надо. Сравнительно с каким-нибудь зауряднын библиотекарем, учителем или конторщиком вы, товарищи, в большинстве своем малограмотные люди. Взгляните на себя! А вам надо просветить сотни тысяч рабочих. Это плохо? Такое скверное время мы переживаем? Такие мы неудачники? А помоему, товарищи, мы переживаем неповторяемое время, помоему, мы счастливейшее среди людей племя...

Голос заражал своей глубиной. Льоле удалось начать не с казенных слов. Не казенной, взволнованно отзывчивой настороженностью ответили и слушатели.

— Будут через десяток лет учить и просвещать других только научившиеся люди, виртуозы в области просветительной работы. По готовому, по той дороге, которую мы прокладываем теперь, они пойдут, они покатятся, словно...

Льола на мгновение запнулась, не имея в резерве необходимого сравнения, но тут же махнула с улыбкой рукой к окну:

— Словно трамвайный вагон по бульварному кольцу...

Культпросветчики шевельнулись, оживая от простоты примера.

— Ха-ха!..

Весело захлопали.

Стебун удовлетворенно прислонился к стене. Настроение было создано.

А Льола с грубовато-откровенной задушевностью, не свойственной прежней Льоле, продолжала бросать в аудиторию булыжниками убеждающих слов.

— Но сравнительно с нашей работой разве такая уж большая мудрость будет тогда распространять просвещение? Нет, вот мы-то и сделаем самое великое дело, самую черновую работу, на которую только партия большевиков и способна кого-нибудь увлечь... Какая это работа? Товарищ Стебун думает, что мы не поможем сделаться людям политически грамотными, а отвлечем их от этого. Вот, пусть извинит меня Стебун,—какой он перепросветившийся политический мудрец!

Все повернулись к скосившему в сторону докладчицы глаза Стебуну.

— Ха-ха!..

Захлопали.

Льола, устремив взгляд в сторону Стебуна, разобрала с серьезной простотой все его недоумения, изложила план работы комиссии Главполитпросвета и увязку этой работы с работой культпросветов, после чего разъяснила, что предстояло делать местным профсоюзным и заводским комиссиям.

— Надо от кустарничества перейти к организованной общей работе.

Перечислила учреждения, библиотеки и те организации, от которых можно было получать пособия и программы по специальным областям образования.

Все, что она объясняла во второй части своих сообщений, было техническими мелочами, которые, однако, вооружали культурников на деятельность и давали им возможность от разговоров перейти к практической постановке новой работы.

И деловой актив собравшихся с увлечением ухватился за записывание адресов тех учреждений, которые брались оказывать содействие комиссиям, и тех сведений, которые должны были пригодиться в работе.

В заключение, кончая доклад, Льола пригласила при всех недоумениях обращаться лично к ней за помощью, которую обещала оказывать, было бы это только в ее силах.

И многие из собравшихся и устроители собрания в лице Нехайчика и Резцовой, лишь докладчица кончила, окружили ее.

— Вот! Вот! Какова хорошева связь сделали вы у Главполитпросвета и союзов!—не отступал от Льолы Нехайчик.

— Товарищ Луговая, в какой комнате вы в Главполитпросвете?—спрашивали деятели комиссий.

Резцова, с кепкой набок, воинственно и победно наступала на Льолу, на Стебуна, на всех:

— Видите? Видите! Я вам говорила, что будет толк...

Стебун дождался, пока слушатели оставили Льолу, и, простившись с Резцовой и Нехайчиком, вместе с переродившейся за один этот вечер и родной ему теперь женщиной вышел на улицу.

Он сперва молчал, и Льоле вдруг показалось, что она летит куда-то в бездну.

Стебун намеревался объясниться, а у нее душа замирала от страха за себя.

В Стебуне—ее счастье. Она горела от его близости. Скажет он слово—и она в ответ сумеет только выдох-

нуть звук сладкого согласия. Готова на все. А придет вдруг Луговой?

Льола сходила с ума.

Они вышли из Дома союзов, завернули на Большую Дмитровку, чтобы пройтись для разговора, как предложил Стебун, и еще не сказали друг другу ни слова.

Стебун хотел найти наиболее уместные слова. В ответе он не сомневался и только хотел, чтобы разговор был проще, не теряя в то же время силы связывающего на всю жизнь двух людей взаимного обета. С любовной уверенностью поглядывая на Льолу, он выжидательно молчал.

Они прошли несколько шагов, выбираясь из людского потока улицы.

И вдруг Льола, лишь только они завернули в малолюдный переулок, где им не мешала человеческая толкотня, заговорила сама о том, зачем ее позвал Стебун.

Страшно волнуясь, она вдруг замедлила шаги и предупредила:

— Илья Николаевич! Я согласилась с вами пойти поговорить... я знаю, для чего вы меня позвали...

Стебуна что-то подхватило, он выжидательно выпрямился и замер, чувствуя неожиданное.

А Льола, трепеща от безумия собственного решения, заспешила произнести себе приговор:

— Илья Николаевич, вы дороги мне! Чтобы вам не было неловко от моего отказа и чтобы вы не подумали обо мне плохо за то, что я не предостерегла вас от этого разговора, я должна... я хочу предупредить вас обо всем. Я ни любить вас, ни женой вашей быть не могу!

— Что та-кое?

Не Стебуна, быстрого на отбой, как пружина, при всяком душевном ранении, можно было сразить одним ударом. Его лишь повернуло на оси сознания лицом к непредвиденному крушению. Полсекунды потребовалось всего, чтобы он принял факт наличия совершенно

новой обстановки. Прежде даже чем успела Льола вдохнуть в себя воздух после своего невозвратного слова, он уже решил отразить удар.

И со всей силой возмущенного негодования, какое только он мог вложить во вспыхнувший вопрос, он высек, словно щелкнул кнутом, еще раз недоуменную фразу, выпрямляясь и гневно останавливаясь возле Льолы:

— Что такое?!

Льола растерянно подалась назад.

По негодованию Стебуна нельзя было не заключить, какую дикую ошибку сделала Льола, допустив мысль, что он намеревается говорить с ней о любви.

— Ах!—выдохнула она, будучи сама поражена тем, что произошло, и чувствуя, что готова упасть.—Я оши...

Стебун так же круто опустился, как вдруг вырос, обжег Льолу взглядом и, наотмашь рубанув рукой воздух, зашагал прочь.

— Илья Николаевич!—рванулась с попыткой остановить его Льола.

Но Стебун и не обернулся. Может быть, не слышал, может быть, слышал, но не мог владеть собой.

Льола смятенно прислонилась к фонарному столбу.

— Что я натворила! Что я наделала! Айя-яй!

Она рванулась от столба и сделала движение в ту сторону, куда зашагал Стебун.

Но сейчас же она остановилась, чувствуя, что Стебуна не найдет.

Плечи у нее дрогнули. Она сникла и, в тягостном смятении соображая, как все это произошло, через силу пошла к трамваю.

Только дома, не заснув почти всю ночь, она отошла несколько от потрясения и собрала силы.

Она решила итти к Стебуну и оправдаться перед ним. Она не хотела его оскорблять. Пусть она дико

ошиблась, но, по крайней мере, она загладит ошибку объяснением.

Это решение к утру окрепло в ней и держало ее в своем узле и весь следующий день.

А для Стебуна это был тоже сквернейший момент в его жизни. Что-то вдруг оборвалось в нем, и хуже всего было то, что на другой день не было никаких собраний, ни одного совещания. Выступление оппозиции, по его плану, должно было произойти в один из ближайших дней.

Между тем внутренняя пустота заставляла быть на людях, бежать от холода тоски, всасывать в себя биение жизни.

Самая его комната, когда он вернулся, показалась ему казематом. Поверенная его дум—полочка книг, перегруженный случайными предметами холостяцкого существования стол, кушетка вместо постели, вешалка с сохранившейся старой шинелью, пальто с фуражкой, корзина с бельем, три стула, удилище с удочками на стене, когда-то приобретенное на даче, зачем—Стебун сам хорошо не знал,—все это наводило теперь тоску.

Стебун сам себе стал казаться рыбешкой. Острая, отслоившаяся из какого-то уголка подсознательной сферы мысль о самом себе споткнулась о живую болячку чувства. Родился безрадостный вывод: плавает, живет что-то этакое суетящееся, но вдруг, поддетое одним взмахом руки удильщика, выдергивается из воды, оглушенно начинает трепыхаться в совершенно иной, отличной от привычной среды стихии... Так крючки жизни дергают и твердокаменнейших людей, бросая их в другую обстановку и заставляя заводиться на другой ход.

Жизнь не раз заставляла Стебуна заводиться на другой ход: когда он подвергался арестам, когда освобождался, получал работу, лишался ее. Не раз эти передряги вызывали у Стебуна вопрос о том, где при

всяких неожиданностях судьбы та грань, которая не переламывает человека надвое, как хворостинку.

Его жизнь не щадила, но переломить не могла. При каждой осечке он, почувствовав себя в новой обстановке, осматривался, делал как бы переключку, и снова жил, развивая моторную энергию своей воли.

И теперь что же? Еще раз переключка?

Но ведь не в женщине, хотя бы даже такой, как эта, им же самим наполовину и созданная политпросветчица,—смысл всех пережитых им переключек. Не из-за женщин он жил и не их ставил центром своих дум. Другое дело, если бы он споткнулся как боец-революционер, если бы он еще раз ошибся в нащупывании тех путей, которыми должна итти партия. Но казалось, что как раз последнее время устраняло всякое сомнение на этот счет. Партия возрождалась в борьбе за самостоятельность, в ней закипала жизнь, происходило то, что делало Стебуна водителем веривших в него единомышленников.

И, однако, на душе не становилось легче. Была еще надежда на то, что не все кончено с Льолой в той сцене возмущения, которую он разыгрывал.

«Она придет!»—решил он про себя, чувствуя, что Льола захочет объяснить свое поведение. Он боялся только, что разговор оттянется, если Льола станет ждать для этого случайной встречи.

«А вдруг она уже кается и выжидать не сможет сама?»

Стебун на следующий день был готов встретить ее.

А Льола, действительно, откладывать не могла и еле дождалась вечера.

Он пластом лежал на кушетке.

Гудящие лады его больных мыслей еще не вполне перестроились на успокоившийся темп, когда он услышал стук в дверь. Он замер, проверяя себя, не ослышался ли он. А когда стук повторился, рванулся к двери, остановился на полдороге, но сейчас же еще по-

рывистей дернулся к ручке, чтобы убедиться в том, что это—та гостья, которая, больше чем он ожидал, переполнила его собой.

Еще прежде чем распахнулась дверь, через открывшуюся лишь щель он уже увидел, что это действительно Льола.

Распахнув дверь, он посторонился и отступил.

Льола, прежде чем войти, оглянулась на раздавшийся сзади нее шум.

То поднимался по лестнице Файман с гостями.

Льола не заметила, что один из входивших, увидев ее, остолбенело остановился, обежал ее взглядом, остановил и других, пораженно расспрашивая что-то у кругленького еврея, очевидно хозяина дома.

Она, не подозревая, что в доме о ней уже говорят, как о женщине, на которой женится Стебун, но угадывая, что на нее обратили внимание, поспешила войти в комнату.

Стебун отступил от гостьи выжидательно назад и остановился у окна, следя за взволнованной женщиной.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте...

Молодая женщина сделала два шага вперед и опустила беспомощно руки.

— Илья Николаевич,—взмолилась она покаянно,—я пришла, чтобы вы мне простили мою вчерашнюю несусветную глупость!..

Стебун, не глядя на нее, потер себе болезненно виски и склонил голову.

Льола вспыхнула от волнения и заспешила, запросила о пощаде.

— Я вообразила, Илья Николаевич, и вот... Что я наделала, ах!.. Такой глупости вы от женщины еще не видели. Я ошиблась, потому что... не знаю... Вы удивительно хорошо подошли ко мне. Вы же не такой, как мужчины того круга, в котором я когда-то вращалась. Я не хотела ошибаться, Илья Николаевич! Как вам

объяснить эту ошибку? Я не знаю, что вы можете обо мне теперь подумать...

Стебун, шагнув к стулу, опустился на него, нетерпеливо выслушал покаяние, но вдруг опять встал и надрывисто бросил:

— Вы... не ошиблись, Елена Дмитриевна. Все это с моей стороны комедия вчера была.

— Ах!—сразу смолкла Льола.

Она затаила дыхание от ощущения жгучести счастья, против которого напрасно сама с собой билась. Побледнев вдруг, прислонилась беспомощно возле дверей, будто ожидая себе приговора.

А Стебун, не поворачиваясь к ней, чтобы она не видела, с каким трудом силится он выбирать слова для объяснения, с потрясающей жесткостью делал признания.

— Вы не ошиблись!—резко обличил он сам себя.— Я собирался действительно предложить вам сделаться моей женой. Знаете, я считаю себя не настолько ординарным человеком, чтобы меня какая-нибудь женщина не стала любить, если она понимает что-нибудь в людях. Во мне на тормозах беснуются тысячи сил. Я могу натворить чудес! А не добиться поставленной себе цели,—это вообще значит не быть человеком, который других может вести за собой. Если вы этого не увидели, то не стоит об этом и говорить. А вы по всему ясно,—этого не увидели. Значит я самый обыкновенный дамский зауряд-страдатель. Ах, идиотизм! Но это урок. Дали вы мне щелчка и спасибо! Вчерашняя моя мнимая вспышка была трюком, чтобы мое собственное самолюбие спасти. Но это все трын-трава. Постараюсь забыть все это. Больше мы с вами не встретимся. Я избавлю вас от этой неприятности. Идите, Елена Дмитриевна, домой...

Стебун кивнул на дверь и жестко повернулся вглубь комнаты, ожидая, чтобы Льола вышла.

Но не затем пришла Льола, чтобы разить Стебуна.

— Илья Николаевич!—воскликнула она, склоняясь с отчаянием вырвавшейся наружу любви.

Стебун махнул было рукой, думая, что Льола хочет сердобольным сочувствием утешить его.

— Уходите!—повторил он, задыхаясь.

— Илья Николаевич!—с той же безумной решимостью подтвердила Льола, что она также уже не владеет собой.

Стебун вдруг смятенно поднял голову, услышав через силу вырвавшийся любовный призыв женщины.

— А!..

Льола стояла в покорной мольбе, чуть не падая.

Стебун моментально очутился возле нее.

— А-а!—вырвался у него торжествующий стон.

— Ах!—с мукой выдохнула и она.

Льола затрепетала в его руках, а он, ощутив этот трепет, хотел впиться поцелуем в ее губы.

Льола схватила его за руку и, с запойным восторгом выпрямляясь перед ним, осторожно отстранила его на мгновение.

— Илья Николаевич, вы...

Стебун быстро поправил:

— Не «Илья Николаевич», а Стебун, не «вы»... Муж!—потребовал настойчиво он.

Льола вспыхнула, повела хмельно головой, глотая счастье собственного согласия, и ответно повторила:

— Стебун и муж... Я расскажу только прежде вам, какая жена я вам буду, чтобы вы все знали. В каких я цепях... А тогда, товарищ Стебун, решайте сами или вместе мы решим, можем ли мы сделаться мужем и женой. Вам и в голову, вероятно, не приходило, что у меня и без того уже есть два мужа. Вы этого не знаете, а мне нужно, чтоб вы знали все. Прежде всего—я жена белого, безвестно пропавшего офицера...

Стебун сделал безразличный, заранее прощающий неизвестные ему обстоятельства жизни Льолы жест, но предложил с уверенным спокойствием:

— Рассказывайте.

— Ну вот. Мой первый муж—помощник одного инженера, некоего Придорова, служил во Всеобщей электрической компании. Во время революции связался с людьми, близко знавшими Керенского, и был сторонником его власти. Когда Керенского свергли и началось хозяйствование большевиков, против них стали выступать в разных местах. Мы находились в Одессе. Тамошние знакомые мужа, разные политические дельцы, сговорились и убедили мужа вступить в войско Врангеля. Он отправил меня с трехмесячным ребенком в Москву и зачислился в добровольцы. Пока красные не разбили Врангеля, он воевал и писал. Но вот большевики повели наступление. Фронт ликвидировался. Муж мой, офицер добровольческого отряда Луговой, исчез, и я о нем перестала получать какие бы то ни было сведения. Из Москвы мне пришлось уехать опять в Одессу. Чтобы чем-нибудь существовать, я поступила в Одессе на место учительницы. Вы знаете, как жили учительницы... Я стала продавать вещи. Еле могла поддерживать существование ребенка. Сама голодала. И в этом положении застал меня тот инженер, у которого муж был помощником. Этот инженер, по фамилии Придоров, всегда умел жить всласть. Увидев меня, когда я голодала, он предложил мне отдать ребенка в приют, а самой стать его женой. У меня выбора не было. Ребенок погиб бы от голода. От Лугового вестей я не имела. И я вышла за этого Придорова. Что это за человек, я тогда чуть-чуть догадывалась; поняла, когда стало поздно... другого такого и нарочно не придумать, а-ах!..

Льола закусила от боли воспоминаний губы и судорожно передернула бровями.

Стебун кивнул головой в знак того, что он понимает.

— Пошлое существо?—спросил он со спокойным

участием.—Это не тот, которого я видел с вами в поезде?

— Да, именно этот. Мы с ним тогда в первый раз показались вместе.

— Животное!—подтвердил Стебун.

— Ну вот, с этим любителем притонов я не прожила и года. Почувствовала, что гибну, делаясь в действительности его содержанкой. Да и другие его доблести... Ах, эта скотская самовлюбленность!

Льола передернула плечами, вспоминая о другой стороне своей жизни.

— В это время от кого-то я получила анонимку с сообщением, что мой первый муж—Луговой—жив.

Стебун вздрогнул и неуверенно насторожился.

— Я,—продолжала Льола,—решила, уж независимо от того, что с Луговым, так или иначе от Придорова освободиться. Для этого я настояла, чтобы он взял меня с собой в Москву. Перед этим попробовала найти в приюте ребенка. И тут новое несчастье, как будто мне мстил кто-нибудь... В приюте мне вместо моего сына показывают чужого младенца и говорят, что это мой сын и есть. Я возмутилась, но только восстановила против себя заведующую. Сына не оказалось. Я не знаю, что после этого со мной было... В Москве с Придоровым разошлась, и вы знаете, как я получила работу. С тех пор живу, чего-то жду и сама не знаю—чего. Кто-то, все же, зачем-то ведь написал мне, что Луговой жив. Но где он, если жив? Теперь судите, стою ли я вас, и не приобретете ли вы себе хлопот со мною на всю жизнь?..

— Вашего первого мужа вы любите?

Льола зажмурила глаза и повинно помедлила на мгновение, прежде чем ответить.

— Теперь не знаю, потому что вас ведь я давно уж люблю. Вас люблю и схожу с ума... Если бы я знала по крайней мере, что Лугового нет в живых, свободно делала бы тогда, что хочу...

Стебун подумал. Поднял полную грузом противоречивых мыслей голову.

— Что ж... Я думаю, что рассказанное дела не меняет,—решил он.

Льола встала.

— И то, что, может быть, жив Луговой?

— Если жив и найдется, будем поступать, как продиктуют тогда обстоятельства... Если нет его, будут счастливы по крайней мере Стебун и Льола.

Стебун приблизился к ней и взял ее за руки.

— А то, что Придорову,—выговорила мучительно Льола,—я продалась? Не выгнала его, когда он сманил меня в сытую жизнь?

— Эх, Елена!—упрекнул Стебун.—Дай мне в глаза тебе взглянуть теперь.

— И в глаза и в сердце. Все твое!

Крепко задумались.

Стебун вспомнил, что ему нужно позаботиться о том, как устраивать совместную жизнь с Льолой.

— Вам сегодня переночевать не на чем,—предупредил он,—если вы не захотите лечь на моей кушетке.

— Ой нет, сегодня я еще не останусь!—взмолилась Льола.—Меня обязательно будут ждать сегодня на даче... С завтрашнего дня...

Стебун с чувством заботливой предупредительности готовно согласился.

— Хорошо. Тогда я провожу вас. Вы и обдумаете еще раз обо всем, чтобы не слишком сгоряча все это вышло. А я завтра туда приеду к вам, сегодня же предупрежу своих хозяев по квартире, что ввожу в дом жену. Кое-что я предвидел и позаботился. Вы будете в этой комнате, а я в этом же коридоре получаю комнатку и уже сговорился об этом.

— Как сговорились? Не переговорив со мной?—покраснела Льола, почувствовав себя пойманной на чем-то.

Стебун улыбнулся.

— Я верил, что именно так будет. Так сильно хотел, вероятно, того, что случилось. Во всяком случае, когда только впервые вы появились у Семибабова и ждали, пока дойдет очередь до вашего разговора с ним, я бросил ему, чтобы вы не видели, записку...

Льола изумленно шевельнулась.

— Я писал ему, что вы—моя будущая жена и что он должен это иметь в виду, когда будет говорить с вами.

Они собрались и вышли на улицу, спеша, чтобы Льола могла попасть на дачный поезд.

Стебун люто радовался, будто он своими единоличными силами совершил величайший переворот.

— Какая же в вас сила желаний!..

Льола не нашла подходящего определения и восклицанием передала чувство восхищения Стебуном.

— Чертячая,—подсказал Стебун.

— Чертячая!—влюбленно подтвердила Льола.

Дошли до остановки трамвайных вагонов. Успели к поезду на вокзал.

И когда Льола входила в вагон, Стебун еще раз условился:

— Значит я сегодня же предупреждаю своего квартирохозяина. Вы ждите меня завтра на даче, вместе перевезем ваш багаж ко мне и будем устраиваться.

— Хорошо,—согласилась Льола.

Стебун возвратился домой, не подозревая, что действительность уже расписала все его расчеты посвоему.

Утром на следующий день, когда он ездил на дачу за Льолой, к Файманам, по праву близкого знакомства, зашел один из тех вчерашних гостей торговца, которые шли сзади Льолы по лестнице.

Льола не успела рассмотреть, кто был в числе входивших. Между тем один из них ее не только видел, но и особенно заинтересовался целью ее визита к Стебуну.

Этот гость Файмана был занимавшийся теперь прожиганием жизни Придоров.

Придоров не забыл обстоятельств своего разрыва с Льолой и рад был придраться к любому случаю, чтобы напомнить о себе отвергнувшей его женщине. На вопрос инженера Файман сказал ему, что посетительница, встреченная ими на лестнице, является женщиной, которую большевик квартирант намеревался ввести в дом как свою жену. Для Придорова это объяснение было ножом в сердце, и он пришел к Файману еще раз. Из головы у него все другое вылетело. Он одновременно сделал еще одно открытие, которое наряду с этой встречей так оглушило его, что он сейчас же решил действовать.

Все это время ему сопутствовали удачи, начало которым положило знакомство с Эйнштоком.

Эйншток получил в конце концов концессию и подписал контракт, по которому Придоров делался пайщиком и доверенным предприятия концессионеров. На Придорова были перечислены деньги, после чего немец уехал в Германию приобретать машины для московского завода и набирать мастеров.

В распоряжении Придорова оказалось около двух десятков тысяч рублей, и с весны этого года он должен был приступить к приемке завода.

Но с этим делом он не спешил.

Он съездил в Одессу, где передал знакомым квартиру и получил расчет в металлургическом отделе. Приехав затем в Москву, зажил на широкую ногу. Откуда-то появились люди, с которыми интересно было проигрывать уйму денег. При посредстве одного из модных литераторов, аттестовавшего самого себя как гения литературы советского времени, Придоров завел знакомство в кругу бездельничающих под видом работников искусства прожигателей жизни и готовых на все за деньги девиц. О заводе забыл и думать.

В оргиях и барском, оплаченном чужими средствами шике прошла весна, и кончалось лето, когда Придоров вдруг получил от Эйнштока сообщение о том, что оба брата в ближайшее время прибудут в Москву.

Придоров до тех пор отделывался от предпринимателей тем, что посылал им письма с небылыми историями о своей деятельности. Теперь наступило время, когда братья должны были убедиться в том, что он делал. Придоров же и в ус себе не дул. Он считал контракт с немцами достаточно ловкой сделкой, чтобы не бояться уголовной ответственности за мошенничество. Наивный и неосведомленный Эйншток, целиком доверившись русскому дельцу, не дал себе труда получше ознакомиться с советским законодательством о концессионных предприятиях. Право же на участие в концессионных предприятиях в качестве хозяев, компанионов и пайщиков имели отнюдь не советские граждане, а только иностранцы, и, обратись Эйншток теперь в суд—немецкие капиталисты сами оказались бы виновными в обмане Советского правительства, поскольку предоставили Придорову право на участие в прибылях концессии и на представительство их интересов своему компаньону.

Это Придоров знал и за последствия не беспокоился.

Однако, чтобы легче объясниться с Эйнштоками, когда они приедут, Придоров решил все же проведать завод.

Завод продолжал кое-как работать. Дирекции, как ни неопределенно было положение, удавалось получать заказы и продолжать работу впредь до появления концессионеров. И администрация и рабочие решили про себя, после того как неопределенность положения из временной превратилась в хроническую, что концессионер и вообще не явится больше. Поэтому появление Придорова на заводе оказалось совершенно неожиданным, и здесь произошло то, чего больше всего боялся Русаков. Придоров узнал в помощнике дирек-

тора завода своего бывшего помощника Всеволода Лугового.

Произошло это внезапно. Придоров на автомобиле подъехал к заводу и, встретив у ворот табельщика, узнал, что директор с минуты на минуту должен приехать, а его помощник, товарищ Русаков, находится в литейной.

Придоров направился в мастерские и при входе в литейное отделение встретился с Русаковым. Русаков вышел, направляясь в контору, и почти столкнулся с своим прежним начальником.

Придоров вдруг узнал его и пораженно остановился.

Русаков, увидев, что отступать поздно, решился и с сдержанным спокойствием подошел к инженеру.

— Лавр Семенович?—спросил он, подавая руку и ошарашивая Придорова на вид спокойно.

— Л... Луговой?—не сразу выговорил Придоров.

— Нет... Здесь меня зовут Александром Павловичем Русаковым. Я недавно приехал, скрываюсь здесь и прошу вас не называть меня Луговым при других.

Придоров сообщнически оглянулся.

Он понял это таким образом, что Русаков приехал изза границы с контрреволюционной целью и намеренно поступил для этого на завод. Не зная еще, какую пользу сумеет он извлечь из этого обстоятельства, Придоров все же обрадовался и сообщнически понизил голос.

— Долго вы здесь пробудете?

— Не знаю. Не от меня зависит.

Русаков щупал его глазами и ждал дальнейших расспросов.

Придоров на шаг отступил.

— А что с вашей женой и ребенком, узнали вы?

Русаков потемнел.

— Ничего не знаю. Недавно ездил в Одессу, нужно было там пробыть один день, хотел найти какие-

нибудь их следы, но знакомых не встретил и даже не знаю, живы ли они.

— И вы не знаете, что Льола была моей женой?

— Вашей женой? Неужели? Как? Что вы говорите?

Русаков сделал вид, что для него сообщение Придорова—неслыханная вешь.

— Мы разошлись теперь... Прожили вместе больше года... теперь не знаю, где она. Все время хотела разыскать вас.

Придоров говорил не все, что он знал, решив сначала выведать от Русакова о его делах, но о Льоле скрыть не рисковал.

Русаков внутренне просветлел. Даже Придоров должен был признать, что Льола не забыла мужа.

— Если бы мог узнать, что теперь с ней!—мог он только выдохнуть.

Он с облегчением увидел, что к воротам подъехал директор, воспрянул, заставляя и инженера повернуться в сторону конторы.

— Директор,—объяснил техник, принимая официальный, деловой вид.—Пойдемте, сговоритесь с ним о том, что вы хотели узнать, но еще раз прошу иметь в виду мое положение... Меня зовут Александр Павлович Русаков. Называйте Русаковым и не обнаруживайте, что знали меня когда-нибудь. Старайтесь избегать меня и не расспрашивайте обо мне у других.

— Хорошо, я же не маленький, знаю... Старого знакомого погубить.

Он, в подтверждение своего сочувствия, жевнул раза два челюстью. Про себя между тем соображал, как он может использовать неожиданную встречу с первым мужем Льолы. Решил, что это виднее станет, когда он, в качестве одного из хозяев завода, начнет говорить в конторе о штате рабочих и служащих.

Оба пошли в контору.

Придоров шел без особых намерений на завод. Теперь же он вдруг решил показать себя хозяином и

выразить директору возмущение на загрузку завода заказами и на непринятые меры к сокращению рабочих. Он знал, что администрация завода вольна была поступать, как хочет, пока он не появлялся здесь, но ему и нужно было поговорить только для того, чтобы потом перед Эйнштоком свалить всю вину за собственное бездействие на завод.

Цель своего визита в этом смысле он выполнил вполне. Обличил директора, разнес советские порядки, напустил на конторского табельщика страху и, дав пищу для разговора тем рабочим, которые заглядывали в момент его разноса в контору, распорядился о разгрузке мастерских от государственных заказов и об освобождении завода от излишка людей.

После этой демонстрации своих прав, не обращая внимания на находившегося под рукой у директора Русакова, он отбыл восвояси.

На несколько дней он снова предался счастливому безделью, продолжая жить в свое удовольствие и ничем не утруждал себя, пока не встретил в доме Файманов Льолу в тот самый момент, когда она готова была сделаться женой квартировавшего у Файмана большевика. Эта встреча и сообщение Файмана его разожгли.

Стебун на другой день после объяснений с Льолой с утра хлопотал. Торжествуя от счастья, пошел в губком и нашел того своего знакомца с черностеклярусными глазами, который бился с ним у Клейнера за интересы кооператива. У Бухбиндера теперь был недурной кабинет. Кооператив разбух и имел в каждом районе Москвы по магазину,—торговля гудела, дело ширилось.

Но сам Бухбиндер все так же хлопотал, околачиваясь по канцеляриям хозорганов. Зябко ежился в куртке и пальто. Исподтиха ворочал разрастающимся делом.

Стебун встретил красного торговца возле «Централя», который теперь перешел в собственность коопера-

тива и был заново отремонтирован. Кооперативы занимались усиленным снабжением своих членов дровами, и Бухбиндер шел с подрядчиком и приемщиком дров для проверки договора о дровяных поставках. Увидев разогнавшегося к нему Стебуна, Бухбиндер остановил своих спутников.

Стебун поздоровался.

— У меня к вам просьба, Абрам!

Бухбиндер движением головы задержал своих собеседников, а сам крепче вошел обеими ногами в асфальт, показывая, что для Стебуна готов сделать все, что потребуется.

— У вас домашняя обстановка в каком-то магазине есть, как будто, я слышал...

— Все, что хотите... Понадобилось? Для Стебуна найдется. В чем дело?

Стебун усмехнулся над самим собой.

— Женюсь, надо кое-что приобрести на первый обзавод... Как устроить это?

— Э, надо хороший кредит! Можно...

Он вынул из кармана книжку служебных записок и карандаш.

— Вы за год рассчитаетесь, если дать вам в долг?

— Рассчитаюсь.

— Серьезно?

— Серьезно.

— Пятьсот рублей кредита хватит?

— Хватит.

— Помоему, тоже хватит, если вы не хотите завести такой хаты, чтобы и канарейка в ней верещала. Вот вам записка в магазин одежный, а другая—в универсальный. Берите что хотите до пятисот рублей. На доброе здоровье той тетеньке, которая влипла с вами в это дело!

— Спасибо, Абрам!—довольно пожал Стебун руку товарищу.

И возвратившись к Льоле, он пошел с ней в магазины. Отсюда он стал переправлять домой покупки, а Льола села на трамвай, чтобы проехать в Главполитпросвет на один-два часа, протолкнуть наиболее неотложные дела, какие были в комиссии.

Стебун остался хозяйничать, но, порастыкав по разным углам доставленные из магазина вещи, не вытерпел тоже и пошел к Главполитпросвету, чтобы дождаться Льолу, когда она выйдет.

Вместе они пришли домой. Не находя места от счастья, разошлись по комнатам. Льола стала убирать ту комнату, которую для нее освободил Стебун, переселившийся снова в помещеньице, где он утихомиривал когда-то соседей стрельбой в потолок.

Так наступил вечер.

Когда комната была приведена в порядок, Льола вскипятила чайник, и оба с кружащимися от неладицы счастливых чувств головами сели за стол.

Но и столу возле них не было места. Радость не терпела чинной неподвижности, и само собой все двигалось возле них.

Стебуну не сиделось. Он вскочил, схватился за телефонную трубку и потребовал Семибабова, намереваясь сразить сенсацией сообщений о своих делах половину Москвы.

— У телефона Семибабов.

— Дядя, ты? Семибабов?—обрадовался Стебун.

— Я.

— Что сейчас делаешь?

— Гм!

— Ну вот, не гмыкай! Сообщаю тебе, что я женился, завел собственный примус и чайник. Жена—не жена, а раздолье. Разводим флирт и хозяйничаем. В глазах чортики, в душе Первое мая. Ура!

— Ура! Стебун, великопостнический факир! Кто же жена?

— Елена Дмитриевна Луговая, отныне Стебун.

— Ура! В воскресенье зови в гости.

— Приходь.

Затем звонок Юсакову.

Юсаков и сам просигнализировал по телефону в ответ «ура», и затем его жена проверенчала что-то вроде нескольких аккордов «Интернационала».

Потом—Резцовой.

Смеясь, Стебун и Льола снова сели к брошенному было чайнику. Но только что Стебун всерьез приспособился к стакану, как к двери кто-то подошел, и в комнату постучали.

Стебун и Льола переглянулись недоуменно. Не понимая, кто мог притти к нему, Стебун открыл дверь и остановился перед двумя мужчинами, появление которых показалось ему тем более непонятным, что он не сразу их узнал.

— Можно?—спросил один из них, обрюзгший барин в белой фуражке, указывая внутрь комнаты.

Немного растерянно Стебун посторонился, чтобы дать незваным гостям дорогу, и только теперь вдруг, насторожившись, узнал в одном из них коменданта, с которым говорил когда-то в «Централе», а в другом—какое-то забытое, но встречавшееся прежде лицо.

Вперившаяся в гостей Льола пробежала взглядом по первому и второму гостю и вдруг затрепетала.

— Ах!—вырвалось у Льолы, словно у нее из-под ног вдруг ушла земля.

Она поднялась, увидев Придорова. Сама себе не веря, узнала во втором мужчине своего первого мужа.

Явившиеся вошли, не сказав «здравствуйте». Придоров остановился с самоуверенным видом перед Стебуном, Луговой—убито и с мучительной, всего ожидающей безучастностью замер у дверей.

Стебун, узнав, наконец, в первом госте человека, с которым ехала в купэ Льола, наполовину понял, что нужно гостям, однако ни одним мускулом не дрогнул и только сунул в карман настороженно руки.

Придоров считал себя, очевидно, настолько на высоте положения, что заговорил не только от своего имени, но и от имени другого вошедшего. Кивнув небрежно в сторону Льолы головой, он осведомил:

— Мы по поводу этой женщины...

У Стебуна в глазах предостерегающе забегали огоньки, но он помедлил, сдерживая себя, и промолчал, ожидая дальнейших объяснений.

Придоров придвинулся с видом обличителя и, наглея по мере того, как говорил, увлекся собственными красноречивыми предупреждениями:

— Мы знаем, что вы—ответственный честный партийный работник, гражданин Стебун. Этой же женщине все это безразлично, лишь бы шли вверх ее дела. Пользуясь своей красотой, она всеми играет. Но мы пришли предупредить вас как партийного, что мы оба—мужья гражданки Луговой. Я—Придоров, а это мой бывший сослуживец и помощник гражданин Луговой, первый ее муж. Она всем говорит, что его нет в живых. Этим способом приобретаются другие мужья. Так можете стать жертвой обмана и вы.

Стебун пересилил себя, узнавая новое обстоятельство: Руссаков—Луговой.

Еще напряженнее вытянулся.

— Что же вам угодно?—спросил он, сдерживая гнев и напряженно силясь понять причину присутствия печально застывшего у косяка дверей Лугового, будто попавшего сюда из другого мира и отказывавшегося принимать участие в том, что вокруг происходило.

Придоров от этого напряженного спокойствия Стебуна распалился и топнул ногой:

— Мы ничего не имеем против вас, но каждого из нас она оставила без взаимного согласия на это, и она у Лугового прожила вещи и средства, какие он ей оставил. Хотя он и был у белых, но все же это для жены, знаете, номерок. А у меня, перед тем как уйти, тоже отобрала вещи и присвоила их...

Стоявшая ни живой, ни мертвой Льола вспыхнула от негодования и сделала попытку рвануться вперед, чтобы что-то сказать.

Стебун удержал ее предостерегающим взглядом и, медленно подаваясь вперед, спросил с подозрительной безучастностью:

— Так что же вы хотите теперь?

— Сделайте выводы сами...

Стебун сощурился, выдернул из карманов руки и повернулся к Луговому.

— А вы, гражданин Луговой, этого синьора... поддерживаете?

Луговой-Русаков резко отшатнулся от двери:

— Нет, я у вас случайно. Прошу и вас и Елену Дмитриевну мое присутствие здесь простить.

— А, хорошо!

Стебун вдруг преобразился.

Он распахнул дверь и, очутившись перед Придоровым, сделал движение, чтобы схватить его за грудь. Удержался, вслед затем и грянул:

— Вон отсюда! Про-хвост!

Придворов врос в землю и залепетал, заикаясь:

— Это что же? Как порядочный...

— Вон!—снова грянул Стебун так, что звякнули телефонные чашечки и зазвенели стекла. Из глаз у Стебуна замеатлись огни.—Животное, вон!—и, не ожидая, пока делец придет в себя, он поднял руку.

У Придорова в глазах все закружилось, он оторвал от пола ноги, выскочил из комнаты, оглянулся и понесся по лестнице, не переводя дух и боясь остановиться. Только внизу он оглянулся и, отерев с лица пот, прошипел:

— Бандиты!

Стебун полминуты постоял на одном месте, собираясь с мыслями. Потом повернулся к Льоле и Луговому.

Луговой, попрежнему прислонившись к косяку дверей, стоял с потухшими глазами, Льола же, уткнув в руки лицо, убито сидела у стола.

Стебун выпрямился и кивнул Луговому.

— Ваше имя и отчество разрешите узнать? И что такое, — то комендантом вы были, правили домом, а теперь у вас новый вид, техническая фуражка, другое имя?

Луговой-Русаков переступил. Решил ничего не скрывать. Но ему нужно было притти в себя от встряски событий, жертвой которых он сделался.

То, что произошло, не входило в его расчеты, но сегодня на завод снова явился Придоров, нашел его и потребовал:

— Идемте со мной, бросьте работу!

Поскольку Придоров уже открыл тайну его проживания под чужим именем, Русакову не оставалось ничего другого, как последовать за инженером.

Дорогой Придоров кратко предупредил:

— Сейчас я вам покажу вашу и свою жену. Она выходит замуж за большевика. Помешаем их музыке...

Луговому пришлось промолчать в ожидании дальнейшего. Все равно тайна его личности была в руках человека, который мог сделать с ним все, что хотел. И вот только теперь, стоя, как потерянный, перед лицом Льолы и Стебуна, Луговой понял, что Придоров взял его для подкрепления против Льолы. Он сгорал от стыда, пока Придоров инсинуировал, но руки у него были связаны тем, что и сам он явился сюда незваным гостем.

Стебун, очевидно, угадал его состояние. Выгнав Придорова из комнаты, он перевел дух и к Русакову обратился поиному. Луговой же... Против Стебуна у него не только не могло быть вражды, а оставалась какая-то искорка уважения еще от первой встречи с ним.

На вопрос Стебуна он тихо ответил:

— Я—Луговой. Первый муж Льолы. Русаков—это подложное имя, которым я должен был пользоваться, чтобы не отвечать перед советской властью...

Луговой пересилил себя, чтобы подавить в горле спазматическое движение, и мучительно смолк, взглянув лишь на дверь, словно порываясь выскочить в нее и уйти куда глаза глядят.

Стебуну, однако, еще не все было ясно, и он резко махнул рукой, не будучи удовлетворен ответом.

— Как вы попали комендантом в губком и что делали после этого?

Русаков нехотя провел рукой по волосам, но ответил:

— До наступления большевиков против Врангеля я был в его армии. Во время боя был ранен и решил от белых уйти. Но, не зная, как ко мне отнесутся большевики, взял у одного убитого красноармейца документы на имя Русакова, попал в советский госпиталь, оттуда—в Москву, где и был комендантом, потом в провинцию, на завод, и с тех пор живу так.

— Гм...

Внутри Стебуна что-то рвалось, он мимолетным броском взгляда посмотрел на Льолу.

Льола сидела, как приговоренная, на кушетке, опустив голову и закрывшись шарфом, будто то, что происходило, лишь все больше и больше добивало ее.

Стебун потер себе виски. Ему все ясней делалась обстановка. Льола Лугового не столько любила, сколько чувствовала себя связанной с ним прошлым. Она с радостью стала бы делить жизнь со Стебуном, отступись только от нее Луговой. Но первый муж Льолы не так держал себя, чтобы можно было думать о его равнодушии к этой женщине. Несомненно, Луговой ждал хотя бы одного слова от нее. А она не знала, что ему сказать. И сделай Стебун что-нибудь отталкивающее ее от Лугового, ее повлекло бы к ее первому мужу.

Жизнь сплела странный и нелепый переплет обстоятельств, которые поставили человеческое чувство Стебуна под жестокое испытание. Выйдет он из этого испытания, как распоряжающийся событиями искусный стратег, или они сломят всю его прозорливость и наложат на него свое тяжелое ярмо?

Все это мелькнуло у Стебуна в голове втечение тех нескольких мгновений, впродолжение которых он переводил взгляд с Льолы на Русакова. Но было в этой трагедии одно роковое обстоятельство, которое заставило Стебуна вдруг выпрямиться.

Он резко спросил:

— Почему же вы не дали знать о себе той, которую считаете своей женой?

Русаков снова переступил и еще больше склонил голову К его горлу с новой силой подступали спазмы, и он, видимо, с трудом пересиливал себя.

— Я ведь до сих пор в таком положении, что не знаю, что со мной сделают, если меня откроют. Если бы я снесся с Льолой, то мы должны были бы жить вдвоем. Но я недолго так прожил бы. И если Льола не оказалось бы вместе со мной в тюрьме, то ее положение,—притом еще у нее ребенок был на руках,—лучше бы от этого не стало. Свое несчастье на ее плечи перекладывать можно было бы, если бы я ее меньше любил. И я решился в конце концов только послать ей анонимку, будто от лица постороннего человека, с сообщением, что я жив...

Стебун снова смолк и еще раз посмотрел на все так же продолжавшую убито сидеть Льолу.

— Садитесь!—повернулся он резко, указав Луговому-Русакову на стул.

И когда тот, помедлив мгновение, покорно опустился, он подошел с нежной осторожностью к Льоле. Секунды две постоял возле нее и прикоснулся любовно к ее голове, заставляя ее поднять глаза.

— Елена Дмитриевна,—произнес он серьезно,—дело переменилось, и нам надо поговорить сызнова. Теперь есть третье лицо, которое в вашей жизни весьма много значило. Давайте говорить. Может быть, этот Придоров нашел и привел вашего мужа как раз кстати. Я-то знаю, что вы его любите...

Льола порывисто подняла голову, но из глаз у нее брызнули слезы, и она снова опустила ее.

— Муж мой,—надорванно вырвалось у ней,—когда узнает, как я жила и что я наделала, сам откажется от моей любви.—Для него я должна быть погибшей женщиной! По вине этой его жены заморен его сын, отданный мною в приют... Как я оправдаюсь в его утере? Что я дам ему вместо ребенка и той верности, о которой он может спросить меня?

Луговой внезапно насторожился и поднял голову.

— Наш сын жив и здоров, Льола,—предупредил он ее быстро, заставив оглянуться и Стебуна,—я его взял из приюта, после того как Придоров сдал его туда. Он жив, вырос и находится у Узуновых...

Льола бурно поднялась с кушетки.

Стебун уловил мелькнувшее с мгновенностью падучей звезды движение ее радости, и хотя Льола сейчас же опять сникла, взглянув на него, вывод для него из ее порыва мог быть только один. Он сделал вид, что ничего не изменилось, но сразу почувствовал себя чужим и для Льолы и для Лугового. Еще полминуты помедлил и обернулся тихо к Луговому:

— Что же теперь вы будете делать?

Луговой с горестным отчаянием пожал в ответ плечами. И вдруг, махнув рукой, встал и взял фуражку, как будто собираясь что-то сказать еще и затем уйти.

— Ничего нельзя сделать!—судорожно выговорил он.—Вы живите, а мне не миновать ареста. Придоров отсюда, может быть, уже пошел с доносом...

И он поднял к голове фуражку.

Следивший за ним Стебун невесело улыбнулся и движением руки остановил техника, а затем повернулся к Льоле.

— Давайте, товарищи,—болезненно пересилил он себя,—поступать, как взрослые люди. Где ваш ребенок, Луговой? Елена Дмитриевна может найти его, пока мы с вами здесь побудем? Прежде всего пусть Елена Дмитровна успокоится, как мать и посмотрит на сына...

Луговой с покорной готовностью объяснил Льоле:

— Он у Узуновых... Ты знаешь, где они живут? Можно взять его...

Стебун обратился к Льоле:

— Елена Дмитриевна, хоть сердитесь, хоть не сердитесь, а вам надо проехаться за сыном. Мы с вашим мужем обождем вас, а потом вы поговорите вдвоем...

Льола, готовая от потрясений этого вечера разрыдаться, немощно наблюдала величайший такт в каждом движении Стебуна. Когда Стебун шагнул к ней, она защитно съежилась, вставая, и горестно воскликнула:

— Стебун! Что ж это делается?

Стебун махнул рукой, повернулся, чтобы снять с гвоздя и подать ей дождевичок, и с дружески нежной настойчивостью еще раз потребовал:

— Идите, идите, Елена! Только скоренько возвращайтесь, не объясняйте там пока ничего. Возьмите извозчика.

И он слегка подтолкнул ее.

Льола схватила его благодарно за руку, бросила неуверенный взгляд на Лугового и заспешила уйти.

Ах, какие штуки выкидывает жизнь!

— Садитесь будем ждать ее!—предложил Стебун поднявшемуся было Луговому. И растерянно он оглянулся, будто похоронил для себя Льолу. Вздохнув, он повел еще раз рукой по вискам и тяжело заходил по комнате, не зная, о чем говорить с человеком, оче-

видно не менее любимым Льолой, чем он, и более для нее, чем он, дорогим.

Не переставая ходить, он заговорил с Луговым. Рядом раздельно заданных вопросов Стебун выяснил для себя некоторые подробности того, как совмещал Луговой проживание под чужим именем с работой в советской среде.

— Делали ли вы попытку как-нибудь легализоваться?—спросил он покорно ждавшего всего, что бы ни произошло, Лугового.—Кому-нибудь из толковых коммунистов не пробовали вы открыться?

Луговой сказал:

— В провинции я работал, на Северном Кавказе, по приглашению одного большевика-рабочего. Он несомненно, зная меня по работе, продолжал бы считать меня товарищем, если бы даже я ему открылся, но я боялся, что с ним не посчитаются другие. Не раз я порывался рассказать ему все, но удерживался...

— Кто этот большевик?—проверил Стебун.

— Шаповал Александр Федорович.

— А!—удовлетворился Стебун.

Луговой дополнил:

— Потом, когда уже уплыло три года, а будущее казалось все-таки не яснее, чем прежде... я уже взял тогда к себе ребенка из приюта и зарекомендовал себя хорошо на заводе,—я написал тогда о себе письмо Ленину. Надеялся, что он поймет...

Луговой взглянул на Стебуна и отвернулся, чтобы не дать ему заметить подергивание забегавших в мускулах лица живчиков боли.

Стебун с интересом остановился и быстро спросил:

— Ответа не получили?..

— Нет... Я послал письмо, а вскоре пришла весть: Ленин умер... Это так свалилось на всех, что и я стал больше думать о рабочих и партии, чем о себе.

— Гм...

Стебун снова заходил, перемалывая в уме ту штуку, которую с ним сыграла еще раз жизнь, и так он шагал, пока не возвратилась Льола.

Молодая женщина, входя в комнату с ребенком, силилась не обнаружить сияния счастья в своем лице.

Ей пришлось вмешаться в происшедшую в детском царстве Узуновых трагедию, чтобы заставить мальчика пойти с собой.

Узуновы только-что пообедали. Дети неистовствовали. Вопили и буйствовали больше всех Ленька и Рися.

Накануне этого дня Ленька проник в соседнюю квартиру, где жилец бухгалтер наделил его золотыми рыбками из разбившегося комнатного аквариума.

Ленька показал свое приобретение белоголовой Рисе. Рися достала на кухне стеклянную банку. Три добытые золотые рыбки были ею и Ленькой посажены в банку и водворены в кабинет Узунова, где обычно играли дети, пока отец находился на занятиях.

Дети бросили все другие забавы и не отходили от банки, лепясь к ней, наблюдая плаванье рыбешок и споря, вырастут ли они большими и заведут ли деток или нет.

Но на другой день старший мальчик Узуновых принес в ведре живого окуня и уговорил детей опустить в ведро их рыбок. Дети согласились сделать это. Вылили в ведро вместе с рыбками воду из банки. Но не успели оглянуться, как окунь проглотил одну за другой всех рыбок.

Дети подняли на весь дом плач и жалобный крик.

В это время пришла Льола. Узуновы оставили детей, рассчитывая, что Льола намеревается у них погостить. Но Льола, поздоровавшись и поразив их радостным сообщением о том, что она пришла от Лугового, попросила сейчас же привести ей сына, а поговорить и повидаться пообещала зайти на-днях.

— Но как же? Почему сам Луговой не пришел? Что переменилось в его положении?

— Ох, ничего пока... Но после, после обо всем! Не знаю сама еще, что будет!

Льола зацеловала Любовь Марковну, прильнув к ее плечу. И опять потребовала Леньку.

Узунов с комическим ужасом махнул рукой.

— Да он у нас сейчас обижен, Елена Дмитриевна, мы с ним и не сладим.

— А что такое?

Узунов рассказал о происшедшей истории с гибелью рыбок.

— Ха-ха-ха!—рассмеялась Льола, представляя себе, как Яков Карпович гонялся по кабинету за окунем, когда дети опрокинули ведро и прожорливая рыба запрыгала по полу.

— Но это же хорошо!.. Я Леньке пообещаю купить целый ящик живых рыбок с мамой, папой и даже с дедушкой и бабушкой, и он сейчас же пойдет со мной.

— Из-за рыбок пойдет!—согласились Узуновы.

И Льолу ввели в детскую, где обиженных ребят заперли, чтобы они не разодрались со старшими, пионерами.

Ленька и Рися всхлипывали. Перестали, увидев чужого человека. Рися, однако, надуто отвернулась от родителей и начала капризно швырять кубики составной азбуки. Ленька уперся лобиком в стену и повернулся ко всем спиной, демонстрируя тем истерзанность своих чувств.

Узуновы и Льола прыснули от смеха. Молодая женщина подошла к Леньке.

— Леня! Уже вся Москва знает, что тебя и Рисю обманули нехорошие мальчики, и вот один детский попечитель есть. Если ты мальчик хороший, то этот попечитель—есть один такой дядя—даст тебе целую

банку маленьких золотых рыбок. С папой, мамой и няней. Если хочешь получить, пойдем!

Ленька живо повернулся, осмотрел всех и с сомнением заколебался, видно, очень желая, чтоб обещание сбылось.

— Тетя Люба не пустит!—приготовился он хныкать.

— Пущу, если перестанешь дуться и куксить,—сказала, улыбаясь, Узунова.—Эта тетя—твоя мама, она своему сынку рыбок даст, сколько хочешь.

— Тетя мама! Тетя мама!.. И Лысе лыбок дашь?..

— И мне рыбок, мама!—затопала ножками и отшвырнула от себя игрушки Рися, вскакивая и направляясь к матери.

— Ты получишь от дяди рыбок и поделишься с Рисей или позовешь ее в гости,—пообещала сыну еще раз Льола.

— В гости позову. Пойдем сколей!

Льола и Узуновы снова улыбнулись, переглянулись. Любовь Марковна скоренько одела мальчугана, попутно урезонивая Рисю перестать плакать.

Льола взяла извозчика—и через полчаса входила в комнату, где ее ждали двое одинаково дорогих ей людей.

Трепетно, не зная, что произойдет втечение ближайшего получаса, переступила она порог.

Изогнувшись подсолнечником, чтобы скрыть смущение, и маскируя свое душевное состояние видимой непринужденностью, прищелкнула звучно, когда ставила мальчика на пол:

— Гопки!

Ленька надуто оглянулся, узнал одного мужчину и с солидным спокойствием пробасил, подойдя к нему.

— Здлавствуй, дядя Шула!—и оглянулся на Льолу, собираясь заплакать.—А где лыбки?

— Здравствуй, Леня! Ах ты, замазур, замазур, как

тебя отмыла тетя Узунова! Какие рыбки?—начал трепать сына Русаков.

— У него обида!—сообщила Льола.—Такое ужасное горе!

И она рассказала о том, как ей удалось взять мальчика.

— Получишь рыбок!—сказала она сыну и взяла его за руку.—Этот дядя—твой папа... А с другим дядей не хочешь поздороваться?

Льола взяла за плечо мальчика, чтобы повернуть его к остановившемуся среди комнаты Стебуну.

Ленька чудно, понаполеоновски скрестил руки на груди и неподражаемо величественно проверил:

— Один дядя—папа. А кто этот дядя? Какой дядя лыбок даст?

Все засмеялись. Стебун хмыкнул поребячьи носом.

— Каких тебе рыбок—мальчиков или девочек?

Ленька широко раскрыл глаза.

— Н-не знаю!—запнулся он, отходя к поманившему его отцу.

Стебун полминуты помедлил, собираясь с силами и поочередно поблескивая на каждого из находившихся в комнате глазами, а затем что-то решил и, жестко потемнев, одел кепи.

— Попрошу вас побыть здесь!—неожиданно решил он.—Вам надо переговорить между собой. Я приду часа через два. До этого времени вы, Луговой, не уходите. Увидим, что будет...

И он взялся за ручку двери.

Льола, не отрывавшая глаз от его движений поймала его взгляд и шевельнулась, намереваясь крикнуть, чтобы он остался, но тут же посмотрела на Лугового и беспомощно сникла.

Стебун кивнул головой:

— Пока...

И вышел.

До сих пор он ничем не выдал того, как он намеревается поступить, а от одного его слова зависело поведение Льолы и Русакова. Прощал он судьбе появление человека, сбившее его с ног, или он искал средство спасти свое счастье?

Ничто не говорило за то, что он не пошел в учреждение, которое решает судьбу Русакова. Стебуну стоило только обратиться в ГПУ, чтобы все снова переменилось. Но даже если бы это было и так, Русаков решил ждать. Ответственность теперь, однако, была неизбежной, предоставь даже Стебун Русакову и Льоле поступать, как они хотят.

Чувство неловкости связывало и Лугового и Льолу в первые минуты после ухода потрясенного Стебуна. Присутствие мальчика облегчило для них испытание этой встречи.

Льола, не имея мужества начать с мужем разговор, отдалась забаве с Ленькой, который готов был опять плакать. Хлопая мальчику ладошами и то прячась за стул, то готовясь притворно напасть на ребенка, она развеселила мальчика.

— Не поймаешь! Не поймаешь!—дразнила она сына.

Ее присутствие сделало комнату необычно для Русакова родной и переполненной сиянием.

Он молчал.

Разыгравшийся мальчик остановился, чтобы изловчиться для внезапного нападения на мать, и страшливо предостерег:

— Сейчас я тебе покажу! Сейчас я тебе покажу!

И вдруг, бухнувшись на пол, он кубарем перевернулся под самый стул и оттуда вцепился в платье Льолы. Льола ахнула, подхватывая проказника с пола.

— Это кто тебя так учил? Тетя Люба?

— Тетя Люба не учила. Дядя-папа учил. Этот.

Ленька кивнул головой на товарищески усмехнувшегося ему отца и всерьез стал рассматривать Льолу.

— А когда же ты жил с дядей-папой?

Ленька захлопал глазками и невразумительно объявил:

— Тогда!

Потом вспомнил что-то и добавил важно:

— Дядя-папа учил бегать и догонять его, а няня учила любить дядю и давала сахалу.

Льола недоуменно взглянула на мужа.

Луговой объяснил сдержанно:

— Он жил со мной, и я держал для него одну старушку. Это в Георгиевске...

— Хочу к дяде!—заявил Ленька и запрыгал, порываясь из рук матери.

Луговой обнял мальчика, поставил его возле себя и вопросительно поднял глаза на жену. Льола, увидев этот взгляд, взволнованно отошла и виновато замерла в ожидании того, что скажет муж.

Луговой собрался с силами.

— Что же мы друг другу скажем, Льола? Я объяснил уже здесь, почему я скрывал от тебя, что я жив. Не потому, что когда-нибудь не думал о тебе. Только в ожидании счастья нашей встречи я и жил. Не наделал ли и теперь я хуже, показавшись тебе не вовремя? Я чувствую, что лишил тебя счастья любви с другим человеком...

Он надорванно смолк, склоняясь головой к Леньке, чтобы потрепать локоны мальчика.

Льола поднялась вдруг и со стоном искреннего порыва воскликнула:

— Сева, если бы я не была виновата перед тобой, так разве я так бы смотрела на тебя!.. Но если только ты простишь... Все, все, что я видела, что я узнала, все забуду. Только бы был сын и ты, если ты меня не оттолкнешь!

— Аа!..

Луговой закусил губы, чтобы сдержать вопль ра-

дости, и, держа Леньку, шагнул к Льоле, чтобы взять ее за плечо.

Льола, схватив его руку, не выдержала и вдруг затрепетала и заколыхалась в потрясшей ее истерике страдания и радости.

— Льола! Льола!—воскликнул с лютой радостью и Русаков.

— Сева, я виновата! Я виновата!—билась Льола.

Ленька, дергая то отца, то мать, заголосил в свою очередь.

— Домой! Дядя-папа! Тетя-мама! Я хочу домой...

Луговой, не отпуская Льолу, поднял мальчика на руки и с обоими приткнулся на кушетку.

— Льолочка, успокойся! Успокойся! Льолочка, оба мы виноваты, а больше всего—жизнь... Не о вчерашнем надо думать, а о сегодняшнем... Я знаю, что ты обо мне не забывала. Ты знаешь, что если я не показался тебе даже, то только потому, что тебе же хотел лучшего. Когда-нибудь мы заживем, Льола...

Льола, вобрав в себя воздух, пересилила плач и взяла мужа за руку.

— Сева,—клятвенно выговорила она,—мы не разлучимся...

Русаков со скорбным сомнением погладил ее руку и поцеловал в голову.

— Обожди, Льолочка... Давай не предугадывать того, что случится. Что бы ни было, мы жили и будем жить друг для друга.

— Но как же ты возмужал, Сева! Какой стал серьезный и выдержанный!

— О, что я пережил, Льола!.. Ты ведь не знаешь, но я видел тебя и тогда, когда ты приезжала с Придоровым первый раз в Москву, и недавно еще ходил к Главполитпросвету, чтобы увидеть тебя...

— И ты знал обо мне?!—поразилась Льола.

— Знал.

Луговой рассказал, как он коменданствовал в том доме, где Придорову, по просьбе Узунова, дал свои две комнаты. Объяснил, как выручил в Одессе из приюта Леньку, описал, как работал в Георгиевске, как решил послать ей анонимку.

Льола поведала, как она искала следы Лугового в московских учреждениях и через мужа Каты Половневой, как жила с подругой в Одессе и что ее свело и развело с Придоровым.

— Негодяй! Подлец!—только и мог сказать Луговой, пылая от негодования.

Взаимное осведомление о пережитом воскресило и в Луговом и в Льоле ту интимность, которая спаивала их и раньше в союз любящих друг друга людей. Они стали разговаривать, будто не расставались. Вернулись к действительности, только когда вспомнили о сыне.

Ленька сидел на коленях у отца, приткнувшись головой к его плечу.

Русаков взглянул на него с отеческой заботой и вдруг снизил голос.

— Спит!—шепнула Льола.

Оба смолкли. Они разговаривали уже часа два. Глубокая ночь заставала их все еще в комнате чужого и отсутствующего человека.

— Почему-то еще нет...—выразила робкую тревогу за то, что уже поздно, Льола.—Ой, трудно будет говорить с ним, если он сделает вид, что не знает, как каждому из нас поступить...

Луговой слегка потемнел. Полминуты промолчал. Он не знал, могут ли изменить что-нибудь в их судьбе их самые пламенные объяснения. Отметил только то, что против воли запечатлелось за весь вечер:

— Он ушел очень расстроенный.

— Да... Но не станет же он добивать нас чем-нибудь.

— Не думаю и я.

Но против воли в сердца обоих закрадывалось самое жуткое. Они были теперь как отверженные, одни во всем мире, в уголке комнаты того человека, которому они же сами, правда нехотя, нанесли потрясающий удар. С каким чувством ушел он отсюда и когда пересилит себя, чтобы возвратиться домой?

И они просидели еще полчаса, пока за дверью не раздался шум шагов и предостерегающее четкое постукиванье.

— Войдите.

И Луговой и Льола испуганно переглянулись и умоляюще подняли глаза на вошедшего в комнату Стебуна.

Стебун пробежал по ним рассеянно взглядом, занятый, очевидно, какой-то своей мыслью. Болезненно улыбнулся лишь, увидев спящего на руках отца мальчика. С одного взгляда он понял, с каким боязливым чувством встречают его Луговой и Льола. Не подавая вида, что он замечает что бы то ни было, повесил на место кепи. Жестом остановил отдавшего Леньку Льоле и намеревавшегося было встать Лугового. Качнул одобрительно чему-то головой.

— Вот,—с напряженной бесстрастностью сообщил он,—вы сговорились, а я тем временем побывал кое-где, чтобы вас обезапасить...

И у Лугового и у Льолы внутри все замерло, они всколыхнулись каким-то ожиданием и встали, несмотря на то, что Стебун недовольно повел головой, лишь они шевельнулись.

Стебун болезненно протер рукой глаза и объяснил остальное, повернувшись на момент к Русакову.

— Я был у товарищей, нашел письмо, которое было написано вами Ленину из Георгиевска, и сговорился с работниками ГПУ. На письме есть пометка жены Ильича о том, что Ленин распорядился вас легализовать. Он письмо успел прочесть. Завтра вы пойдете в комендатуру ГПУ. Вот вам вызов туда... Там вся-

кие формальности выполнить нужно будет, и вас не тронут, пока нет против вас никаких особых обвинений. Года полтора, два проживете, а потом в десятилетие революции по всем таким делам будет амнистия, и дело будет предано забвению. Все благополучно. Можете теперь ничего не бояться.

Льола пораженно взглянула на Лугового. Луговой трепетно вытянулся, и вдруг что-то взмыло его. Он качнулся и подавил в себе радостный стон. Но он не нашелся, что сказать. Подкошенно сел на кушету, снова встал, бросаясь к Стебуну.

— Товарищ Стебун, товарищ Стебун! Это действительность?

Стебун горестным кивком головы подтвердил, что все было именно так, как он сказал.

Луговой, безумея от счастья, метнулся к Льоле.

— Льола, мы умрем сегодня от счастья!

Льола рванулась к Стебуну и с бесконечной благодарностью и тоской прильнула к его руке.

Стебун усадил ее на кушетку. Луговой наконец поверил в то, что сообщенное ему Стебуном—не сон. Он на миг схватил за руки Стебуна, обещая с клятвенной силой:

— Товарищ Стебун! Раньше я не верил ни во что человеческое. Считал разговор о человечности фальшью и политикой. На большевиков смотрел боком. Но Шаповал уже меня приручил. Теперь вы... Ах, если бы вы знали! Я ваш навеки! Теперь скажите только слово мне... Что мне делать, чтобы стоить большевиков?

Стебун махнул рукой и отвернулся, скрывая судорожно перекосившееся лицо.

— Ничего, ничего, товарищ Луговой. Я знаю, что переделывает людей. Огонь высекают из камня, а я на добывание огня из людских душ отдал полжизни, да отдам и вторую половину... Проживем! Скажите

теперь, где вы живете? Найдется, где вам переночевать там всем?

— Ах, поместимся!—отмахнулся Луговой.—Будем собираться, Льола.

Русаков взял ребенка. Льола поспешно оделась, оглядываясь.

— Вещи потом возьмете, какие надо,—предупредил ее Стебун, пряча глаза.

Льола чувствовала в себе что-то предназначавшееся для одного Стебуна. Это чувство заставляло ее разрываться надвое. И, прежде чем уйти, она виновато, как приговоренная к смерти, склонила голову. Но Стебун не дал ей опомниться.

— Я вас провожу до извозчика,—предупредил он неловкость несчастного для себя прощанья.

И вместе с ними он вышел на улицу. А здесь, обменявшись прощальными приветствиями, они расстались. Стебун тяжело возвратился в свое, снова осиротелое обиталище.

Нелегко далось Стебуну его самоотречение в пользу счастья Лугового и Льолы. Спасти Лугового от всяких неожиданностей он постарался и в это дело свою душу вложил, но зато у себя самого опустошил сердце. Спасло его одно: он был политическим бойцом и одним из застрельщиков того выступления, в которое вложил все свои помыслы, сколько-нибудь не касавшиеся Льолы.

Роковая развязка узла, свитого жизнью из его чувств и чувств Льолы и вдруг лопнувшего, надломила, но не сломила его. Еще в те часы, когда он, оставив в своей комнате Лугового и Льолу, пошел к той женщине, которая была верным спутником Ленина, а от нее—к Кердоде и другим, возглавлявшим политические учреждения товарищам, чтобы вступиться за Лугового,—уже тогда он почувствовал, что новая шутка жизни бесследно для него не пройдет.

А когда счастливые Льола и Луговой уехали, ему осталось только застонать и бессильно схватиться за голову. Судороги страдания потрясли его и заставили с бурным клокотанием в сердце бегать из угла в угол по комнате. Он никогда не жалел людей, высекая из их чувств огонь, но его собственные удары посыпались теперь на него самого, и он горел с силой накаленного добела металла.

До утра Стебун не мог заснуть.

Утром открыл водопроводный кран и подставил под него голову. Обледенил себе виски бившей из крана струей и после этого только почувствовал успокоение.

Пошел в город, не подумав даже о том, что должен что-нибудь поесть. Под вечер, когда убедился, что дело не в одном только плохом настроении, а что его что-то гложет, зашел в амбулаторию к профессору-невропатологу.

Профессор, поводив трубкой по груди, коротко спросил:

— Партиец?

— Да.

— Чем-нибудь болели?

— Тифом, несколько лет назад.

— Бессоница была?

— Приходилось не спать—не придавал этому значения.

— На ногах отеки?

— Не знаю, отеки это или что, посмотрите...

Профессор коснулся слегка ноги посетителя и потемнел.

— Не лечились и не отдыхали?

— Не чувствовал нужды в этом. Не знал, что это надо,—потемнел и Стебун.

— Ну, теперь и кайтесь... Вы хищнически растранжирили самого себя.

Он махнул рукой и спешно объяснил остальное:

— У вас колоссальное здоровье, только поэтому вы продержались так долго, а, в общем, удивительно, что вас еще носят ноги. Раз вы ответственный работник, то можете немедленно получить отдых, его дадут вам по моему диагнозу, где хотите... Немедленно же вы должны ехать на ванны и обречь себя на совершенное бездействие. Там укажут режим: не пить, не курить, не есть острых вещей, никаких волнений. Сердце при первом же неровном ударе пшикнется... Постарайтесь в ближайшие дни уехать. С сегодняшнего дня начните отдыхать. Обязательно!

Стебун отрицательно дернул головой.

— Не могу... Через месяц, недели через две, смогу воспользоваться вашим советом.

— Как хотите. Но добра от этого не ждите. Я предупредил... Дело обстоит очень плохо.

— Спасибо, профессор. Еще посмотрим...

И из амбулатории направился в издательство, где не столько была неотложна сама по себе его редакторская работа, сколько предстояли необходимые встречи с единомышленниками и последние сговоры по поводу предстоящего в ближайший партийный день выступления против большинства партии.

Стебун вел дело к победе своих единомышленников.

И опять он просчитался.

Все было готово для неожиданного удара ропотников по партии, и все вышло в первый момент так, как этого хотел Стебун. Та ячейка, которую он особо подготовил, собралась, по его настоянию, внезапно, накануне партийного дня. Явились на нее знаменитые своей ролью в истории партии докладчики, оттесненные с руководящих постов вследствие нежелания подчиняться общей дисциплине. Ячейка железнодорожных рабочих и служащих, в которой они выступили, приняла предложенную зачинщиками нового внутрипартийного бунта вызывающую резолюцию.

У Стебуна поднялось настроение, он замотался. Но до решающих боев было еще далеко, а следующий день был днем собрания всех других ячеек по городу. И этот день принес Стебуну гибель.

То, что было проделано накануне в ячейке железнодорожного узла, оппозиционеры решили проделать и в ряде других ячеек. Они сговорились со своими единомышленниками в намеченных для своей операции ячейках и распределили между собой места выступлений. Наступил день собраний.

Между тем, по низам партийного актива уже пробежал ток тревоги. Об успехе вчерашнего выступления в небольшой ячейке двух общеизвестных и обычно недоступных маленьким собраниям главарей оппозиции стало известно большинству партийцев. И только одно толкование мог вложить каждый в то, что заставило развенчанных лидеров сделать исподтиха свой неожиданный удар,—блок оппозиционеров явно шел на раскол. Безумное и страшное дело. Партия решила спасти свое единство и приготовилась в свою очередь.

Стебун уже по некоторым дневным встречам заметил, что партийцы настроены иначе, чем это можно было ожидать по тому успеху, который оппозиция имела накануне. Но он решил:

«Это—до дискуссии храбрятся...»

Он лично условился принять участие в выступлении в качестве пособника Антона и еще одного из оппозиционных лидеров на ячейке завода «Аппарат».

Когда он показался на собрании, помещение заводского клуба гудело от шума голосов партийцев, необычно дружно явившихся на ячейку. Антон был здесь. Стебун увидел его на одной из передних скамей. Антон волновался и поспешил подойти к нему.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ну что?—повел вопросительно головой в сторону собрания Стебун.

— Еще не знаю... Наши спорят с аппаратчиками.

— Сдадутся, их меньше,—успокоил уверенно Стебун.—Скоро откроют собрание? Кто у них докладчик?

— Докладчик местный один, с завода. Сейчас начнут. Я уже позвонил, чтоб наш ехал сюда скорей... Пойдем ближе, открывают.

Ничто не предвещало того взрыва, которым должно было кончиться собрание.

Секретарь ячейки, об'явив, что собрание открывается, предложил выбрать председателя и утвердить порядок дня.

На скамьях сидело около трехсот членов ячейки. Немедленно же они заволновались, выкрикивая кандидатуры председателя и секретаря.

Секретарь умело прервал излишнее волнение и проголосовал выставленных кандидатов. Выбранным оказался арматурщик Окунев.

Стебун поморщился.

— Это наш?—спросил Антон.

— Злостный аппаратчик!—скривился Стебун.

Окунев занял место и заговорил о порядке дня. Бюро ячейки намечало обсуждение плана работы ячейки.

Тотчас же один из членов ячейки, находившийся в сговоре с Стебуном и Антоном, поднялся и с места громогласно возразил:

— План не уйдет, товарищи! Планами мы сыты не будем. Почему бюро ячейки не замечает того, что делается в партии? Верхи опять поднимают грызню. Что мы? Хотим домолчаться, пока не произойдет раскол? Я предлагаю ни о каких планах не говорить, а поставить немедленно вопрос о нашем партийном положении!

Стебун и Антон удовлетворенно переглянулись.

— Правильно!—заволновалась и забушевала часть собрания.—Об оппозиции! Об оппозиции! Что нас кормить планами!

Окунев, вместо того чтобы заявить, что для вопроса об оппозиции нет докладчика, с неожиданной подозрительной готовностью подхватил предложение.

— Хорошо, товарищи, не волнуйтесь, голоснем! Кто за изменение порядка дня? Единогласно принято изменение.

Окунев перечеркнул повестку и снова хотел сообщить собранию:

— Докладчиком для этого вопроса, товарищи...

Из собрания несколько голосов разом закричало имена лидеров оппозиции.

— Докладчиком просим Троцкого!

— Зиновьева!

— Троцкого, Троцкого!

— Зиновьева!

— Каменева!

— Троцкого! Троцкого!

— Сталина!

— Лидеров оппозиции!

Окунев застучал по столу, призывая собрание к порядку, и, лишь только крики сторонников оппозиции смолкли, возразил:

— Товарищи, поднимать наших вождей для выступления на ячейке не так-то легко. Давайте обойдемся своими силами...

Он оглянулся, увидел вошедших почти сразу на трибуну Власа, с одной стороны, вождя оппозиционеров— с другой, и сейчас же поспешно кончил предложением:

— Я предлагаю поручить доклад руководителю нашей московской организации, товарищу Власу.

Часть собрания забушевала:

— Здесь оппозиционеры! Оппозиционерам слово! Оппозиционерам!

— Власу! Власу! Просим Власа выступить!—гремело большинство.

Лидер оппозиционеров, увидев, что страсти закипели, придвинулся к собранию:

— Товарищи, я прошу...

Рев протестующих против разжигателя раскола гневных голосов вдруг заглушил его последующие слова, в которых он просил дать ему, как представителю оппозиции, слово.

— Долой раскольника! Долой! Долой! В лес митинговать, на тридцать девятую версту!..

— Това-рищи!—пытался утихомирить собрание, стуча по столу, Окунев.—Тише!

— Долой! Долой!—бесновалось собрание.

Члены ячейки повскакивали со своих мест, стараясь перекричать один другого. Оратора не было слышно; он вспотел, но не сходил с места.

На трибуне возле председателя и неспешившего Власа очутились Стебун и Антон, увидевшие, что решается вопрос всей их кампании.

Уловив в криках паузу, Окунев не замедлил воспользоваться мгновением тишины, чтобы тревожно зазвонить, и провозгласил:

— Товарищи, слово просит от железнодорожной ячейки, принявшей вчера против ЦК резолюцию, товарищ Стебун!

Выступавшего вперед Стебуна обдало неистовым воплем:

— Оппозиционер! Знаем! Долой раскольников! Долой! Долой!

Стебун предостерегающе поднял руку.

— Товарищи, не ошибитесь! Не рычанием можно спасти партию...

— Дол-лой!

От стены к стене, изо всех углов гудело от нетерпеливого шума коммунистов, не желавших переносить присутствие представителей фракционеров.

Наконец, Окуневу удалось перекричать собрание:

— Товарищи! Влас сделает доклад, потом решим, будем ли мы слушать оппозиционеров... Кто за мое предложение, поднимите руки.

Подавляющее большинство собрания вскинуло кверху дреколье рук и бешеными аплодисментами встретило выступившего наперед Власа.

Он стреножил собрание.

Напрасно пытались оппозиционеры после его доклада получить слово. Собрание не дало ни популярному еще недавно центровику с мировым именем, теперь вождю оппозиционеров, ни Стебуну, ни Антону сказать хотя бы несколько первых фраз. Тогда они тронулись к выходу. Партийная масса проводила их гробовым молчанием и продолжала свое собрание без них.

У Стебуна окаменело в душе. Голова не держалась, падая по временам бессильно на грудь. На другой день он узнал о финале выступления в других местах. Так же, как на «Аппарате», встретили и именитых и безыменных представителей оппозиции во всех других ячейках. Соучастники по фракционной деятельности почувствовали, что суд идет...

Стебун не находил себе места. Отдыхать, как предложил профессор? Но было не до отдыха. Придя в издательство, он узнал, что губком принял постановление о снятии его с работы и назначении на его место нового редактора. По этому поводу брюзжал Семибабов, ожидавший вслед за Стебуном и своей отставки. Встречаться с единомышленниками сделалось тошно. Стебун уже чувствовал, что, сколотив негласно фракцию, он где-то перемахнул грань здоровой активности, шагнул через край, но он еще не прозрел, насколько его ошибка лишала его впредь права на какую бы то ни было руководящую роль в рядах тех партийцев, которых он заражал своим недовольством и объединял против партии. Между тем в этом именно и заключался тот последний удар, который перенести уж было не в его силах. И этот удар обрушился на него в ближайшие дни.

Он, перестрадав и передумав обо всем, что произошло, но не смирившись, пошел в губком узнавать

о своем назначении на новую работу. Спешил нарочно выяснить этот вопрос, потому что в один из следующих дней открывалась Всесоюзная партийная конференция, на которую стали прибывать делегаты из провинции.

У самого губкома—вдруг встреча. Прибывший на конференцию Шаповал выходил со Статеевым со двора. Они столкнулись.

Что-то заставило троих встретившихся товарищей на один момент растеряться. Прежде чем поздороваться, друг друга оглядели, словно вспоминая что-то. Наконец Стебун, сунув руку Шаповалу, спросил:

— Опять здесь? Зачастил, брат, в центр.

— Я на конференцию... А что у вас? Вы в губком?

Статеев, пожав товарищу руку, отвернулся.

Стебун недружелюбно пожал плечами.

— Иду говорить о работе. Из издательства «ушли».

Он зло сжал губы.

Шаповал вспыхнул.

— Ну, сердиться-то, дядя, обождите! Теперь я знаю разногласия. Замахнулись вы, товарищи, не побольшевистски. Я прочел те документы, которые вы дали мне, и узнал еще кое-что в Ростове и тут от Статеева. Прямо, попролетарски скажу вам, Стебун: эта ваша бузня—склока!.. До нас в Георгиевск дошло даже. Ой, дядя, оставьте в покое низы! Бросьте склоку, пока не поздно!

— Контрреволюция это, а не склока!—выругался Статеев.

— Что контрреволюция? Что оппозиция поставила на обсуждение острые вопросики?

Стебун остановился.

— Э, батенька, «вопросики»!—загорелся Статеев, также останавливаясь и зло подступая к обоим товарищам.—Хороши вопросики, когда свою организацию завели!.. Говорите прямо: вы видите, что это ведет к расколу, что у партии один выход—исключить вас из своих рядов?

— Не вижу.

— Ну, не видите, так увидите... Только сняли вас с работы, а вы уже говорите: «Дядя нехорош»! Но со стороны посмотреть на вас... Скажем, что вы дисциплины партийной не понимаете, скажем, что ленинские заветы об единстве партии не для вас писаны. Но после того как партия отмела вас и показала, что с вами ей не по пути, подумайте о диктатуре пролетариата хоть, да не лезьте, куда вас не пускают! Не умеете быть полезным партийцем, хоть замолчите по крайней мере и другим не мешайте!

Статеев решительно дернул за рукав Шаповала, чтобы уйти и оставить Стебуна одного.

Стебун сунул с вызывающим видом руки в карман.

— А если я с этой вашей философией не согласен и то, что считаю правильным и целесообразным, буду продолжать делать?

Шаповал свистнул.

— Э-э, товарищ Стебун, перебарщиваете, хоть вы и старый, испытанный товарищ!

Статеев круто предложил:

— Если угодно—делайте, хочет или не хочет этого партия. Но помните, что дойдете до того, что вас партия поставит к стенке!

У Статеева разбухло от прилива крови лицо.

Стебун покачнулся.

— Меня—к стенке?

— Да, вас и всякого другого, кто посмеет всаживать нож в спину партии! Шаповал, скажи, что им скажут рабочие...

Шаповал убежденно поддержал товарища:

— Нельзя, товарищ Стебун! Вы не рабочий, но сам большевик и знаете, что терпение у партии кончится.

— Значит, к стенке?

— Да, к стенке!—вызывающе повторил Статеев.

Стебун с отхлынувшей от лица кровью тупо погля-

дел на обоих рабочих, вздернул со страшным взглядом голову и повернул прочь от губкома.

— Стебун!—хотел остановить его Шаповал.

— Пускай идет!—оборвал Статеев.

Стебун почувствовал, что с ним происходит что-то странное. Заколотилось сердце, выступил пот на спине, и стали подкашиваться ноги, будто земля закачалась.

Добравшись до угла Столешникова, он почувствовал, что без посторонней помощи итти не сможет, и хотел взять извозчика, но увидел Нехайчика и Кердоду, шагавших в губком.

Безвольно и испуганно подозвал их.

Не здороваясь, прохрипел просьбу:

— Болен! Проводите в совет, тут ближе всего...

Увидев, что с товарищем творится что-то неладное, Кердода и Нехайчик подхватили его под-руки с обеих сторон.

— Идем скорее!

До здания совета был один квартал. Но уже на втором десятке шагов у Стебуна из горла вырвался хрип.

— К стенке!—потянулся он головой от старавшихся не дать ему упасть его сподвижников.—Передохну... Упаду иначе...

Кердода и Нехайчик ткнулись к бетонному борту сквера и прислонили к стене охваченного конвульсией сердечного удара товарища.

Стебуна сводила агония.

— К стенке, товарищи, эх!—хрипнул он еще раз, выдыхая остаток сил, и вдруг смолк.

Нехайчик и Кердода пораженно посмотрели друг на друга.

— Умер!—почувствовал Кердода.

— Отчего?

— Сердце, наверно. Не на ту сторону было заведено. Возьмем извозчика и завезем скорей в совет. Публика собирается...

Возле необычной группы людей, на руках у которых внезапно умер их товарищ, моментально собралась толпа уличных зевак. Явился милиционер.

Кердода заставил его остановить извозчика, и втроем они взвалили на пролетку труп.

Стебуна не стало.
